

ISSN 0130-7673

# НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ  
МИР

1998

5

---

1998



# НОВОЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 5(877)

Май, 1998 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

ВИКТОР АСТАФЬЕВ — Веселый солдат, повесть	3
ВЛАДИМИР ЗАХАРОВ — О чистой математике, стихи	59
ВЛАДИМИР ТУЧКОВ — Смерть приходит по Интернету. Описание деяти безнаказанных преступлений, которые были тайно совер- шены в домах новых русских банкиров	67
ЭЛЬМИРА КОТЛЯР — Зимние тетради, стихи	105
ГРИГОРИЙ ПЕТРОВ — Два рассказа	117
ЯН ГОЛЬЦМАН — По воде земной, стихи	133

### ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

БОРИС ЕКИМОВ — Возле старых могил	137
-----------------------------------	-----

### ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ИГОРЬ ДЕДКОВ — Обессоленное время. Из дневниковых записей 1976 — 1980 годов. Публикация и примечания Т. Ф. Дедковой	146
--	-----

### ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ — Осколки серебряного века	180
---	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

МИХАИЛ БУТОВ — «Вселенная подтолкнула меня локтем в бок!»	198
ДМИТРИЙ БАК — Обретенное время Евгения Федорова, или А ла- геръ <i>cotte à</i> лагерь	208

#### *По ходу текста*

НИКИТА ЕЛИСЕЕВ — Московский пленник и другие	221
--	-----

### РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Дмитрий Бавильский. Более странно, чем рай	232
Ольга Иванова. «Небо в субтитрах»	238
Владимир Абашев. Заресничная страна	240

(См. на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Татьяна Касаткина. «Люди человеческие»	244
Алексей Зверев. Пилигрим в море	248

---

Владимир Славецкий. — Иван Громов. На перекрестке времени. Повесть.	253
Сергей Костырко. — Павел Мейлахс. Беглец	254
Ольга Славникова. — Юлия Кокошко. В садах... Повесть. Рассказы; Юлия Кокошко. Чаши и вазы в свободном полете. Из цикла «Между ангелами»	256

## БИБЛИОГРАФИЯ

Книжная полка (составитель Сергей Костырко)	259
Периодика (составитель Андрей Василевский)	261
SUMMARY	272

---

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА  
ВЛАДИМИРА СЕМЕНОВИЧА МАКАНИНА  
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ  
ПУШКИНСКОЙ ПРЕМИИ,  
УЧРЕЖДЕННОЙ ФОНДОМ АЛЬФРЕДА ТЁПФЕРА  
(ГЕРМАНИЯ)**

---

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА  
ИРИНУ ИГОРЕВНУ ПОВОЛОЦКУЮ  
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕЙ  
МАЛОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ АПОЛЛОНА ГРИГОРЬЕВА,  
УЧРЕЖДЕННОЙ  
АКАДЕМИЕЙ РУССКОЙ СОВРЕМЕННОЙ СЛОВЕСНОСТИ  
И ОНЭКСИМБАНКОМ!**

Премированное произведение  
«Разновразие. Собрание пестрых глав»  
печаталось в № 11 «Нового мира» за 1997 год.

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 2350 экземпляров журнала «Новый мир».

---

---

ВИКТОР АСТАФЬЕВ



*Светлой и горькой памяти дочерей моих  
Лидии и Ирины.*

## ВЕСЕЛЫЙ СОЛДАТ

*Повесть*

Боже! пусто и страшно становится в Твоем мире!

*Н. В. Гоголь.*

Часть первая

### СОЛДАТ ЛЕЧИТСЯ

**Ч**етырнадцатого сентября одна тысяча девятьсот сорок четвертого года я убил человека. Немца. Фашиста. На войне.

Случилось это на восточном склоне Дуклинского перевала, в Польше. Наблюдательный пункт артиллерийского дивизиона, во взводе управления которого я, сменив по ранениям несколько военных профессий, воевал связистом переднего края, располагался на опушке довольно-таки дремучего и дикого для Европы соснового леса, стекавшего с большой горы к плешинкам малоуродных полей, на которых оставалась неубранной только картошка, свекла и, проломанная ветром, тряпично болтала жухлыми лохмотьями кукуруза с уже обломанными початками, местами черно и плешисто выгоревшая от зажигательных бомб и снарядов.

Гора, подле которой мы стали, была так высока и крутоподъемна, что лес редел к вершине ее, под самым небом вершина была и вовсе голая, скалы напоминали нам, поскольку попали мы в древнюю страну, развалины старинного замка, к вымоинам и щелям которого там и сям прицепились корнями дерева и боязно, скрытно росли в тени и заветрии, заморенные, криные, вроде бы всего — ветра, бурь и даже самих себя — боящиеся.

Склон горы, спускаясь от гольцов, раскатившийся понизу громадными замшелыми камнями, как бы сдавил оподолье горы, и по этому оподолью, цепляясь за камни и корни, путаясь в глушине смородины, лещины и всякой древесной и травяной дури, выключувшись из камней ключом, бежала в овраг речка, и чем дальше она бежала, тем резвей, полноводней и говорливей становилась.

За речкой, на ближнем поле, половина которого уже освобождена и зелено светилась отавой, покропленной повсюду капельками шишечек белого и розового клевера, в самой середине был сметан осевший и тронутый чернью на прогибе стог, из которого торчали две остро обрубленные жерди. Вторая половина поля была вся в почти уже пониклой картофельной ботве, где подсолнушкой, где ястребинкой взбодренная и по меже густо сорящими лохмами осота.



Сделав крутой разворот к оврагу, что был справа от наблюдательного пункта, речка рушилась в глубину, в гущу дурмана, разросшегося и непролазно сплетенного в нем. Словно угорелая, речка с шумом вылетала из тьмы к полям, угодливо виляла меж холмов и устремлялась к деревне, что была за полем со стогом и холмом, на котором он высился и просыхал от ветров, его продуваемых.

Деревушку за холмом нам было видно плохо — лишь несколько крыш, несколько деревьев, востренький шпиль костела да кладбище на дальнем конце селенья, все ту же речку, сделавшую еще одно колено и побежавшую, можно сказать, назад, к какому-то хмурому, по-сибирски темному хутору, тесом крытому, из толстых бревен рубленному, пристройками, амбарами и банями по задам и огородам обсыпанному. Там уже много чего сторело и еще что-то вяло и сонно дымилось, наносило оттуда гарью и смолевым чадом.

В хутор ночью вошла наша пехота, но сельцо впереди нас надо было еще отбивать, сколько там противника, чего он думает — воевать дальше или отходить подобру-поздорову, — никто пока не знал.

Наши части окапывались под горой, по опушке леса, за речкой, метрах от нас в двухстах шевелилась на поле пехота и делала вид, что тоже окапывается, на самом же деле пехотинцы ходили в лес за сухими сучьями и варили на пылких костерках да жрали от пуза картошку. В деревянном хуторе еще утром в два голоса, до самого неба оглашая лес, взревели и с мучительным стоном умолкли свиньи. Пехотинцы выслали туда дозор и поживились свежатиной. Наши тоже хотели было отрядить на подмогу пехоте двух-трех человек — был тут у нас один с Житомирщины и говорил, что лучше его никто на свете соломой не осмолит хрюшку, только спортит. Но не выгорело.

Обстановка была неясная. После того как по нашему наблюдательному пункту из села, из-за холма, довольно-таки густо и пристрелянно поужали разика два минометами и потом начали поливать из пулеметов, а когда пули, да еще разрывные, идут по лесу, ударяются в стволы, то это уж сдается за сплошной огонь и кошмар, обстановка сделалась не просто сложной, но и тревожной.

У нас все сразу заработали дружнее, пошли в глубь земли быстрее, к пехоте побежал по склону поля офицер с пистолетом в руке и все костры с картошкой распинал, разок-другой привесил сапогом кому-то из подчиненных, заставляя заливать огни. До нас доносило: «Раздолбаи! Размундяи! Раз...», ну и тому подобное, привычное нашему брату, если он давно пребывает на поле брани.

Мы подзакопались, подали конец связи пехоте, послали туда связиста с аппаратом. Он сообщил, что сплошь тут дядьки, стало быть, по западно-украинским селам подметенные вояки, что они, нажравшись картошек, спят кто где и командир роты весь испсиховался, зная, какое ненадежное у него войско, так мы чтоб были настороже и в боевой готовности.

Крестик на костеле игрушечно мерцал, возникая из осеннего марева, сельцо обозначилось верхушками явственной, донесло от него петушинные крики, вышло в поле пестренькое стадо коров и смешанный, букашками по холмам рассыпавшийся табунчик овец и коз. За селом холмы, переходящие в горки, затем и в горы, далее — грузно залегший на земле и синей горбиной упершийся в размытое осенней жижей поднебесье тот самый перевал, который перевалить стремились русские войска еще в прошлую, в империалистическую, войну, целясь побыстрее попасть в Словакию, зайти противнику в бок и в тыл и с помощью ловкого маневра добыть поскорей по возможности бескровную победу. Но, положив на этих склонах, где мы сидели сейчас, около ста тысяч жизней, российские войска пошли искать удачи в другом месте.

Стратегические соблазны, видимо, так живучи, военная мысль так косна и так неповоротлива, что вот и в эту, в «нашу» уже, войну новые наши ге-

нералы, но с теми же лампасами, что и у «старых» генералов, снова толклись возле Дуклинского перевала, стремясь перевалить его, попасть в Словакию и таким вот ловким, бескровным маневром отрезать гитлеровские войска от Балкан, вывести из войны Чехословакию и все Балканские страны, да и завершить поскорее всех изнурившую войну.

Но немцы тоже имели свою задачу, и она с нашей не сходилась, она была обратного порядка: они не пускали нас на перевал, сопротивлялись умело и стойко. Вечером из сельца, лежащего за холмом, нас пугнули минометами. Мины рвались в деревьях, поскольку ровики, щели и ходы сообщений не были перекрыты, сверху осыпало нас осколками — на нашем и других наблюдательных пунктах артиллеристы понесли потери, и немалые, по такому жиденькому, но, как оказалось, губительному огню. Ночью щели и ровики были подрыты в укос, в случае чего от осколков закатаешься под укос — и сам тебе черт не брат, блиндажи перекрыты бревнами и землей, наблюдательные ячейки замаскированы. Припекло!

Ночью впереди нас затеплилось несколько костерков, пришла сменная рота пехоты и занялась своим основным делом — варить картошку, но окопаться как следует рота не успела, и утром, только от сельца застреляли, затрещали, на холм с гомоном взбежали россыпью немцы, наших будто корова языком слизнула. Обожравшаяся картошкой пехота, побрякивая котелками, мешковато трусила в овраг, не раздражая врага ответным огнем. Какой-то кривоногий командирешко орал, палил из пистолета вверх и по драпающим пальнул несколько раз, потом догнал одного, другого бойца, хватал их за ворот шинели, то по одному, то двоих сразу валил наземь, пинал. Но, полежав немного, дождавшись, когда неистовый командир отвалит в сторону, солдаты бегли дальше или неумело, да шустро ползли в кусты, в овраг.

Боевые эти вояки звались «западниками» — это по селам Западной Украины заскребли их, забрили, немножко подучили и пихнули на фронт.

Избегенная вдоль и поперек войнами, истерзанная нашествиями и разрухами, здешняя земля давно уже перестала рожать людей определенного пола, бабы здешние были храбрее и щедрее мужиков, характером они скорее шибали на бойцов, мужики же были «ни тэ ни сэ», то есть та самая нейтральная полоска, что так опасно и ненадежно разделяет два женских хода: когда очумелый от страсти жених или просто хахаль, не нацелясь как следует, угодит в тайное место, то так это и называется попасть впросак. Словом, была и осталась часть мужская этой нации полумужиками, полуукраинцами, полуполяками, полумадьярами, полубессарабами, полусловаками и еще, и еще кем-то. Но кем бы они ни были, воевать они в открытую отвыкли, «всех врагов» боялись, могли «бытись» только из-за угла, что вскорости успешно и доказали, после войны вырезая и выбивая друг дружку, истребляя наше оставшееся войско и власти битьем в затылок.

В общем, «западники» драпанули в овраг и снова как ни в чем не бывало начали там варить и печь картошку, тем более что выгонять их из оврага было некому: кривоногого лейтенанта, командира роты, как скоро выяснилось, меткий немецкий пулеметчик снисходительной короткой очередью уложил в картошку на вечный покой, взводных в роте ни одного не осталось.

\* \* \*

Пока мы, взвод артиллерийского дивизиона, умаянные ночной работой, просыпались, очухивались, немцы холмик перевалили, оказались у самого нашего носа и окапывались уже по краям клеверного и картофельного полей, ожидая, вероятно, подкрепления. Но тут со сна, с переполоху открылся такой огонь, такой треск поднялся, что немцы сперва и окапываться перестали, потом, видя, что мы палим в белый свет как в копеечку, снова заработа-



ли лопатками. Кто-то из наших командиров уже бежал вдоль опушки, и кричал, и стонал: «Прицелы! Прицелы, растуды вашу туды!» Я глянул на прицел карабина и тоже изругался: прицел стоял на «постоянном» — в кого тут попадешь?! Сдвинул скобу на цифру пятьсот и вложил новую обойму.

Немцы перебежками пошли вперед, приближаясь к лесу. Мне, да и всем, наверное, казалось, что расстояние между нами и ними сокращалось уж как-то слишком быстро, но слева от дороги, где был наблюдательный пункт штаба бригады, заработали два станковых и несколько ручных пулеметов. Немцы залегли, начали продвигаться вперед по-пластунски, еще бросок — и тут, в лесу, мы или тоже драпанем, или уж зубы в зубы — у нас такое бывало. На Днепре, брошенные пехотой, мы схватывались с немцами на наблюдательном лоб в лоб, зубы в зубы — мне та драчка снится до сих пор.

Я начал переводить планку на двести пятьдесят метров и услышал команды, доносившиеся из блиндажа командира дивизиона. «Залечь! Всем залечь!» — разнеслось по опушке. Прекратив огонь, мы попадали на дно ячеек щелей, ходов сообщений. Немцы подумали, что мы тоже драпанули, как наша доблестная пехота, поднялись, радостно загомонили, затрещали автоматами — и тут их накрыло залпом гаубиц нашего и соседнего дивизионов. Не знали немцы, что за птицы на опушке-то расположились, что не раз уж этим артиллеристам приходилось быть открываемыми пехотой и отбиваться самим, и никогда так метко, так слаженно не работали наши расчеты: ведь малейший недоворот, недочет — и мы поймаем свои снаряды. Но там же «наших бьют», а многие «наши» шли вместе от русской реки Оки и до этой вот польской бедной землицы, знали друг друга не только в лицо, но и как брата знали — брата по тяжелым боям, по непосильной работе, по краюшке хлеба, по клочку бинта, по затяжке от сигарки.

Нас было уже голой рукой не взять, мы многому научились и как только наладили прицельный огонь из личного оружия, немцу пришлось залезть обратно в картошку, в низко открытые нашей пехотой окопчики и оттуда мстительно щелкать по сосняку разрывными пулями. Снова начали работать из сельца минометы, и снова у нас сразу же закричали там и сям раненные, сообщили, что два линейных связиста убиты. Огонь наших батарей перенесли за холм, на сельцо. Донесся слух, что сам комбриг велел накрыть минометы хорошим залпом. Залп дали, но минометы не подавили. Комбриг заорал: «Это не залп, а дрисня!» Тут же вызвал на провод нашего командира дивизиона. «Бахтин, а Бахтин, — сдерживаясь изо всех сил, глухо и грустно заговорил комбриг. — Если мы будем так воевать и дальше — к вечеру у нас не останется бойцов и нам с тобой да с моими доблестными помощниками самим придется отбиваться от этих вшивиков... — И, подышав, добавил: — Учти, ты — крайний справа, у самого оврага, заберутся немцы в овраг — не сдобровать тебе первому...»

Пошла совсем другая война, организованная. Но, как говорится, на орудия и на командира надейся, да сам не плошай. Орудия молотили, молотили по сельцу и зажгли там чего-то. Потом корректировщик забрался на сосну, и пока немцы в картошке заметили его, минометная батарея уже заткнулась, трубы ее лежали на боку, obsлуга кверху жопой.

Я же лично долго вел войну вслепую, тужась поразить как можно больше врагов, и тыкал карабином то туда, то сюда, уже по щиколотку стоял в своей щели в пустых горячих гильзах, руки жгло карабином, масло в замке горело, а уверенность, что я ухряпал или зацепил хоть одного немца, не было.

Наконец, уяснив, что всех врагов мне одному не перебить, я уцепил на прицел определенного немца. Судьба его была решена. Перебрав и перепробовав за время пребывания на передовой всякое оружие — как наше, так и трофейное, — я остановился на отечественном карабине как самом ловком, легком и очень прицельном стрелковом оружии. Стрелял я из него давно и метко. Днями, желая прочистить заросшую дыру в карабине, я заметил заливающегося на вершине ели молодого беззаботного зяблика, прицелился и

разбил его пулей в разноцветные ключья. Разбил птичку — и зареготал от удовольствия. Кто-то из старых вояк сказал: «Болван, эт-твою мать!» Я еще громче зареготал и похлопал по заеложной об мой зад ложе: «Во, братишка, лупит!»

Немец, мною намеченный, чаще других поднимался из картошки и бросками, то падая, то ложась, бежал за скирду клевера. На отаве клевера, яркой, как бы осыпанной комочками манной кашицы, новоцветом, он полз, и довольно быстро, потом вскакивал и опрометью бросался в укрытие, за скирду. На спине его, прицепленный к ранцу, взблескивал котелок. Я поставил планку на триста пятьдесят метров и несколько раз выстрелил по этому котелку, когда немец лежал в картошке. Попадало, должно быть, близко, но не в солдата, видать малоопытного, иначе давно бы он снял ранец с котелком — мишень на спине опытный солдат никогда себе навесить не позволит.

Скорее всего, немец этот был связным. Там, за скирдой, сидел командир роты или взвода и посредством связного отдавал распоряжения в цепи. Залегшие и уже хорошо окопавшиеся в картошке, все более и более растягивающиеся левым крылом роты к оврагу, наши связные уже сбегали по оврагу и речке к хутору, расположенному справа, сообщили обстановку, и оттуда отсекающим от леса огнем били пулеметы и, как было сообщено, налаживалась атака силами батальона да еще выловленных в оврагах «западников» и двух или четырех танков.

Ну, «силами батальона» звучит громко, в батальоне том если осталось человек восемьдесят, так и то хорошо, а «западники» — они пройдут до поля и залягут, ведя истребительный огонь. Вот если танки, пусть и два будут, да наши ахнут из гаубиц — тогда, пожалуй, противнику несдобровать. Но пока он, немец с котелком, залег в картошке, припал за бугорком, ровно бы кротом нарытым, и не шевелится — убил я его уже? Или еще нет? На всякий случай держу на мушке. И вот он, голубчик, выдал себя, вскочил, побежал согнувшись, готовый снова ткнуться за бугорочек. Но я поймал на мушку котелок, опор ложей сделал к плечу плотную, мушку довел до среза и плавно нажал на спуск.

Немец не двинулся до следующего бугорка два-три метра и, раскинув руки, словно неумелый, напуганный пловец, упал в смятую, уже перерытую картошку. Я передернул затвор, вогнал новый патрон в патронник и неумолимо навис над целью дулом карабина.

Но немец не шевелился и более по полю не бегал и не ползал. Я еще и еще палил до обеда и после обеда. Часа в четыре из хутора вышли два танка, за ними засуетились расковырянным муравейником пехотинцы, ударили наши орудия, жажнули мы из всего и чем могли, и немцы, минув село, из которого утром пошли в атаку, потому что там тоже какая-то стрельба поднялась, не перебежками, россыпью рассеянной, молчаливой толпой бросились бежать за холм и дальше, тут и скирда сырого клевера, которую весь день зажигали пулями и не могли зажечь, густо задымила, бело и сыро, потом нехотя занялась.

Я нашел «своего» немца и обрадовался меткости. Багровое пятно, похожее на разрезанную, долго лежавшую в подвале свеколку, темнело на сереньком пыльном мундире, над самым котелком. По еще не засохшей, но уже вязко слипшейся в отверстии крови неземным, металлически отблескивающим цветком сидели синие и черные толстые мухи, и жуки с зеленой броней на спине почти залезли в рану, присосались к ней, выставив неуклюжие круглые зады, под которыми жадно скреблись, царапались черные, грязные, резиновой перепонкой обтянутые лапки с красно измазанными острыми коготками.

Я перевернул уже одеревенелое тело немца. После удара пули он еще с полминуты, может, и более жил, еще царапал землю, стремясь уползти за бугорок, но ему досталась убойная пуля. В обойме русской винтовки пять пуль (карабин — это укороченная, модернизированная винтовка), четыре из пяти пуль с окрашенными головками: черная — бронебойная, зеленая — трассиру-



ющая, красная — зажигательная, белая — не помню, от чего и зачем. Должно быть, разрывная. Пятый патрон — обыкновенный, ничем не окрашенный, на человека снаряженный. В бою мне было не до того, чтобы смотреть, какой патрон и на кого в патронник вгоняю. Выход на груди немца был тоже аккуратен — не разрывной, обыкновенной смертельной пулей сокрушил я врага. Но все же крови на мундире и под мундиром на груди было больше, чем на спине, вырван наружу клочок мундира, выдрана с мясом оловянная пуговица на клапане, вся измазанная загустелой кровью и болтавшаяся вроде раздавленной вишенки с косточкой внутри.

Немец был пожилой, с морщинистым худым лицом, обметанным реденькой, уже седеющей щетиной; глаза его, неплотно закрытые, застыло смотрели мимо меня, в какую-то недосягаемую высь, и весь он был уже там где-то, в недоступных мне даях, всем чужой, здесь ненужный, от всего свободный. Ни зла, ни ненависти, ни презрения, ни жалости во мне не было к поверженному врагу, сколько я ни старался в себе их возбудить.

И лишь: «Это я убил его! — остро протыкало усталое, равнодушное, привычное к мертвецам и смертям сознание. — Я убил фашиста. Убил врага. Он уже никого не убьет. Я убил. Я!..»

Но ночью, после дежурства на телефоне, я вдруг заблажил, что-то страшное увидев во сне, вскочил, ударился башкой о низкий настил-перекрытие из сосновых сучков на своей щели. Попив из фляги воды, долго лежал в холодной осенней земле и не мог уснуть, телом ощущая, как, не глубоко мною зарытый в покинутом окопчике, обустроивается навечно в земле, чтобы со временем стать землею, убитый мною человек. Еще течет меж пальцев рук, в полураскрытые глаза и в рот мертвеца прах скудного рыхлого, прикарпатского крестьянского поля, осыпается комочками за голову, за шею, гасит последний свет в полусмеженных глазах, темно-синих от мгновенной сердечной боли, забивает в последнем крике разжатый рот, в котором не хватало многих зубов и ни золотые, ни железные не были вставлены взамен утраченных.

Бедный, видать, человек был — может, крестьянин из дальних неродовитых земель, может, рабочий с морского порта. Мне почему-то все немецкие рабочие представлялись из портов и горячих железоделательных заводов.

Тянет, обнимает земля человека, в муках и для мук рожденного, мимоходом с земли смахнутого, человеком же убитого, истребленного. Толстозадые жуки с зелеными, броневыми, нездешними спинами роют землю, точат камень, лезут в его глубь, скорей, скорей, к крови, к мясу. Потом крестьяне запашут всех, кто пал на этом поле, заборонят и снова посадят картошку и клевер. Картошку ту будут варить и есть с солью, запивать ее сладким, густым от вкусного клевера молоком; под плуг попадут гнезда тех земляных жуков, и захрустят их броневые, фосфорической зеленью сверкающие крылья под копытами коня, под сапогами пана крестьянина.

Нечего сказать, мудро устроена жизнь на нашей прекрасной планете, и, кажется, «мудрость» эта необратима, неотмолима и неизменна: кто-то кого то все время убивает, ест, топчет, и самое главное — вырастил и утвердил человек убеждение: только так, убивая, поедая, топча друг друга, могут сосуществовать индивидуумы земли на земле.

Немец, убитый мною, походил на кого-то из моих близких, и я долго не мог вспомнить — на кого, убедил себя в том, что был он обыкновенный и ни видом своим, ни умом, наверное, не выдававшийся и похож на всех обыкновенных людей.

\* \* \*

Через несколько дней, с почти оторванной рукой, выводил меня мой близкий друг с расхлестанной прикарпатской высоты, и, когда на моих глазах в клочья разнесло целую партию раненых, собравшихся на дороге для отправки в медсанбат, окопный дружок успел столкнуть меня в придорож-

ную щель и сверху рухнуть на меня, я подумал: «Нет, „мой” немец оказался не самым мстительным...»

Дальше, вплоть до станции Хасюринской, все помнится пунктирно, будто ночная пулеметная очередь — полет все тех же четырех бесцветных пуль, пятая — трассирующая, пронзающая тьму и дальнюю память тревожным, смертельным светом.

Безобразно доставляли раненых с передовой в тыл. Выбыл из строя — никому не нужен, езжай лечись, спасайся как можешь. Но это не раз уже описано в нашей литературе, и мною в том числе. Перелистну я эту горькую страницу.

Надеялись, на железной дороге будет лучше. Наш железнодорожный транспорт даже в дни развалов и разрух, борьбы с «врагами народа», всяческих прогрессивных нововведений, перемен вождей, наркомов и министров упорно сохранял твердое, уважительное отношение к человеку, особенно к человеку военному, раненному, нуждающемуся в помощи. Но тут была польская железная дорога, расхлябанная, раздрызганная, растасканная, как и само государство, по переменке драное то тем, то другим соседом и по этой причине вконец исторговавшееся. «Придут немцы, — говорилось в услышанной здесь притче, — будут грабить и устанавливать демократию; придут москали — будут пить и ...ть беспощадно. Так я советую паньству, — наставлял свой приход опытный пастырь, — не отказывать москалям, иначе спалят, но делать это с гонором — через жопу». Так они и поступают до сих пор — все у них идет через, зато с гонором. Паровозишко тащил какой-то сброд слегка починенных, хромых вагонов. Раненые падали с нар и по той причине все лежали на грязном, щелястом полу. Брал с места паровозишко, дернув состав раз по пяти, суп из котелков выплескивался на колени, ошпаренные орали благим матом, наконец наиболее боеспособные взяли костыли и пошли бить машиниста.

Но он уже, как выяснилось, бит, и не раз, всевозможными оккупантами. Быстро задвинув дверь паровоза на крепкий засов, опытный машинист высунулся в окно и траванул пламенную речь, мешая польские, украинские и русские слова, в том смысле, что ни в чем он не виноват, что понимает все, но и его должны понять: из этого государства, пся его крев, которое в первый же день нападения немцев бросил глава его, самонаградной маршал Рыдз-Смиглы, изображавший себя на картинах и в кино с обнаженной боевой саблей, начищенным сапогом, попирающим вражеское знамя, смылся в Румынию вместе с капиталами и придворными блядьми, бросив на произвол судьбы ограбленный народ. Какой в таком государстве, еще раз пся его крев, может быть транспорт, какой, сакраментска потвора порядок? Если москали хотят побить его костылями, то пусть бьют правительства, их сейчас в Польше до хуя — он так и произнес нетленное слово, четко, по-русски, только ударение сделал не на «я», как мы, а на «у». О-о, он уже политически подкован, бит немецкими прикладами, обманут советскими жидами, заморожен политиками и до того освобожден, что порой не знает, в какую сторону ехать, кого и куда везти, к кому привыкать — все, курва-блядь, командуют, грозятся, но поить и кормить никто не хочет. Вот уголь и паек дали на этот раз «радецкие» — он и поехал в сторону «радецких», раньше давали все это немцы — он и ехал в сторону немецкую.

\* \* \*

До Львова и путь недалог, но многие бойцы успели бойко поторговать, продали и трофеишки, и с себя все, что можно. Со станции Львов в сортировочный госпиталь брела и ехала, осыпаемая первой осенней крупкой, почти сплошь босая, до пояса, где и выше, раздетая толпа, скорее похожая на сборище паломников или пленных, нежели на бойцов, только что пребывавших в регулярном сражающемся войске. У меня был тяжелый выход с пере-



довой, из полуокружения — еще тяжелее, езда в машинах по разбитой танками дороге, короткая передышка на походных санитарных эвакуопунктах почти не давали успокоения и отдыха, ехал я по Польше в жару, торгом заняться не мог. У меня было две полевых сумки: в одну ребята натолкали бумаги, карандашей, чтоб писал им, позолоченные зажигалки, часишки, еще что-то, чтоб продал и жил безбедно. Эту сумку у меня украли на первом же санпункте, где спал я полубеспамятным сном. В другой сумке были мои «личные» вещишки — мародеры из спекулянтов или легко раненные порылись, выбрали что «поценней» и бросили мне ее в морду; пробовали в потемках стянуть сапоги, но я проснулся и засипел сожженной глоткой, что застрелю любого, кто еще дотронется до сапог. Это были мои первые добротню и не без некоторого даже форса сшитые сапоги.

В бою под Христиновкой наши войска набили табун танков. Я, как связист, был в пехоте с командиром-огневику, на корректировке огня. Когда бой прекратился и малость стемнело, я одним из первых ворвался в «ряды противника» и в трех несгоревших немецких танках вырезал кожаные сиденья. Кожу с сидений я отдал одному нашему огневику, тайно занимавшемуся в походных условиях сапожным ремеслом и зарабатывающему право не копать, не палить, орудие не чистить, только обшивать и наряжать артиллеристов. Бойцы нашей бригады в немалом числе уже щеголяли в добротных сапогах, а я все шлепал вперед на запад в ботинках-скороходах. Какая война в ботинках, с обмотками, особенно осенью? Кто воевал, тот знает. Кожи из танков хватило бо на четверо сапог, а наш сапожник, производивший тройной, если не четверной, обмен кож на гвозди, подковы, шпильки, стельки и, главное, подметки — и все это на ходу, в движении, в битве! — стачал мне такие сапоги, что весь наш взвод ахнул. Первый раз в моей жизни новая обувь нигде не давила, не терзала мои костлявые ноги, все-то было в пору, да так красиво, главное — подметки были из толстой, красной, лаково блестящей кожи!

Какой-то чешский эскадрон имел неосторожность расположиться неподалеку от наших батарей, и пока чех-поручик на расстеленной салфетке пил кофе, наши доблестные огневики сняли с его коня новенькое седло, изготовленное на советском Кавказе. Поручик долго не мог понять: куда исчезло седло и что это за такое незнакомое русское слово «украли»? И тогда кто-то опять же из огневиков обнадеживающе похлопал чеха по плечу: «Ничего, ничего. Придем к вам, объясним и научим!»

Вот какие у меня были сапоги! Я под тем же Львовом драпал с одной высоты. На рассвете было, в августе месяце. Я спал крепким сном, в два часа ночи сменившись с поста. Но спать в обуви я не мог, и когда началась паника и все побежали и забыли про имущество — даже стереотрубу забыли, позорники, — меня, спящего в щели на краю пшеничного поля, забыли. Один мой дружок, ныне уже покойный, все же вернулся, растолкал меня, и я начал драпать с сапогами в одной руке, с карабином в другой. Танки уже по пшенице колесили, немцы строчили из хлебов, но я сапоги не бросил и карабин не бросил.

Но как я поступил во львовский распределительный госпиталь, сердце мое оборвалось: тут не до сапог, тут дай бог жизни не потерять.

Распределитель размещался в какой-то ратуше, думе, собрании или ином каком внушительном здании. Многоэтажный дом был серого цвета, по стенам охваченный древней прозеленью. Комнаты в нем были огромны, каменные залы гулки, с росписями по потолку и по стенам. Я угодил в залу, где на трехэтажных деревянных топчанах, сооруженных и расставленных здесь еще немцами, располагалось до двухсот раненых; и если в углу, возле окон, на крайних топчанах заканчивался завтрак, у дверей уже начинали раздавать обед, и нередко, приподняв одеялишко, прикрывающее солдатика на нарах, санитары, разносившие еду, тихо роняли: «Этому уже ничего не надо», — и по кем-то установленному закону или правилу делили меж ранеными пайку угасшего бедолаги — на помин души.

Отсюда раненых распределяли в санпоезда и отправляли на восток — вечный шум, гам, воровство, грязь, пьянство, драки, спекуляция.

У санпоездников правило: не принимать на эвакуацию тех бойцов, у которых чего-либо не хватает из имущества, даже если нет одной ноги — ботинки должны быть парой, такова инструкция санупра. Кое-что выдавалось здесь, со складов ахового распредгоспиталя, и склады те напоминали широкую городскую барахолку. На них артелями, точнее сказать бандами, орудовали отъевшиеся, злые, всегда полупьяные мужики без наград и отметок о ранениях на гимнастерках. Они не столь выдавали, сколь меняли барахлишко на золото в первую голову, на дорогие безделушки, даже на награды и оружие. Думаю, не один пистолет, не одна граната через те склады, через тех тыловиков-грабителей попали в руки бандеровцев. Здесь можно было месяцами гнить и догнивать из-за какой-нибудь недостающей пилотки, ботинка или подштанников. Ранбольные бушевали, требовали начальство для объяснений.

Являлась дамочка, золотом обьятая, с тугими икрами, вздыбленной грудью, кудрявой прической, блудно и весело светящимися глазами, — во всем ее облике, прежде всего в том, как она стояла, наступательно выставив ножку в блестящем сапоге, явно сквозило: «Ну, я — блядь! Руководящая блядь! И горжусь этим! И презираю вас, вшивоту серую...»

— Спа-акойно! Спа-акойно, товарищи! Всех эвакуируем. Всех! — напевая, увещевала начальница и, как-то свойски, понимающе сощутив блудный глаз, не то фамильярно подмигивая, не то пронзая им, добавляла: — Мы-то тут при чем? Госпиталь-то наш при чем? Вы сами распродали в пути и пропили свое имущество. Ка-азенное! Ба-а-айево! А я санпоездами, извините, не команду. Я бы рада сегодня, сейчас всех вас, голубчиков, эва-акуи-ировать, определить, лечить, но... — Тут она разводила руками и улыбалась нам, обнажая золотые зубы, чарующей улыбкой, дескать, не все в моей власти и вы сами во всем виноваты.

Да это у нас и по сей день так: где бы ты ни воевал, ни работал, где бы ни служил, ни ехал, ни плыл, в очереди в травмопункте иль на больничную койку ни стоял — всегда ты в чем-то виноват, всегда чего-то должен опасаться и думать, как бы еще более виноватым не сделаться, посему должен выслуживаться, тянуться, на всякий случай прятать глаза, опускать долу повинную голову — человек не без греха, сам в себе, тем более в нем начальство всегда может найти причину для обвинения. Взглядом, словом, на всякий случай, на «сберкнижку», что ли, держать его, сукиного сына, советского человека, в вечном ожидании беды, в страхе разоблачения, устыжения, суда, если не небесного, то общественного.

В конце беседы обворожительная дама обязательно поправляла заботливо на ком-нибудь из раненых одеяльце, подтыкала подушку, и непременно находилась доверчивый бедолага с дальних таежных деревень родом, всегда и до конца верящий молитве Божьей и слову «полномочных» людей:

— Меня, родная дамочка, меня-то эвакуируйте ради Бога. Обоих ног нету, а с миня ботинки требуют. Помру ведь я тут без молитвы и причастия...

— Ф-фу, какой паникер! Да еще и в Бога верующий!.. Поможем вам, поможем... Наша обязанность, как и у богов, х-хы, шучу, помогать страждущим, и только страждущим!.. — А сама под одеяло зырк, за руку человека цап, пульс сосчитает, за лоб его пощупает, глядишь, и поплыл крестясь, с молитвою на устах суеверный таежник на носилках. На груди у него ботинки курочками сидят — не важно, какие, какого износа и размера, не важно, что на одну они ногу, лишь бы для отчета годились. Прижимая к груди драгоценную обувь, сипит благодарствия дрожащим голосом человек. Сбыла его дамочка в санпоезд, а там — спасут так спасут. Но может путь его оборваться, и сдадут бедолагу где-нибудь ночью, на большой станции, похоронной спецкоманде, и будет он зарыт в безвестном месте, безвестными людьми, на безвестном кладбище... И тут же всеми забыт, кроме обездоленной русской



семьи, потерявшей кормильца, который с носилок еще рукой пытается помахать и плачет:

— До свиданья... товаришшы. Желая и вам поскорейча... Гражданочке-то той благодарствие передавайте... мол, Пров Пивоваров, сапер, на mine подорвавшийся... с Ангары родом... Не забудьте, товаришшы... Простите, если што не так, што поперед вас выпросился... Невмочь мне. С Богом!..

— С Богом! — прервут винащегося перед всеми, на смертном одре совестящегося человека сострадательные бойцы и, чтоб не ушибли, не уронили с носилок бедолагу, помогут его спустить по лестнице донизу, этого вот и до вагона помогли донести.

В три-четыре дня ребята что побоевей объединялись в артель или в боевое отделение, соединялись койками и сиденьями. У кого нож, у кого пистолет, у кого и кулак еще в силе — только так, только боевой, организованной силой можно было противостоять здешней злой силе, вероятно спаявшейся и снюхавшейся с бандами бандеровцев и польских националистов. Наша артель пробилась на перевязки, достала кое-что из амуниции, вина не пила, в карты не играла, бодрствовала по переменке. Однажды возле меня закрутился, завертелся цивильный полячок в грязном халате, выносивший судна, утки, подтирающий мокрой шваброй полы. Все время он чего-то менял, приносил, уносил. Я понял, что ему приглянулись мои сапоги. Бойцы нашего вновь сформированного, стихийного соединения с надеждой глядели на меня, да и знал я, что вот-вот лишусь сапог, уже орали тут какие-то ухари: «Всем, кто не имеет офицерского звания, форму и погоны офицеров сдать, получить на складе вместо сапог ботинки и обмотки. За утаивание...»

— Сколько? — спросил я полячка. И он показал мне два пальца. Боевое соединение начало торговаться и вызудило с полячка еще пятьсот рублей.

Сапоги мои драгоценные, в сраженьях добытые и сработанные, ушли от меня навечно. С выручки уплыло «на дозаправку» полтыщи, зато через сутки, полностью укомплектованные, перевязанные, чуть выпившие на дорожку, раненые бойцы нового боевого отряда из восьми человек были погружены в санпоезд и отправлены не куда-нибудь в занюханный и дымный городишко — в далекий Казахстан, в город Джамбул направились они. Поднатужившись, я вспомнил слова из песни великого акына, которые он якобы пропел богатому и наглому баю, у коего околела любимая собака, а он велел бедному акыну петь над ее прахом, тот прямо в глаза баю: «...и я не желаю тебе ничего, кроме блох. Жить бы собаке, а ты бы подох!..»

Вот в какой славный город, в какую теплую страну должны были привезти меня и моих новых, верных товарищей мои сапоги. Но все в жизни переменчиво. Говорят, те слова Джамбул никогда не пел. И сочинил их якобы еврей-переводчик по фамилии Голубев, и неграмотный акын поставил под ним одобрительную подпись — крестик. И вообще поезд шел не в ту сторону. Шел он на Кубань, мчался на всех парах к неведомой казачьей станции, где нас должны встречать, приветствовать, обласкать, на коечки положить и наконец-то начать лечить.

Но далеко еще было до той станции, ничего мы еще не знали: сколько будем ехать? Где и когда выгрузимся? Что не в Джамбул едем — это мы уже поняли по названиям станций и по землям, расстилавшимся за окнами вагонов.

\* \* \*

И в станции с названием Хасюринская нас никто не ждал и не встречал. Санпоезд долго стоял на первом пути станции, потом на запасном, и наконец его загнали в тупик, что означало, по заключению знатоков, — будет разгрузка. Скоро.

Завтраком нас накормили в санпоезде, обедом, сказали, будут кормить уже в госпитале, и к обеду тех раненых, кто мог двигаться самостоятельно,

из вагонов выдворили в прилегающий к тупику, с той и с другой стороны, казалось, бесконечный, подзапущенный за войну абрикосовый и яблоневоый сад. Над рекой, взлескивающей вдаль, горбатился мост, не взорванный. Мы решили, что это Кубань, потому как по Кубани может течь только Кубань, с подрытыми берегами, украшенными кустарником и кое-где деревьями, до неба взнявшимися, еще взлохмаченными, но уже начавшими желтеть и осыпать лист.

Сад, возле которого стоял санпоезд, был сиротливо пуст, но девушки нашего вагона, сестра Клава и санитарка Аня, были здешние, кубанского рода и знали, что до самой зимы, до секучих зимних ветров, на какой-нибудь ветке или дереве непременно задержится один-другой фрукт, да и падалица бывает. Они пошли в глубь сада и скоро вернулись оттуда, неся в карманах и полах белых халатиков чуть порченные, с боку в плесневелых лишаях, абрикосы, подопрелые яблоки, и сказали, что наберут груш. У кого-то сыскался рюкзак, кто-то изъявил желание пойти с девчатами в сад — и скоро мы сидели вокруг вещмешка и выбирали из него, кто чего хотел: крепенькую, на зубах редиской хрустящую зеленую грушу-дичку, либо подквашенный абрикос, либо переспелое, уже и плодояжкой покинутое, сморщенное яблоко.

Девочки наши переживали, что мы едим немые фрукты, но, уже как бы не ответственные за нас, за наше здоровье, переживали скорее по привычке. Мы уже были не «ихние», но еще и «ничьи». Девочки могли и должны были покинуть нас, им надо было прибираться в вагоне, сдавать белье, посуду, инструменты. Тех раненых, что не были выгружены, — слух пошел — повезут дальше и их, «внеплановых», станут мелкими партиями раздавать по другим госпиталиям. Раненых переместили, сбили в другие вагоны, чтоб легче было обслуживать и не канителиться, бегая по всему составу. Наш вагон был пуст. Обжитый за десять дней пути из Львова уже привычный дом на колесах отчужденно и грустно смотрел на нас открытыми окнами и зияющей квадратной дырой тамбура.

Но роднее вагона сделались нам «наши» девочки. Их уже гукали, строгим голосом призывали к труду, но они сидели среди своих ребят, на откосе тупика, покрытого выгоревшей травой, грустно на нас поглядывали, через силу улыбались, потому что ребята, как в дороге было, развлекали их байками, всякими посказульками.

На девочку походила и была незамужняя лишь Анечка, тоненькая в талии, но с крепко налитой кубанской грудью и круглыми икрами, черноволосая, с крыла кавказского на равнины кубанские слетевшее перышко. Была Анна доверчива и смешлива. Мужики подшучивали над нею, даже пощипывали, прижав ее в узком месте, но она только посмеивалась иль пищала: «Ой! Ой, Божечки мой! Больно же!..» Клава тоже была чернява, но нравом утрюма, взглядом строга, и прическа у нее была строгая, короткая, без затей, хотя волосы были густы, отливали шелковисто, и опусти она их до пояса или до плеч, как нынешние стилижки, — так за одни только эти волосы мужики ее любили бы, сватали, она бы еще в школе замуж вышла, ее раз пять бы отбили друг у дружки мужики и, может, даже и на БАМ увезли бы, на молодежную передовую стройку, где красавицы были в большой цене и в особом почете.

У Клавы и в характере, и в действиях все было подчинено и приспособлено к делу.

Меня определили на вторую, боковую полку, против крайнего купе — «купе» девочек, отгороженного от посторонних глаз простынею. Но чаще всего простыня та была откинута, и я видел, как работала Клава. Паек она делила справедливо, никого не выделяя, никому не потрафляя, точным шлепком бросала в миски кашу, точным взмахом зачерпывала из бачка суп, точно, всегда почти без довесков, резала хлеб и кубики масла, точно рассыпала сахар миниатюрным, игрушечным черпачком; одним ударом, скорее, даже молниеносным броском иглу до шприца всаживала в подставленный зад или в руку, спину ли — и все это молча, со спокойной строгостью, порой

казалось, даже злостью, и если больной вздрагивал или дергался от укола, она увесисто роняла: «Ну чего тебя кособочит? Сломаешь иглу», — и когда подбинтовывала, и когда успокаивала больных или усыпляла, Клава тоже лишних слов не тратила. Ее побаивались не только больные, но и Анечка. Чуть, бывало, ранбольные завольничают, Анечка сразу: «Я вот Клаву позову, так узнаете!..»

Суток двое в пути я спал напропалую после львовской распределителки и проснулся однажды ночью от какого-то подозрительного шороха. Мы где-то стояли. Я высунулся в окно. На улице, с фонарем, у открытого тамбура, в железнодорожной шинелке, из-под которой белела полоска халата, ежилась Анечка. Простыня на служебном купе колыхалась, за нею слышался шепот, чмокание, потом и срывистое, загнанное дыхание и, как всегда, строго-деловой, спокойный голос Клавы: «Не торопись, не торопись, не на пожаре...» Из-под простыни выпростались наружу две ноги, ищущие опору и не находящие ее на желдорполке. Ноги в носках — значит, офицер откуда-то явился, у нас в вагоне сплошь были рядовые и сержанты, носков нам не выдавали.

Но Клава и тут никого не хотела выделять, обслуживала ранбольных беспристрастно, не глядя на чины и заслуги. Не успел выметнуться из купе офицер, как туда начал крадучись пробираться старший сержант, всю дорогу чем-то торговавший, все время чуть хмельной, веселый и, как Стенька Разин, удалой. Но когда после старшего сержанта, к моему ужасу и к трусливой зависти моей, в «купе» прокрался еще кто-то, Клава выдворила его вон, опять же строгим голосом заявив: «Довольно! Я устала. Мне тоже поспать надо. А то руки дрожать будут, и пропору вам все вены...» Поезд тронулся. Прибежала Анечка, загасила фонарь, стуча зубами, сбросила шинеленку и со словами: «Ох, продрогла!» — нырнула к Клаве под одеяло: полка у них была одна на двоих, с откидной доской, кто-то из двоих должен был ночью дежурить и караулить больных, имущество — да где же девчонкам сутками выдержать дорожную работу, вот по их просьбе и приделали «клапан» к вагонному сиденью. Накрепко закрыв тамбуры с обеих сторон, они спали себе, и никто ни нас, ни имущество не уносил.

— Ну как было? Как? — приставала с расспросами к подруге Анечка.

— Было и было, — сонно отозвалась та. — Хорошо было. — И уже ослабленным голосом из утомленного тела испустила истомный вздох: — Хоро-шо-о-о-о.

Анечка не отставала, тормошила напарницу, и слышно было, как грузно отвернулась от нее Клава:

— Да ну тебя! Пристала! Говорю тебе — попробуй сама! Больно только сперва. Потом... завсегда... сла-а-адко...

— Ладно уж, ладно, — как дитя, хныкала Анечка, — тебе хорошо, а я бою-уся... — и тоже сонно вздохнула, всхлипнула и смолкла.

Устала, намерзлась, набегалась девчонка, и все успокаивающий сон сморил, усмирил ее тело, томящееся ожиданием греха и страха перед ним. А я из-за них не спал до утра. И вспоминалась мне давняя частушка, еще золотого деревенского детства: «Тяжка с мамкой на полу гонят деготь и смолу, а я, бедный, за трубой загинаю х... дугой».

\* \* \*

А утром у меня температура подпрыгнула, пусть и немного, и Клава ставила мне укол в задницу. Проникающим в душу спокойным взглядом она в упор глядела на меня и говорила, выдавливая жидкость из шприца, санитарке, порхающей по вагону:

— Своди малого в туалет. Умой. Он в саже весь. В окно много глядит. А моет только чушку. Одной рукой обихаживать себя еще не умеет. Вот и умой его. Как следует умой. Охлади!

И не когда-нибудь, а поздней ночью Анечка поперла меня в туалет, открыла кран и под журчание воды начала рассказывать свою биографию, пры-

гая с пятого на десятое. Биография у нее оказалась короткой. Очень. Родилась на Кубани, в станице Усть-Лабе. Успела окончить только семь классов, потом в колхозе работала, потом курсы кончила, медсестер, полгода уж санитаркой в санпоезде ездит, потому что места медсестер заняты...

— Во-от! — напряженно добавила она и смолкла. Вдруг нервно рассмеялась: — Война кончится, так и буду судна да утки подавать... медсестрой не успею...

— Успеешь! — поспешно заверил я. — На гражданке больных на твою долю хватит... Н-налечишь еще. — И я начал заикаться и опрометчиво добавил: — Ты доб-брая...

— Правда? — подняла голову Анечка, глаза ее черные загорелись на бледном лице заметным ярким огнем, может, и пламенем. — Правда?! — повторила она и сделала вроде бы шаг ко мне.

Но я, дрожащий, как щенок, от внутреннего напряжения, все понимал, да не знал, что и как делать, — здесь, в туалете, с перебитой рукой, в жалком, просторном бельишке, перебирая босыми ногами по мокрому полу, будто жгло мне подошвы, пятился к двери, от лампочки подальше, чтоб не видно было оттопырившиеся, чиненные ниже прорехи кальсончики, и судорожно с хлебывал:

— Пра... Правда!.. Пра... Правда!

Надо было как-то спастись от себя и от позора, надо было что-то делать, и я тоже торопливо, с переборами начал рассказывать свою биографию, которая оказалась гораздо длиннее, чем у Анечки, и дала нам возможность маленько успокоиться.

— Ой! Вода ж на плите! — всполошилась Анечка и с облегченным смехом торопливо говоря: — Кипит уж. Ключом.

Вылила горячую воду в заткнутую пробкой раковину, сноровисто и умело принялась мыть мне голову, лицо, шею, здоровую руку и освобожденно, с чуть заметным напряжением и виноватостью в голосе тараторила о том о сем. Когда вымыла меня, гордо сказала, показывая на зеркало:

— Погляди, какой ты красивый у меня стал!

Опасливо, боясь розыгрыша, я глянул в зеркало, и оттуда на меня, тоже опасливо, с недоверчивостью, уставился молодой, исхудалый парень с запавшими глазами, с обострившимися скулами. Анечка же, привалившись своей теплой грудью ко мне, будто протаранить меня собиралась, ощущаемая всей моей охолодевшей до озноба спиной, причесывала мои мокрые, совсем еще короткие волосы и ворковала:

— Во-от, во-от, чистенький, ладнесенский... — А грудь все глубже впибалась мне в спину, буровила ее, раздвигала кости, касаясь неотвратимым острием сердца, раскаляла в нем клапана, до кипения доводила кровь — сердце вот-вот зайдет. — Ты чего дрожишь-то, миленький?

— Н-ничего... х-холодно! — нашелся я и стреканул из туалета к своему спасательному вагонному месту, где Анечка успела перестелить постель, взбила подушку, уголком откинула одеяло с чистой простынкой. Но сам, с одной рукой я на вторую полку влезть не умел еще и покорно ждал Анечку, крепко держась за вагонную стойку здоровой рукой — никто не оторвет.

Появилась Анечка, тоже умытая, прибранная, деловито подсадила меня на полку, дала тряпку — вытереть ноги, укрыла одеялом и, мимоходом коснувшись холодной ладошкой моей щеки, коротко и отчужденно уронила:

— Спи.

Я не сразу уснул. Слышал, как теперь уже Клава донимала расспросами Анечку.

— Вот еще! Больно надо! — сердито роняла санитарка. — Умыла и умыла... — Но в голосе ее все отчетливей проступал звон, и его, этот звон, задавливало, потопляло поднимающимися издали, из нутра обидными и стыдными слезами. голос расплющился, размок, и мокрой, стонущей гортанью она



пыталась выкрикнуть: — Да мне... Да если захочу... Да у меня жених в Усть-Лабе! Юрка. Я лучше Юрке... сохраню... сохранюсь...

— Лан, лан, не плачь, — зевнула длинно, с подвывом Клава. — Салага он. Не умеет еще. Хочешь, я тебе подкину старшого, ну, Стеньку-то Разина! Тот не только в туалете, тот на луне отделает!..

— Отстань со своим Разиным! Никого мне не надо!

— Ну, ну, не надо, так и не надо! Кто бы спорил, а я не стану, — гудела успокоительно Клава и похлопывала юную подружку по одеялу, догадывался я — гладила по голове, понимая неизбежность страдания на пути к утехам, пагубную глуть бабьей доли-гибели.

Успокоив Анечку, Клава и сама скоро успокоилась, пустив пробный, пока еще короткий всхрап носом, потом заработала приглушенным, деловитым храпом человека, честно зарабатывающего свой хлеб и с достоинством выполняющего свой долг перед народом и родиной. Однако ж в пути, догадался я, Клава спала не до самого глубокого конца и храпела не во всю мощь оттого, что и во сне не забывала про больных, безропотно, неторопливо поднималась на первый зов раненых или на стук в вагон снаружи.

Легкая, смешливая Анечка спала себе и спала, беззаботно и безмятежно, лишь тайные страсти, это «демонское стреляние», как хорошо называл сии чувства Мельников-Печерский, так рано пробуждающиеся в людях южных кровей, точили, тревожили, томили ее в темных, скрытых от чужого глаза недрах, но еще не доводили до бессонницы, не ввергали в окончательное умопомешательство.

Еще разок-другой за десятидневный путь покушалась Анечка на мою честь, манила меня за занавесочку или в туалет, но я делал вид, что «тонких» намеков не понимаю, и с полки своей не слезал до победного конца пути.

К Анечке, должно быть по наущению Клавы, клеился старший сержант Стенька Разин. Презирая себя, я ревниво следил сверху за надвигающимися событиями. Анечка сопротивлялась изо всех сил: Стенька Разин был ей не по душе, стар, как ей казалось, и она боялась его напористых домоганий. Однако, будь наш путь подлиннее, допустим, до того же Джамбула, Анечка, наверное, рухнула бы, пала бы, как слабенькая, из глины сбитая крепостишка.

И вот конец нашего пути! «Наши» девочки, стыдливо натянув на колени юбочки, сидят с нами на траве и печально смотрят на нас. Сколько они уж проводили таких вот, как мы, подбитых орлов на излечение и на небеса и еще проводят, а вот по притчеватости и доброте русского бабьего характера привязываются к «своим мальчишкам», присьхают, будто к родным.

О-о, война, о-о, бесконечные тяготы и бедствия российские! Только они объединяют наш народ, только они выявляют истинную глубину его характера, и плывем мы устало от беды до беды, объединенные жадной доброй.

Анечка сперва ненароком, потом и в открытую жалась ко мне, выбирала для меня фруктину меньше испорченную и поспелее, потом и вовсе легла головой мне на колени, грустно смотрела засветленными слезой страдающими черными глазами. Грустила она еще легко, красиво, словно ее родное и в осени голубое кубанское небо, раззолоченное из края в край исходным сиянием бабьего лета. Я перебирал пальцами здоровой руки волосы Анечки, гладил их на теплой ложбинке шеи, и сладость первой, тоже легкой грусти от первой разлуки, ни на что не похожая, мягко сжимающая сердце, мохнатеньким абрикосом каталась по рассолодевшему нутру, томила меня никогда еще не испытанной и потому ни с чем еще несравнимой нежностью, сожалением и уходящей вдаль, в будущие года невозвратной печалью.

Ребята давно уже обменялись адресами с «нашими» девочками, давно сказали все, что могли сказать друг другу. У меня адреса не было, и Анечка сказала, что будет мне писать сюда, в госпиталь, а я ее извещать о всяческих событиях в моей жизни и перемещениях. Мне казалось, Анечка была рада тому, что мы не осквернились в вагонном туалете, что не пала она на моих глазах под натиском вагонного атамана Стеньки Разина, что судьба оставила

нам надежду на встречу и сожаление о том, что мы не могли принадлежать друг другу. Сила, нам неведомая, именно нас выбрала из огромной толпы людей, понуждала к интимной близости, не случайной, кем-то и где-то нам предназначенной, предначертанной, пышно говоря, и она же, эта сила, охраняла наши души.

Как прекрасно, что в жизни человека так много еще не предугаданного, запредельного, его сознанию не подчиненного. Даровано судьбой и той самой силой, наверное небесной, прикоснуться человеку к своей единственной «тайне», хранить ее в душе, нести ее по жизни как награду и, пройдя сквозь всю грязь бытия, побывав в толпах юродивых и прокаженных, не оскверниться паршой цинизма, похабщины и срама, сберечь до исходного света, до последнего дня то, что там, в глубине души, на самом ее доньшке хранится и тебе, только тебе, принадлежит...

\* \* \*

Наше сидение на железнодорожном откосе продолжалось почти до вечера — санпоезд хотел освободиться от груза, а Хасюринский госпиталь этот груз не брал. Как выяснилось, госпиталь подлежал ликвидации, расформированию, и помещения двух хасюринских школ — средней и начальной — должен был освободить для учащихся еще к началу сентября, но надвигался уже октябрь, а госпиталь никак не расформировывался.

После звонков в Краснодар, в краевое или военное сануправление, решено было тех бойцов, что выгружены из санпоезда, временно оставить в станции Хасюринской, остальных везти дальше, вплоть до Армавира. Наше сидение на откосе, возле пустынного сада, было прервано появлением человека, у которого все, что выше колен — брюхо: явился замполит госпиталя по фамилии Владыко. Обвел нас заплывшим, сонным, но неприязненным взглядом. Сразу заметив двух девчонок, он покривил вишневой спелостью налитые губы, слетая с которых, как мы тут же убедились, всякий срам как бы удесятерился в срамности.

— А-а, новые трипперники прибыли! — и, радуясь своей остроте, довольнехонько засопел, захрюкал, вытирая платком шею и под фуражкой.

Ребята оглядывались по сторонам, ища взглядом тех, к кому эти слова относились. Но вперед уже выступал Стенька Разин — старший сержант Сысоев — и фамильярно заговорил с замполитом на тему триппера: много ли его в Хасюринской, как с ним борются, — сделал мужественное заявление, что «триппер нам не страшен», лишь бы на «генерала с красной головкой» не нарваться. Замполит свойски гоготал, говорил толпящимся вокруг Сысоева раненым, что добра такого в Хасюринске в избытке, еще от немцев в качестве трофеев оно осталось. А как с ним бороться, узнаете, когда на конец намотаете!.. — и все это с «го-го-го» да с «га-га-га».

Девчонки наши начали торопливо прощаться: сперва всех по порядку, по-бабьи истово перецеловали, желая, чтобы мы скорее выздоравливали и отправлялись бы по домам. Потом все разом целовали Анечку, кто куда изловчится, чаще в гладенькие ее щеки, простроченные полосками светлых слез. Дело дошло до меня, и я расхрабрился, припал на мгновение губами к губам няньки. Как бы признав за мной это особое право, Анечка от себя поцеловала меня в губы. Ничего не скажешь — целовалась она умело и крепко, даже губу мне прокусила, должно быть, еще в школе выучку прошла.

Прискребся в тупик, парящий всем, что может парить, маневровый паровозишко, бахнул буферами в буфера вагона и потащил обжитый нами поезд на станцию. «Наши» девочки долго нам махали в окошко, Анечка утирала слезы оконной занавеской, и когда санпоезда не стало, так сиротливо, так одиноко нам сделалось, что и словами выразить невозможно.

Часу уже в седьмом вечера раненых наконец-то определили по местам: кого увели, кого увезли, кого и унесли на окраину станции Хасюринской,

во второе отделение госпиталя, располагающегося в начальной школе. Раненые попадали на жесткие крапивные мешки, набитые соломой, разбросанные на полу, прикрытые желтыми простынями и выношенными одеялами, предполагая, что это — карантинное отделение и потому здесь нет коек и вообще все убого и не очень чисто. Впрочем, предполагать было особенно некогда — все устали, истомились.

\* \* \*

В хасюринских школах в дни оккупации был фашистский госпиталь для рядового и унтер-офицерского состава. Аккуратные немцы увезли и эвакуировали все, что имело хоть какую-то ценность, бросили лишь рогожные мешки, кой-какую инвентарную рухлядишку, оставив в целости и сохранности помещения школ, станицу и станцию, — и приходится верить рассказам жителей станицы и фельдмаршалу Манштейну, что с Кубани и Кавказа немецкие соединения отступали планомерно, сохранили полную боеспособность, но, по нашим сводкам и согласно летописцам разных званий и рангов, выходило, что немцы с Кавказа и Кубани бежали в панике, бросали не то что имущество и барахло, но и раненых, и боевую технику...

А они вон даже кровати, постельное белье, медоборудование и ценный инвентарь, гады ползучие, увезли!

В санупре обрадовались, конечно, госпиталю, брошенному немецкими оккупантами, — значит, заботы с плеч долой, — навалили раненого народа на пол в бывшие школьные классы, повесили, как и повсюду, не только в госпиталях, грозные приказы, подписанные разным начальством и почему-то непременно маршалом Жуковым. А он издавал и подписывал приказы, исполненные особого тона, словно писаны они для вражески ко всем и ко всему настроенных людей. Двинув — для затравки — абзац о Родине, о Сталине, о том, что победа благодаря титаническим усилиям героического советского народа неизбежна и близится, дальше начинали страшать и пугать нашего брата пунктами, и все, как удары кнута, со свистом, с отяжкой, чтоб рвало не только мясо, но и душу: «Усилить!», «Навести порядок!», «Беспощадный контроль!», «Личная ответственность каждого бойца, где бы он ни находился», «Строго наказывать за невыполнение, нарушение, порчу казенного имущества, симуляцию, саботаж, нанесение членовредительства, затягивание лечения, нежелание подчиняться правилам...» и т. д. и т. п. И в конце каждого пункта и подпункта: «Беспощадно бороться!», «Трибунал и штрафная», «Штрафная и трибунал», «Суровое наказание и расстрел», «Расстрел и суровое наказание...».

Когда много лет спустя после войны я открыл роскошно изданную книгу воспоминаний маршала Жукова с посвящением советскому солдату, чуть со стула не упал: воистину свет не видел более циничного и бесстыдного лицемерия, потому как никто и никогда так не сорил русскими солдатами, как он, маршал Жуков! И если многих великих полководцев, теперь уже оправданных историей, можно и нужно поименовать человеческими браконьерами, маршал Жуков по достоинству займет среди них одно из первых мест — первое место, самое первое, неоспоримо принадлежит его отцу и учителю, самовскормленному генералиссимусу, достойным выкормышем которого и был «народный маршал». Лишь на старости лет потянуло его «помолиться» за души погубленных им солдат, подсластить пилюлю для живых и убиенных, подзолотить сентиментальной слезой казенные заброшенные обелиски и заросшие бурьяном холмики на братских могилах, в придорожных канавах.

Однако ж русский народ и его «младшие братья» привыкли к советскому климату, так научились жить и безобразничать под сенью всяких бумаг, в том числе и в смиренных, с завязанными рукавами рубахах, что чаще всего именно под запретительными, с приставкой «не»: «не разрешается».

«нельзя», «не ходить», «не лазить», «не курить», «не распивать», «не расстеги-ваться», — более всего пакостей, надругательств, нарушений и сотворяется.

Хасюринский госпиталь жил и существовал по совершенно никем не установленным и не предусмотренным правилам — он жил по обстоятельствам, ему представившимся.

А обстоятельства были таковы: в средней школе, где было правление госпиталя, санпропускник с баней, рентгены, процедурные, операционные, существовал кой-какой порядок. «Филиал» же был предоставлен самому себе. Здесь имелись перевязочная, железный умывальник на двадцать пять сосцов, установленный во дворе, на окраине все того же сада, что начинался где-то у железной дороги и рос во все концы Кубани, вроде ему и пределов не было.

Еду, воду для умывания и питья в наш «филиал» привозили из центрального госпиталя.

Проспав ночь на туго набитых мешках, скатываясь с них на голый пол, мы уяснили, отчего в других палатах мешки сдвинуты вместе, расплющены и воедино покрыты простынями, — народ здесь жил, пил и гнил союзно.

Огромное количество клопов, подозрительно белых, малоподвижных вшей, но кусучестью оголтелых, ненасытных. Сквозь ленивую, дебелую вошь, через спину и отвислое брюхо, краснела солдатская, многострадальная кровь. Эта вошь не походила на окопную, юркую, хватками напоминающую советских зеков, — эта не ела раненых, а заживо сжевывала, и поэтому наиболее боеспособные ранбольные уходили из госпиталя ночевать к шмарам.

Главное лечение здесь был гипс. Его накладывали на суставы и раны по прибытии раненого в госпиталь и, как бы заключив человека в боевые латы, оставляли в покое. Иные солдаты прокантовались в этом «филиале» по годичку и больше, гипс на них замарался, искрошился в сгибах, на грудях — жестяно-черный, рыцарски посеребренный, сверкал он неустрашимой и грозной броней.

Под гипсами, в пролежнях, проложенных куделей, гнездились вши и клопы — застенная зараза приспособилась жить в укрытии и плодиться. Живность из-под гипсов выгоняли прутиками, сломленными в саду, и гипсы, как стены переселенческих бараков, щелястых, плохо беленных, были изукрашены кровавыми мазками давленных клопов и убитых трофейных вшей, которые так ловко на гипсе давились ногтем, так покорно хрустели, что вызывали мстительные чувства в душах победителей.

И нас, новичков, почти всех заключили в гипсы, размотав наросты ссохшихся за долгий путь бинтов, где часто не перевязывали, лишь подбинтовывали раненых, обещая, что «на месте», в стационаре, всех приведут в порядок, сделают кому надо настоящие перевязки, кому и операции. Раны наши отмочили, обработали йодом — спиртику почти не водилось, его выпивали еще на дальних подступах к госпиталю.

Человек пять из «наших» увезли на машине в центральное отделение госпиталя и вскоре оттуда в наш изолятор вернули Стеньку Разина — старшего сержанта Сысоева. Допился он и догулялся до крайности. Раненный в локоть, он боль от раны и всякую боль, видать, привык подавлять вином, да еще и по девкам лазил — и руку ему отняли, даже не отняли, выщелочили и вылушили, как там, по-медицински, из самого плеча. Но гангрена уже прошла плечевой сустав, проникла вовнутрь человека — и здоровенный мужик, работавший на сибирском золотом руднике штрейкбрехером, маркшейдером ли — черт их там разберет, этих рудокопов под землей, — из сострадания напоенный старожилками самогонкой, лупил уцелевшим кулачищем в стену и орал одно и то же хриплым голосом, перекаленным в жарком пламени температуры: «Калина-малина, толстый х... у Сталина, толще, чем у Рыкова и у Петра Великого!»

Госпиталь не спал. Раненые толпились у изолятора, похихикивали, близко подходить побаивались, хотя Сысоев был привязан к койке по ногам и



по брюху, все долбил и долбил кулаком в стену, будто шахтер обушком, — на стене обнажились лучинки, точно портупейки на спине форсистого офицера, из-под лучинок на постель сыпалась штукатурка и клопы.

Приходил Владыко, отечески вытирал с пылающего лица Сысоева пыль штукатурки своим потом пропитанным платочком. Уяснив, что догорающий ранбольной от него уже очень далеко, не видит никого яростно и восторженно сверкающими глазами, замполит назидательно молвил, подняв тоже толстенный, на суточный грибочек подосинович похожий палец:

— Во, боец! И в беспамятстве патриотического настроения не утрачивает! А вы регочете! Чего регочете? Над кем регочете? А ну, марш по палатам, равнокальсонники! И-ия-а вот вам! — и потопал на нас, как на малых ребятишек, хромовыми сапогами, распертыми в голенищах бабьими икрами до того, что лопнули казенные слабые нитки, и кто-то широкими стежками до модельной драгвой схватил их по шву сзади, чтоб они вовсе не разъехались.

Вновь увезли Сысоева в центральное отделение, на следующую, как сообщил Владыко, операцию. Но ничего уже не могло помочь патриотическому сибиряку. Измаявшись в подвальном помещении госпиталя сам и измаяв криком медперсонал и раненых, он трудно и медленно расставался с жизнью. И когда смолк — все облегченно вздохнули, словно бы свалили неудобную, надоевшую поклажу с плеч.

\* \* \*

Владыко приходил в «филиал» играть в шашки. Эту игру он обожал. Радостно хлюпая губами, словно вкусные оладушки смакуя, хватал он с доски шашки «за фук», а если удавалось загнать противника в «сортир» и хватануть дамку, да если две пешки запереть в углу — он цапал за подол рубахи, за кальсонные ошкурки проходящих военных, пучками подтягивал их к себе, не в силах от восторга чувств вымолвить внятное слово, выкашливал мокро: «Ты погляди, погляди, блямба, сор... сор... тир ка-а-ако-ой кра... си-венький, ка-ако-ой сла-авенький!»

За игрою в шашки Владыко выведывал настроения ранбольных: кто куда ходит, кто с кем спит, кто чего украл или украсть собирается... Больные поражались, как этот зараза может все и про всех знать. Пресекая бунтарские настроения, Владыко волочил раненых в изолятор и, грозя им пальцем, выкладывал малую часть «добытого материала», добавлял намеками, что знает про него «усе»:

— Мот-три у меня, енашь, допрыгаешься!

Кто похитрее из ранбольных, поддавались Владыке в игре, и он им покровительствовал. Но вместе со мною приехал Борька Репяхин, родом из города Бердянска, бывший студент юридического факультета Ростовского университета. Я его выручил деньгами от сапог и пилоткой: двигаюсь к вагону санпоезда, пройдя через учет имущества, я незаметно сунул пилотку назад, Борьке Репяхину, что и сдружило нас. Борька еще во Львове драл напрапалую блатных, хоть в карты, хоть в шахматы, про шашки и говорить нечего. В санпоезде поиграл, поиграл в азартные игры — и бросил, неинтересно, говорит, денег ни у кого почти нету, да если бы и были — не хочет он обдирать больных людей. Мне он сказал, что с детства мечтал стать юристом, чтоб расчищать «от грязи нашу жизнь», с детства готовился в юристы, досконально изучил не только законы, но и все азартные игры, феню тюремную, подтасовки, мухлевань, «натурку», «подтырку» и все такое прочее.

Борька Репяхин, не садясь на табуретку, стоя, со снисходительной улыбкой на бледных устах, в три минуты обчистил Владыку. Тот покрылся потом, запыхтел и настоял на повторении состязания. Во время второго «сиянца» Борька поставил замполиту в двух углах по «сортиру», при этом объяснил заранее, паразит, где их поставит, как именно поставит и через сколько минут.

Большая это была неосторожность со стороны ранбольного Борьки Репяхина. Сокрушенный Владыко ходил туча тучей, орал на всех: «Понаехали тут юр-ристы усякие! И-эх, батьки мать!» — и совсем зажал было госпиталь в кулак, но мы коллективно насели на Борьку, и он, брезгливо кривя губы, многозначительно хмыкая, заводя глаза под потолок, произнося сатирические стишки типа: «Коль музыкантом быть, так надобно уменье, и ум, и голову поразвитей...» — поддался Владыке и проиграл ему три партии подряд.

«Исключительно ради нашей дружбы!» — тыкал он мне пальцем в грудь. Владыко тут же подписал телеграмму в Бердянск на вызов Борькиных родителей. Скоро приехала еще молодая, красивая мать Борьки и привезла всякой рыбы, соленой, копченой, да еще и полный жбан самогонки, да еще вишневого варенья и торбу груш. Дед Борьки был бакенщиком на Дону, бабка, естественно, бакенщицей — и они уж постарались, собирая посылку внуку.

Мать Борькина, человек конторской работы, так была рада встрече с сыном, которого и потеряли уж, потому что все они были «под немцем» в Бердянске, а он на фронте, что тоже крепко выпила с нами и, сидя на краешках матрацев, пела, обнявшись с нами: «Что ты, Вася, приуныл, голову повесил? Черны брови опустил, хмуришься — не весел?..»

Вася-саратовский, прозванный так оттого, что из города Саратова родом, один из «наших», еще «львовских», бойцов, действительно приуныл. Под гипсом у него завелись черви, как у многих ранбольных. «И это хорошо, — заверяли нас медики, — черви очищают рану»... Очищать-то они, конечно, очищают, но когда им не хватает выделений — они ж плодятся без устали, — черви начинают точить рану, въедаться в живую ткань.

Вася-саратовский с повреждением плечевого сустава, заключенный в огромный, неуклюжий гипс, метался со взятой впереди себя рукой, будто загоразиваясь ею от всех или, наоборот, наступая, прислонялся лбом к холодному стеклу, пил воду, пробовал даже самогонку, и все равно уснуть не мог. Черви вылезали из-под гипса, ползали по его исхудалой шее с напрягшимися от боли жилами. Утром давленных и извивающихся, мутно-белых этих червей с черными точками голов мы сметали с постели, обирали с гипса и выбрасывали в окно, где уже стаями дежурили приученные к лакомству воробьи. Напоили мы Васю допьяна, он забылся и уснул. Мать ночью уехала, наказывая Боре, чтоб он не проявлял излишнюю строптивость, и сказала, что в следующий раз приедет отец, что дедушка до зимы не сможет — он привязан к бакенам.

\* \* \*

Наутре мы все были разбужены воплями Васи-саратовского. Долго он крепился, терпел, пьяного, неподвижного, его начали есть черви, как тухлое дерево.

— Братцы! Братцы! — по древнему солдатскому обычаю взывал современный молоденький солдат. — Сымите гипс с меня! Сымите! Доедают... Слышу — доедают! Братцы! Мне страшно! Я не хочу умирать. Я в пехоте был... выжил... Братцы! Спасите!

Сунулись мы искать дежурную сестру — нигде нету, врачи сюда находили бывали, санитарка, дежурившая у дверей, отрезала с ненавистью:

— И знаю я, где эта блядина, но искать не пойду. Мне, хоть все вы сегодня же передохните!..

Черевченко Семен, бывший какого-то сыро-маслосепаратного цеха или фабрики руководитель «хвилинала» от «солдатских масс», отнюдь не революционного настроения, пришел на крик, посмотрел на Васю-саратовского и сказал, что в самом деле надо снимать гипс, иначе парень если не умрет, то к утру от боли с ума сойдет, «бо черви начали есть живое мясо». Сам он, Черевченко Семен, к больному не притронется, «ему ще здесь не надоело...».

С гневом и неистовством пластали мы складниками, вилками, железками на Васе-саратовском гипсе, и когда распластали, придавив Васю к полу, с хрустом разломали пластины гипса, нам открылась страшная картина: в гипсе, по щелям его, углам и множеству закоулков клубками копошились черви, куделя шевелилась от вшей. Освещенные клопы — ночная тварь — бегали, суетились по гипсу. В ране горящим цветком, похожим на двикий, мохнатый пион, точно яркое семя в цветке, тычинки ли, шевелимые ветром, лезли друг на друга, оттесняли, сминая тех, кто слабее, черненькими, будто у карандаша, заточенными рыльцами, устремлялись туда, в глубь раны, за жратвой клубки червей. Воронка раны сочилась сукровицей, в глуби — кровью, валяясь в ней, купаясь в красном, рану осушали черви.

Парень, из бывших мастеровых или воров-домушников, открыл гвоздем замок на двери перевязочной, мы достали марганцовку, развели ее в тазу, промыли рану, перебинтовали Васю новым бинтом, высыпали в охотно подставленный рот два порошка люминала — и он уснул воистину мертвым сном. Не стонал, дышал ровно и не слышал, какой визг подняла дежурная сестра, утром явившаяся с поблядок.

Припыхтел в «филиал» Владыко. На машине, на трофейной, до блеска вылизанной, прибыла начальница госпиталя, подполковник медицинской службы Чернявская. Тень в тень вылитая начальница из львовского распределителя, разве что телом еще пышнее и взглядом наглее. Брезгливо ступив в нашу палату, отпнув от дверей веник, которым мы ночью сметали с матрацев червей, клопов и вшей, натрясенных из Васиного гипса, она рыкнула на санитарку. Издали, от дверей же, мельком глянула на младенчески-тихо спящего Васю, обвела нас непримиримым, закоренелой ненавистью утомленным взором давно, тревожно и несправедливо живущего человека.

— Та-ак! — криво усмехнулось медицинское светило.

— Вы бы хоть поздоровались! — подал голос кто-то из раненых. — Первый раз видимся...

— Та-ак! — повторила начальница многозначительно, не удостоив ответом ранбольшого. — Самолечением занимаемся?! Двери взламываем! Похищаем ценные медпрепараты! Угрожаем медперсоналу! — Она, все так же держа руки в боки, мужицкие, хваткие руки бывшего хирурга с маникюром на ногтях и золотыми кольцами на пальцах, еще раз прошлась взглядом, затем и сапожками по палате перед опешившим народом. — Вы что, может, приказов не читали? Может, вам их почитать? Почитать, спрашиваю?

— Дак что же, почитайте, — подал голос боец из «львовской артели», Анкудин Анкудинов, друг Стеньки Разина — Сысоева, не одиножды раненый и битый. — Мы слушаем. Все одно делать нечего.

— Кто сказал? Кто?

— Да я сказал! — выступил вперед в мужицкие зрелые лета вошедший, крупный, костлявый боец Анкудин Анкудинов. — Ну чё уставилась-то?! Да я немца с автоматом видел! В упор! Поняла? И я его убил, а не он меня. Поняла?!

— Поняла!.. Поняла!.. — запритопывала в бешенстве начищенным до блеска сапогом подполковница Чернявская и закусил губу.

Вышла осечка. Она уже, видать, не раз и не два ходила в атаку на ранбольшых, сминала их и рассеивала, а затем расправлялась с ними поодиночке предоставленными ей отовсюду и всякими средствами и способами — и все «на законном основании».

— Поняла... — повторила она, обретая спокойную власть. — Тебе, соколик, захотелось в штрафную?

— А ты слышала поговорку: «Не стражай девку мудями, она весь х... видала»? Грубовато, конечно, но ты, сучка, иного и не стоишь, вместе со своим закаблучником замполитом и ворьем, тебя облепившим. Госпиталь этот фашистский мы те припомним! Сколько ты тут народу угробила? Сколько на тот свет свела? Где Петя Сысоев? Где? — я тя спрашиваю.

— Какой Петя? Какой Петя?

— Такой Петя! Друг мой и разведчик, каких на фронте мало.

— Мы тысячи! Тысячи! — слышишь ты, выродок, — тысячи в строй вернули! А ты тут с Петей своим! Такой же, как ты, бандит!

— Бандит с тремя орденами Славы?! Со Звездой Красной, добытой еще на финской?! С благодарностями Иосифа Виссарионовича Сталина?! Бандит, четырежды раненный!.. Бандит, пизданувший немецкого полковника из штаба, с документами!.. Это ты хочешь сказать?! Это?!

— Не имеет значения! Мы еще разберемся, что ты за птица!

— Не зря, видно, говорится в народе: «Жизнь дает только Бог, а отнимает всякая гадина», — поддержал Анкудина пожилой сапер, встрял в разговор и Борька Репяхин:

— Разбирайтесь! Мы тоже тут кое в чем разберемся! Узнаем, кем вы на эту должность приставлены! Может, Геббельсом?..

— Заговор, да? Коллективка, да? Н-ну, я вам покажу!.. Я вам... — Начальница госпиталя круто повернулась и ушла, хлопнув дверью.

Владыко, топтавшийся сзади нее, облитый потоками пота, повторявший одно и то же: «Товаришшы! Товаришшы! Что такое? Что?» — остался в палате, потоптался и сокрушенно сказал:

— Ну, товаришшы...

— А ты, лепеха коровьего говна, вон отсюда, — рявкнул Анкудин Анкудинов, — пока мы тебя не взяли в костыли!..

Владыко будто ветром смело. Анкудин Анкудинов заметался по палате, сжимая кулаки, выкрикивая ругательства. Остановился, спросил у Борьки Репяхина, не осталось ли выпить. Прямо из горла вылил в себя полбутылки самогона, отплюнулся, закурил:

— А, с-сука! А-а, тварь! Наворовалась за войну, ...блась досыта! Крови солдатской напилась и права качает! А-а-а... — обвел взглядом всех нас. — Не робей, братва! Хуже того, что есть, не будет. Оне молодцы супротив овцы!.. — С этими словами Анкудин Анкудинов упал на матрац, уснул безмятежно и проспал до самого обеда.

Глядя на Анкудина, мы тоже позаползали на постеленки, чуть отодвинувшись от Васи-саратовского, чтобы не задеть его, да и тоже устало позасыпали, и тоже проснулись в обед. Васю добудиться не могли, суп его и кашу поделили. Пайки хлеба, уже четыре, и пакетик с сахаром положили над его изголовьем на подоконник.

\* \* \*

И ничего не было! Наоборот! Стало мягче и легче. Сестра, что дежурила в ту ночь, была уволена из госпиталя «за халатное отношение к своим обязанностям», как гласило в приказе, подписанном подполковником медицинской службы Чернявской, замполитом Владыко и еще кем-то. Чаше нас стали осматривать и выслушивать. Ночью теперь должен был неусыпно бдить в «филиале» дежурный врач, свежих бинтов подбросили, кормить лучше стали.

Но госпиталь в станице был уже до того тоже болен, запущен, ограблен и «самостиен», что сделать с ним что-то, поставить его на ноги было невозможно. Под видом того, что советским детям нужна школа, госпиталь решено было все-таки расформировать, о чем ходили все более упорные слухи, и, наверное, подполковник Чернявская переведена была бы в другой госпиталь, получила звание полковника, может, и генерала. После войны где-нибудь в «генеральском районе» — под Симферополем, на берегу водохранилища — выстроила бы дачу, вырастила и вскормила одного или двух деток. Отойдя от военных дел, ездила бы как ветеран на встречи с другими ветеранами войны из санупра, увешанными орденами, целовалась бы с ними, плакала, пела песенки «тех незабвенных лет».



\* \* \*

До столкновения с высокопоставленной медицинской дамой жизнь наша развивалась так.

Как только нас помыли, или «побанили», как тут эта процедура называлась, в полутемной, сырой комнате едва «живой» водой — «дров нэма, дрова уворованы, для самогонки», — пояснила нам словоохотливая истопница — заковали нас в «латы», то есть в гипсы, определили, кому в какой палате лежать, но тут же и оставили в покое, тут же мы поступили в распоряжение Семена Черевченко, который кем-то и когда-то был выбран старшим, скорей всего и не был выбран, скорей всего сам пробился на должность...

Еще молодой, выгулявшийся мужик, неизвестно, когда и куда раненный, со сросшимися по-кавказски на переносье бровями, вроде бы никогда никуда не спешащий и все же везде поспевающий, все и про всех знающий, не помощник, просто клад тихоходному и тугодумному Владыко был этот нештатный руководитель. За полтора года своей деятельности он достиг того, что в «хвилиале» в основном остались на долговременное лечение одни только «братья» — шестерки, наушники и подхалимы.

Собравши всех нас, новичков, в одну большую палату и рассадив подле стен, Черевченко сделал короткую, зато очень внушительную информацию:

— Госпиталь действительно был «хвашистский». Несколько человек после ухода немцев и отъезда ихнего медначальства из госпиталя были удалены, судимы — для примера расстреляны. Младший же персонал как работал и где работал, так и остался, бо дэ узяти других. Рентгенолога, наприклад, лаборантку, або аппаратчицю, або повара? Уборщицю в станицы знайдэш, санитарку знайдэш, навидь качегара знайдэш — специалиста дэ узяти?..

Население Хаскуринской с немцами жило дружно, боялось фашистов, потому и почитало, родяньских же червоноармейцев воно презирае за бедность и слабохарактерность — при случае досаждает, даже мстить, чаще усего трыпером, по выбору портя бойцов, совращая молоденьких, ще не знающих, куда вона комлем лежить...

Было несколько самоубийств, три хлопца утопились в реке, один на гори, на чердаке, значит, бинтом задушивсь. Другий, молодой охвицер з центрального территория, спиймав того трыперу, из утаенного пистолета забив тремя пулями заразну блядь, сам пийшов до саду и тэж пустыв соби пулу у рот...

— Такэ молодехонько, такэ нэжно ж хлопчику було. Романы читал та стишки в самодеятельности декламиривал, — вздохнул кто-то из помощников Черевченко. — Колы хоронялы того охвицера-хлопца, уси плакали.

Черевченко скорбно подождал, не перебивая помощника, и продолжал в том духе, что «сыхвилису» в станице, слава Богу, нет и колы хто завиз его со Львова, або з закордону, вид тых блядей-паненок, хай сразу сознається и лечиться, бо приговор один: того «генерала з червоной голивкою» раптом сказнить и його блядь сифилисную спалить у хати и разом з хатою, щоб пид корень, щоб ниякой заразы нэ було, щоб нэ косила вона людэй, потрибных хрнту...

Далее Черевченко рассказал, как и какими методами здесь от триппера лечатся, «бо його так багато оставили фашисты, шо потрибна бэзпощадна, бэзкомпромисна боротьба». Значит, поставлено так: «Якщо у якої бабы чи дивчины хлопць з госпиталю побував та добыв ту заразу, то до тої хаты, до тої бабы, або дивчины идэ бригада хлопців и вимагае контрибуцію!» Нет денег — конфискует имущество или живность какую продает населению и на вырученные деньги покупает сульфидин и стрептоцид у тех же работников медицины, «бо вны ще при нимцях, да поки наши не прийшли, уси мэдпрепараты пораз...дили».

Никакой партизанщины, никакой самостийности более не допускается — самоубийства прекратились и порядок в станице наведен. Во всяком случае,

когда к трипперной бабе или дивчине приходит бригада хлопцев, она голосит, но гроши, «колы нэма грошей, имущество виддае» без сопротивления, почти добровольно.

— Что бывает с теми, кто нарушает законы коллектива и действует попартизански, самостоятельно? — примерно так, с четкостью законника, сформулировал вопрос будущей юрист Борька Репяхин.

Черевченко поглядел в его сторону, выдержал значительную паузу, как и полагается на широком общественном собрании:

— Робыло в «хвилаале» такэ молодэсэнько, такэ румьянэнько, такэ жопастэнько существо, пид назвою Воктябрыночка. Воно помогало санитарке — маме Хвеодосье, шо допиру сыдыть ничью пид двирью та голосыть, щоб уси мы подохлы. Чому Хвеодосья так голосыть? Почекайте. Воно, то румьянэнько, то жопастэнько вэртыться по госпиталю, кашу раздае та кружки, та тарилки з ложкамы по палатам носыть — до судна й до утоки мамо Воктябрыночку нэ допускае, чисту ей работу шукае. Вона, та Воктябрыночка, ше при нимцах маме бесплатно зпомогала зарплату и паек вже наши ей далы и у штат зачислылы. Нимци Воктябрыночку в Эмму перейменовалы, бо им тяжко, а може и не хотилось вымолвлять революційно имья. Нимци ж ту Эммочку за колечки та за шоколадки, та за тряпки и усяки цацки драли у сараи, за сараем и дэ тильки можно. А мама усе порхае, як курочка квочче: «Моя доня! Моя крапонька! Моя мыла дытыночку! Мой билый мотылечечку...»

Нимци втиклы. Той мотылечечек запорхав перед червоною армиею, но никому ж, курва, нэ дае, хронту нэ помагае. У хлопцев вид мотылечку кальсоны рвуться, воны плохо сплять, бэз аппетита кушают. Шо таке? Шо за крепость така, шо нэ здається? Мабуть, ий гроши, колечко золотэ, бусы, авторучку? А у кого вни е? Кто мог, ше дорогою реализовав. Да ничего нэ берэ мотылечечек, никому нэ дае! Во блядь так блядь! Но дэ е та сила, щоб пэрэд червоною армиею устояла? У Европи такой силы нэмае! Мабуть, у Амэрици, або у Японии? Придэ час, провирымо. Ею, тою крепостью, заводив сибирака под хвамилии Бэзматэрных. Такой сэрьезный хлопец, мовчун, танком пид Курском на таран ходыв. «Тигру» пидмыв. Та нэ просту «тигру», а якусь особого, небаченно — страшенного панцырю — усього чотыри таких було пид Курском! Так шо йому та Воктябрыночка?! Протаранив! И мовчить. Дэнь мовчить. Два мовчить. Нэдилю мовчить и усе до сортиру сигае. Потим спать сибирака перестав, потим матэритыся почав, скризь зубы: «Ну ж я им устрою Курску дугу! Таку мисть знайду — уся Кубань содрогнеться!»

Сибирака слов на витер нэ кидает! От, бачьте гам, содом! Бушует Хвеодосья, мамо Воктябрыночки. Вытрибуе Бэзматэрных на суд. Вин и ухом нэ вэдэ, лэжить, кныжку читае пид назвою «Как закалялась сталь». А Хвеодосья шумыть: «Зараза кругом! Мэни тим трепаком знагорадыв той герой — сибирака, щоб ему грэць! Я баба честна! Первщий раз за войну дала — и зараз лезуртат маю».

Поднявсь той сибирака Бэзматэрных з матрасу, потянувсь, зивнув, у бой зибрався... Во вытримка! Во стийкисть! Выходить у коридор, та як рывкнэ на Хвеодосью: «Нэ гомоны!» — вона и заткнулась! А вин так з расстановкою, як у суду, каже: «Пиды до своей дочки, до мотылька того, и поблагодары ии за нагороду: вона — мэни, я — тоби, — у нас же ж держава братьска, усе пополам...»

Ну, такого гэроя швыдко у строй звэрнулы, нэдавно у газэти було, шо вин ше когось протараныв, йому Золоту Зирку далы!.. Йому б ии раниш далы, та вин начальства нэ слушае, пье, собака. Устав нэ почитае...

На этом информация и собрание закончилися — начался обед. Но после обеда, когда Черевченко отлучился из госпиталя по делам, его помощники общили много любопытных вещей и про него, и про дела, им творимые. Та же бригада, что наказывает грешниц баб, состоящая из отлынивающих от фронта

бойцов, начала ходить в поля и из бункеров комбайнов или прямо из куч уносить, а то и с помощью станичников «исполну» увозить зерно, забрасывая его в известные им хаты. Заквашивается самогонка и ночью же где-нибудь ломается забор, тын, сваливаются старые телеграфные столбы на дрова, «бо з дровамы здись цила проблема», и начинается производство самогонки.

Потом, опять же в определенных хатах, собираются бабы, ранбольные на бал, начинаются песни, танцы и все, что дальше, после гулянки, полагается.

Новички чему-то верили, чему-то нет — уж больно райское житье было обрисовано. Но явился Черевченко, поставил средь пола кухонный немецкий термос, полный свежайшего, еще с теплинкой самогона, дал всем попробовать и оценить качество, после чего началась «художественная часть», главную роль снова на себя взял Черевченко.

Он поставил стул, на стул — кружку с самогоном, взялся за спинку стула, откинул длинно отросшие черные волосы пятерней назад. Старики хохлы ерзали от нетерпения и, заранее радуясь потехе, голосили: «Що щас будэ! Ой, хлопци, що щас будэ!»

— Вэльский украинский поэт Котляревский! Эпохальна и безсмертна поэма «Ви-с-сна!», — объявил Черевченко и смолк, пережидая треск аплодисментов, которыми его наградили старожилы, уже не раз и не два слушавшие «бессмертное произведение». — Эпиг-раф! — продолжал Черевченко. — «Усяке дыхання любить попыхання», — и снова вежливо переждал аплодисменты уже наэлектризованной публики:

Висна прийшла, вороны кричуть,  
Що населяли тьхий гай.  
Вид вутому кругом все стогнэть, скачэть,  
И увязь рвэ в хлеву бугай...

На этом вступительном четверостишье все «приличное» в «Весне» кончалось, далее шла поэма на тему, примерно означенную в озорной и короткой русской поговорке: «Весною щепка на щепку лезет». У «вэльного украинского поэта Котляревського» это звучит почти так же: «И тризка лизе на сучок».

Будучи молодым и востроухим, я ту довольно длинную поэму запомнил наизусть, немало потешил ею в свое время разный служивый народ, но, занятый послевоенной битвой за жизнь, за давностью лет, также в отсутствие практики почти забыл «бессмертное-эпохальное произведение» — поэтическое детище солдатских казарм, тюремных камер и разных тесных мест, где «массовая культура» так любит процветать.

\* \* \*

И хотя погода по-прежнему стояла золотая, все умеющие ходить и ползать ранбольные дни напролет проводили во дворе, в саду, кто и подле речки — все равно время тянулось нудно и по-прежнему почти никакого лечения не велось.

Ропот, конечно, ругань, нежелательные разговорчики. Заводил их обычно Черевченко или его подручные, напирая на то, что как раз немецкий порядок нам не нравится и мы его не только не приняли, но и порушили, гоним немца в хвост и в гриву, «до дому, до хаты», значит, нам ничего другого не останется, как жить при советском бардаке, терпеть его и умело им пользоваться. Как бы между прочим штатные госпитальные «братья» и кубанцы-молодцы со смешками и ужимками поведали, какой в Хасюринской странице был молодой, однако мозговитый немецкий комендант. Прибегала к нему девка, бух в ноги, жалуется: местный удалец обрюхатил ее, но жениться не хочет. Комендант вызвал прелюбодея, поставил на колени подле комендатуры и порол его плетью до тех пор, пока тот не дал добровольное согласие жениться на любимой невесте. А то еще было: за Кубанью есть широченная, необъятная бахча и кто только не пользовался ею при Советах, кто

только с нее не ташил и не вез! Немецкий комендант содержал при себе небольшой штат из местных казаков: он-де не может отрывать солдат фюрера, нужных фронту, это большевики могут себе позволить иметь в тылу тучи бездельников и воров, у них в стране население сто восемьдесят миллионов против восьмидесяти германских! Так вот, немецкий комендант велел по всем четырем углам бахчевого поля поставить по виселице и заявил, что каждого, кто украдет арбуз, он вздернет самолично!

И ни одного плода не пропало. К полку-то близко подходить боялись громодяне, не только что красть. Ценный опыт того смышленного коменданта был распространен по всем бывшим социалистическим полям, о чем я уже сообщал в одной из своих повестей.

«И правильно! Пусть орду этот будет, мать его так, вещь у нас необходимая. А то вон пшеницу гребут с полей, кукурузу пообломали еще неспелую, сады обтрясли, помидоры на кустах обобрали, картошку в поле которую вырыли, на которую чушек напустили. Все пьют, блядуют, госпиталь этот расхристанный какой пример подает?!» — роптали и ругались станичники.

Развлекали ранбольные друг дружку, как могли. Один гренадер с насковзь пробитыми легкими курил, и дым валил у него со спины из-под гипса — это ли не потеха! Кто ушами шевелил, кто выпердывал целый куплет здешней любимой песни «Распрягайте, хлопцы, коней», но рекордсменом потех был редкостный человек и неслыханный боец, умеющий носить полный котелок воды на совершенно озверевшем, огнедышащем члене, — толпы собирал этот фокусник, по национальности грек, заверявший, что для греков этакая штука — рядовое явление.

\* \* \*

Но все же основные развлечения среди горемык, изнывающих от безделья, были разговоры про фронт, про баб, особенным успехом пользовались анекдоты и рассказы женатиков про женитьбу и про то, как немилосердно, наповал сражали «ихого брата» смелые, находчивые и хитрые истребители женского пола.

Большинство тех баек окажется пустой болтовней, брехологией, сочинениями людей не особо гораздых на выдумку, но кто не хочет — не слушай, другим слушать не мешай. И не мешали, слушали, давили горе и боль изгальным смехом, потехами и юмором, нисколько, впрочем, по качеству не уступающим тем развлечениям, что показывают ныне трудящимся по телевизору во всем мире и у нас в России тоже никому в потехе тюремного и казарменного свойства не уступят.

Ох уж эти потешки солдатские!

Не то молодой, не то старый танкист с одной бровью, с одним ухом, с одним глазом и с половиной носа — вторая половина лица залеплена лоскутьями чьей-то кожи, оголенный глаз, без ресниц, жил, смотрел как бы совсем отдельно от другой половины лица, словно бы сляпанной из розового пластилина. Был на восстановленной половине лица кусочек кожи, на котором резво кучерявились черные волосы. Орлы боевые, веселясь, внушали танкисту, что заплатка, мол, прилеплена с причинного бабьего места; и как только в бане мужик путевый к танкисту приблизится — щека у него начинает дергаться, волосы на заплате потеют. Танкист этот, страдающий еще и припадками, не только потешал хлопцев смешной щекой, он еще, заикаясь, высказывался: в этом госпитале, дескать, жить еще можно, тепло здесь пока, жратвы досыта, воля вольная, вон они, танкисты с третьей гвардейской танковой армии, жженые, битые, мотались-мотались в санколонне, их нигде не берут — госпиталя переполнены, но санколонне-то надо быть в определенный час на определенном месте, иначе начальника колонны на передовой застрелят — там свой суд и порядки свои! Он придумал «ход», не раз, видать, испытанный: взял и возле одного госпиталя во дворе выгрузил раненых, аж сто пятьдесят штук, подорожные под них подсунув.

Все раненые мужики — горелые, разбитые дальней дорогой, — как колонна машин смоталась, в голос плакали. В госпитале сжалились над ними, растолкали по коридорам, перевязочным, санпропускникам, изоляторам. И, конечно, пока дополнительно выхлопотали под новых раненых паек, медикаменты, имущество, сто пятьдесят тех штук существовали за счет других раненых, при том же медперсонале, при тех же объемах помещения и средств оплаты труда. Кому такое понравится? Ругали, крыли, долго «чужими» считали танкистов и обращались с подкинутыми соответственно.

За танкистом сапер в разговор вступил, сперва долго мосты и переправы материл, затем тех, кто его в саперы определил. Обезножил он еще на Днепре, бродя осенью в холодной воде дни и ночи, кормят же при такой тяжелой работе — по скудной норме жиров и мяса дают, как тыловикам. «Все вон, послушаешь, бабушкиным аттестатом удачно пользовались, и мы пользовались, когда время поспособствует, да какое у сапера время? На одной картошке поработай, потаскай бревна, железо и всякие тяжести... Поносом замажись саперы. Все эти хваленые переправы задристаны, заблеваны саперами да ихой кровью залиты. Хваленая водка не греет — ее, милую, пока до сапера довезут, поразбавляют в бочонках так, что она керосином, ссакой, чем угодно пахнет, но градусов в ей уже нету»...

— Вон, то ли дело летчики! Им и чеколады, и водка, и мясо — все!

Нашелся человек из авиации. Не завидуйте, сказал, нашей жизни. У всех у вас есть главное — земля под ногами. А там? Там бывали такие моменты, что согласился бы все бревна перетаскать, середь льдин плавать и бродить, одной картошкой питаться, только чтоб она, земля родимая, под ногами была, но не гибельная пустота...

Привыкшие на передовой, в своих частях, при своей братве к свободе слова, калякали бывшие вояки о том да о сем, и начинали их в центральное помещение «на процедуры» вызывать.

К начальнику особого отдела, который «на свет» не показывался, жил в Краснодаре и в Хасюринскую наезжал раз в неделю — для «профилактической работы». Видимо, танкист, которому уже нечего было терять: никуда он уже не годился, надерзил надзорному начальнику — и в несколько дней был комиссован домой, в Пензенскую область. Остальные говоруны попримолкли, косились на Черевченко, на его сподручных, сулились, как поправятся и сил накопят, выковырять ему вилкой глаз или язык выдернуть. Он удивленно, панибратски лип ко всем: «Та що вы, хлопцы?! Та я... Та тому начальнику!..»

Анкудина Анкудинова никуда не вызывали и вообще больше ничем не тревожили. Зато он вызвал Черевченко за сарай и зачем-то прихватил меня. Там, за сараем, он вынул из-за пазухи финку с фасонной наборной ручкой, проскоженной двумя позолоченными полосками, и с позолотой на торце лезвия. Финку эту на виду у всех Анкудин точил об кирпич несколько дней и, когда вынул, предложил Черевченко попробовать острие.

— Нет, не пальцем! — сказал он Черевченко, охотно дернувшемуся рукой к ножу. — Языком! — и повторил с обыденной интонацией: — Длиннен он у тебя больно, другой раз ополовиню.

\* \* \*

После того, как мы узнали, что Анкудин с Петей Сысоевым дюзганули немецкого полковника, пристали с расспросами, как да что было. И Анкудин, сперва неохотно, затем разойдясь, рассказал, что на фронт ушел добровольцем в сорок еще первом, с горноалтайских серебряных разработок, где трудился после окончания техникума мастером. Там и свела судьба их с Петей Сысоевым. Вместе они и в военкомат ходили, вместе на десантников учились, вместе и в тыл врага были брошены, вместе из окружения уходили, какое-то время партизанили. Потом их на этого разнесчастливого полковника охотиться заставили, и неделю они его, суку, взять не могли, целым развед-



отрядом ползали на брюхе — не подступиться было. Командованию же нашему надо было знать точно о начале контрнаступления противника на Вяземском направлении. И вот дождалось того, что из немецкого штаба группы армий поступили бумаги и планы. Полковник тот, мать бы его растуды, выехал на передовые позиции, причем не в село либо в город, неподалеку от фронта которые, а прямоком в окопы, чтобы из рук в руки передать схемы дислокации и приказы полевым командирам.

Тут-то, выполнив задание, проведя оперативное совещание с командирами передовых подразделений, полковник позволил себе расслабиться, выпил, ему поиграли на мандолине, он попел и остался спать в одном из блиндажей штаба полка. Двое часовых у входа в блиндаж. Наверху — патруль, в траншеях — сторожевые, за траншеями, ближе к нейтральной полосе, — боевые охранения ракетами пуляют — не очень-то разгуляешься.

Но зима, холод — союзники разведчика! За полночь вызвездило, звонко стало от мороза, задымили все блиндажи, землянки и траншеи у немцев на передовой.

Вот и удача: побег один часовой за дровами, начал в минометном «дворике» ящики ломать, винтовку, конечно, в сторону отложил. Тут его и пристукнули, тут с него каску сняли, шинеленку и все это на Анкудина напялили. Набрал он беремя дров, спешит дорогого полковника-тыловика обогреть. Второй часовой и охнуть не успел, как ему пасть заткнули и прикололи его, чтоб не дрыгался. С полковником тоже все обошлось. Спал он уже крепко на топчане, укрывшись одеялом. Петя Сысоев разбудил его и говорит: «Гутен морген!» — к горлу ему финку, теперь уже по-русски: «Только пикни, сволота!» — и вот ведь что делает власть над человеком, кураж этот проклятый, вяжут они полковника, снаряжают в путь-дорогу и того не видят, что в темном углу блиндажа, зажавшись в землю, затаился немчик-холуй с ножом своего господина, имеющим фамильный знак. Он лучинки щепал и в печурку подкладывал, чтоб господину хорошо в тепле спалось. А тут эти тени вместо болвана часового, которому он, холуй, приказал принести дров, и тот еще ворчал что-то, не хотел идти. Но холуй пообещал ему дать возможность погреться в штабном блиндаже, возле печурки, часовой и пошел за дровами...

Холуй не то чтобы очухался в углу, за печуркой, холую просто страшно за своего господина, которого валяли, давили на топчане жуткие привидения, господин хрипел, выкашливал что-то. Тонко взвизгнув, почти не глядя, холуй сунул обеими руками нож в мелькавшее перед ним привидение, бросился из блиндажа, но уже в проходе был уронен ребятами из группы захвата, тут же и придушен. Широка спина у Анкудина Анкудинова — не промажешь, нож торчал под лопаткой. Пока разведчики смывались с фашистской передовой, пока миновали боевые охранения, потом и зону заграждения, у Анкудина натекли полные валенки крови, замокрело и клеилось в штанах, он упал на снег: «Не могу! Братва-а-а... не могу...»

Полковника волокли на саперных салазках, грубо сколоченных из неструганных досок. На салазках немцы подвозили мотки колючей проволоки и колья. Петя Сысоев сдернул полковника с салазок, бросил на них свою шинель, опрокинул на салазки друга Анкудина Анкудинова, сверху на него навалил полковника, прихватив раненого чьей-то обмоткой и ремнем, прошипел полковнику: «Грей, сука!» — и разведчики снова рванули к своим траншеям, подальше от света ракет, от густеющего немецкого огня, от слабеющего треска ручного пулемета и автоматов группы прикрытия.

Петя Сысоев не велел вынимать из спины Анкудина нож, так поступают охотники, и наваленный на него сверху полковник своей тяжестью пропорол русского разведчика насквозь. Анкудин Анкудинов уже не помнил, когда оказался в траншее, затем в медсанбате.

Анкудину Анкудинову и Пете Сысоеву сулили звание Героя Советского Союза за того полковника, но взяли его все же поздно: за оставшиеся до

наступления часы командование фронта успело подбросить на передовую лишь кое-что и малость укрепиться, немцы скоро прорвали оборону первой линии, на второй противник нарвался на более или менее организованную оборону, упорное сопротивление. Контрудар, так секретно готовившийся немцами, был сорван, и за это дали звание Героя начальнику разведотдела дивизии и замполиту пехотного полка, который будто бы самыми умными советами обеспечил выход разведчиков с языком.

Само собою, ни того, ни другого Героя разведчики в глаза не видели и узнали о их подвигах из газет. Оставшихся в живых разведчиков наградили орденами и медалями, наиболее же отличившихся Петю Сысоева и Анкудина Анкудинова — вторыми орденами Славы, затем и третьими, однако ж и еще одну награду получил Анкудин — эмфизему левого легкого и время от времени открывающееся внутреннее кровотечение. Таежное поверье, усвоенное Петей Сысоевым от алтайских охотников, что не надо вынимать нож из свежей раны, коли вынул, рану чем-нибудь затыкай и перевязывай, иначе кровь через нее утечет, — поверье это дорого стоило Анкудину Анкудинову: он послабел силой, кашлял кровью, «маялся нутром», но был еще несгибаем духом.

Он заставил лизнуть лезвие ножа госпитального сексота, ножа, как я догадался, вынутого из тела своего, с тем самым старинным фамильным германским знаком какого-то знатного, древнего рода вестфальцев или пруссаков, на протяжении всего своего воинственного пути украшающих себя, дворцы свои и древние замки оружием и от веку бряцающих оружием перед ошарашенно-трусливой Европой.

Рот Черевченко наполнился кровью. Поглядев на желтоватое скуластое лицо Анкудина, брезгливо вытирающего лезвие ножа листом подорожника, он сплюнул кровь, зажал рот левой рукой, правую поднял до «горы», что означало: «Я все понял!»

— Иди! — сказал Анкудин Анкудинов тихо, увесисто. — И засыпь свою поганую пасть стрептоцидом!.. Иль попроси парней насрать в нее — моча всякую заразу обезвреживает.

\* \* \*

Дня через три мужики пили «отвальную». Анкудина Анкудинова направляли в Москву, в какой-то специальный пульманологический госпиталь. Ребята подумали, что под таким мудреным названием скрывается тюрьма или лагерь какой, но Анкудин успокоил ранбольных, сказав, что это в самом деле госпиталь, и госпиталь непременно хороший, в плохой его более не пошлют...

И все же печален был Анкудин Анкудинов, печален и трезв. Выпивка не брала его, да и почти не пил он, только прикладывался к стопке. Гуляли мужики в избе госпитальной лаборантки. Анкудин Анкудинов ходил сдавать ей кровь на анализ и «разговорился». Лаборантка Лиза уже входила в серьезное, кубанское тело, но еще вовсе не растолстела, еще швы не расходились на ее платье, белые волосы, закрученные в валы на шее и подле висков, придавали ей моложавости, она казалась чуть перезрелой, но все еще легкомысленной аппетитной пышечкой, хотя и проскальзывало в ней порою отчуждение, взгляд делался холодновато-тоскливым, сдавалось тогда, что смешливая бабенка эта — себе на уме.

Лиза мимоходом, будто вскользь, взглядывала на Анкудина Анкудинова, подкладывала ему в тарелку что повкуснее и подливала в рюмашку. Бывший разведчик вел степенный разговор, но успевал поблагодарить подругу за внимание. Еще в вагоне я заметил, что пил он мало и аккуратно. Но как-то уж так получалось, что он вроде бы все время активно участвовал в застолье, был его центром и главой. Уж не старообрядка ли Фекла научила его этому ненавязчивому, исподволь происходящему чувству собственного достоинства? О

Фекле своей Анкудин Анкудинов рассказывал охотней, чем о подвигах на войне. Немало мы посмеялись, слушая о том, как, еще будучи студентом-дипломником, на практике, где-то на границе Алтая с Монголией, он откопал утаенное старообрядческое село и увел из него синеглазую, белолицую девку, крестившуюся двуперстием, знавшую грамоту по раскольничьим книгам.

Принесла она с собой в дом Анкудиновых медный складень, прибила его над кроватью, молилась по три раза на дню, пока дети не пошли. Норму молитвы она сбавляла по ребятам: родился первенец — по два раза молиться стала; родился второй — по утрам или вечером, да еще по святым праздникам. Анкудиновы-старшие, державшие на стене портреты Сталина, Ленина и Карла Маркса, терпеливо и настойчиво перевоспитывали невестку, но успеха не имели. Более того, начали задумываться над передовыми теориями, и выходило, что как Карл Маркс с Фридрихом Энгельсом, как и старообрядка-невестка стоят за честную, справедливую и чистую жизнь, без воровства, прелюбодейства и всякой наглости, только — по передовой теории — властвовать и царить могла лишь диктатура пролетариата, и эта диктатура должна вырвать под корень, «до основания» всех, кто с нею не согласен, потому уж: «Мы наш, мы новый мир построим...» Стало быть, здание нового мира, как и тысячу лет назад, счастье народное, опять-таки, как ни крути, создавалось с помощью насилия. А вот невестка в молитвах призывала к терпению, покорности судьбе, согласию людей во всем, кроме «чистой» веры. Да кабы только призывала?! Призывать-то и сами Анкудиновы горазды были, подрали в молодости глотки, чаще всего орали неизвестно зачем и призывали, не понимая, к чему.

Невестка делала добро и работу не торопясь, без крика и все же везде поспевая и постепенно овладела домом Анкудиновых, стала его главой и предводителем. Бывшие горлопаны-партизаны и партийцы — старшие Анкудиновы охотно свалили на Феклу все хозяйство, сами подались было в общественники, чтобы выступать на собраниях и во время выборов не только с пламенным словом, но и с концертами. Дед Анкудинов рокотал непримиримо: «Под тяжким разрывом гремучих гранат отряд коммунаров сражался!..» И когда наступал черед хору сомкнуть рты и только однотонно мычать, в действие вступала бабка Анкудиниха. «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем!» — верещала она, и аж горло у людей стискивало — вот как здорово у них получалось!

Но как война началась, стало не до хора и не до декламаций. Отец снова спустился в рудник, чтобы золотом крепить оборону страны. Анкудиниха, маявшаяся грудью, засела дома, с ребятами. Невестка же ломилась на социалистических полях колхоза «Марат», вышла в бригадиры, мать жаловалась в письме: научила всю бригаду не только честно и ударно работать, но и молиться за упокой убиенных на войне, за здравие живых, ее, Анкудиниху, тоже допекла, понуждает кланяться, каяться в грехах, окрестила ребятишек — недопустимый срам! — заставляет носить на шее крестики и в вере своей как была нестигаема, такой и осталась, пожалуй что даже и неистойей с годами сделалась, и она, Анкудиниха, уж думает иногда, что некоторым коммунистам, окопавшимся по тыловым колхозам, приискам и лесам, не мешало бы у невестки Феклы кой-чего и в пример взять.

Лиза нависла на плечо Анкудина, он ее не згонял, но, усмехаясь, говорил:

— Ох, будет мне от моей Феклы баня. Будет!.. — сморщился: — Покаяться ведь заставит!.. Да не хмурьтесь вы, хлопцы, не переживайте за меня. Было б за чё ухватиться, они б меня тут же схарчили! И вы живите так, чтоб не за что ухватиться, не потому что извилисты, скользки, а потому что прямы. Надо жить так, чтобы спалось всегда спокойно. Это главное. Но мандавошка та, с белыми непорочными погонями, все ж кой-какую разруху произвела в моей душе. Да и не она одна... Тысячи вернула в строй!.. — Анкудин Анкудинов вдруг взвился, брякнул кулаком по столу: — «Жизнь наша

не краденая, а богоданная», — бает моя Фекла. Они, эти курвы, после войны хвастаться будут. Но это мы, мы сами, сами возвращались в строй, рвались на передовую, со свищами, с дырявыми легкими, в гною, припадочные, малокровные, — потому что без нас войско не то. Потому что без нас ему не добыть победу. Но вот после четвертого ранения я начал задумываться: а может, лучше домой? Меня один раз комиссовали — я не поехал. Я под Курск рванул — как же там без меня?.. Я заработал право ехать домой. Отпустят. У меня легкое не скоро заживет... Это я, сын отца, строившего Сталинск. Сын матери — сплошной комсомолки — начал думать: где мне лучше, а?! Это ж так пойдет — честные люди кусочниками сделаются, у корыт с кормом хрюкать будут... А что с державой будет? Холуй державу удоржит?

— Да успокойся ты, успокойся, миленький! — трясла Лиза за гимнастерку Анкудина Анкудинова. — Я про нее, про эту полковницу, знаю такое, що мы, гулящие бабенки, по сравнению с нею ангелами глядимся!..

— Стоп, Лизавета! Державе нашей много веков уже! И совести нашей срок не малый... А они — косоглазых, глухих, хромых, с гнилыми брюхами на передовую, чтобы себя и своих холуев да деток около себя...

— Говоришь же, сами, сами, а ей, Чернявской, только того и надо. Немцы говорили, сын Сталина, Яков, поднял руки до горы. Сталин за это не себя в тюрьму, родителей жены Якова... — сощурилась Лиза на Анкудина Анкудинова. — Ловко, правда?

Анкудин нахмурился, потер рукою лоб, окрапленный мелкими каплями:

— Постой, Лизавета! Ты к чему про Сталина-то?

— Да просто так, к слову пришлось. Уж больно ты правильный, и Сталин твой правильный, а немцу пол-России отдал, немец Кубань ржой поразил, до Кавказа добрался, народу тьма погибла, да еще спогибнет сколько! Друг друга со свету сживаете. Подполковница Чернявская, блядь отпетая и воровка, тебя готова сырым слопать, а ты за спину своей Феклы спрячешься, в святом углу. Совести Феклы на всех хватит, ее совести тыща лет. Спасе-о-о-отесь!

— Ты чё, Лизавета, на скандал прешь? Так не ко времени и не к месту. Хлопцы вон молодехонькие, рты пооткрывали. Корму ждем или страшно слушать, хлопцы?

— Ко-орму!

— А-а, роднюшеньки мои хлопчики! А-а, воробышки с тонкими шейками! У пуху!.. Не слушайте вы нас, старых дураков! Пейте! Кушайте! Я вас в обиду не дам, не да-а-ам... Анкудин, я знаю, зачем ты их целый табор... Зна-а-аю...

— А знаешь, так побереги!

— Поберегу-у-у... поберегу-у-у...

Поздней ночью с поездом Краснодар — Москва мы проводили Анкудина Анкудинова в Москву. Лиза все время крепилась, шутила, совала кошелек с харчами и бутылку Анкудину Анкудинову, что-то и проводнице сунула, чтоб та хорошо устроила пассажира.

Но как поезд ушел, навалилась Лизавета на мой гипс, растрескавшийся на плече, горько, без голоса, расплакалась. И у провожающих солдат замekli глаза. Я гладил Лизу по волосам, говорил: «Не плачь... не плачь...» А сам мучился, что не спросил у Анкудина Анкудинова про Коломну — не бывал ли он в ней весной сорок третьего года, не ел ли с доходным молоденьким солдатом из одного котелка суп с макаронами, точнее, с единственной, зато уваристой длинной американской макарониной...

На перекрестках военных дорог, в маленьком городке, в каком-то очередном учебно-распределительном, точнее сказать, военной бюрократией созданном подразделении, в туче народа, сортируемого по частям, готовящимся к отправке на фронт, кормили военных людей обедом и завтраком спаренно. Выданы были котелки, похожие на автомобильные цилиндры, уемистые, ухлебистые — словом, вместительные, и бойцы временного, пестрого

военного соединения таили в своей смекалистой мужицкой душе догадку: такая посудина дадена не зря, мало в нее не нальют, будет видно дно и голая пустота котелка устыдит тыловые службы снабжения.

Но были люди повыше нас и посообразительней — котелок выдавался на двоих и в паре выбору не полагалось: кто рядом с правой руки в строю, с тем и получай хлебово на колесной кухне и, держась с двух сторон за дужку посудыны, отходи в сторону, располагайся на земле и питайся.

В пару на котелок со мной угодил пожилой боец во всем сером. Конечно, и пилютка, и гимнастерка, и штаны, и обмотки когда-то были полевого защитного цвета, но запомнился мне напарник по котелку серым, и только. Бывает такое.

Котелок от кухни в сторону нес я, и напарник мой за дужку не держался, как другие, боявшиеся, что связчик рванет с хлебовом куда-нибудь и выпьет через край долгожданную двойную порцию супа.

Суп был сварен с макаронами, в мутной глубине котелка невнятно что-то белело.

Шел май сорок третьего года. Вокруг зеленела трава, зацветали сады. Без конца и края золотились, желто горели радостные одуванчики, возле речки старательно паслись коровы, кто-то стирал в речке белье, и еще недоразрушенные церкви и соборы поблескивали в голубом небесном пространстве остатками стекол, недосгоревшей позолотой куполов.

Но нам было не до весенних пейзажей, не до красот древнего города. Мы готовились похлебать горячей еды, которую по пути из Сибири получали редко, затем, в перебросках, сортировках, построениях, маршах, и вовсе обходились где сухарями, где концентратом, грызя его, соленый и каменно спрессованный, зубами, у кого были зубы.

Мой серый напарник вынул из тощего и тоже серого вещмешка ложку. Сразу я упал духом: такую ложку мог иметь только опытный и активный едок. Деревянная, разрисованная когда-то лаковыми цветочками не только по черенку и прихвату, но и в глубине своей, старая, заслуженная ложка была уже выедена по краю, даже трещинками ее начало прошибать по губастым закруглениям, обнажая какое-то стойкое, красноватое дерево, должно быть, корень березы. Весной резана ложка, и весенний березовый сок остановился и застыл сахаристой плотью в недрах ложки.

У меня ложка была обыкновенная, алюминиевая, на ходу, на скаку приобретенная где-то в военной сутолоке иль вроде бы еще из ФЗО. Как и всякий современный человек, за которого думает дядя и заботится о нем постоянно государство, я не заглядывал в тревожное будущее и не раз и не два был уже объедаем на боевых военных путях, потому что, кроме всего прочего, не научился хватать еще с пылу, с жару. Тепленькое мне подавай!.. Вот сейчас возьмется этот серый метать своей боевой ложкой, которая мне уж объемнее половника начинала представляться, — и до теплого дело не дойдет, горяченькие две порции красноармейского супа окажутся в брюхе. В чужом!

Мы начали.

Суп был уже не впрогоряч, и я засуетился было, затаскал свою узкорылую ложку туда да обратно, как вдруг заметил, что напарник мой не спешит и заслуженной своей ложкой не злоупотребляет. Зачерпывать-то он зачерпывал во весь мах, во всю глубину ложки, но потом как бы ненароком, вроде от неловкости задевал за котелок, из ложки выплескивалась половина обратно, и оставалось в ней столько же мутной жижицы, сколько и в моей ложке, может, даже и поменьше.

В котелке оказалась одна макаронина. Одна на двоих! Длинная, правда, дебелая, из довоенного теста, может, и из самой Америки, со «второго фронта», — точно живое создание, она перекатывалась по котелку от одного бока к другому, потому что, когда дело подошло к концу и ложки начали скрести дно, мы наклоняли котелок: напарник мне — я черпну, наклон к напарнику — он черпнет.

И вот насуху осталась только макаронина, мутную жижицу мы перелили ложками в себя, она не утолила, а лишь сильнее возбудила голод. Ах, как хотелось мне сцапать ту макаронину, не ложкой, нет! — с ложки она соскользнет обратно, шлепнется в котелок, в клочки разорвется ее слабое белое тело, — нет, рукою мне хотелось ее сцапать — и в рот, в рот!

Если бы до войны жизнь не научила меня сдерживать свои порывы и вожделения, я бы, может, так и сделал — схватил, заглотил, и чего ты со мной сделаешь? Ну, звезданешь по лбу ложкой, ну, может, пнешь и скажешь: «Шакал!» Эка невидаль! И пинали меня, и обзывали еще и похлестче.

Я отвернулся и застанными великим напряжением глазами смотрел на окраины древнего городка, на тихие российские пейзажи, ничего, впрочем, перед собой не видя. В моих глазах жило одно лишь трагическое видение — белая макаронина с прорванным, как у беспризорной, может, и позорно брошенной пушки-сорокапятки, жерлом.

Раздался тихий звук. Я вздрогнул и обернулся, уверенный, что макароны давно уж нет на свете, что унес ее, нежную, сладкую, этот серый, молчаливый, нет, не человек, а волк или еще кто-то хищный, мне на донышке котелка снисходительно оставив дохлебывать ложечку самого жоркого, самого соленого и вкусного варева. Да что оно, варево, по сравнению с макарониной?!

Но... Но макаронина покоилась на месте. В тонком беловатом облачке жижицы, высоченной из себя, лежала она, разваренная, загнутая вопросительным знаком, и, казалось мне, сделалась еще дородней и привлекательней своим царственным телом.

Мой напарник первый раз пристально глянул на меня, и в глуби не его усталых глаз, на которые из-под век, вместе с глицеринно светящейся пленкой наплывали красненькие потеки, я заметил не улыбку, нет, а какое-то всепонимание и усталую мудрость, что готова и к всепрощению, и к снисходительности. Он молча же своей заслуженной ложкой раздвоил макаронину, но не на равные части — и... и, молодехонький салага, превращенный в запасном полку в мелкотравчатого кусочника, я затрясся внутри от бессилия и гнева: ясное дело — конец макароны, который подлиньше, он загребет себе.

Но деревянная ложка коротким толчком, почти сердито подсунула к моему краю именно ту часть макароны, которая была длинше.

Напарник мой безо всякого интереса, почти небрежно забросил в обросший седоватый рот беленькую ленточку макароны, облизал ложку, сунул ее в вещмешок, поднялся и, бросив на ходу первые и последние слова: «Котелок сдашь!» — ушел куда-то, и в спине его серой, в давно небритой, дегтярно чернеющей шее, в кругло и серо обозначенном стриженном затылке, до которого не доставала малая, сморщенная и тоже серая пилотка, чудилось мне всесокрушающее презрение.

Я тихо вздохнул, зачерпнул завиток макароны ложкой, допил через край круто соленную жижицу и поспешил сдавать на склад котелок, за который взята была у меня красноармейская книжка.

До отправки во фронттовую часть я все время не то чтобы боялся, а вот не хотел, и все, встречаться со своим серым напарником по котелку.

И никогда нигде его более не встретил, потому что всюду тучею клубился военный люд, а в туче поди-ка отыщи, по-современному говоря, человеко-единицу.

Анкудин Анкудинов так много видел людей на войне и подле войны, со многими едал из одного котелка, спал в одном окопе — где ему всех нас упомянуть?!

Но я помнил и помню его всегда, и когда мне стало плохо, одиноко на Урале, по пути в Красноярск, проезжая по Алтайскому краю в сорок шестом году, я подумал: «Может, сойти с поезда, поискать Анкудина Анкудинова — он поможет, он утешит и ободрит...» — да не решился я тогда сойти с поезда, и, поди-ка, понапрасну не решился.



Но был случай, мне показалось, что в одном алтайском мужике я узнал Анкудина Анкудинова. Мы были на «чтениях Шукшина», проще, без выпендрежа сказать — на поминках по Шукшину. Из Сросток бригадою приехали в зверосовхоз, где смотрели мы на зверьков, беспокойно мечущихся по вонючим клеткам и вольерам, рассказывали «о своем творческом пути» звероведам, восславляли словами Родину, партию, их замечательного земляка — писателя, артиста, режиссера, — которого здесь, на родине, при жизни земляки срамили и поедом ели; ждали автобус в центре поселка, подле магазина, запертого на обеденный перерыв.

Перед открытием возле дверей магазина скопилась кучка народу, что-то должны были «выкинуть» из продуктов — не то постное ма­сло, не то морского мороженого окуня. Появился возле магазина мужик, костлявый и до того исхудалый, что пиджак прошлого покроя морщился на нем и был вроде как с чужого плеча. Лицо мужика было желтоватого цвета, если уж совсем точно — неземного, лицо дотлевающего человека. По глазам разлилась желтизна, и красные прожилки чуть светились волосками, вроде бы в слабого накала лампочке, но были ко всему устало-внимательны. На пиджаке незнакомца в шесть рядов пестрели самодельные колодки и впереди всех и выше — уже выцветшие желто-черные колодки трех орденов Славы, тогда как в остальных рядках колодочек было по четыре. Он поздоровался, проходя мимо нас, устало развалившись на скамье, у которой в середине было выдрано с корнем два бруска подгулявшими удалыми молодцами. Остановившись чуть поодаль от людей и от гостей, незнакомец внимательно нас оглядывал, словно изучал.

— Не уберегли Шукшина-то! — вдруг резко сказал он всем нам разом, и мы, подобравшись, насторожились. — Теперь оплакиваем, хвалим, в товарищии набиваемся? — И опять, подождав чего-то и не дождав­шись, вздохнул: — Эх-эх-хо-хо! Вымирают лучшие... вымирают... А может, их выбивают, а? Худшие лучших, а? Чего ж с державой-то будет?..

Какой-то наш распорядитель от общест­венности совхоза подхватил мужика под руку, отвел его к стеной стоящей подле магазина крапиве, забро­санной стеклом, поврежденными бутылками, окурками, банками и все-таки напористо, даже с озорством растущей. Общественник, рубя одной рукой воздух, что-то говорил раздосадованному мужчине, в чем-то его убеждал. Тот ему не возражал, под конец индивидуальной беседы кивнул головою и более к нам не приставал.

Живые всегда виноваты перед мертвыми, и равенства меж ними не было и во веки веков не будет. Так заказано на сознательном человеческом роду, а роду тому пока что нет перевода.

Мужик с колодками, несмотря на худобу и болезненность, все же очень походил на Анкудина Анкудинова, но я не решился к нему подойти. Снова не решился...

\* \* \*

После того как Черевченко прочел нам бессмертную поэму «Весна» и изрядно подпоил львовский «отряд» самогонкой, он произвел над новичками свой любимый эксперимент, даже два, сказав, что, кто чисто по-украински выговорит: «Я нэ хочу сала исты», тому будет отпущена «добавка». И нашелся хлопец, юный, доверчивый, и сказал выжидательно замершим хохлам: «Я нэ хочу сала исты», — те вперевой радостно рывкнули: «Ишь гивно!» — и повалились на фрицевские колючие мешки, расплюснутые телами и украшен­ные кровавыми пятнами раздавленных клопов. Они дрыгали ногами, стонали, утирали слезы, пытались что-то сказать, показывая на сплеховавшего хлопца, готового вот-вот заплакать. Черевченко налил ему и, когда юноша выпил и утер губы, молвил будто бы ему одному, но чтоб слышали все, сказал со вкрадчивой доверительностью:

— Ничого, ничего! Я тэж на цю гарну шутку купывсь. А скильки хлопцев купылось? Го-о-о... А чи знаешь ты, хлопец... як тобэ? А чи знаешь ты, хлопец Стёпа, що у тых людей, шо занимаються онанизмом, на ладоны волосы растут?..

Хохлы чуть не полчаса замертво валялись по матрацам! Они уж ни хохотать, ни стонать не могли, они только всхлипывали, ойкали, держались за швы на ранах, потому что «хлопец» тут же поглядел на свою почти еще детскую узенькую ладонь. Да кабы он один?! Новички, почти все молодые новички, даже Борька Репяхин — знаток законов, борец за справедливость и за чистую совесть народа — не избежал подвоха.

Детдомовская школа спасла меня от «эксперимента» Черевченко, но я знал кое-что и позанимательней таких «ловких» загадок и дал себе обещание: как маленько оклемаюсь и температура спадет — ткнуть Черевченко носом в такую пакость, что «гивно» его сладким повидлом ему покажется. Анкудин Анкудинов в те же первые дни нашего пребывания в Хасюринском «хвилиале» вместе со своим другом Петей Сысоевым лечился в центральном здании, и заступиться за хлопцев было некому. Но Черевченко был бес и виртуоз в понимании психологии людей, везде знал «край», точнее, чуял предел и свел все дело с рукоблудием к тому, что никакого позора и греха он в этом не видит, отклонения, нарушения нравственных норм тоже — синица в руке все-таки лучше, чем журавль в небе, — что человечество подвержено этой вынужденной, но вполне исправимой порче от роду своего, что половина его, человечества, как раз и погибла, не родившись, именно оттого, что законы всякие навывдумывало, нету у него свободы действий, чтоб кто когда кого захотел, тот того и сгреб, а уж бедным солдатам, тем и вовсе никакого выхода нету, и со временем, когда образовалась армия и казарма, столько выброшено попусту здорового, молодого материала, что если б его собрать в одно место — море бы получилось. Ну, море — не море, озеро Балхаш или Байкал наверняка!..

— И самое главное, хлопцы, вот что запомните, — заканчивая свою наставительную речь, сказал Черевченко, — в Хасюринской все готово к тому, чтобы вас принять. Воны и нимцам давали активно, но будэмо считать, шо воны изматывали ворога, вел з ным безпощадну войну. Туте дывчина, шо усе была себе по брюху, дэ був захован на память фриц, и кричала: «Смерть немецким оккупантам!» — а колы дытына родилась, хотила вморыть його голодом. Но мы самое гуманно в мири вийско, понудылы годуваты дытыну, и такой славненький, такой гарненький птинчик пидрастает! Скоро вже матэриться будэ и самогонку пыты. Але, хлопцы, нияк нэ избегайтэ нашого руководства. Усих хасюринских блядей мы наскризь знаемо, и заразных до вас не допустымо... так купимо бугая?!

— А на х...? — дружно откликнулось собрание.

— А хто коров будэ? Я? Го-го-гоооо! «А-а выпьеммоо за тих, хто командовал р-ротами, хто ум-мира-ал на снегу-у-у...», — рявкнул Черевченко, и спешившие с ним «братья» подхватили так, что звякнули стекла в старой безгрешной начальной школе, посыпались клопы со стен и потолков, бойцы начали плакать и обниматься.

Дежурная по корпусу пыталась унять военную стихию, остановить плач и песню — да куда там?! Братство госпитальное крепло и набирало силу.

\* \* \*

Новички отоспались маленько, отьелись, уехал бунтарь-одиночка Анкудин Анкудинов, и Черевченко занялся нами вплотную.

Дня три по Хасюринской возбужденно шныряли «братья», что-то добывали, таскали, ругали, ругались матерно, за головы хватались, собирали с «беспособных» ранбольных по червонцу. Нам передалось возбуждение, непонимание и страх перед надвигающимся событием — скоро мы пойдем в гости и там «будэ усе». Многие из нас, как показали дальнейшие события, «перекипели», еще не вступив в схватку.

\* \* \*

У этой хаты, у этого подворья был хозяин. Настоящий! Да и не один, в нескольких поколениях. Хата охранялась от небесных сил двумя над нею нависшими дубами, к которым со всех сторон робко липли и никли кленочки, ясени, каштанчик, как бы ненароком затесавшийся в такую компанию, уже густо тронутые желтизной и яркой ржавой осыпью боярышник и сиротливо здесь глядящая рябинка. Все это смешанное меж собою, семейно обнявшее шумное братство обрамлялось с трех сторон оштетиненной стеной акации, давно не стриженной. И хотя тесно было деревьям и деревьям подле хаты, не смели они переступить за охранительную стену, где располагался обширный, наполовину уже убранный огород и фруктовый сад с породистыми, однако шибко запущенными яблонями, грушами, вишенником и гордо, как-то обособленно, на обочине, в ряд стоящими ореховыми деревьями.

От штaketной калитки, с шибко возле скобы вышарканной краской, двумя, тоже давно не стриженными, рядами вела к крылечку аллея из кустов с седым листом и черными ягодами, похожими на сибирский волчатник. По ту и другую сторону крашеного крыльца кругло росли кусты карликовой сирени и желтые да красные цветы, уже домучивающие последние побегии перекаленными, полусасохшими бутончиками и звездочками. Вокруг дома была сделана канавка из дикого, но ровно и хорошо подобранного камешника. Под застрехой этаким сплошным деревянным кружевом лепились изящно сделанные из железа сточные желобки, и концы их, нависшие над канавкой, открыты были пастями игрушечных драконов.

На крыльце и на открытой верандочке, вдоль которой в ящиках росла и тоже домучивала последний цвет усталая от лета и обилия стручков фасоль, толпились женщины, все в ярком, все красивые, приветливо-улыбчивые, кокетливые.

— Милости просимо! Милости просимо! — запели они, расступаясь перед нами. — Мы уж заждались! Ох, заждались!..

На крыльце неуверенной походкой поднимались кавалеры в нижнем белье, с гипсами, точно названными «самолетами», в тапочках или трофейных ботинках, которые и вовсе босые. Но кубанских этих дам ничем уж, видно, было не удивить, они очень быстро с нами управились, приговаривая не без томности и скрытой необидной насмешки:

— О то герои! О то ж гарнэсэнки хлопци! Проходьте! Проходьте! Будь-ласка...

«Браты», по старому и узаконенному уже праву, целовались с «дивчатками», иных звонко, с оттяжкой хлопали по заду, и те, взягивая от боли и страсти, оралы: «Сказывсь!» или, почесывая ушибленное место: «Аж, аж! Синяк же ж будэ, дрэнь!..» Российский говор тоже просекался: «Сперва ручку позолоти, потом хлопай!» И в ответ: «Позолотил бы, да денег нету!»

Черевченко вел себя в этом доме по-хозяйски — целовал и щупал всех «дивчаток» подряд, и они тому были безмерно рады.

Шла словесная разминка, которой надлежало снять напряжение и неловкость первых минут. Я, как всегда в минуты крайних волнений, вспотел и боялся утереться рукавом. Пот катился под гипс, щипал пролежни и разъеденную клопами подмышку. Я жался в тень, прятался за спины бойцов и хотел только одного — незаметно смыться «домой».

Но не у одного меня такое желание гнездилося. Чуткий бес Черевченко, опытнейший педагог и психолог, не дал углубиться нашему душевному кризису, как-то ловко и умело водворил всех в хату — и сразу за стол. Гости, опять же «незаметно», оказались рядом со своей «дивчиной» и почти все поразилась тому, что «дивчина» ему в пару попалась именно та, которая соответствует его душевным наклонностям и вкусу.

Я пока боялся взглянуть налево, где плотно и молча сидела и уже грела меня упругим бедром моя «симпатия». Черевченко вызывал во мне все боль-

ший восторженный ужас — он учел даже то, что правым глазом я не вижу и стесняюсь изуродованной еще прошлым ранением половины лица. Он все и всех учел: кто не может из-за гипса сидеть у стены и ему нужен простор — того на внешний обвод, кому может плохо сделаться — тех ближе к двери и веранде, кто уже сгорал от нестерпимой страсти — того к распахнутым низким окнам, к густеющим ласковым кушам, потому как тесно сидевшим у стены парам можно было выбраться к двери лишь потревожив и согнав с места целый ряд гостей.

Всем уже было налито в рюмочки, стаканы и кружки. На тарелках багровою горою с искрами и кольцами белого лука и гороха высился винегрет, соленые огурцы, красные помидоры, красиво разваленные арбузы, даже студень был и отварная курица, фрукты навалом краснели, желтели, маслянились от сока на столе.

В торце стола сидели двое, он и она, хозяйка и ее «друг» Тимоша, который всем упорно представлялся мужем и хозяином этого дома. Марина-хозяйка не возражала ему, но и не поддерживала особо насчет мужа и хозяина, хотя, заметно было, Тимоше очень этого хотелось.

Оба они достойны подробного и неплоского описания и характеристик. Но время стерло «случайные черты», и осталось в памяти лишь самое неизгладимое, самое стойкое: хозяйка была красива, как все кубанские девицы и дивчины, у которых все на виду: и яркие очи, и румяное лицо, и брови дугой, и алые губы, и косы до пояса, и звонкий смех, и вздорный характер, и легкая, так идущая им глупость, которая годам к тридцати, когда дивчина обратится в жопастую, одышливую «титку», вызреет или взреет в тупость, грубую неприязнь ко всем, прежде всего к своему мужу.

Хозяйка Марина, одетая в однотонное платье салатного цвета, с открытым воротником и прикрепленным к нему спереди сереньким искристым кружевцем, свисающим от горла смятой, инеем убитой бабочкой, была в расцвете лет и женских прелестей, не всякому глазу доступных. «Браты», например, говорили: «И що вин, той Тимоха, у ей, у тии Марины, знайшов?» Тимоха ничего и не нашел, ему и искать не надо было. Его самого нашли и подобрали.

Желтого цвета волосы мягко и плавно спускались на левую грудь Марины и были там и сям прихвачены белыми скрепками, над виском воткнув в волосы цветочек бархатисто-красной настурции с желтой радугой в середине: шла вот по веранде женщина, мимоходом сорвала цветочек, небрежно сунула его в волосы, а он и придиись к месту! У нее были зеленоватые глаза, но, когда она становилась чем-то недовольна и сжимала тонкие, пушком обметанные сверху губы, глаза ее сразу темнели. Вытянутое лицо и тоже вытянутый тонкий нос, уменьше чуть заметным движением брови, скуповатой улыбкой заменять слова выдавали в ней повадки и красоту пани, еще той пани, что рисованы на древних щелястых портретах, которые «вживе» я только раз и встречал, когда с боевым походом шлепал по Польше.

Давним током крови, эхом ли древнего рода, молчаливой ли зарницей достало, высветило эту женщину и остановило посреди земли. Все, что было вокруг, пыталось опаскудить, замарать это диво, но не смогло выполнить своей задачи. Поучительный опыт заставил бороться за себя, и, отодвинувшись в тень, смешавшись с человеческой чашей, она оставалась сама собой, давши запасть в чашу, но не погаснуть тому отблеску зарницы, что озарил ее в этой страшной и беспощадной жизни.

Женщины таких дам не любят, инстинктом самки чувствуя превосходство над ними.

В станице говорили, что на постое у Марины был немецкий майор, затем квартировал комиссар Владыко и она им будто бы ни в чем не отказывала. Но и они, постояльцы, якобы ей тоже ни в чем не отказывали. Она не копала землю, не собирала плодов, не мыла в избе, не белила хату и даже не стирала — все это делали по переменке то немецкие, то советские холуи.

«Браты», злословя, толковали, что и немцев, и русских она подбирала «под патехвон» — стало быть, танцевала с кавалером под музыку и по силе трения, по могучести упора выбирала партнера, но, может быть, сожители подбирались ею по соображениям защитительным, хозяйственным.

Тимоша, уж точно, был допущен в этот дом не за свои мужские достоинства, но за хозяйские наклонности, за старание в работе и безвредный нрав. О «мирах», о литературе и музыке пани Марина могла наговориться вдосталь и с лейтенантами, и с майорами в станичной библиотеке, которую она сохранила и при немцах, и при наших и при любой власти сохранит и сама сохранится.

Из мужниного гардероба Марина выдала Тимоше полусуконные штаны, рубаху в полоску, хромовые сапоги и соломенную шляпу с малинового цвета лентой.

И вот в этом наряде, не снимая шляпы, за столом сидел гордый Тимоша рядом с женщиной и своим топорным лицом, огромными трудовыми, устало выкинутыми на стол руками, этой дурацкой шляпой, громким босяцким смехом еще более оттенял ее утонченность, умение молчать и молча повелевать.

Такие, как Тимоша, были в ту пору еще добрыми малыми, еще умели и любили подчиняться высшей силе, быть послушными рабами этой силы, благоговели перед чудом красоты, перед тайнами ее и загадочной властью.

Пройдет всего лишь несколько десятков лет, и, истощенный братоубийством, надсаженный «волевыми решениями» и кроволитной войной, потерявший духовную опору и перспективу, превратится он из послушного работника в кусочника, в мелкого вора, стяжателя, пьяницу. Дети, а затем и внуки Тимоши будут с топорами и ножами бегать по улицам сел и городов за женщинами, хватать их, насиловать, убивать, потому что один только инстинкт закрепится в них — немедленное утоление звериного желания, после и он погаснет от вина, и пойдет потомок Тимоши по земле с открытым мокрым ртом, мутным, бессмысленным взглядом, под именем, происходящим от увесистого предмета, от глухого, но точного слова, — дебил. Пьяный еще в животе матери, пьяным отцом зачатый, выжмется из склизкого чрева склизкое одноклеточное существо без мыслей, без желаний, без устремлений, без памяти, без тоски о прошлом, способное только пожирать и убивать, признающее только власть кулака, только приказующую и наказующую команду.

Быть может, это и будет тот идеальный человек под именем «подчиненный», к которому так стремились и стремятся правители всех времен и народов.

Но когда это еще будет?!

А пока! По праву хозяина Тимоша широким жестом обвел застолье и, зажав в жмене налитый до ободка стакан так, что стакан помутнел от боли и неги, прокашлялся:

— Товарищши! Мы собрались вмести, штабы отметить прибытие новых наших товарищше. Дак, стало быть, за дружбу и штабы война скорей закончилась...

— За дружбы! За дружбу! — заверещало застолье женскими голосами.

— И за любовь! — ввернул Черевченко.

— И за любовь! 3-за любовь!

Выпили дружно, почти все до дна. Напарницы подносили на вилке вишнегет кавалерам, соря им на гипс и белье, отчего на штанах оставались красноватые, маслянистые пятна, и это обращено было в шутку, мол, дома по гипсу узнают, где боец был и чем занимался.

Хозяйка самогон не пила, лишь пригубила красненького фабричного вина, но и с него порозовела, оживилась. Она чувствовала, что кто-то за ней внимательно наблюдает. Так как я сидел далеко от торца стола и на меня падала полутень из сада, долго мучилась, отыскивая и тревожась от чьего-то взгляда. И когда наконец нашла меня, то не заметалась глазами, как это де-

лают малоприметливые люди, отведенные косиной моего взгляда на кого-то и ища по взгляду этого кого-то.

Она мгновенно угадала во мне расположение к ней, улыбнулась мне проясненно, чуть заметно кивнула головой. Я отвел глаза и наткнулся на мою соседку слева и почувствовал, как «жгет» от ее сдобного бока. Никогда, ни до этого застолья, ни в последующей жизни, не встречалось мне ухажерки зычнее, румяней и белей, лишь в кино однажды увижу я колдунью, бегущую по лесу так, что лес трещит и качается, да и озарюсь воспоминанием, вздохну — было о чем вздыхать. Перед моею ухажеркой стоял совершенно нетронутый стакан с самогонкой, руки ее покоились на коленях, она обиженно смотрела вдаль.

— Ой, простите! — встрепенулся я и стукнулся своим стаканом о стакан соседки: — За ваше здоровье, э-э-э...

— Аня.

— Э-э, Аня, и за знакомство.

— Будем здоровы! — увесисто, отчетливо сказала она и неторопливо, крупными глотками осушила стакан. Я было сунулся с винегретом, но она придержала мою руку своей, крупной, жесткой от земляной работы и тоже горячей, рукой: — Я винегрет нэ им. Брюхо з нього пучить, — выбрала грушу покислей и хрустнула ею так, будто через колено переломила пучок лучины. — А вы шо ж нэ пьэтэ и не кушаетэ? Пийте, веселише будэ и... — она покрутила кулаком вокруг головы, — ото расслабиться.

Я сказал Ане, мол, пока не могу, и она с пониманием отнеслась к этому, себе тоже не позволила вторично налить полную посудину, половину стакана отмерила пальцем и снова выпила не морщась, обстоятельно.

Мне сделалось страшновато, но метавшееся в моей башке беспокойство внезапно разрешилось теплотой, разлившейся по моему сердцу, — Аня! Ня-нечка из санитарного вагона воскресилась в обрадованной памяти — вот бы ее, славненькую, ласковую, да за этот бы стол, да рядышком бы. Выпивка никогда не была моей всепоглощающей страстью, однако заразной болезни моей родни и народа моего я конечно же вовсе не избежал. Другая страсть — тяга к книгам — еще с детства спасла меня от этой всевальнoй русской беды.

Первый раз я до беспамятства напился в тринадцать лет, в детдоме. В ту довоенную пору магазинов и складов в городишке Игарке было мало, больше ларьки, но товаров в них водилось много. Это в расцвет социализма магазины, рынки, базы были — хоть на мотоцикле катайся, ныне и на личной машине, потому что просторные заведения эти опустели. В довоенную пору разгруженные с заморских кораблей, завезенные на долгую зиму с магистралах в Игарку товары из-за тесноты часто в ящиках выставляли в сенцах-тамбурах у задних дверей, во дворах. Ныркая детдомовская братва, не найдя, чего поценнее упереть, озорства ради унесла от ближнего ларька ящик шампанского. Сперва мы учились его открывать — нам нравилось, как пукают пробки, как ударяются они в потолок, как шурует пена из бутылки. Братва пообливала тумбочки, кровати, и сами орлы мокры были от бушующего вина. Кто-то из ребят попробовал шампанского, ахнул от дух захватившей влаги, мы тоже решили попробовать — и нам понравилось. Как этим самым шампанским перехватывало дыхание, как колко простреливало грудь и холодило нутро!

Облеваные, растерзанные, мылись парни в санпропускнике, клацая зубами, натягивали на себя сухие штаны и рубахи, затем прятались под одеялами. Из-за головной боли, из-за всеобщего угнетения два дня весельчаки не ходили в школу. Всех нас позорили в строю и на собраниях, продернули в стенгазетах, школьной и детдомовской.

Хватило надолго! Аж до Польши! Свои «боевые» сто грамм, разведенные в пути до последнего градуса, я, как правило, отдавал «дядькам» и только в лютые холода в крайнем уж случае выпивал — для согрева. Один раз, под



Христиновкой, в Винницкой области, в метель, когда и палку-то в костер негде было найти, орлы огневики раздобыли где-то ящик с флаконами тройного одеколона. Я так продрог и устал, что мне было все равно, что пить, чем греться, и выпил из кружки беловатой жидкости — на всю жизнь отбило меня от редкостного в ту пору напитка, и по сей день отрыгивается одеколоном и от горшка ароматно пахнет; я боюсь в парикмахерских облевать-ся, когда меня освежают.

Ну а в Польшу пришел уже двадцатилетним, шибко боевым и на радостях, по ошибке, я напился так, что и до се содрогаюсь от отвращения и позора.

В городе Жешуве, который мы заняли с ходу, орлы артиллеристы разнюхали склады с водкой. Я как сейчас помню, что бутылки были почти литровые, с красивой наклейкой, на которой какой-то архангел в красной накидке поражал копьём дракона. Архангела и дракона мы увидели, полюбовались картинкой, но вот то, что в бутылке дракон шестидесяти градусов тайлся, — этого никто не углядел: думали, что на всем свете варится только сорокапятиградусная водка, и вообще предполагали, что везде и все — как у нас.

И вот расположились мы на окраине Жешува, связь в батарее выкинули, хату заняли очень красивую, под железной крышей, с объемистым двором, садом и огородом. Господа офицеры, конечно, в хате, солдаты, конечно, во дворе — готовимся потрапезничать.

По двору ходит поляк в подтяжках и шляпе, следит, чтоб мы лишка чего не вытоптали, не сожгли, не срубили. Колодец прямо во дворе. Умылись, утерлись, кто на кухню с котелками побежал, кто «на стол» накрывает — на расстеленные в огороде плащ-палатки. Вместе с вином раздобыли наши ребята сухого яичного порошка и сухого же сыра. Поляк учил нас сыр смешивать с водой, из порошка приготовил на сковородке омлет-яичницу: женское население не удостоило нас вниманием, оно с панями офицерами компанию водило.

Перед ужином командир отделения связи велел мне на всякий случай пробежаться по батареям, проверить, как там и что со связью. А там почти у всех из дивизиона отосланных связистов бутылки, все веселы и каждый мне, проверяющему, сует выпить. Ну я и выпил на голодный-то желудок и прибыл в наш двор на качающихся ногах. Командир отделения глаза выгарашил: «Ты что, зараза, сдурел?! А ну ешь!» Я потаскал ложкой омлета со сковородки, чувствуя, что ложка делается все тяжелее и тяжелее, самого меня все выше и выше поднимало на воздуси и качало там в тошнотной, провальной пустоте. «Не хочу я этой фрицевской херни!» — вдруг капризно заявил я и с яростью хватил ложкой оземь. «А чё хочешь? По шее?» — «Огурца хочу!» — «Дак ты же, морда твоя пьяная, на огуречной гряде сидишь!» Я огляделся и обнаружил: правда, сижу я на высокой огуречной гряде и огурцов на ней что в речке гольцов. Да все на бутылки похожие! Все катаются, все хохочут человечьими голосами.

Я потянулся за огурцом...

И... проснулся в пятом часу утра, на полосатом матраце, проснулся первым, поскольку и отключился первым. Был я весь облеван, и все вокруг было облевано, мокро — меня отливали холодной водой из колодца. Я пополз, потянулся к ведру с водой и пил, пил из ведра по-коровьи, захлебываясь, гася отравное пламя внутри себя.

Огляделся.

Кто где, кто как лежали по двору мои боевые товарищи, все почти сплошь заблеванные, все в мучительных позах, с припадочно скособоченными ртами.

А на высоком голубом крыльце стоял старый пан в накинутой на плечи куртке и родительски-укоряюще качал головой. «Да господи! — простонал я. — Да чтобы еще хоть раз...»

Вот какой крюк я сделал из хасюринского застолья! В угарный, в интригующий момент сделал я поучение себе и потомкам. А на поучения в наше время ни бумаги, ни слов не жалеется.

\* \* \*

Пока я мысленно летал в Польшу, в просторном доме пани Марины начинались танцы. Играл патефон, хрипел патефон, и из-под тупой иглы с шипением катились «Амурские волны». Народ танцевал старательно и серьезно. Особенно старателен был Тимоша, видать совсем недавно и с трудом выучившийся держать в полуобъятиях даму и, шаркая сапогами, кружить ее в вальсе.

Эти танцы описывать невозможно, их надо было снять на пленку и показывать во всем мире, тогда, я думаю, понятней бы стало, что такое война, и люди бы меньше перли друг на друга. Страшнонато мне было, страшнонато и когда пластинка кончилась, и бледные от напряжения и боли партнеры, задевая друг друга гипсами, принялись снова рассаживаться за стол, я с ужасом думал: по каким-то неведомым правилам на обратной стороне пластинки, после вальса, непременно должен быть фокстрот, и что, если захмелевших бойцов подхватит вихрь фокстрота?!

Но моя соседка Аня вдруг сразу, будто с горы бульжину скатив, рывкнула:

Копав, копав криныченьку,  
У-у-у ззелно-ому са-аду...

И обрадованно, с облегчением и дружеством ринулась компания навстречу Ане:

Гоп, гоп, моя малина,  
Чернобровая дивчина,  
В са-а-аду ягоду брала...

Пели долго и хорошо. Кто-то из хлопчиков плакал, кого-то уводили на веранду — облегчаться. Но фокстрот все-таки наступил. Аня моя крутила и вертела одного молоденького кавалера так, что у него началось кровотечение из раны. Быстро восстановили бойца. После танцев компания заметно поредела. Оставались только шибко захмелелые да робкие кавалеры вроде меня.

Я помогал убирать со стола. Тимоша, подпевая себе «Гоп-гоп, моя малина...», мыл посуду, сгребая остатки закуси в корыто для поросенка. Аня протирала посуду, Марина убирала, ставила ее в буфет.

— Ну как вам у нас? Понравилось? — спросила меня как бы между прочим Марина.

Я сказал, что очень понравилось, она сказала, чтоб я приходил еще. И пошел у нас разговор о том о сем, больше о книгах. Я как бы между прочим ввернул, что ранило меня в Польше, под городом Дуклой, там родилась известная историческая личность — Марина Мнишек.

— Да что вы говорите?! — показалось мне, нарочито громко удивилась Марина. — А вы-то откуда узнали об этом?

Я сказал, что солдату положено все знать, и она согласилась: конечно, конечно, иначе, мол, солдату — пропадай! Тимоша перестал петь. Аня настожила — они почувствовали какую-то нашу солидарность, мы выключили их не только из разговора, но и из окружения своего, они как бы наедине каждый очутились. Марина почувствовала, что нас «рассекречивают», и со вздохом сказала:

— Ну что ж, милые мои гости! Спасибо, что посетили нас, развеяли. Ты, Анечка, не обижай юношу, — уже на веранде добавила она и нежно поцеловала меня почти что в самый глаз, в раненный, и прикоснулась ладошкой к щеке.

И губы ее, и ладошка показались мне бархатистыми. Мне вдруг захотелось упасть перед хозяйкой на колени, обцеловать ее руки, плакать и кричать: «Прости! Прости!..»

Марина повернулась и поспешно ушла в дом, скрылась. Тимоша проводил нас до калитки, запер ее на засов, бросив почти сердито на прощанье:

— До побачення!

Мы долго ходили с Аней по станице, постояли над Кубанью, посмотрели на ночные дали. Где-то за рекою реденько теплились тусклые огоньки, но и они скоро погасли. В улицах станицы раздавался шум, хохот, звучала гармошка, песни, затем в станице все смолкло. Аня сидела на круче, спустив ноги с обрывистого берега, и что-то тихонько напевала. Сняла с себя косынку, заботливо расстелила ее рядом, хлопнула по ней ладонью:

— Сидай!

Я послушно сел, но к Ане не прислонялся. А она, я чувствовал, того ждала. Ощущение размягченности, доброты и грусти жило во мне. Из всего вечера, из всех его многообразных событий, осталось во мне лишь прикосновение бархатистой ладони к раненому месту и взгляд, погруженный в себя, чуть лишь прояснившийся в те минуты, когда мы на кухне мыли посуду и разговаривали с Мариной.

— Про какую это польскую шляху ты говорил с Мариной? — неожиданно спросила Аня.

Я сказал, про какую, и, поскольку не о чем более сделалось говорить, попросил Аню спеть. И она послушно и опять во весь могучий голос огласила окрестности своим грудным, глубоким голосом:

Ой, нэ свиты, мисячэнько-о,  
 Ни свиты — а нікому.  
 Тільки свиты милэнькому,  
 Як идэ-э-э-э до до-о-о-ому-у...

— Нет, шось не поется, — буркнула Аня и со смачным звуком зевнула во весь рот. — Спать пора. Завтра на работу.

И опять мы долго шлялись по станице. Аня отчужденно молчала. Надо было взять ее под руку, но я уже упустил для этого момент. Надо было, наверное, потискать ее и поцеловать. Я видел, как за столом, напившись и потеряв стыдливость, орлы боевые начали нетерпеливо лапать и челомкать своих партнерш, как жадно смотрела на них Аня, каким бойцовски-беспощадным огнем светился ее взор.

Аня вела меня к госпиталю тенистыми, путаными тропами, часто оставивалась поправить косынку, волосы, один раз даже ногу заголила: «Резынка риже, спасу нет...» Я всю эту дипломатию понимал, откликнулся бы на тонкие намеки, может, и оскоромился бы в ту ночь, но что-то кроме робости, неловкости и неумения удерживало меня, и я сам для себя тихо запел:

На Кубани есть одна станица,  
 В той станице гибкая лоза,  
 В той станице есть одна девица,  
 У девицы черные глаза!..

— О-о! — насмешливо сказала Аня. — Оказывается, ты кое-что умеешь! — и скоро вывела меня к госпиталю, со стороны сарая и умывальника. Здесь, под абрикосами, за сараем, мы еще постояли, потоптались.

— До свиданья, Анечка, — подал я ухажерке руку. — Спасибо за вечер и за ночь.

— За яку ничь?

— Вот за эту! — показал я на темное, усыпанное осенними зрелыми звездами небо и поцеловал ей руку, жесткую даже с тыльной стороны от воды, от земляной работы, пахнущую грушей и сухой травой.

— И усе? — разочарованно произнесла Аня.

— Все, Анечка! Все!.. До свиданья! — бросил я уже на ходу, поспешая к черному ходу госпиталя, который по приказу Черевченко держался в ту историческую ночь до утра отворенным.

\* \* \*

Ах, какие воспоминания были назавтра! Тысяча и одна ночь! Великая Шахразада! Декамерон! И все мировые шедевры померкли б по сравнению с теми воспоминаниями, если б было кому их записать на бумагу. Борька Репяхин убито спал поперек матраца и не слышал, как его грызут клопы. Я читал книжку «Двадцать тысяч лье под водой», но читал невнимательно, слушал, завидовал хлопцам и презирал себя за малодушие. Ведь «на нос», как говорится, вешали. Э-э-эх!..

Вечером поздно явился один из «братьев» и, тыча в меня пальцем, захлебываясь смехом, сообщил публике:

— Он!.. он... он руку Аньке целовал!..

Сначала качнулась и грохнула наша палата, потом перекаатилось по всему госпиталю: «Го-о-о-о, го-о-о-о, го-го-о-о!», «Ой, ой, мамочка ридна!», «Ой, нэ могу!», «Та я ж ии пид яром поставив, та як глянув, та, мамочка моя, там же ж обох госпыталям хватить!.. Ще й военкомату останэться! А вин ей руку!..».

Даже Борька Репяхин смеялся надо мной.

Мне ничего не оставалось, как закрыться книгой «Двадцать тысяч лье под водой» и лежать, придавленным позором и тяжестью литературы не поднимаюсь ни на ужин, ни на завтрак. Даже в места необходимые я ходил поздней ночью и на цыпочках.

Целых двое суток народ ходил на меня дивиться, как на редкостного ископаемого, как на заморскую тропическую диковину. И тогда Черевченко, а это он, сволочь, в отместку за Анкудина подсунул мне Аню, ободрил меня, сказав, чтобы я «нэ журывся», что дело поправимо. И я с визгом, с бешеной слюной, срывающейся с губ, бросился на него, успел поцарапать ему щеку, но меня схватили, повалили. Я еще сутки пролежал на матраце, у клоповной стены, накрывшись одеялом. Борька Репяхин приносил мне пайку, пытался утешать меня. Я упорно обдумывал вопрос о том, как ловчее оборвать эту позорную жизнь, как вдруг приходит Борька Репяхин, тербит на мне одеяло и говорит, что меня ждут в саду, на скамье.

— Кто? — испугался я.

— Да не бойся, не бойся, не Анька это, а Лиза.

— Какая Лиза? — одичало глядел я на Борьку Репяхина. И вдруг вспомнил, вскочил, бросился бежать, запутался в одеяле, чуть не упал.

Лиза утешала меня, будто мать родная, гладила по голове, если приближались госпитальные кальсонники, зыкала на них вроде бы со злом, но вроде как бы не совсем серьезным злом:

— Гэть, падлюги! Вам бы только поизмываться над мальчиком!

Лиза рассказала, что было письмо от Анкудина, что с ним все хорошо, скоро его домой отпустят, что привет он мне передает, интересуется, как я тут.

— Правда? — смаргивая с глаза мокро, возвращаясь на свет белый, преодолевая предел никчемности своей, переспрашивал я. — Правда?

— Правда, правда. Вот придешь ко мне и сам прочитаешь. Что ж ты, к Марине так бегом, а мой дом стороной обходишь?! Марина, парень, ягодка с косточкой, об нее зубы сломаешь!..

И я привязался к Лизе, как к старшей сестре, к ее дому, и скоро тут, в доме Лизы, свершилось мое боевое крещение. На этот раз обласкала меня Ольга, уборщица из госпиталя, помощница Лизы по лаборатории, услужливая, легкая на ногу, но тугая на слово женщина, потерявшая мужа на войне, воспитывающая ребенка.

Очень она была бледная, с ранними морщинками на лице, со старушечьими складками у малоулыбчивого рта. Беленькие тонкие волосы коротко стрижены, еще гибкое, но ничем не примечательное тело — все-все было в ней определено на одну судьбу, на одного мужа, на одно дитя. А вот мужа у нее отняли, убили, и она, награжденная природой единственной наградой — глазами, бархатисто-мягкими, как бы из старины, с чужого лица иль даже с портрета взятыми, и потому-то она их прятала все время, прикрывала тоже картинными, бархатистыми ресницами иль глядела в пол, — говорила тихо.

Мне казалось, что я не смогу приставать к этакому комнатному существу, еще больше обиду домоганием своим и унижу женщину, что создана она для уединенного, тихого существования. «У нее ребенок, не блажененькая она, книжки, все это книжки!» — укорила меня Лиза. И я стал действовать, чтобы доказать «братам», и прежде всего Борьке Репяхину, что я тоже не лыком шит, да и надежды Лизы, выступающей в роли сводни, надо было оправдывать, да и хотелось мне приставать-то, тайные страсти угнетали меня. Невыносимо! Болела голова, расстроился сон, плоть требовала утоления, пригибала человека к земле, катилась в геенну огненную. Если вспомнить, что папа мой был неукротим в делах любовных, женился в первый раз на восемнадцатом году, а мне уже шел двадцать первый, то все эти страстные томления легко объяснимы.

Я решил для храбрости напиться и напился у Лизы, пьяный, увел свою ухажерку в кукурузу, свалил ее, не очень-то упорно упирающуюся, детдомовской подножкой, ползал по ней, отыскивая что где, дурно мне сделалось, и прежде чем поиметь удовольствие, партнерша омывала меня и себя из таза.

И снова обдумывать бы мне и решать вопрос жизни и смерти, да партнерша на этот раз попалась очень уж понятливая. Обмывши меня, она тихо миновала комнату со свекровью и ребенком, провела меня в пристенок, уложила на кровать, дала поспать и сама осторожно, приподняв одеяло, легла под него. Я дрожащим телом почувствовал, что она в одной рубашке, более на ней ничего нет, и подумал, что так ведь поступают женщины, по рассказам бывалых мужиков, определяясь в супружескую постель. Деваться было некуда. Оля же еще и обняла меня и зашептала на ухо какие-то нежности, какие — не помню.

Все совершилось быстро и как-то само собой. Ухажерка моя гладила меня по потной спине:

— Бедненький! Бедненький!.. А убили бы?.. Так бы и не познал главной радости... Бедненький... бедненький... Ты меня не бойся — я не гулящая. Я тоже первый раз после мужа... дай я на тебя подую. Весь ты вспотел. Не волнуйся... не волнуйся... и не торопись. Торопиться не надо... не на-а-адо...

Но я и волновался, и торопился, да убежал среди ночи «домой». Как, значит, дрогнуть, будь хоть два, хоть три часа ночи, штаны надерну — и дуй, не стой восвояси.

Кончилось это тем, что Ольга укорила меня:

— Ты — себялюб!

И на этом наши с нею отношения почти кончились.

Приклеился к Ольге один мужичок из выздоравливающей команды, умеющий помочь по дому и по хозяйству, он мне казался стареньким, хотя было ему всего лишь тридцать пять лет. И дела у Ольги с этим мужиком пошли несомненно лучше. Что ей от меня, бестолкового «ветродуя»? Я не ревновал Ольгу к новому кавалеру и даже испытывал освобождение от связи, гнетущей меня, почитывал книжонки да гнил потихоньку под гипсом, и для любовных утех, в общем-то, мало годился по этой немаловажной причине.

Ольга оживилась, улыбка сделалась. Лиза сообщила мне, что новоявленный кавалер, мужичок госпитальный, пообещал остаться с нею и даже расписаться. И совсем хорошо мне стало, хоть одна судьба устроилась, хоть одной доброй женщине повезло. Прежний муж, тот, что погиб на войне, рассказывала Ольга, куражлив был и поколачивал ее. Я внимательно присмот-

релся к моему сменщику и решил, что этот драться не будет — мастеровой потому что, баб же, да еще смиренных, бьют гуляки и бездельники вроде моего папы.

\* \* \*

В Хасюринский госпиталь зачастили комиссии. С нами-то, ранеными, они не больно общались, ходили вокруг старой начальной школы да о чем-то друг с другом беседовали, записывали в бумаги, покуривая и наслаждаясь последним осенним солнышком, валялись в саду. И хотя раненые сидели на дровах, на скамьях и на земле вокруг школы, их словно бы не замечали и лишь коротко бросали утром: «Здрасьте!», а вечером «До свиданья!» — это по части просвещения, дошло до нас, соображают, как вернуть школу на прежнюю линию и сколько денег надо на ремонт. Подписывают, думают, планируют — на этом деле у нас малого начальства, что вшей на гаснике, говаривала моя далекая бабушка.

Но вот наехал чин так чин, аж в генеральских погонах с малиновой окантовкой, следом за ним частила чищеными сапожонками Чернявская, пыхтел Владыко, скромно прятался за их спины главный врач, мужчина еще молодой, румяный, но весь уже лысый, должно быть, от умственности. Этого главного врача никто из нас еще в глаза не видел. Порхала впереди представитель «сверху» заведующая нашим отделением, и хмурились станичные начальники. Что-то беспрестанно чирикала, показывала, объясняла Чернявская. Перед приездом важного генерала госпиталь наш скребли, белили, даже стены освежили, где от давленных клопов было сплошное абстрактное искусство, сменили белье в палатах и снова нас «побанили».

Заведение наше, должно быть, не очень-то радовало глаз важного гостя и на ответные согласные кивки его не воодушевляло. Он все больше и больше хмурил, что-то резкое сказал заведующей «хвилиала», и она, подавившись словом, всхлипнула и отвалила в хвост процессии.

Ранбольных по одному вызывали в ординаторскую, где госпитальные медицинские светила обрядились в халаты, генерал, больной с лица, лишь снял фуражку и сидел отчужденно за столом дежурного врача, как бы подчеркивая всем своим видом, что к подсудимым, то есть к этой челяди в халатах, расположившейся кто на чем, он никакого отношения не имел и иметь не собирается.

Я попал на допрос одним из первых, поскольку досталась мне от родителей фамилия на букву «а», и много я из-за этого уже имел неприятностей, особенно в школе. То ли дело фамилия на букву «ч» или «щ», а еще лучше — на «я»: пока до нее доберутся, уже и урок кончится, если комиссия какая, суд, пусть даже и общественный, — ему уж спать захочется от усталости.

На коленях заведующей отделением лежали стопки историй болезней. Когда я вошел и поздоровался, мне предложено было сесть на стул, стоящий посредине ординаторской, прямо против генерала. Заведующая листала мою тошенькую историю болезни, сверху которой была пришта ниткой фронтальная карточка с нарисованным на ней в углу человеком в анатомическом разрезе и черными указками, уткнутыми в него или в наиболее уязвимые места в теле или на теле, где перевязывать. Карточка вся была в отметках, скобках, крестиках, номерах, росписях и в пятнах крови, уже почерневшей, выглядывших отцветающими ученическими кляксами. Большой, извилистый путь прошла эта карточка от Карпат, от Дуклинского перевала и до Кубани, куда я попал на лечение и считал, что здесь все мои муки и потрясения кончатся.

— Инфлюэнция, загноение раны, отмирание нижней части руки, не исключена ампутация.

— Ага! — разом взорвался я. — На передовой, в палатке, под обстрелом, начальник нашего медсанбата не стал отрезать руку, пожалел меня, парнишку...



— А этот парнишка, между прочим, шляется по бабам, пьянствует, — вставила Чернявская.

— Это правда? — спросил генерал.

— В Гамбурге все пьяные!

— При чем тут Гамбург? Фашистский город! С вами серьезно... — побегрела Чернявская.

История про Гамбург проста: это когда русского купца, путешествующего по Европе, спросили в России, какие у него заграничные впечатления. Он сказал, что в Гамбурге все пьяные! Глупый, в общем-то, но очень живучий анекдот. Генерал его конечно же знал, но Чернявская из-за огромной занятости не успела выгучить.

Генерал усмехнулся, как бы давая мне понять: ничего, дескать, ты их! Продолжай в том же духе.

— Ну как вас лечат, снабжают?

— А кто вам сказал, товарищ генерал, что нас здесь лечат? — я кивнул головой направо, где сидела и нервно курила Чернявская, за нее пытался и не мог спрятаться обливающийся потом Владыко, стиснувший в жмене комочек мокрого носового платка. — Они?

— Ну а все-таки? Все-таки? — встряла в разговор заведующая отделением. — Мы же не баклуши здесь обиваем.

«Груши», — подхватил я про себя, а вслух спросил:

— Что же, товарищу генералу не видно разве, как нас здесь лечат? В каких условиях мы находимся? Может, достать из-под гипса и показать горсть червей или вшей?..

— Ну, знаете! — вскочила с места Чернявская и заметалась по ординаторской.

— Не нервничай, солдат. Не нервничай! — остановил меня генерал и скомандовал вжавшейся в угол и умирающей там от страха медсестре: — Дайте раненому воды, порошок какой, что ли, успокоительный. Есть у вас порошки-то хоть какие-нибудь, или все продали и пропили? А вы сядьте! — указал он Чернявской на деревянный диван. — Привыкайте сидеть, — мрачно добавил он.

Порошок и воду я отстранил и, собравшись с силами, рассказал подробно, как раненым тяжело после передовой, как одно доброе и святое уж теперь, по воспоминаниям, место было на моем пути — санпоезд, люди в нем по-настоящему милосердные, сестрам же Клаве и Анечке надо по ордену дать за их трудовой подвиг.

— Они в пути нас сохранили, сберегли, а эти Петю Сысоева угробили, богатыря, Стеньку Разина.

— Вы подбирайте выражения! Ну, книгочей! Ну-у, книгочей!..

— Любишь читать, солдат?

— Читал и читаю всюду, чтоб спрятаться...

— Язык у тебя, однако... — буркнул генерал. — Иди давай! Пошли следующего.

\* \* \*

Через несколько дней после той исторической беседы я уже был в Усть-Лабинском госпитале вместе с большой партией «хасюринцев» — началась полная ликвидация паскудного, страшного заведения, грязного гнезда, свитого под благородной вывеской «Госпиталь».

В Усть-Лабе госпиталь был большой, тоже бедный, тесный. Но порядок царил строгий, койки стояли сплоченно, с матами, витыми из ивы вместо досок, с набитыми соломой матрацами. Кормили здесь бедно, но опрятно. В Хасюринской мы привыкли жрать супу и каши кто сколько хочет, оттого что многие раненые столовались у своих шмар или кто подрабатывать мог в колхозной столовке, которые и вовсе не питались, жили где-то, воровали, пили.

В Усть-Лабе я пробыл декаду. Хасюринцев все валили и валили сюда — благо близко и почти всем был вынесен приговор от осматривающих врачей: «Рана запущенная — ампутация», «Рана запущенная — операция», «Рана запущенная — срочно в госпиталь такой-то...».

Борьке Репяхину отхватили выше колена ногу, и он узнал, что если бы еще маленько погулял по Хасюринской да покругил дальше свою испепеляющую любовь, то мог бы вообще более ни разу не успеть влюбиться.

Борька Репяхин лежал бледный от потери крови и растерянности, пытался бодриться: мол, хрен с ней, с ногой, — еще отрастет, какие его годы, зато уж дал жизни, повеселился. А на ухо мне шепнул: «Говорят, хасюринские начальники скрывали смертность или переталкивали в другие госпиталя обреченных людей»...

— Не-ет. Я буду учиться на юриста! Буду! Чтоб давить таких сволочей!..

Сырым и холодным днем я вместе с двадцатью ранеными прибыл на поезде в Краснодар. Со станции не пешком, в санитарной крытой машине был доставлен на улицу Чкалова, в маленький госпиталек с длинным и витиеватым названием, где лежало много контуженых, память и прошлое свое утративших, где четыре раза ложился я под наркоз на чистку кости и оставался хоть со слабою, но своею рукой, где я пережил свою первую и светлую любовь, где, пробыв до марта, увидел я много страданий и сам страдал, где бедность, убожество, недостатки возмещались стараниями, заботами и добротой obsługi госпиталя да нашим солдатским неунывным нравом.

Из Краснодарского госпиталя я был отправлен в запасной полк, располагавшийся на окраине героического, впрах разбитого города Сталинграда.

\* \* \*

К моему удивлению, город был уже немного восстановлен и пробовал жить, во всяком разе, по всем развалинам копошились люди и дым шел из куч кирпичей, хоть и не очень густой, но все же живой.

На каком-то холмистом пустыре, со всех сторон обрезанном оврагами, уже собрано было и слеплено несколько казарм. В одну из них, еще строящуюся с другого конца, забранную посередке досками, поселили нас, сброд из госпиталей, пересылок, разного рода людом привитыми военными волнами к трагическому берегу, к разрушенному историческим землетрясением городу Лиссабону. Впрочем, думаю, что Лиссабон после землетрясения выглядел получше, там хоть деревья, какая-то трава, кустарники, случайное строение уцелело, здесь же было все выжжено, свалено в кучу, редкие скелеты домов по центральной части города зияли пустыми черными зеницами, ночью в них мелькала, будто ныряла в ледяную прорубь, горя не ведающая луна.

Все в бывшем городе пропахло гарью, пеплом, кирпичной пресной пылью, убитые люди были захоронены лишь в самом городе, но в развалинах, по глухим оврагам, под осыпным берегом все обнаруживались и обнаруживались полуистлевшие трупы.

Здесь, под городом этим, сложил свою голову мой дядюшка, Иван Павлович Астафьев, с четырнадцати лет как подкулачник, стало быть, непримейший враг родного народа и власти, высланный в Игарку с мачехой, больным дедушкой и пестрым семейством. Отца его и моего деда вместе с другим дядей, Василием, на всякий случай припрятали в тюрьму, сделали им выдержку, чтоб поняли они, что советская власть шуток шутить с разным «элементом» не собирается.

Ваня сразу же определился на работу, ворочал на бирже древесину для заграницы, бил «лучшим в мире стандартом» по голове мировому капитализму и империализму. Был Ваня певун, книгочей, спортсмен, когда-то свел меня за руку в городскую библиотеку и некоторое время следил за тем, чтоб я не придурился, не шелестел страницами, а читал. В 1940 году, уже после начала учебного года, в Ачинске открылся сельхозтехникум, в котором был

большой недобор, и в «порядке исключения» разрешено было поступать туда — значит, выехать из Заполярья — детям спецпереселенцев. Обрадованной толпой ринулись молодые куркули в науку, но через год так же дружно встали на защиту Родины — никто уже не брезговал ими, не считал их недостойными держать «святое» советское оружие в руках.

А держать его парни-спецпереселенцы умели! У Вани оборонными значками была увешана вся вельветовая куртка, с винтовкой он выделял такие кренделя, что любого врага мог на штык посадить или прикладом забить. Да вот не знаю, пришлось ли ему штыком-то?

Здесь, в Сталинграде, танками да минометами давили и глушили. Могила братская, в которой покоится Иван Павлович, находится в пригороде Волгограда, в деревне Селиванихе.

Стала ли моему дяде пухом эта жесткая, малородная, кровью пропитанная земля?

Сброду солдатскому в Сталинграде жилось глухо. Резервный полк ел клейкую пайку хлеба с вареной капустой, иногда каши половник перепал. Заставляли работать. Но какова кормежка, такова и работа. До обеда доходяги приносили из развалин на стройку два кирпича, которые добывали и очищали там наши же резервники, после обеда приносили уже по одному кирпичу, итого три кирпича в день. Тут же их, эти кирпичи, бригада каменщиков «сажала на раствор», продолжая казарму вдоль и вдале. По мере сотворения сырого пегого солдатского прибежища передвигалась внутренняя перегородка, и тут же пространство заполнялось вновь прибывшим контингентом. Сперва солдаты лежали на полу, застеленном полынью и колючкой, растущей по оврагам, потом откуда-то брались доски и возникали нары.

Прошла неделя, другая, третья. Резервники начали жаловаться на головкружение; обмундирование, уже и до того не раз бывшее в употреблении, от кирпича, пыли и лазанья по развалинам обрело единый цвет и вид. Вечером его хлопали о стену, починивали, латали, но тлея материя расплзлась по швам.

Назначенный старшим десятка, как-то под вечер неспешно вел я свою команду, вооруженную кирпичом, и сам нес его под мышкой, озирая окрестности и редкую, уныло бредущую, даже ползущую по ним толпу бесцветных, вялых людей. Взял да и запел: «Сколько их! куда их гонят? Что так жалобно поют? Домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают?..»

Послышались смешки, в массах работяг возникло некоторое оживление. Тут, в Сталинграде, слыл я уже «веселым солдатом», но я не был веселым, взвинченным был, тяжело перенося разлуку с первой моей любовью, отчего-то презирал себя с этими кирпичами, в этой драной одежде, в сырой полутемной казарме ворочался ночами на смятых колючках и упорно сопротивлялся, чтобы не написать «ей» письмо. И чем больше я опускался, превращаясь в доходягу, тем сильнее сопротивлялся, чем дольше не писал, тем красивей, дороже становилась мне моя возлюбленная, но какое-то мелкое, мстительное отчуждение или даже закоренелое чисто российское зло: «Мне худо, и ей пусть будет худо. Пусть! Пусть!..» — тешило меня и что-то во мне разжигало или, наоборот, спалило.

«Пой еще, солдат. Пой!» — попросили меня доходяги из моей команды. Я окинул взглядом лежащий внизу город, уныло одноцветный от пепла и пыли, неподвижный, вроде бы запланетный; светящуюся вдали лунным серпом широкую реку под названием Волга, никого и ничего в себе не отражающую, пустынную. Над рекой медленно и безразлично садилось усталое солнце, разливая вокруг себя лампадный свет. От солнца этого уже сейчас, ранней весной, веяло сохлостью, но не теплом, трава, едва пробудившаяся по взлобкам, утайкой пробующая зеленеть, редкие кусты над оврагами и по вымоинам не скрашивали, не заполняли, не пробуждали пережатой, оглохшей, мертвой земли, мертвого города. По оврагам давно иссохли, только зародившись, может, и не зарождались вовсе, весенние потоки, сорила липким

семенем прошлогодняя полынь, колючка, костистый низкий татарник, что так вот после потопа, сухие, бескровные, вроде бы и родились сто, а может, и тысячу лет назад, сорили семя на горячую золу извергшихся вулканов, на вывернутую, съезжившуюся от страха землю...

«Спускается солнце за степи, вдали золотится ковыль, — колодников звонкие цепи взметают дорожную пыль...» — сразу звонко и высоко взвился мой голос. Доходяги моего десятка, затем и разбродно бредущая по неровной полынной дороге толпа, давно уж разучившаяся петь и говорить нормально, сперва разрозненно, но все ладней, все пронзительней повела: «Идут они с бритыми лбами, шагают вперед тяжело-о-о...»

Сзади скрипнули тормоза, и облаком овеявшаяся автомашина с откинутым верхом остановилась подле меня.

— Эй ты, соловей! А ну поди сюда! — махнул рукой поднявшийся с сиденья полковник.

Я подошел с кирпичом под мышкой и не доложил ни о чем. Мимо автомобиля брели солдаты и сами уже продолжали песню: «Уж видно, такая невзгода написана нам на роду-у-у...»

— Поешь, значит? — нагоняя на себя суровость, поинтересовался полковник. Я покивал ему головою. — А что поешь-то, понимаешь?

— Песню русского классика Алексея Константиновича Толстого.

Полковник еще пристальней меня оглядел и скривился:

— Гр-рамотей! Ты понимаешь, что это значит? Тут, в городе, названном именем великого вождя, где кругом героические могилы...

Я улыбнулся, мне думалось, презрительно или надменно, но вышло, поди-ка, просто печально.

— Ты понимаешь?

— Понимаю, понимаю! — начал звереть я, и спутники большого начальника, молодящаяся дамочка и хлыщеватый лейтенантик, встревожились. — Тут полагается петь только brave песни и плясать гопака...

— Ты у меня с-смотри!..

— Смотрю. Одним уже глазом...

— Ишь распустились! Под трибунал бы тебя, за вредную пропаганду!..

— А тебя за тупоумие и жирную харю — в генералы!

— Ч-что?! Что ты сказал?! Да я!..

— Не якай, тыловая крыса, а то как хуякнем по кирпичу — и отъекаешься сразу! Эй, ребята! Приготовили кирпичики! — скомандовал я, когда экипаж машины боевой утянулся, вжался в сиденья, и, несмотря на пыль, сделалось видно, как бледнеют brave командиры.

Доходяги мои, хорошо понимая, чем это может кончиться, все же перехватили кирпичи из-под мышек в руки. Шофер, наверное, вспомнил сразу про четвертую скорость, полковника, онемело махающего руками, бросило боком на сиденье, машина юркнула за поворот и скрылась, оставив после себя труху медленно оседающей пыли.

Мы покурили, передавая друг другу сигарку.

— Ну какая только тварь не командует и не распоряжается в тылу, — заговорил пожилой солдат с завязанным ухом. — А на передовой один главнокомандующий — Ванька взводный! Развелось этих комчиков, чисто вшей на святом гаснике...

— Затаскают тебя теперь, парень, — пообещал другой солдат.

— Дальше фронта не пошлют, больше смерти не присудят.

— Это так... Пошли давай. Ужин скоро. А то вынут наш капустный лист из хлеба.

\* \* \*

В недостроенной казарме за досками начиналось шевеление, звяк котелков послышался, звучные команды, начало до потемок бегать и даже петь строевые песни какое-то войско. Приходили из-за стенки офицеры в новом

обмундировании, выстраивали нас, оглядывали, несколько человек, не совсем еще разбитых, увели с собой — формировалась команда для пополнения стрелковой дивизии. Я уж из кожи лез, чтобы выглядеть бравым, шурил кривой глаз, чтобы сойти за огнеубойного стрелка, говорил даже одному офицеру, что провоевал почти год с ним, с кривым-то глазом, и стрелял отменно, из карабина угрожал немца, — не помогло, не брали меня за заборку.

Но в заборке были уже проделаны ножами дыры и дырки, две доски были отняты от бруса — мы вплотную начали общаться с маршевой командой, искали и находили земляков, вели мелкий торг и обмен, и — о радость! о счастье! — нашелся боец из нашей дивизии. Мы с ним договорились вместе добираться до фронта, там отрываться от пехотной команды и начинать поиски родных артиллеристов. У меня уже такой опыт был, я искал после госпиталя родную часть и нашел! Боец был ободрен, говорил, что надеется на меня, а я на него, и когда началось переобмундирование маршевиков, мой новый кореш приделался в помощники пэфээховцам, увел у них комплект оборудования, и, переодевшись, я забрался рядом с ним на вагонные нары спать. Утром уже гремел под нами колесами вагон, от всей души я отрывал то, что непременно понравилось бы полковнику, так истово отстаивающему идейность за десять тысяч километров от фронта: «В бой за Родину, в бой за Сталина, боевая честь нам дорога...»

На станции Волочивск, на старой нашей границе, встречал эшелоны военный кордон, настырный, пронизательный народ служил на том кордоне.

Оказалось, что не один я был такой находчивый и ловкий! Много желающих было увильнуть с фронта, но и не меньше желающих устремлялось на фронт или просто с разными неотложными делами пошиваться за кордоном: беглые из тюрем, любители приключений, жаждущие поднажиться, скрывающиеся от властей, кто и от семей. Жизнь многообразна.

Отсеяли меня из эшелона, под конвоем увели в комендатуру — довоевался! Допрыгался! Долго проверяли собранную в комендатуре толпу и которых вояк оставили для «дальнейшего прохождения», нас же, нестроевиков, жаждущих попасть в Германию, «к своим», насрамили, накормили, сказали, чтоб мы «не дурели», что без нас уже «большевики обойдутся», и загнали в Ровно, в конвойный полк, дослуживать «на легкой службе» остатные воинские сроки — победа уже близилась, уже ее дальние вспышки опаляли «логово» и громы сотрясали и рассыпали ненавистный город Берлин.

\* \* \*

Этот сбродный полк и «легкая» в нем служба сидят у меня в печенках до сих пор.

Казармы полка располагались в старых не то польских, не то наших, еще царских времен, строениях. Скорее всего, строили их и гноили в них молодой люд и те и другие, да еще, наверное, и третьи — немцы, которые не могут пройти равнодушно мимо любой казармы, чтоб не помаршировать вокруг нее, не полежать на ее нарах, не порадоваться спертому, затхлому казарменному духу, нанюхавшись которого можно и нужно одурело и угорело переть в поход, тыриться на что и на кого угодно.

Казармы располагались на самой окраине Ровно, кажется на западной, и наша глубокомысленная советская система, не терпящая никаких вольностей и излишеств, внесла некоторую привычную прямолинейность в образ и архитектуру старорежимных помещений: были убраны перегородки и вместо трехъярусных топчанов сколочены сплошные низкие нары. Тюремное привычное удобство, и главное, есть возможность наблюдать дневному и одновременно всякой казарменной твари за всей казармой, теплее спать, способней вше плодиться. А что будут хромоногие, больные, припадочные, гнилобрюхие и гнилодыхие недобитые солдаты «дослуживать» и тесниться — об этом как-то никто не подумал, стандарт, хоть из устава, хоть из башки,

он человеческих отклонений не признает и с индивидуальными запросами да хвоями подчиненных не может считаться.

Сырые, мрачные, бесконечно длинные и глубокие, как братская могила, склепы поглотили нестройной, пестрый люд, которому посулили в мае переобмундирование, но так на посуле и остановились — вот-вот должна была наступить долгожданная победа, до тряпок ли тут. Надо фанфары готовить, медные трубы и тарелки чистить, речи писать, плакаты малевать, флаги шить.

Из Ровно ощущение весны и победы как-то вроде бы отдалилось на неопределенное расстояние и сроки. Конвойный полк не только конвоировал арестованных в ссылки, он охранял тюрьмы, эшелоны, нес патрульную службу, помогал комендатуре, добывал по селам харчи и часто при этом «вступал в боевые контакты» с бандеровцами.

Час от часу не легче! Мне для разнообразия жизни только этих «контактов» и недоставало на достославном пути.

Что за «контакты» происходят на ровенских землях, мы узнали очень скоро: по тревоге были подняты все, кто был вооружен и мог двигаться; под утро в машине, в глухо закрытом брезентами кузове, привезли четыре горелых трупа. Куда, зачем они ездили — я не сразу узнаю, но солдаты-знатоки уверяли, что сожгли их живыми.

Были похороны. На машинах везли заколоченные гробы. Оркестр играл марш Шопена. Жители города Ровно за процессией не шли, двигались одни лишь военные из конвойного полка и от комендатуры. Военный эскорт с заряженным оружием сопровождал процессию, идя спереди, сзади и по бокам ее. «Могут гранатой лупануть», — разъяснили старожилы полка.

Я смотрел на лица западных украинцев, в тридцать девятом году поговору с Германией освобожденных из-под чьего-то ига, правда непонятно, из-под чьего. По выражению глаз и по стиснутым губам украинцев было видно: они тоже не поняли и, главное, понимать не желали. Большая часть гражданских шла себе по своим делам, не обращая никакого внимания на похоронную процессию, молодые, показалось мне, нарочито громко разговаривали, смеялись. Были люди, что скорбно прикладывали платки к глазам, крестясь, стояли обочь дороги, но то были все больше старые люди или переселенцы из России.

На ровненском кладбище большая территория была заселена свежими могилами. Пирамидки в отдалении уже смыкались в этакий голый срубленный лесок, на пеньки которого воткнуты стандартные железные звездочки. «Это ж по всем западным селам и городам такие украшения?! Да тут идет война!» — ахнул я и скоро убедился: да, война! И очень непонятная, но жестокая, и в ней больше всего достается мирному, ни в чем не повинному люду да недобитым на фронте солдатам.

\* \* \*

Четырех женщин привели из ровненской тюрьмы под конвоем — стирать солдатское белье. Мне и припадочному Женьке-морячку выдали по автомату, велели зорко стеречь этих женщин в прачечной, не вступать с ними ни в какие разговоры, тем паче в «отношения», «сделки» иль «половые контакты»: всякое нарушение сих правил рассматривается как «враждебная вылазка, несоблюдение устава и карается...».

Ну, этим нашего брата не возьмешь! Мы и посерьезней кой-что читали, привыкли к писаному настолько, что буквы на нас, как звуки на глухонемых, не производили никакого впечатления, если и производили, то следовало обратное действие — тихое им сопротивление.

Скинув с себя верхнее, оставшись в том, в чем купаются деревенские женщины, прачки круто взялись за дело: одна обдавала белье кипятком из крана и оставляла его париться в деревянных чанах, другая ворочала толстым стягом это кисельное варево из белья и на стяге же разносила его по коры-



там, третья молотила его, громыхала по стиральной доске, будто лупцевала из малокалиберной зенитной пушки по вражеским самолетам, четвертая была беременная, звали ее Юлия, отжимала и развешивала белье. С самого начала, как пришли жинки, все они говорили разом, кроме Юлии; та, что громыхала стиральной доской, попросила закурить, Женька ей дал закурить, огоньку поднес, да еще и на ухо ей что-то шепнул. Она захохотала, прикрывшись тыльной стороной руки, поводила черными глазами по помещению и сказала: «Гэть, маскаль!» Эту звали Тамарой.

Целую неделю шла стирка, и неделю мы с Женькой стояли на посту в прачечной. За это время было перестирано не только наше, но и офицерское белье, в том числе и постельное. Что-то ценное принесли жинки из тюрьмы, где народу было видимо-невидимо и порядки были не очень железные. Это ценное — золотые сережки, узнал я после — Женька сбыл на рынке, закупил выпивки, еды. Прикончив дневную стирку, закрыв вход простынями и выдворив меня в тамбур, на пост, как малоценный кадр, заключенные и постовой загуляли, предварительно вынеся мне на газете еды и яблочного забродившего сиропа в бутылки.

Разика два Женька уединился с Тамарой в карантинном домике, находившемся через двор от прачечной. Там, в углу территории полка, зябко и стеснительно кособочился нужник с буквой «ж», написанной «вуглем». На сооружении были сорваны с одной петли дверцы, и с боков оно было источено и издолблено ножиками, чтобы, если какая «ж» решится посетить нужное позарез заведение, можно было подсмотреть, что оно и как там. Никто из офицерских жен в нужник тот не ходил, если и посещался он, то глухой ночью. Жинкам-прачкам куда было деваться? Бывший матрос Женька стоял на расстоянии, доходяг, желающих смотреть «кино», отгонял прочь заряженным автоматом.

Проныра Женька изловчился добыть ключ от карантинного домика и обходным манером уводил в него «на осмотр» смуглую, затаенно жгучую Тамару. За это за все — за организацию пьянки, за наслаждения — Женька мог получить десять лет штрафной, я, как пособник, — пять или тоже десять. И когда он предложил мне «прогуляться» с одной жинкой, я, подавляя в себе низменные страсти, честно признался, что боюсь за себя и за него, вообще за все боюсь: ведь Победа, жизнь — вот они, рядом, мы погубим себя ни за пнюх табаку. С облегчением я вздохнул, когда стирка закончилась, мы отвели жинок к воротам тюрьмы и сдали их тамошней охране. На прощанье советский боевой моряк взасос, если не взаглот, целовался со смертельно сцепившейся с ним смуглой украинкой, и еле их, этих полубовников из разных вражеских лагерей, мы расцепили; только моя бывшая специальность сцепщика, громко именуемая «составитель поездов», небось и спасла положение.

Пока жинки стирали да тараторили, узнал я, но не до конца понял, что творится в Западной Украине — кто тут кого бьет, кто за кого и за что борется.

Со времен «освобождения» западных областей в глухих лесах и ковельских болотах завелось и не утихало партизанское движение — недобитые поляки, сидевшие по норам города Львова, переименованного немцами в Лемберг, и вокруг него, по лесным ямам, истребляли и немецких, и русских, и украинских людей, разумеется из-за угла, они называли себя повстанцами; немцы, затем и наши наименовали их бандитами.

Украинцы сперва били друг дружку, затем попробовали пощекотать пулями из леса немцев, но рейхскомиссар Кох так неласково обходился со всеми, кто обижал оккупантов, что потом украинские самостийщики лишь отбирали у немцев оружие и имущество, самих же оккупантов отправляли с богом на все четыре стороны. Сельские украинцы выбивали городских, те и другие презирали и выбивали поляков, поляки поляков тоже били, утверждая лучшую в мире демократию, и одни защищали правительство, сидевшее в Лондоне, другие боролись за боевой дух маршала Смиглы, ведущего раз-

гульный образ жизни в Европах, третьи с оружием в руках защищали только свой дом, свою худобу и семью, потому что все от них требовали, отнимали, что можно было сожрать, выпить, продать, обменять. Были еще и четвертые, и пятые — всеми брошенные, всеми преданные, одичавшие, усталые до смерти, доведенные до отчаяния.

Но вот появилась сила, которая все эти разложенные банды, ячейки, отряды, села, хутора объединила в борьбе против себя, — это наши доблестные партизаны, все сметающие в рейдах по Западной Украине. Огромный, сокрушающий удар они нанесли немецким тылам, много немецких войск сковали и заставили держать большие гарнизоны возле железных дорог, мостов, в городах и на станциях. Мне довелось видеть Ковельскую железную дорогу, буквально засыпанную вагонами по ту и другую сторону, паровозами, боевой техникой, — важная эта артерия, по существу, была под контролем партизан, да и шоссезные дороги свободой передвижения не могли похвастаться.

Но целым соединениям партизан надо было чем-то кормиться, чем-то отапливаться, согреваться, обстириваться и обмываться, стрелять и вооружаться, лечиться, бинтоваться. И черной грозой тучей, все пожирающей саранчой плыло по Западной Украине партизанское войско, в котором, конечно же, было всякого «элементу» хоть пруд пруди. Не очень-то наши партизаны разбирались, где «свои», где «чужие», где «наши», — мародерство, грабеж, насилие переполнили чашу терпения крестьян-западников, они примкнули к разрозненному еще движению «самостийщиков», взяли за оружие, тут и «вожди» сразу же нашлись, и «отцы», и борцы, и братья идеологи, и направители, и миссионеры, и спасатели, и миротворцы.

И вот фронт давно перевалил западные области, войско достигло Германии, «герои-ковпаковцы» и прочие «герои», кто влился в войско, по привычке мародерствовали, насиловали и грабили уже в «логове», кто дома горилку пил и по своему усмотрению правил в деревнях, чинил суд и расправу вокруг Лемберга, снова сделавшегося Львовом, вокруг Ровно, Ковно, Станислава, Ужгорода, по всем западным областям. «Выплескиваясь» и через «старую границу», в Радяньскую Украину, шла скрытая подлая война, и пока что конца ей не было видно.

Я никогда не видел вживе «батьку Ковпака», но одного его сподвижника, героя Советского Союза Умова, мне лицезреть довелось. В Доме творчества в Ялте. Он сам ко мне подошел, представился, при этом раньше, чем «Герой и генерал», произнес с очень важной интонацией: «Член Союза писателей». Был он суетлив, малограмотен и жаден до беспредельности. Жадность-то и жажда самовозвеличивания и бросили его на стезю творчества. Как и всякий обыватель, да еще из военной среды, он был уверен, что писатели и артисты деньгу гребут лопатой, да все «задаром», и деньга та им «не к руке» — пропивают они все, а вот бы ему...

Генерал Умов имел в Киеве одну из лучших квартир, на Крещатике, в правительственном доме, бесплатную дачу под Киевом, бесплатный проезд, пролет и проход, снабжался из «отдельных фондов», где за продукты платил ровно столько, чтоб была видимость платы, получал огромную пенсию, имел машину, шофера, потихоньку реализовывал урожай фруктов и ягод с казенного участка, но «оптом же, оптом приходится сдавать — мне ж самому неудобно торговать на рынке, — а оптом какая плата? Грабеж!». И в литературе грабеж. Сам-то он писать не может, учиться уже поздно, выходец же из бедноты, какая грамота? А материала у него в памяти, материала! И карты есть, и дневники, и бесценные документы, и редкие книги, и партизанские записные книжки, и немецкие, и бандеровские письма, и фотоматериалов куча — он же знал, что все это пригодится потом, старательно готовился к мирным трудовым будням.

Но талантливые писатели сами пишут, на уговоры и посулы не поддаются, приходится нанимать поденщиков, чаще всего пропойц или несостоявшихся писателей, или еще хуже — тех, кто писал когда-то здорово, да загу-

дел и живет шабашками. Живут на даче, жрут, пьют, дебоширят, дело идет с пятого на десятое. Две книжечки, правда, вышли, сдана третья, но ведь и в издательстве тоже надо подмазать: рецензентам дать, редактору дать, директора свозить на дачу, поугощать, да еще править, редактировать рукопись, без этого у них уж никак! А правщику опять плати, корми его и пои. Вот найти бы ему хорошего, постоянного писателя, ну пусть бы он днем свое писал, вечером бы его, генеральские, записи о рейдах, походах и партизанском героизме до ума доводил. Он бы тогда ни за чем не постоял: пятьдесят процентов гонорара, само собой — дача, питание, фрукты, купание — все-все пожалуйста, даже с семьей можно...

Я спросил генерала, почему он адресуется ко мне с этими делами, ведь я никогда литобработчиком не был, ни с кем вдвоем не работал, да и материала своего у меня столько, что дай бог его хоть частично реализовать за свою жизнь, да и голова моя больна после контузии, глаз видит только один, хватает меня лишь до обеда.

— Вы знаете, — зарделся старческим румянцем седой генерал, отпустивший по моде, как «у писателя», длинные волосы. — Вижу, люди русские приехали, скромно одетые, скромно себя ведут. Спрашиваю ребят: кто такие? Они мне сказали. Я, конечно, ничего, к сожалению, вашего не читал — некогда читать-то, да и тихо читаю, говорю, грамота мала. Вот взял в библиотеке вашу книжку, прочитал кое-что. Тала-а-англи-иво-о-о! Ничего не скажешь, та-ала-антливо! И смело! Молодец! Вот я и подумал, что вам совсем нетрудно... А у вас дети... всякая копейка не лишняя... Может, бы вы...

Разумеется, я решительно отказался от творческого содружества с генералом, но он надежды не терял, все приставал ко мне с предложением подумать, и однажды я не вытерпел, дерзко спросил его: куда ему столько денег? Ведь они, и только они, да жажда славы влекли его в литературу.

— А внуки?! — как мальчику-несмышленишу, ответил он. — Что ж им, моим внукам, ни с чем оставаться на этом свете...

Думаю, что ни внуки, ни правнуки этого героя и члена Союза писателей ни с чем не оставались и не будут оставаться, будут довольствованы по первой коммунистической категории.

\* \* \*

Женя-морячок все-таки влип в историю. У него, видать, что-то осталось от продажи сережек, и он, вырвавшись в город, напился, напившись, явился в нашу нестроевую угрюмую казарму и нарушил ее покой морской песней: «З-закурим матросские трубки и выйдем из темных кайют, пу-усть во-волны да-аходят до рубки, но с ног они нас не собьют...»

На голос певца из каптерки выполз ротный старшина Гайворенко или Пивоваренко, не помню, и рявкнул:

— Пр-рэк-ратыть безобразе!

— А пошел бы ты на хуй! — последовал незамедлительный ответ.

— Шо? Шо? Та я тя!.. Та я тоби!.. У штрашной миста хватэ!

— Что ты сказал, гнида? — взяв за воротник ротного старшину и завернув на нем гимнастерку так, что заскрежетали и начали отскакивать железные пуговицы, хрустнула материя, поинтересовался боевой моряк.

— Та я лычно ничего! — задергал усами, засипел старшина, который был, между прочим, и здоровее, и старше Женьки.

Матрос благородно отбросил его прочь и брезгливо вытер о штаны руки. Он бы еще попел, поколобродил, но явился вооруженный наряд из пяти человек, сзади которого скулил старшина и хмурился пожилой капитан — дежурный по части.

Женька не давался патрулю, пытался вырвать оружие, крыл безбожными словами всех и вся, вдруг вскрикнув: «А-а-ах!» — высоко подпрыгнул и свалился на пол, забился затылком о каменный, сырой пол.

Все в ужасе смолкли и расступились.

Пролежавши в госпитале, где эпилептиков было считай что половина среди больных, я бросился сверху, сел на грудь моряка, пытался разжать его стиснутые руки. Сил моих не хватало. Женька тупо колотился о каменный пол. «Ну чё стойте?! — рывкнул я на патрульных. — Голову!..» И они прижали голову Женьки к полу.

Через какие-то минуты у Женьки выступила на губах пена, он глухо простонал, сморился и впал в беспамятный сон. Патрули помогли поднять Женьку на носы, затоптались возле них.

— Напывсь. Придуривается... — начал было старшина.

Я сказал тоскливо стоящему в стороне капитану с орденскими колодками и тремя ленточками за ранения, показывая на старшину:

— Товарищ капитан, уберите это барахло. И сами уходите. Тут бы врача...

Старшина Гайворенко или Пивоваренко был настоящий, дремучий хохол и обид, ему нанесенных, никому не прощал. Он преследовал нас с Женькой денно и ночью, напускал на нас тайных своих фискалов и сам не стеснялся подслушивать и подсматривать за нами. Он же спровадил нас с Женькой в поездку за картошкой в такое место, о котором услышав старожилы полка заявили, что едва ли мы оттуда вернемся.

\* \* \*

Конвойный полк, как и всякий другой полк, хотел жрать не один раз в сутки, и жрать хотел получше, чем какая-то там пехота или артиллерия в боевых порядках фронта. Овощи, мясо, фрукты конвойный полк добывал себе сам с помощью давно проверенной и надежной системы обложения. Там и сям по украинским селам местные власти, еще недорезанные националистами, обязаны были в счет налогов и сельхозпоставок подготовить столько-то и столько-то тонн съестного, а уж грузить и вывозить приходилось самим военным.

Под команду капитана Ермолаева, того самого, что возглавлял патруль, зауральского уроженца и бывшего пехотного командира роты, батальона и снова роты, но уже состоящей из доходяг и приспособленцев, кроме меня и Женьки угодило три молчаливых хлопца, крепко побитых, но оружие держать еще способных, хотя ладом стрелять никто из нас уже не мог и оружие было «не свое», где каждый стрелок знал каждую гайку, шурупину и «ндрав» его. Оружие было выдано с полкового склада по случаю поездки за картошкой.

Вез почти незнакомую дружину шофер по фамилии Груздев, грудь которого украшала узенькая желтая ленточка за якобы тяжелое ранение, и два военных значка, свидетельствующих о том, что он служил в кадровой армии. Вояк, выдавших виды и познавших людей, одно это уже настораживало — как мог умудриться кадровик уцелеть до сих пор, не продвинувшись ни в гренадеры, ни в офицеры. Что же касается ленточки за ранение — тут нас тоже не объедешь, почти весь доблестный конвойный полк украшен был всевозможными лентами и ленточками, значками и значочками.

Еще когда мы снаряжались в поход за картошкой, шофер Груздев, осмотрев нас внимательно, сказал, что лучше бы не ездили никуда. Мы, естественно, поинтересовались, почему и как это мы можем не ехать, коль приказано.

— Мне ль вас, бывших вояк, учить придуриваться? — криво усмехнулся Груздев. — Да вы самого сатану объегорите и до припадку доведете.

Мы между собой решили, что, призывая нас придуриваться и не ехать, шофер Груздев тем самым хочет избавиться от поездки сам, но с нашей помощью. Дорогой мы придумали самую близлежащую версию о том, как Груздев избежал передовой, но все же угодил в полк, где и убить могли: возил на машине крупного военачальника, воровал и развращался, наглед до

поры до времени в меру, но потом зарвался, воровать стал больше, и ему мало сделалось штабных секретуток, и он зашурупил жену своего любимого командира — и за это за все поехал бить врага беспощадно, однако по пути в Берлин зацепился за эту вот боевую конвойную единицу и еще недоволен, харя!..

Однако ж шофер Груздев водил машину и в самом деле классно, чем еще больше утвердил наше мнение о нем как о воре и соблазнителе.

А кругом и обочь дороги, утонувшей в желтых уже умиротворенно и сухо колыхающихся хлебах, лежала холмистая, пространныя земля в разложьях, высохших за лето и выкошенных, усыпанная стожками, цветом и формой похожими на успокоенные, на зиму запечатанные муравейники.

Там и сям по зеленой отаве ложков, из желтых хлебов молчаливо наступали лохматым войском кустарники, прошивающие желтые нивы крупными и темными солдатскими стежками, в дальней дали и по горизонту суслоны на фоне кустов как бы на всплеске замерли темными разрывами. Кое-где горизонт протыкал острой иглой темный костел, либо упрямо белела и золотилась крестиком подбористая церковка. Чем далее к горизонту, тем более сгущались и смешивались меж собой выводки деревьев, под которыми ютились хутора, деревеньки и хуторки, почти растворенные в исходном ослепительном солнце, под которым синим дымком низко стелились глухие ковельские леса.

Никакой враждебности и настороженности вокруг не ощущалось. Наоборот, все напоминало что-то далекое, полузабытое, из детства. Тянуло молчать и вспоминать лучшие отдаленные дни и потосковать о них да еще о чем-то, уже отдающем грустным ликом осени — усталостью ли от войны, пустых иль спаленных хуторов, неуютом ли полей, заброшенных и не убранных во многих местах, — но земля же, ее с детства привычный облик и величаво темнеющие леса вселяли в сердце успокоение, и это вот бескрайнее человеческое прибежище под названием «земля», осененное спокойным солнцем, вселяло в сердце и во все вокруг твердое и молчаливое право дышать, зреть, рождать во имя и для вечной жизни.

Село, куда мы приехали, тоже было пустынно, и в нем, разморенная предвечерним солнцем, была та ни с чем не сравнимая тишина, которая бывает в сельском месте после уборки урожая, полноправно царила тут сельская идиллия.

Угрюмый, в кирзачи обутый председатель сельского Совета встретил нас и проводил к кагатам — траншеям за селом, засыпанным картофелем, откуда мы быстренько и загрузили кузов машины, собрались уж было уезжать, но председатель молча указал нам на обширный запущенный сад, меж деревьев которого слоями желтели гниющие яблоки, чернела сгнившая черешня, вишня и еще непольностью опавшая переспелая слива отяжелела прогнутые ветви. Мы набрали полные рюкзаки фруктов, собрались умыться у колодца, здесь нас переняла учительница, молодая, кругленькая, говорливая, пригласила к себе пообедать.

В доме, просторном и пустом, нас встретил учитель, синюшно-тощий, степенный, за которого говорила почти все слова учительница. Они быстро собрали на стол, выставили две бутылки фруктовой настойки.

Мы с радостью выпили и поели. В полку нашем отчего-то не принято было давать паек в дорогу, надеялись, видимо, опять на ту самую «находчивость», которая чаще всего проявлялась в том, что солдаты ломали ветки в саду или чью-нибудь старую ограду, пекли картошки и ели их от пуза.

Учитель и учительница были ярославские родом, присланные сюда по распределению учить детей, и учили, как могли. Бандеровцы? А где они, кто их узнает? Они кругом — и нигде их нету. Просто ночью они, учителя, стараются никуда не выходить, днем селяне с ними приветливы, помогают им, чем могут, детей в школу отдают охотно, хотя есть семьи, из которых детей

в школу не отпускают и дружелюбия никакого не проявляют ни к властям, ни к приезжим. Первоначальная тревога в страх еще не переросла, хотя они и наслышаны о зверствах националистов, конечно же, могут прикончить и их. Ну так что ж — ведь «коль придется в землю лечь, так это только раз!..». Председатель сельсовета? Он тоже приезжий, угрюмый же и молчаливый оттого, что изранен, семью потерял на Смоленщине. Но у него, да и у них, учителей, все чаще мелькает мысль, что они здесь заложники, присланные для того, чтобы «ограждать» чьи-то интересы, в случае чего, их если схватят, может, обменяют на какого-нибудь отъявленного бандита или повесят. В последнее время зачастили в волость военные чины из Ровно, спрашивают, дознаются насчет бандеровцев. А что они знают? Да если и знают — не скажут, потому что военные те покрутятся, покрутятся и уедут, а они вот тут как на куче горячих углей...

— Неправильно ты говоришь, Ляля, неправильно! — поправил свою спутницу учитель, куривший сигарку за сигаркой. — Нужно добросовестно, честно исполнять свои обязанности, не чваниться, не чиниться, не хвалиться — и народ в конце концов поймет, кто ему хочет зла, а кто добра... — Он закашлялся, растер сигарку в консервной банке. — Кроме того... — сходил сплюнул за веник, в угол. — Кроме того, мы как-то мимо уха, не вслушиваясь, пропускаем гениальные слова Пушкина: «И милость к падшим призывал...» Милость! А не зло за зло, не презрение, не месть.

— Ой, Гена! — спохватилась учительница. — Милость милостью, а мы хлопцев задержали. Наговорились хоть. Я вас провожу до околицы.

Учительница долго стояла у околицы, под старым дубом, и махала нам рукой. За селом от дальнего леса наплывали сумерки, и темной сделалась крона дуба и сама одинокая фигурка женщины, которую отчего-то было жалко и не хотелось оставлять одну, — мне показалось, перестав нам махать, она сжала руки на груди и сама сжалась в узкую, беззащитно-одинокую, бесплотную былинку.

Вот на этой мирной и тревожной картинке я и остановлю рассказ о службе в армии и о войне. Уж очень хочется поскорее поведать о главном событии в моей жизни — о женитьбе, а то казармы да казармы, будни да будни серые, военные. Должен же у человека быть какой-то если не праздник, то хотя бы роздых, ну не роздых, так хоть перемена, ну не перемена, так пусть крутой поворот к лучшим дням, надеждам, потому как все мы живем под одним красным солнышком, на Божьей росе, говаривала моя бабушка, и должны же у каждого из нас быть исполнены Создателем нам предназначенные дела земные и мечты пресветлые.

*(Окончание следует.)*



---

---

ВЛАДИМИР ЗАХАРОВ

\*

## О ЧИСТОЙ МАТЕМАТИКЕ

После...

«Рассеянные племена  
Скликать опять на бой,  
Одна проиграна война,  
Но победим в другой.

Еще вчера провел Ваал  
В огонь родную плоть,  
И каждый был смущен и мал,  
Но с нами вновь Господь.

И мы...» Тропинки дальше нет,  
Стоят строенья тьмы,  
Ведет оплывший слабый след  
В ночной чертог зимы,

Где между елями прогал  
Сиянием залит,  
Где нет под снегом сгнивших шпал  
И нет разбитых плит,

Где нехотя зимует лес,  
Где предвесенний хруст,  
Где равнодушен свод небес,  
Где мановеньем уст,

Где можно шевеленьем губ  
Приблизить миг мечты,  
Хоть мы вблизи кирпичных труб  
И городской черты.

А там, желточный свет тая,  
В бетонной вышине  
Повисла комната моя,  
Как кокон на стерне.



### Ветер

Ветер, вой, древесничай  
Сколько силы есть,  
Ёрничай, повесничай,  
Всюду тебе честь!

Как не превозмогшие  
Совести мечты  
В даль неси размокшие  
Желтые листы.

Прояви старание,  
Весь характер свой,  
Над кирпичным зданием,  
Над его трубой.

Желтые, фабричные  
Окна оближи,  
Песни неприличные  
Про людей сложи.

Этой ночью сумрачной  
Что такое — грех?  
Ёрничай, безумничай,  
Ты один за всех.

Вольничай, бездельничай,  
Ты один — герой,  
Ты один — постельничий  
Осени сырой.

А когда устанешь ты  
Быть во всех местах,  
Есть тебе пристанище  
На пустых мостах.

### Единорог

На дальнем юге — море царских роз,  
А там — олимпийских венчанье,  
Поближе — степь, и ветер к нам донес  
И выкрики, и диких коней ржанье.

А здесь лениво дрящущийся Итиль  
Уж смыл следы недавнего набега,  
И утро, и легко сегодня стиль  
Лежит в руке. И далеко до снега.

Пока я сушнячок к костру несу  
И завтрак уж готов наполовину,  
Он, фыркая, взбегает на косу,  
И видит нас, и гордо горбит спину.

Что — девственность! Ведь благородней мать,  
 Растящая незлобного ребенка,  
 Поэтому его без страха гладь,  
 И станет он доверчивей ребенка.

Не повредит нам этот вьючный скот,  
 Хоть здесь места просторны и красивы,  
 Пойдем на север. Ветер там поет,  
 И шишечки пушисты там у ивы.

Поставим домик около реки,  
 Цвета небес там нежны и капризны,  
 И медленно уходят ледники,  
 Освобождая место для отчизны.

### Сонет

Ломали дверь. Не в первый раз, но страх  
 Всегда велик. Я замер в коридоре,  
 Свеча в испуге, дети на ногах  
 И молча жмутся. Дверь подается вскоре.

Без выкрика стреляю. Холод, ночь,  
 Соседи, притаившись, ждут исхода,  
 Да я и сам не вышел бы помочь.  
 Крик, топот, темень, до весны — полгода.

В углу припасы, цеженой полна  
 Водой ванна, улеглась жена.  
 Да, много их сегодня сбилось в стаю.

Опасно жить на первом этаже.  
 Вот есть бензина бочка в гараже —  
 Эй, все! На автомат ее меняю!

\* \*  
 \*

Здравствуй, матушка, костяная нога!  
 Что глядишь на меня с усмешкою?  
 Вижу я иль не вижу в тебе врага,  
 Но схожу я сегодня пешкою.

Здравствуй, батюшка, несытой оскал!  
 Хорошо ль ты вчера накушался?  
 Как ты звал меня, как рукой махал,  
 Но, как видишь, я не послушался.

На рассвете моя лишь утихнет злость,  
 Когда ветер свистит над рощею  
 В самодельный свисточек — пустую кость  
 Над неправдою нашей тощею.

**Вечернее размышление**

Продолжаются дни,  
Не кончаются войны.  
Вот вечер, погасли огни,  
Мы спокойны.

Хочется работать, стругать.  
Как хороши пилы!  
И невозможно лгать —  
Нету силы!

Но если умирает звезда,  
За окном больно и долго,  
Смотрю на это зрелище иногда,  
Но что от жалости толку!

Нищенская сума  
Висит у двери, забыта,  
Я стираю, и крутится тьма  
На дне серебряного корыта.

Из окон открывается вид,  
Дует ветер грубый,  
А за дверью стоит  
Вурдалак красногубый.

Отвори, Господи, небеса,  
Дай нам напиться,  
Красна закатная полоса,  
Пора звезде и скатиться.

Полные смертной тоской  
Длинные ночи.  
Господи, мы одни с тобой...  
Загляни в мои очи!

**Песенка**

Ко мне пришли вчера тонтон-макуты  
И говорят, что в дальней стороне  
Большой убыток понесли якуты  
И что платить за то придется мне.

Ко мне пришли сегодня исполины,  
Ломают дверь ударами хвоста  
И говорят, что рейнские долины  
Отныне их законные места.

Я еле спасся на воздушном шаре,  
И вот смотрю испуганно с высот:  
Мелькают искры на большом пожаре  
И всюду жизнь течет наоборот.

Сидят, как ханы, гордые чечены,  
 Гляди, читать разучится народ,  
 На огородах вырастают стены,  
 И бабка поливает пулемет.

В ракете скрылись парни холостые,  
 Она уже галактикой летит,  
 И лишь бандит — надежда всей России —  
 На этот мир уверенно глядит.

\* \*  
 \*

Безумен тот, кто с нами не поет,  
 Кто голос до небес не поднимает  
 И этим пелену не разрывает  
 Смертельно нас опутавших тенет.

Безумен тот, кто с нами не поет,  
 Блаженною улыбкой не сияет,  
 В беспамятстве глаза не закрывает,  
 Всего себя вокруг не раздает.

Безумен тот, кто с нами не поет,  
 Кто думает, что все он лучше знает,  
 А сам душой как пропастью зияет  
 И Господа в лицо не узнает.

### Динозавры

Хорошо бы  
 Проследить своего предка  
 По мужской линии  
 Хоть до времени динозавров.

Он был маленький,  
 Ростом не больше крысы,  
 Но отважен и коварен,  
 Не хуже самых гордых его потомков.

Рисковал всю жизнь, между прочим,  
 Разгрызал динозавровы яйца  
 И окончил в зубах  
 Молодого *Tabolorugus Vulgaris*.

А меня потому и тянет  
 Сегодня на динозавров,  
 Что я в Аризоне,  
 За окном моим кактусы и пустыня.

А по телевизору  
 На 28 канале — секс непрерывно,  
 А на 38 — динозавры  
 Двадцать четыре часа в сутки.

**Жалость к маленькой звезде**

Птичий ком взлетает в небо,  
Рыбий клан скользит в глубины,  
Косяками, косяками  
Сны летят над облаками,  
И теряют звезды имя  
В страшном мире наших дел.

Потерявшая призванье,  
Позабывшая названье,  
Покатилась как монетка  
С неба павшая звезда.  
Пожалей ее, малютку,  
Между креслом и диваном  
Опусти свободно руку —  
Что-то нежно щиплет пальцы,  
Что-то мягко жжет ладонь.

Птичий ком взлетает в небо,  
А у рыб уже стемнело,  
Труп пространства уж ободран,  
Смертным время по домам.  
Барабаны скоро грянут  
На разборках уголовных,  
Полетят заре навстречу  
В «мерседесах» палачи.

Впрочем, нашим нимфоманкам  
Мало будет огорченья —  
Кратко мы грустим о мертвых!  
Утро даст большой банкет,  
Солнце белым ятаганом  
Облакам разрежет брюхи,  
И на землю изольется  
Драгоценная икра.

Лучший ты из нуворишей!  
Потому что образован,  
Ровно в меру беспощаден  
И удачлив, как Гвидон,  
Ты хорош с премьер-министром,  
У тебя друзья в газетах,  
И к тому ж тебе знакома  
Жалость к маленькой звезде.

Это — правильная жалость!  
Рыбий клан скользит в глубины,  
От глубин до тверди синей  
Нынче все потрясено.  
Так все стало незнакомо,  
Непривычно, невесомо,  
И совсем уж трудно звездам  
Удержаться на гвоздях!

\* \*  
\*

Никого нельзя обижать, никого,  
Человеческое вещество  
Нежно и уязвимо.  
И подобие дыма —  
Утешительные потом слова,  
Ведь обида — она до сих пор жива!

Никому нельзя доверять, никому,  
Лучше сразу надеть на себя суму.  
Помнишь замок в Германии и там тюрьму,  
Такой глубокий колодец без дна.  
И помнишь, какая там тишина?

\* \*  
\*

Над городом встала угрюмо тюрьма,  
И утречком сирым  
Стоит на коленях белесая тьма  
Над рухнувшим миром.

А там, где недавно горел виноград,  
Кряжистый и старый,  
Там мальчик несет на плече автомат,  
Флиртуя с гитарой.

И арфа Эола висит на суку,  
Звенят ее струны  
О том, что кончается с раной в боку  
Покорный Перуну.

Я звуки все эти услышал во сне,  
Рыдания женщин.  
И жизни и пения хочется мне  
Все меньше и меньше.

### Август

Что сказал он на прощанье:  
«Хорошо сыграли мы!»  
Вот пример для подражанья  
Другу света, другу тьмы.

Август, Август, царь Вселенной,  
С круглым яблоком в руке,  
Знал, что мир обыкновенный  
Весь построен на песке.

Август, Август благородный,  
Целый век тащивший воз,  
Знал, что этот пресноводный  
Мир не стоит наших слез.

Нет ни ада и ни рая,  
Только холод от могил,  
Что ж, и мы уйдем играя,  
Так, как Август уходил.

Улыбнись друзьям и бедам,  
Никому не дав ответ,  
Пусть придет молчанье следом,  
Пусть оно приходит вслед.

\* \*  
\*

Не слонялся по притонам значным  
Доктор Харди, чистый математик.  
В Кембридже зеленом по лужайкам  
Он гулял — вдвоем с Рамануджаном,  
Больше же один. И все о числах  
Думал он, простых и совершенных.

Первая, Вторая мировая,  
Поднялись и рухнули эпохи.  
Но простые числа так же просты,  
И от совершенных не ubyло  
Дивного, мой друг, их совершенства.

Есть же нечто прочное на свете!





---

---

ВЛАДИМИР ТУЧКОВ

\*

## СМЕРТЬ ПРИХОДИТ ПО ИНТЕРНЕТУ

*Описание девяти безнаказанных преступлений, которые были тайно совершены в домах новых русских банкиров*

Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему интересно.

### Предисловие

В августе 1997 года, в какой-то мере *отдыхая* в некогда древней Феодосии, я добросовестно скучал — на море и на суше, под лучами жаркого солнца и струями освежающего дождя, в затрапезных кафе и на кручах Кара-Дага, беспрестанно и с ожесточением повторяя строку любимого поэта: «И дольше века длится день!» Однако счастливый случай свел меня с преинтереснейшим человеком, который профессиональным чутьем угадал во мне писателя, а значит, и внимательного слушателя.

Мой новый знакомый оказался частным детективом, чьими услугами пользуются очень богатые люди, избегающие какой бы то ни было огласки не только результатов расследования, но и самого факта преступления, имевшего место в их доме. Эта секретность проистекает не из обывательского нежелания *выносить сор из избы*, но жизненно необходима, поскольку репутация людей, стоящих во главе крупных банков, инвестиционных компаний, транснациональных корпораций и международных фондов должна оставаться безупречной во имя всеобщего благополучия и процветания. Ведь от каждого из них зависят судьбы многих тысяч людей — компаньонов, сотрудников дочерних фирм, вкладчиков, государственных чиновников, активистов общественно-политических организаций и спонсируемых деятелей культуры. А малейшее упоминание имени *хозяина* в скандальной хронике подрывает доверие клиентов к возглавляемому им *делу*. Это чревато нарушением баланса и крахом некогда успешного *предприятия*.

Конечно, нам прекрасно известно о многочисленных убийствах банкиров. Но такого рода информация распространяется, когда, во-первых, скрыть преступление невозможно, поскольку оно происходит в публичном месте — в офисе, на улице, в подъезде. А во-вторых (и это главное!) — когда преступление совершается конкурентами, то есть *чужими людьми*. Но о том, что происходит *в домах* банкиров, не имеет представления ни один активный читатель рубрики «Криминальная хроника».

Мой крымский знакомый, по вполне понятным мотивам не называя имен, поведал множество историй, в реальность которых было крайне труд-

---

Тучков Владимир Яковлевич родился в Москве в 1949 году. Окончил Московский политехнический институт. Поэт и прозаик. Член Союза писателей. Публиковался в периодических изданиях России, Германии, Израиля и Франции. Переводился на французский язык. Автор поэтического сборника «Заблудившиеся в зеркалах» и книги прозы «Записки из клинической палаты».

но поверить. С одной стороны, *сознание* не находило в них никаких логических противоречий, вполне естественными выглядели и *мотивировки* всех чудовищных поступков. С другой стороны, испытываемые мной чувства были взаимоисключающими: одновременное омерзение к этому страшному миру и жалость к его обитателям. Однако наилучшим доказательством подлинности всего услышанного служит та искренность, то неподдельное волнение в голосе, которые звучали из уст моего собеседника.

Необходимо особо отметить, что практически все из рассказанных мне *историй падений, предательств и неслыханной жестокости* раскрыты не были, хоть детектив после скрупулезного изучения всех обстоятельств выяснял *для себя всю подноготную*, вплоть до мельчайших подробностей. Однако заказчику расследования предьявлялась совсем иная версия, как правило не разоблачающая никого из *героев* трагических событий. На то есть ряд причин. Одна из них, наиболее банальная и весомая, заключается в том, что подлинный преступник *перекупает следователя*, отчего тот получает сразу два гонорара.

Наши беседы обычно проходили в баре пансионата «Ай-Петри», где по вечерам по-европейски ненавязчивая музыка органично сочетается с теперь уже украинским массандровским портвейном, потребление которого сопровождалось неизменным тостом: «За то, что богатые тоже плачут!» Данный цинизм можно лишь отчасти оправдать нравственно расслабляющей атмосферой крымского побережья. Формальным поводом наших умеренных застолий была какая-то экзотическая карточная игра *на двоих*, необычные правила которой я уже навряд ли вспомню. Однако каждое слово моего собеседника прочно отпечаталось в памяти.

Всеми этими историями с минимальными авторскими дополнениями в части *наиболее вероятных* диалогов и описаний чувств, которые действующие лица *могли испытывать* в тех или иных ситуациях, считаю своим долгом поделиться с тобой, уважаемый мой читатель.

*Автор.*

*P. S.* Обилие в тексте *выделенных курсивом слов и оборотов речи* объясняется рядом причин. Тут и затруднения, с которыми столкнулся автор при подыскивании терминов, отражающих смысл и дающих название еще не укоренившимся в русском языке новым социальным и нравственным явлениям. И удивление новому звучанию старых слов в контексте современной жизни. И акцентирование внимания на незначительных деталях, которые впоследствии играют самую решительную роль в развитии трагедии. Да и просто авторское тщеславие, которое настаивает на том, чтобы читатель смог порадоваться вместе с автором тому или иному удачному эпитету.

## СТРАШНАЯ МЕСТЬ

**О**льга была на двадцать лет моложе Николая. Однако это ничуть не препятствовало их семейному счастью. В доме царили мир и согласие, опиравшиеся на взаимную привязанность, совместное богатство, сексуальную гармонию и обоюдное уважение личных интересов. Интересы Николая целиком сосредоточивались на самозабвенном управлении корпорацией, в которую входили банки, конторы, фирмы и прочие порождения русской истории последнего десятилетия XX века. И лишь малая толика оставалась на удовлетворение его тайной роковой страсти, речь о которой пойдет ниже.

Ольга же любила все яркое и эксцентричное. Поэтому она регулярно устраивала у себя *пати*, куда созывались все звезды отечественной эстрады. Это были шумные собрания, производившие ошеломляющее впечатление на горничных и официантов, у которых создавалось ощущение присутствия при великом таинстве схождения со страниц еженедельника «7 дней» оживших фотографий.

Были тут и только что слетевшиеся из провинции на яркие огни столичной рампы мальчишки и девочки, уже научившиеся пользоваться кредитными карточками, но пока еще не усвоившие, как надлежит одновременно применять нож и вилку, уже прошедшие обряд гомосексуальной инициации, исполненный могущественными *музыкальными обозревателями* популярных периодических изданий, но пока еще не отработавшие вложенные в них акулами шоу-бизнеса средства. И вполне зрелые люди, чей творческий дебют состоялся в вокально-инструментальных ансамблях и ресторанных оркестрах, а затем, одобренные и поддерживаемые отделом культуры ЦК ВЛКСМ, они взошли на советский музыкальный олимп. И люди, о которых можно было бы сказать «пожилые», если бы они не принадлежали к вечно юному племени эстрадных артистов. Иногда бывал даже увенчанный лаврами и полным комплектом орденов как советской, так и российской чеканки, уставший от славы и почестей неутомимый старейшина цеха, негласно *курующий* все столичные казино и рестораны... Кого тут только не было!

Николай в тиши кабинета сосредоточенно предавался напряженному умственному труду, требующему полной отдачи интеллектуальных сил и максимальной концентрации внимания. *На половине Ольги* до утра звучала музыка, раздавались взрывы раскрепощенного смеха и *выстрелы шампанского*. Здесь было царство эмоций.

Навряд ли для кого бы то ни было представляет интерес описание кабинетного времяпровождения Николая, часы напролет сидевшего перед компьютером, просматривавшего сводки, балансы, индексы, специальные статьи, бегающего пальцами по клавиатуре, связывавшегося через Интернет с референтами, помощниками, партнерами и конкурентами.

И совсем другое дело — увлекательнейшие пати, которые могли бы насытить информацией многие газетно-журнальные полосы, отводимые под рубрику «Светская жизнь», если бы, конечно, на них допускали жадную до скандалов и нечистоплотную пишущую братию.

Съезжались, как правило, к девяти. Оглашая окрестные перелески *веселыми клаксонами*, которые озорно выпевали то «Кукарачу», то «Боже, царя храни», то «Арлекино», то что-нибудь *блатное*. Столь же разнообразны и причудливы были наряды, превращавшие эстрадных звезд в сказочных птиц с экзотическим тропическим оперением. Но случайного свидетеля, если бы таковой был допущен на эти элитарные вечеринки, более всего поразил бы тот шарм, та эксцентричность, которая сквозила в жестах, словах, интонациях гостей, — тщательно проработанная визажистами и имиджмейкерами *утонченная вульгарность*.

*Пати у Ольги* не имели каких бы то ни было четких программ, которые характерны для *найт-клубовских мероприятий для быдла* и на которых звезды бывают либо с целью заработать, либо *отметиться в прессе*. У Ольги отдыхали, а не работали. Поэтому незатейливая светская болтовня то и дело прерывалась блестящими импровизациями, на которые большие мастера способны лишь в раскованной дружеской обстановке. N с невесть откуда взявшейся мандолиной с блеском воспроизводила зажигательную песенку Мэрелин из фильма «В джазе только девушки». O и P пародировали беседу Ельцина с молодым вице-премьером Немцовым, а R — телерекламу прокладок от «Джонсон и Джонсон». S имитировал на ритм-гитаре мужской оргазм. T, прикинувшись простолюдинкой, со знанием дела материла всех присутствующих вместе и каждого в отдельности. U профессионально стриптизировала, прогуливаясь туда-сюда по длинному фуршетному столу... Фантазиям гостей не было предела.

Были они изобретательны и в самых невероятных сексуальных фантазиях, которыми по артистической традиции каждый делился со всем обществом. Это был своего рода конкурс — с непременным призом для победителя и регулярным составлением *чартов*.

Необходимо отметить, что эта великосветская *тусовка* отличалась большой свободой нравов и раскованностью в сфере интимных отношений. Ни одна связь, как правило, не продолжалась более двух дней. Партнеры выбирали друг друга с необычайным легкомыслием, руководствуясь зачастую такими несерьезными соображениями, как удобный покрой платья, позволяющий вступить в контакт не снимая его, или отсутствие колготок, или наличие галстука для связывания рук при садо-мазохистском сексе.

Причем все это считалось, в общем-то, не интимными отношениями, а товарищескими, поскольку все происходило между тысячу лет знакомыми друг с другом людьми. Интимными отношениями в этом *богемном кругу* квалифицировался секс без презерватива, которым занимаются один мужчина и одна женщина.

Знал ли Николай об этой своеобразной стороне Ольгиных вечеринок? Как умный человек, по-видимому, предполагал о возможности подобной эксцентричности, но не придавал этому большого значения. Все эти затейливые шалости с лихвой компенсировались легким комплексом вины, благодаря которому Ольга из кожи вон лезла как в постели с Николаем, так и на материнском поприще.

Однако эта размеренная жизнь была нарушена не предвиденным Николаем обстоятельством. У него внезапно появился, как ни нелепо это звучит, некий *соперник*.

Это был мужчина средних лет, с восточными чертами лица и, кажется, также восточной фамилией, которая безвкусно сочеталась с американским именем. Был он руководителем популярного вокально-танцевального ансамбля, в котором выступали пятеро подвижных, как ртуть, и выдрессированных, как машина, юношей. Злые языки поговаривали, что они состояли в *обязательных* гомосексуальных отношениях со своим руководителем. Однако это было невозможно, поскольку их патрон был человеком серьезным, основательным и настолько старомодным во взглядах на жизнь, что тяготел к изрядно состарившимся киноактрисам. Поэтому к своим питомцам он мог испытывать лишь *отеческие чувства*.

Довольно скоро после его первого появления в доме Ольга распознала в этом сдержанно-улыбчивом человеке мужскую основательность, глубокую порядочность, душевную щедрость и незаурядный — на фоне завсегдаев вечеринок — ум. Ольга, которая так и не смогла до конца усвоить нормы *богемной поверхностности*, поняла, что *это настоящее*, и сломя голову бросилась в бурные волны нахлынувших чувств. Ее избранник был достаточно умен для того, чтобы с замиранием сердца пойти навстречу причуде жены одного из семи самых могущественных российских банкиров. Однако просчитать все возможные последствия этого шага он был не в состоянии.

На фоне богемной круговерти у них установились прочные отношения. По этому поводу за спинами обречших себя на монотонный секс шутили: «Наш пострел пытается продолжить своим петушком броню банковского сейфа».

В этой шутке была определенная доля правды. Довольно скоро Ольга настояла на том, чтобы для ее любовника открыли привилегированный счет, который был бы надежно защищен от налогового бремени.

Николай счет открыл. Но при этом его несколько насторожила странная избирательность жены по отношению к членам своего *салона*. Однако это не нарушало негласных семейных законов. В конце концов, и он сам порой чрезмерно увлекался какой-либо трастовой компанией, с излишней горячностью борясь с конкурентами за ее контрольный пакет, приобретая ее в конечном итоге, хоть это и являлось заведомо убыточным вложением капиталов. У страсти свои законы, и они зачастую противоречат здравому смыслу.

Но в одно прекрасное утро Николаю стало известно, что Ольга в его отсутствие вероломно, цинично и безрассудно встречается со своим бойфрендом в его кабинете. И что делается это до такой степени открыто и бессты-

же, что его имя вот-вот начнут склонять и спрягать бульварные газетенки. «Только папарацци тут не хватало!» — свирепо подумал Николай. И, не откладывая дела в долгий ящик, решил действовать самым кардинальным образом, поручив преданным людям провести основательную подготовку.

Спустя два месяца Николай пригласил в кабинет нашкодивших любовников. И ровным, бесстрастным голосом сообщил о том, что возникшие между ними отношения не только возмутительны, но и преступны, поскольку ставят под угрозу мало что его доброе имя, но и репутацию банка. Поэтому *весь этот блуд* далее продолжаться не может. Однако ограничиться наложением вето на неконвенциональные отношения было бы против его правил. Виновные должны понести заслуженную кару. Наиболее виновным участником их безнравственного сговора Николай был склонен считать руководителя ансамбля, ибо именно он, как мужчина, в большей мере наделен способностью руководствоваться в своих поступках разумом, чем женщина, высшая нервная деятельность которой имеет преимущественно эмоциональную природу.

«Поэтому я вынужден лишить вас имени, отчества, фамилии и биографии», — зачитал приговор Николай, твердо глядя в глаза бледного как мел нарушителя семейного спокойствия. Тот не понял не только от страха, но и из-за странности формулировки. По застывшему в его глазах недоумению Николай догадался, что необходимы пояснения. И они не замедлили прозвучать:

— Вас часто показывают по телевидению. Ваши портреты печатают в журналах. Вам рукоплещут залы. Поэтому вы, несомненно, считаете себя человеком уникальным и уж тем более незаменимым. Однако это глубочайшее заблуждение, основанное на незнании восточной философии, которая вам должна быть гораздо ближе и доступнее, чем мне, человеку русской культуры. Незаменимых людей не существует, с чем вы довольно скоро согласитесь. Отныне вами будет другой человек. А вы некоторое время проведете в моем доме на положении привилегированного узника. Уверяю вас, никаких материальных неудобств вы испытывать не будете. Что же касается душевного дискомфорта, то уж тут я вам ничего обещать не могу. Знаете ли, ведь это все же наказание...

Произнеся эти грозные слова бесстрастным тоном, Николай позвонил в валдайский колокольчик. И через боковую дверь вошел... руководитель вокально-танцевального ансамбля. Новый руководитель ансамбля внешне ничем не отличался от старого, проштрафившегося. Он имел абсолютно те же самые черты лица, цвет глаз и волос, прическу, форму носа и ушей. Эту полную идентичность дополняли точно такие же костюм, рубашка, галстук, ботинки, носки и перстень на том же самом пальце правой руки. Если бы кто-нибудь решил во что бы то ни стало найти хоть одно отличие и попросил одинаковых людей раздеться, то и тут не к чему было бы придираться — не только нижнее белье было одинаковым, но и волосяные покровы груди и ног имели одинаковую густоту и структуру.

Когда лжеруководитель заговорил, то зазвучал абсолютно тот же самый голос, сопровождаемый той же самой мимикой и жестами. И даже лексика и построение фраз были теми же самыми.

Насладившись произведенным эффектом, Николай велел увести руководителя ансамбля, пока его не перепутали с двойником. А затем с полной определенностью заявил Ольге, что если она не желает преждевременной и мучительной смерти своего *бывшего* любовника, то должна держать язык за зубами и вести себя так, словно ничего не произошло.

Полубоморочная Ольга и руководитель ансамбля *вернулись* к гостям.

Разоблаченный любовник хоть и был крайне подавлен, все же питал абсолютное беспочвенную иллюзию относительно своей дальнейшей участи. По его расчетам, он должен был отсидеть месяца два взаперти, а потом его, испившего вино, вернуть в прежнюю жизнь, изъяв из нее двойника.

Однако Николай был гораздо изобретательнее и беспощаднее, чем это казалось узнику секса. Один из принципов, которым он руководствовался в жизни наиболее неукоснительно, был сформулирован следующим образом: «Не внемли молящим об искуплении и исправлении, ибо споткнувшийся единожды не замедлит споткнуться еще раз».

Узника заточили в довольно комфортабельную подземную комнату, стены которой не пропускали звуков. Поставили телевизор, по которому порой показывали выступления *его* ансамбля. Регулярно снабжали свежими газетами и журналами, в которых он мог читать многочисленные интервью своего двойника.

Дни протекали довольно однообразно. Трижды в день появлялся охранник: утром — с завтраком, днем — с обедом, вечером — с ужином. Из всего многообразия столовых приборов давали только ложку. Вначале это раздражало, но вскоре выработалась привычка подцеплять кусок мяса ложкой и откусывать от него зубами. По телевизору шли бесконечной чередой боевики и «мыльные оперы».

Спустя три недели одиночества в комнате стал ежедневно появляться *некто* необычайно плебейский, ограниченный и косноязычный. Из всего разнообразия форм коротания досуга, придуманных человечеством за тысячелетия своего существования, с ним можно было играть лишь в подкидного дурака да *травить анекдоты*. Однако он странным образом располагал к себе, отвлекая от одиночества и тягостных дум. Через некоторое время они подружились.

Единственное насилие, которое совершили по отношению к узнику, *заключалось* в удалении четырех передних верхних зубов. На их место установили мост из блестящей нержавеющей стали. Да и то это было сделано самым гуманным образом — под общим наркозом.

Спустя полгода, нарядив в кривобокий пиджачишко и мешковатые брюки, бывшего руководителя вокально-танцевального ансамбля отпустили на волю. Ольга в прощальной процедуре участия не приняла, так как сказала мужу больной. Он понял ее смятение и проявил милосердие, которое было Николаю не чуждо по отношению к тем, в кого он вложил значительные средства.

Николай напутствовал беднягу, наконец-то понявшего весь ужас своего положения, следующими словами:

— Ну вот, наконец-то вы можете покинуть мой гостеприимный дом, где вы были непозволительно счастливы для своего *бывшего* социального положения, а затем прошли суровый, но справедливый курс лечения. Конечно, в вашей воле доказывать своим бывшим друзьям, а также представителям власти, что вы являетесь руководителем популярного вокально-танцевального ансамбля. И что судьба сыграла с вами злую шутку. Можете даже вместо безликой судьбы упоминать мое имя. Однако не советую вам тратить время попусту, ибо вы теперь господин Никто. Вам предоставляется прекрасная возможность начать жизнь сначала. И сделать ее именно такой, какой вы желаете ее видеть сейчас, в зрелом многоопытном возрасте, а не такой, какая она складывается у всех простых смертных в результате юношеских иллюзий, ошибок и случайных поступков. Я искренне завидую вам. И желаю всяческих успехов. Уверен, мир еще услышит о ваших блестящих достижениях в какой-либо серьезной области человеческой деятельности.

И дал в качестве стартового капитала стодолларовую банкноту.

В этом напутствии, хоть оно и было высказано с явной издевкой, была определенная доля правды. Бывший руководитель вокально-танцевального ансамбля действительно был энергичен, напорист и ловок в делах. Он вполне мог, начав с нуля, то есть с покупки новенького паспорта, сделать новую блестящую карьеру.

Но его погубила элементарная жадность — нежелание терять накопленное за долгие годы труда, унижений и постоянного хождения по лезвию бритвы во имя денег, славы и положения в обществе. Поэтому он на-

чал упорно искать встречи со знакомыми артистами эстрады и выдавать себя за руководителя знаменитого ансамбля и их близкого друга. Как правило, двери перед ним захлопывались сразу же после того, как он обнажал свои рабоче-крестьянские железные зубы. Правда, в двух местах пригласили к столу, чтобы покуражиться над забавным чудаком, отчасти похожим на руководителя известного ансамбля. Однако, когда он начинал *пожирать салат столовой ложкой*, от него тут же избавлялись, поскольку улавливали в этой особенности поведения за столом манеры недавно освобожденного заключенного. Что, в общем-то, было правдой.

В конце концов эти неуклюжие домогательства изрядно надоели *эстрадной тусовке*, и в органы охраны правопорядка поступил ряд просьб об ограждении от приставаний этого городского дурачка.

В милиции наш несчастный герой рассказывал всякую небывальщину о своем блестящем прошлом и о том, как безжалостно с ним обошелся Николай. Свободные от дежурства милиционеры, собравшиеся поглазеть на придурка, более всего хохотали после фразы: «И тогда он меня подменил на другого человека».

После того как каждый сотрудник муниципального отделения милиции наслаждался этой историей как минимум дважды, задержанного препроводили в психиатрическую больницу. Ну а там констатировали совершенно очевидный диагноз: мания величия.

## СТЕПНОЙ БАРИН

Дмитрий был продуктом великой русской литературы. Именно она воспитывала его в детстве и отрочестве и вела по жизни в зрелые годы. Однако его характер сложился не как сумма *духовных предписаний*, которыми насыщен отечественный роман XIX века, а как противодействие им. Писатели старались разбудить в читателе, за которого они несли моральную ответственность, такие качества, как совесть, примат чувства над рассудком, доброту, милость к падшим, презрение к богатству и отвращение к властолюбию, честность, духовную щедрость и широту натуры.

Дмитрий, любимым чтением которого были Федор Достоевский и Лев Толстой, заученные уже чуть ли не наизусть, с глумливым хохотом прочитывал возвышенные сцены и наслаждался низменными, где зло торжествовало победу над добром. Поэтому был он человеком на редкость бессовестным, расчетливым, злым, жестоким по отношению к стоящим ниже его на социальной лестнице, корыстолюбивым и властолюбивым, бесчестным, бездуховным и скучным.

Данные свойства характера способствовали стремительной карьере Дмитрия в финансовой сфере. Однако *занятия делом* потакали в основном лишь двум его страстям — корыстолюбию и властолюбию. Все остальные остро необходимые деятельной натуре Дмитрия ощущения и переживания приходилось добирать в быту.

Поэтому, как только представилась возможность, он сразу же купил в ста пятидесяти километрах от Москвы землю. Именно *землю*, а не какой-нибудь там участок, потому что той земли было около трехсот гектаров. Обнес свои обширные владения непреодолимым забором и начал строительство. Перво-наперво был возведен барский дом с флигелями для челяди. Вскоре к нему прибавилась псарня, амбар, конюшня. И затем, вместо того чтобы заняться планировкой парка с беседками, прудом и купальней, Дмитрий отдал распоряжение построить в отдаленном углу, близ болотца, двадцать пять *ветхих изб*. Именно *ветхих*, в связи с чем строители делали стены со щелями, печи кривыми, а окошки затягивали подслеповатой слюдой.

Когда все было устроено, Дмитрий при помощи начальника охраны начал нанимать в окрестных селах *крепостных*. С изъевшимися желанием заключался договор, отпечатанный на лазерном принтере в двух экземпля-



рах. Суть договора сводилась к следующему. *Крепостной крестьянин* получает во временное пользование избу, надел земли, скотину, сельскохозяйственный инвентарь и необходимую одежду: косоворотки, сарафаны, зипуны, армяки и проч. И безотлучно живет в *деревне*, кормясь плодами своего труда и отчисляя *барину* половину урожая. За это крепостному на каждого члена его семьи, включая и его самого, ежегодно выплачивается по две тысячи долларов.

В свою очередь барину предоставляется право привлекать крепостных по своему усмотрению на хозяйственные работы по благоустройству и содержанию усадьбы, физически наказывать за нерадивость и допущенные оплошности, разрешать, запрещать либо назначать браки между крепостными, единолично вершить суд в случае возникновения между ними конфликтов... В последнем пункте говорилось о том, что крепостной имеет право расторгнуть договор лишь в Юрьев день.

В конце концов *деревенька* была укомплектована полностью. И жизнь за высоким забором приобрела чудовищные, антиэволюционные формы.

Барин, сжигаемый неутоленной страстью бесчинства, сразу же, на второй день *новой эры*, устроил для *новобранцев* кровавую баню. Собрав всех *мужиков*, включая неразумных детей и немощных стариков, он велел рыть пруд. Но вдруг раздалися голоса, взывающие к благоразумию барина: мол, «здесь рыть недели на две, а мы еще не успели с хозяйством обосноваться, да и покос сейчас: упустишь время — зимой голодать придется».

Дмитрий вкрадчиво и как будто бы с пониманием насущных крестьянских нужд спросил: «Кто еще так считает?» Так считали все. Поэтому, вооружившись арапником, при поддержке четырех дюжих охранников барин высек всех. По первоначальности это дело его так распалило, что, не рассчитав сил, последних уже не досекал, а скорее похлопывал по обнаженным спинам.

По мере приобретения опыта *неограниченного барствования* Дмитрий все более осознавал, что собственноручные побои — не самое упоительное дело. Поэтому частенько перепоручал порку охранникам, которые были в этом отношении попрофессиональнее.

Его дикие забавы во многом следовали исторической традиции, вычитанной из великой русской литературы, оказавшей пагубное воздействие на нестандартную психику Дмитрия. Вдвоем с пятнадцатилетним сыном Григорием носились они на горячих рысаках за зайцами, которые в необходимом количестве закупались в охотхозяйстве. И, оглашая округу улюлюканьем, которое вкупе с прерывистым лаем борзых повергало в ужас все живое и хоть сколько-нибудь мыслящее, норовили загонять косых на крестьянские наделы, дабы всласть потоптать злаки и огороды и уложить в азарте из двух стволочков чью-нибудь худобокую буренку.

Чтобы потом, сидя в кабинете в засаленном халате, почесывая пятерней мохнатую грудь, можно было допрашивать дрожащих как осиновые листья людишек о недоимках, неторопливо сверяясь с записями в амбарной книге, путая имена, выслушивая жалобный лепет, перемежаемый словами «барин, барин, барин...». И в конце концов назначать наказания *по справедливости*, то есть сообразно придуманной самим собой таблице соотношения недоданных пудов и ударов арапником.

Иногда выходил судить во двор — для усиления педагогического эффекта, обращаясь к *народу* без всяких обиняков: «Ну что, ворюги, собрались на суд праведный?!» Выбирал кого-нибудь пожилителей, чтобы можно было подвесить на дыбу и неторопливо расспрашивать на глазах у всех своих *душ* о том, на какую глубину запахивал, чем удобрял, сколько посеял ржи, сколько пшеницы, сколько раз дожди были, отгонял ли от поспевшего поля ворон.

Не менее плачевна была бабья доля. И хоть секли крестьянок пореже и помягче, но все недобранное у барина сторицей воздавали бедным рус-

ским женщинам озлобленные от унижений мужа. Еще хуже было тем, кто попал в *дворовые*, — кухаркам, горничным, ключницам, нянькам пятилетнего Василия и трехлетней Натальи. Половое насилие было наименее тяжелым в физическом отношении бременем. Однако этот недобор с лихвой компенсировался нравственными унижениями, потому что при сем *мероприятии* присутствовала барыня Людмила Сергеевна, развращенная мужем до крайней степени. В то время как барин удовлетворял свою похоть, она сладострастно стегала лежащую сверху *дворовую девку*.

Наилюбимейшим интеллектуальным занятием Дмитрия было устройство домашнего театра, где зрителями были: он сам, его жена, его старший сын и начальник охраны. А роли играли все те же дворовые женщины, раздетые догола. В репертуаре была лишь одна пьеса — «Горе от ума» Грибоедова. Причем мужчин изображали женщины с нарисованными печной сажей усами и бородами. Особенность режиссуры заключалась в том, что актрисы во время произнесения диалогов должны были лупить друг друга от души. Имитация не допускалась, за этим с особым пристрастием следил сам барин. Финальная сцена представляла собой отвратительнейшую коллективную женскую драку с царапанием до крови лиц, с выдиранием волос, с дикими воплями и матерщиной. Занавес опускался по звяканью колокольчика пресытившегося барина. Наиболее отличившуюся актрису ожидала барская любовь без порки и грошовый перстенок с цветным стеклышком.

Самым загадочным в этой истории является то, что, несмотря на прогрессирующий распад личности, в делах Дмитрий сохранял прежние позиции. Банк, куда он наведывался трижды в неделю, совершал удачные операции, росло число его вкладчиков, ссуды приносили отменные проценты, игра на бирже неизменно приводила к выигрышу. Дмитрий несмотря ни на что богател.

В остальные же четыре дня недели он творил невообразимое. Дело дошло до того, что однажды поздней осенью в безумной пьяной ярости он подпалил избу мужика, не снявшего перед ним шапку. Да и не мужик это был вовсе, а полуслепой старик. И изба была не его, а первая подвернувшаяся под горячую руку. День был ветреный, поэтому сгорела вся деревня. И крестьянам пришлось зимовать в спешно вырытых землянках. Однако не только все выжили, но и заново отстроились по весне.

По-видимому, суровые испытания закаляют русского человека до такой степени, что он способен перенести еще и не такие невзгоды, поистине нечеловеческие. Так было всегда: при татарах, при Иване Грозном, при Петре Первом, при Сталине. Дмитрий вполне подтвердил это правило.

Юрьева дня, который почему-то был назначен на середину лета, Дмитрий ждал с большим любопытством. И наконец он настал. На лужайке сколотили длинные столы из неструганных досок. На них поставили три ведра дешевой мужицкой водки — *беленькой*, как называют ее в народе. И два ведра портвейна для баб — *красенькой*.

Барин в нарядном сюртуке по амбарной книге выкликал мужиков и расплачивался с ними подушно. После этого каждый из его семейства почтительно прикладывался к ручкам барина и барыни и занимал место за столами с *угощением*. По мере опорожнения ведер народ веселел и раздумывался. Образовался пестрый хоровод, зазвенели озорные частушки. Бдительная охрана пресекала стычки, которые намечались не столько по пьяному делу, сколько из зависти: мол, «меня больше разов пороли, а получили мы с тобой поровну». Пьяных укладывали на заранее приготовленную солому. Барин в этот день был добр, весел и не привносил в народное гулянье дополнительного бесчинства.

На следующее утро все крепостные продлили договоры еще на год. Руководствовались они тем, что хоть барин и силен чудить, однако жить вполне можно. А лет через пять, глядишь, удастся и *на покой* уйти, потому что заработанных денег хватит аккурат до конца жизни.

Однако с уходом не все было так просто, как представляли себе забытые крестьяне. Года через три Дмитрий, ведя дело твердой и беспощадной рукой, сформировал в своих крепостных новое самосознание, новую мораль, новые ориентиры. К барину стали относиться уже не как к *чудаковатому богачу*, а как к *отцу родному, строгому, но справедливому, беспрестанно пекущемуся об их благе*. Каждый из них в глубине души осознавал, что без барина они бы ни пахать не стали, ни в церковь ходить и друг друга поубивали бы.

Кстати, Дмитрий им и церковь построил, и священника нашел, который совершенно справедливо разочаровался в современной цивилизации.

В конце концов дошло до того, что два убийства — одно по случайности, во время охоты, другое как наказание за драку с барчуком — крестьяне поняли, оправдали и приняли как неизбежность.

Поэтому крепостные, чья психика была столь серьезно перекроена, совершенно напрасно рассчитывали на возможность возвращения в современное общество. Не смогли бы они в нем жить, его законы показались бы им дикими и бесчеловечными.

Со временем Дмитрий несколько остепенился — то ли стали давать знать о себе годы, то ли начал пресыщаться игрой необузданных страстей. Он даже начал подумывать о *реформе*. Например, об уменьшении оброка с пятидесяти процентов до тридцати. Однако к тому моменту начал входить в силу его старший сын — Григорий, которому отцовские игры пришлось по душе. Жизнь в деревеньке укоренилась настолько, что крепостные начали рожать детей, имеющих точное портретное сходство с Григорием.

## МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОЙ МАТЕРИ

Жены вечно занятых деловых людей компенсируют свое тягостное одиночество, как правило, либо коллекционированием драгоценностей, антиквариата, живописи, либо изощренным истязанием прислуги, либо любовными интрижками, конспирацию которых обеспечивает начальник охраны, получающий за эту дополнительную обязанность гонорары от хозяйки. Иногда скучающие дамы всецело посвящают себя воспитанию детей. Но порой встречаются и совсем уж неожиданные женские причуды.

Татьяну неодолимо влекла к себе природа. В то время как Алексей вел важные переговоры, заключал выгодные контракты, проводил экстренные совещания, восседал в ложе почетных спонсоров на театральных премьерах, его жена, оставив за воротами личную охрану и мобильный телефон, почти всю светлую часть суток проводила в лесах, простиравшихся вокруг поместья на многие километры, возвращаясь под вечер то с лукошком земляники, то с охапкой осенней карнавальной листвы, то с пахнущими морозом сосновыми разлапистыми ветвями, то с пушистыми веточками вербы.

Лес неудержимо манил Татьяну всеми своими изумрудными полянами, говорливыми ручьями, веселыми березками, загадочным шумом ветра в верхушках елей, нечаянной встречей с зайцем или ежом. Лес был живым и добрым. Он разительно отличался от царившей в доме атмосферы ложных стремлений и поступков, надсадной гонки за иллюзорным счастьем, которое якобы приносят большие деньги и возможность раз в месяц общаться с вице-премьером. Лес был для Татьяны антиподом всего этого — *безжизненного*.

Вечно занятой Алексей относился к причуде жены снисходительно. В конце концов, это был не секс *на стороне* и не дорогостоящее шляние по антикварным аукционам. Душевная близость между супругами потухла уже давно. Но физическая сохранилась, и этого Алексею было вполне доста-

точно. «Пусть себе бродит в одиночестве по перелескам, здоровее будет», — думал он о своеобразии своей семейной жизни.

Однако лес и одиночество с ним связанное были симптомами опасного психического заболевания, о чем Алексей, к сожалению, не подозревал. А между тем болезнь медленно, но неуклонно прогрессировала, уже перебравшись через ту грань, за которой выздоровление было еще возможно.

Поиски *лесного счастья* начались вскоре после трагической гибели ее матери в автокатастрофе. Татьяна и Алексей тогда были в круизе и узнали о случившемся лишь после возвращения в Москву. Когда уже миновал девятый день. И Алексей уговорил *не находящую себе места* жену, которая впервые в жизни столкнулась с потерей близкого человека, не лететь в Екатеринбург. Уговорил из самых лучших побуждений, потому что трудная дорога и косые взгляды родни — мол, на похороны матери не поспела, мол, нет у богатых ни стыда, ни совести — отнимут у нее последние душевные силы.

Но получилось наоборот. Эта *незаконченность* послужила причиной того, что рассудок Татьяны не выдержал перенапряжения и она стала считать себя главной причиной гибели матери. Возненавидела она и современную цивилизацию, которая не позволила проститься с навеки ушедшим дорогим человеком. А раз так, то стала вытравлять в себе эту самую цивилизацию, душой и телом отдавшись врачующей лесной стихии.

И вскоре начали происходить совсем уж странные вещи. Однажды, забредя на уединенное сельское кладбище, Татьяна в одной из заброшенных могил вдруг *узнала могилу матери*. О чем и рассказала взволнованно вечером совершенно *опешившему* мужу. И в конце концов настояла на сооружении памятника. *Обескураженный* Алексей уступил этой причуде, чего делать было нельзя ни в коем случае, поскольку этот псевдогуманный шаг еще глубже погружал несчастную в пучину болезни.

Дата смерти была выбита на массивном гранитном параллелепипеде, отшлифованном с лицевой стороны, верно. Однако число и месяц рождения — приблизительно, потому что Татьяна помнила лишь год. Это еще больше усугубило чувство вины.

Так в жизни Татьяны период *освежающих прогулок* сменился периодом *лесных фантазий*. Жалость к несчастным зверям и птицам, которым нелегко добывать пропитание, породила идею о создании кормушек, где четвероногим и пернатым друзьям всегда можно было бы найти сено, зерна и овощи. Алексей, внутренне сгорая от стыда, поручил это *дело* охране, в связи с чем пришлось не только повышать жалованье, но и пускаться в самооправдательные объяснения относительно актуальности экологического движения и несомненной выгоды проживания в условиях благополучной природы.

Затем последовало строительство запруды и создание озера. Оно понадобилось для того, чтобы перелетные водоплавающие птицы дважды в год, весной и осенью, могли бы с комфортом останавливаться на нем для отдыха.

В Алексее начало накапливаться уже бешенство, а не былая злость.

В тот роковой день Татьяна обнаружила на лесной тропинке наполовину съеденные останки ежа. Бережно завернув в кофту, она отнесла их на кладбище, попросила в соседней деревне лопату и сделала небольшую *неумелую* могилку. Как только мужа привезли домой, она тут же высказала ему идею о поисках по всему лесу трупиков зверей и птиц и достойном погребении их на кладбище.

День для Алексея выдался крайне неудачным. Он начался с предательства одного из компаньонов и закончился неллицеприятным разговором с вице-премьером, во время которого Алексей испытал унижительную трудность. А тут еще *ЭТО!!!* Поэтому, когда Татьяна заявила, что неплохо было бы на могилках устанавливать скромненькие крестики, Алексея прорвало, и он впервые в жизни начал грубо орать на жену, все больше и больше распляясь и теряя самообладание. И вскоре не помня себя начал ее бить. Татьяна была настолько этим потрясена, что воспринимала все молча и ничуть не

противясь, даже не загоразживаясь руками от остервенелых ударов. Вполне возможно, что это нервное потрясение дало бы толчок к выздоровлению... Данные феномены психиатрии известны. Возможен был и противоположный результат — обострение болезни...

Но роковая судьба оставила этот вопрос без ответа. Падая, Татьяна со всего маху ударилась виском о выступающий угол камина. Алексей еще дважды ударил ногой распростертое на полу *тело*, прежде чем понял, что Татьяна мертва. Превозмогая ужас, он заглянул ей в лицо. Открытые глаза, уже безучастные ко всему земному, неподвижно *смотрели* в нездешнее бесконечное пространство.

Алексей автоматически запер дверь и лишь после этого испугался по-настоящему. Но испугался не вида внезапной смерти, а мысли — что же теперь будет? кому перейдет банк, кто примет участие в судьбе четырнадцатилетнего сына? Но это была лишь минутная слабость, от которой не застрахован никто. Неизбежная слабость воли, случившаяся от первого столкновения с роком, о существовании которого он прежде не подозревал. Именно это слово, сидя на стуле, упершись локтями в колени и охватив ладонями голову, он прошептал в ужасе побелевшими губами: *рок*.

Однако Алексей, будучи человеком сильным, быстро справился с собой. На смену не только бесполезным, но и губительным в данном случае эмоциям пришла способность к аналитическому мышлению.

Прежде всего необходимо было избавиться от тела, поскольку рассчитывать на оформление несчастного случая не приходилось. Вызвав двух охранников во главе с их шефом, Алексей выдержал двухминутную паузу. Реакция бравой тройцы была абсолютно адекватной профессиональным требованиям. На их лицах не дрогнул ни один мускул, да они, пожалуй, даже ничего и *не заметили*. После этого, собрав в кулак все свое самообладание, *ровным голосом* Алексей сказал, что произошло ужасное несчастье, о котором не должно знать ни одна живая душа. Тело необходимо убрать незаметно и бесследно. Но без какого бы то ни было неуважения к покойной. А утром ненавязчиво сказать кому-нибудь из прислуги, что вчера отвезли хозяйку во Внуково и что она полетела в Екатеринбург в связи с внезапной болезнью отца.

Отдав распоряжение, Алексей отсчитал каждому по пять тысяч долларов. Затем, подумав, дал еще по три. Это был проверенный психологический ход, поскольку количество выплат радует человека больше, чем их размер.

Проведя бессонную ночь, Алексей так и не нашел безукоризненного выхода из создавшегося положения. Объявить о бесследном исчезновении жены было невозможно. Потому что если у банкира внезапно исчезает жена, то вполне могут исчезнуть и деньги вкладчиков. Версия с переездом жены на длительный срок в Екатеринбург также не выдерживала никакой критики. Правда, можно было вообще никому ничего не объявлять, благо Татьяна ни с кем не общалась и никто ею в целом мире не интересовался. Даже престарелый уральский отец, которого из всех возможных форм родственного общения волновали лишь ежемесячные московские переводы — за них он благодарил дочку, очевидно, мысленно.

Однако был четырнадцатилетний сын Гумберт. И хоть до родителей ему не было никакого дела, но наверняка он когда-нибудь поинтересуется длительным отсутствием матери. И если его любопытство и будет иметь характер недоумения по поводу длительного отсутствия намозолившей глаза крупной вещи, всегда стоявшей на видном месте, но все же что-то отвечать ему придется. А через полгода вопрос неизбежно повторится.

Утром, отменив совещание по подготовке к участию в залоговом аукционе и отдав надлежащие распоряжения, Алексей впервые за много лет остался дома. Воспоминания вчерашнего вечера вновь обрушились на него. Он видел все в мельчайших подробностях: странный взгляд Татьяны из небытия, тонкую струйку крови, теряющуюся в спутанных волосах, неестественно

закинутую руку, словно она пыталась дотянуться до чего-то, видимого лишь ей одной... Может быть, она тянулась за ускользавшей душой...

Алексей, стряхнув наваждение, взял себя в руки. Надо было решать, как выйти из этой чудовищной ситуации. Но мысли путались, в голову лезла всякая чушь про колдунов, оживляющих мертвецов, про вампиров, про кукол для колдовства, в которые втыкают иголки... И тут, на куклах, Алексея подбросило в кресле словно ударом тока. Он начал мерить кабинет нервными шагами, ухватившись за ниточку, ведущую, как ему показалось, к верному решению. И начал разматывать ее, выстраивая строгую логическую цепочку:

1. *Кукла для колдовства — это объект, на который воздействует колдун.*
2. *Тот, против кого колдун колдует, — субъект.*
3. *Между объектом и субъектом существует связь, которая проходит в сверхчувственной сфере.*
4. *Воздействуя на объект, через связь воздействуют и на субъект.*
5. *Татьянина погибшая мать является объектом.*
6. *Татьяна является субъектом.*
7. *Кто-то (не важно кто — шофер или колдун), убив мать, в конце концов убил и Татьяну.*
8. *Значит, я не виноват.*
9. *Надо найти истинного виновника и заставить его отменить воздействие...*

Тут Алексей по-настоящему испугался. Уж не сходит ли он с ума? Отхлебнул виски, чтобы успокоиться, и снова начал раскручивать ускользящую нить:

- 1а. *Главное в связи между куклой и субъектом — это их похожесть.*
- 2а. *Куклу делают по образу и подобию субъекта.*
- 3а. *Мы приняли, что Татьяна — субъект, а ее мать — объект, то есть кукла.*
- 4а. *Но Татьяна сделана по образу и подобию своей матери.*
- 5а. *Значит, тогда получается, что Татьяна — кукла, а мать — субъект, против которого кто-то колдовал.*
- 6а. *Значит, убийство Татьяны как-то повлияло на ее мать.*
- 7а. *Мать уже давно умерла, и на нее повлиять невозможно.*
- 8а. *Но, может быть, таким образом можно оживить мертвого человека?*
- 9а. *Значит, убийство Татьяны (куклы) оживило ее мать (субъект).*
- 10а. *Татьяна тоже может стать субъектом, если подобрать ей соответствующую куклу.*
- 11а. *Надо найти похожую на Татьяну женщину и убить ее.*
- 12а. *И тогда Татьяна оживет!..*

Алексей в ужасе схватился за помутившуюся голову и застонал. Потом, не чувствуя ни крепости, ни запаха, выпил стакан виски и начал яростно бить кулаком по колену, повторяя: «Кретин! Кретин! Кретин!..»

И его осенило. Ответ был прост и прозрачен, как пустой стакан. Необходимо найти внешне неотличимую от Татьяны женщину и сделать ее Татьяной. Вне всякого сомнения, сын, занятый лишь своими подростковыми проблемами, не заметит перестановки. Тут же был вызван начальник охраны, с которым до мельчайших подробностей был разработан план *рокировки*.

Искать необходимо было среди проституток. Потому что никто, кроме ихней сестры, не найдет на такую пикантную работу. Ведь придется, пусть и за очень хорошую зарплату, навсегда отказаться от подруг, приятелей, родителей и просто знакомых. Новая Татьяна не должна иметь прошлого.

Неделю двое охранников колесили по злачным московским местам на джипе, придирчиво оценивая лица, комплекции, тембры голосов, рост, цвет глаз, жестикуляцию жриц любви. И наконец, когда все в доме уже спали, привезли подходящую. Девица, намеревавшаяся поскорее *отбомбиться* и получить свою сотню баксов, поначалу опешила, когда ее привели в чопорный

кабинет, налили кофе и начали вести долгую абсолютно бессмысленную беседу. Мелькнуло опасение: не маньяк ли?

Когда Алексей убедился в очень большом сходстве, которое при помощи косметики и одежды можно довести до полной идентичности, то раскрыл карты. Девица оказалась понятливой, рискованной и с претензиями на шикарную жизнь. К тому же весь окружающий ее специфический мирок, включая и домашний бедлам, был ей противен. Да и с сутенером у нее были очень непростые взаимоотношения. Некогда обманутая вкрадчивой жизнью девушка не могла не откликнуться на столь заманчивое предложение. Однако зарплату попросила от души, но осталась довольна и половиной.

Неделю новая Татьяна входила в роль в гостиничном номере. Заучивала свою новую биографию, имена знакомых и слуг, расположение комнат в доме, привычки — свои, сына и мужа. Алексей даже составил словарь характерных оборотов речи. Ну и, конечно, вживалась в образ женщины-чудачки, любящей природу более всего на свете.

После вполне сносно сданного экзамена *Татьяна вернулась из Екатеринбурга*.

Конечно, Алексей понимал, что находящиеся в неведении горничные, повара, официанты, дворники рано или поздно почувствуют что-то неладное. Их следовало бы полностью заменить. Но времени на подбор и тщательную проверку нового преданного штата не было. А второпях можно принять какую-нибудь шпионку, подсунутую конкурентами. Поэтому решил не рисковать, а просто-напросто удвоить всем зарплату. За такие деньги они и под пытками молчать будут. Удвоил зарплату и все ведающей охране, чтобы обиду не затаили.

Не все вначале было гладко. Порой Татьяна забывалась и брякала официантке что-нибудь из своего прежнего репертуара. Но официантка *ничего не замечала*. Главное, сын по-прежнему считал Татьяну *чокнутой мамашей*, у которой, слава богу, хватает ума не соваться в его дела.

Шло время. Все было как и *тогда*. Разве что Татьяна заметно поостыла к природе. Ее прогулки в лес стали нерегулярны и непродолжительны. Было и еще одно отличие. У Алексея с Татьяной в постели ничего не получалось. Потому что она была для него *покойницей*. В конце концов всякие попытки были прекращены. Татьяна же, хоть и считала плотскую любовь постыдной работой, все-таки встречалась то с одним охранником, то с другим.

И как-то на третьем году *работы*, будучи под хмельком в постели с охранником, сказала в шутку: «Работа у меня ненадежная. Хозяин захочет — прогонит. А я ему от его сына ребеночка рожу, тогда хрен от меня избавится».

Все это было передано Алексею дословно. Он, конечно, понял, что это шутка, крайне неудачная шутка. Но, как известно, береженого бог бережет: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Выгонять ее было нельзя, потому что могла по дурости продать всю историю какому-нибудь газетному борзописцу. Поэтому Татьяну убили *во второй раз*. Ну а потом нашли новую Татьяну. Причем сходства у нее было больше со второй Татьяной, чем с первой. Проститутские черты были более явными. И опять у Алексея ничего с ней не получилось.

## ДВА БРАТА

За последние пять лет область применения поговорки «Дом — полная чаша», как ни странно, сузилась, а не расширилась. Подобным образом можно характеризовать жилища людей с относительно невысоким уровнем доходов, когда наличие полного комплекта дешевой бытовой аппаратуры — от видеоплеера азиатской сборки до морозильника «СТИНОЛ» — является предметом гордости и тихого чванства. В случае же с действительно богатыми людьми речь идет не о количестве приобретений и даже не об их качестве,

а о вкусе, с которым обустроено жилище. Баснословно богатый человек вполне может придерживаться аскетических бытовых принципов, окружая себя лишь минимальным набором предметов по-настоящему ему дорогих. Поэтому к *полной чаше* стремятся лишь люди ни на что большее, чем эта чаша, не претендующие.

Однако Юрий, входящий в первую полусотню наиболее влиятельных отечественных финансистов, без усталы повторял: «Мой дом — полная чаша». Но при этом он, конечно же, имел в виду не антикварную мебель и не установку «Chello», собранную в Германии по индивидуальному заказу, а двоих сыновей, которых ему подарила Ирина. Старшего, одиннадцатилетнего, звали Робертом. Младшего, который был на год моложе, — Стивом. Это были *наследники* его уже оформившейся прочной империи, которая была задумана и построена на долгие годы. Так что двое сыновей — это было очень *серьезно* и очень *приятно*. И эти две стороны одного чувства постоянно вырабатывали в Юрии особый гормон, который тонизировал, позволял острее ощущать свое место в жизни и осмысленность собственного дела.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что один из важнейших пунктов семейной педагогики предполагал настойчивое внушение детям мысли о том, что они прямые наследники папиного дела. «Всех моих сотен миллионов долларов», — конкретизировал отец в конце каждой воспитательной беседы.

В этом, на поверхностный взгляд, заключалась абсолютная педагогическая польза. Мальчики с малых лет *уже готовились*. Прекрасно учились, были отменными *спортсменами* (что ценно прежде всего с точки зрения развития здорового честолюбия), сочетали в себе сыновнее послушание и зарождавшиеся индивидуальные черты характера.

Однако младший брат, по уши загруженный жесткой *программой формирования наследника*, все же нашел время как следует подумать о своем месте в отцовской финансовой империи. И юридически не просвещенный детский ум спрогнозировал свое недалекое будущее, основываясь лишь на двух моментах — на классическом английском детективе, с его строгим алгоритмом вступления в права наследника, и на законе жесткой конкурентной борьбы, культивируемой Юрием в детях.

В сознании Стива возникла безрадостная картина. Роберт, как старший сын, со временем станет правой рукой отца, а после его смерти — единоличным хозяином империи. Стиву же в лучшем случае уготована жалкая роль консультанта, не обладающего правом голоса, и фиксированный оклад, не учитывающий процента с прибыли. А в дальнейшем, когда и у Роберта, и у Стива появятся семьи и, соответственно, дети, его детям в жизни будет отведено постыдное место *бедных родственников* при могущественном дядюшке.

И Стив решил во что бы то ни стало поломать эту родовую предначертанность.

Начал с того, что по детской наивности попытался *посадить* Роберта. Для этого он при помощи компьютера брата *перекачал* сто тысяч долларов со счета отцовской фирмы на счет радикальной исламистской организации. К сожалению, все это было проделано не дома, а в Америке — в престижной частной школе, где учились братья. У нас бы это дело, может быть, и не *всплыло*, но американские спецслужбы мгновенно отследили эту *нелояльную* банковскую пересылку, хоть она была и смехотворно мала по российским масштабам. В результате Юрий потратил массу нервов и сил для сохранения репутации фирмы. И в конце концов с помощью *недешевого* адвоката свел все к невинной детской шалости.

В первый же день каникул, чуть ли не у трапа «боинга», состоялось выяснение обстоятельств, которое включало в себя все степени нажима, хитроумных уловок и перекрестного допроса. Психика отца, естественно, оказалась сильнее психики десятилетнего ребенка, и тайное стало явным. Однако



Стиву удалось скрыть истинные мотивы своего поступка. Но даже и неполная правда заставила отца сильно разочароваться в младшем сыне и усомниться в его будущей *жизненной роли*.

Стив понял, что уже сейчас, в десять лет, проиграл всю свою будущую жизнь. И целый год его мозг, стремительно развивавшийся в экстремальной ситуации, судорожно искал очевидный для взрослого человека выход. В конце концов он был найден: даже находясь в немилости у отца, он сможет стать единственным наследником, если Роберт умрет. А значит, его необходимо убить.

Вначале была выбрана страна, где это должно произойти, — Россия: Стив рассчитывал на то, что русских сыщиков провести значительно проще, чем американских. Еще один год ушел на детальную проработку плана, на подготовку к его осуществлению. И, естественно, на то, чтобы накопить в душе побольше ненависти к Роберту, без чего убить человека непросто даже в дерзком подростковом возрасте, когда без должного душевного опыта чужая боль воспринимается как нечто нереальное и ненастоящее. А созерцание смерти столь же упоительно, как и игра «DOOM-2».

Культивирование ненависти к брату включало в себя как примитивные приемы, например обнюхивание грязных носков и трусов, так и более изощренные. Стив умышленно проигрывал Роберту во всем, что награждалось *доверительным отцовским похлопыванием по плечу*: в теннисе, в учебе, в экономической и политической компетентности. Стив даже *струсил* прыгнуть в бассейне с пятиметровой вышки, *струсил* единственный из всех отпрысков отцовских компаньонов, когда были затеяны узкокорпоративные игрища типа «Папа, мама, я — спортивная семья». В конце концов младший брат понастоящему возненавидел старшего, ничего не подозревавшего о том, какое яростное пламя пылает в груди его ближайшего товарища. Да, пожалуй, и единственного, поскольку дети из очень богатых семей в силу гипертрофированного самолюбия сходятся крайне редко.

Для того чтобы нанять киллера, Стив воспользовался следующим обстоятельством: его экзальтированная мать имела бойфренда из Шуйкинского училища. Об этом знали все в доме, включая прислугу. Знал и отец, мудро смотревший на это дело сквозь пальцы: ее *одновалентная* и его *многовалентные* шалости в конце концов работали на семью, укрепляя ее отсутствием разрушительной рутины.

При этом патлатый будущий актер совершенно беззастенчиво *доил* Ирину. Ее кредитная карточка была у них чем-то вроде переходящего приза, которым награждался наиболее сексуально раскрепощенный партнер. Поэтому количество денег на счету матери не могло быть определено даже приблизительно. И Стив без малейшего риска снял пятнадцать тысяч долларов, чтобы *нанять киллера*.

Сложнее было его найти. Но и это оказалось возможным благодаря тому, что угроза потерять работу висит не только над предпенсионными государственными служащими, но и над молодыми частными охранниками из фирм-однодневок. Поэтому эти прошедшие службу в элитных войсках люди, слабо ориентирующиеся в *свободной* жизни, с готовностью берутся за все, лишь бы побольше заработать на черный день.

Стив передал пятитысячный аванс и стал ждать. *Спокойно*. Потому что он уже сотни раз проиграл в уме *это*, включая похороны и свое поведение на них.

Однако неделя прошла безрезультатно. Когда он решил поинтересоваться возникшими у киллера проблемами, то услышал отборную матерщину и совершенно невнятное объяснение: «Когда я узнал, что это твой брат, то хотел сгоряча тебя, гада, *замочить!* Забирай свои поганые деньги, ублюдох, и проваливай, пока я тебя *не уделал!*»

Примерно такая же *нравственная* история, свидетельствующая о наличии у наемных убийц странных этических принципов, произошла еще дважды. После этого Стив понял, что придется все сделать *собственными руками*.

Подготовка была тщательной, но несложной. Смазал специально поскрипывающие на английский манер двери и оконные рамы. Дождался, когда встреча матери с бойфрендом совпадет с дежурством того охранника, который в отсутствие хозяев долго, как ишак, занимается в своей будке любовью с горничной. Сказал официанту, чтобы к обеду его не ждали. Вышел из дому, отказавшись от сопровождения охранника. Подождал в роще сорок минут, которые, как он неоднократно замерял, нужны для того, чтобы окна в охранницкой будке задернулись потайной занавеской. Подкрался и замкнул на заборе сигнализацию, после чего отбежал в соседние кусты. Посмотрел на то, как уже *распаленный* охранник тупо пробежался по периметру. Через десять минут повторил. И проглотил две таблетки фенозепама. Охранник опять, *неохотно покинув возлюбленную*, формально проверил забор. Еще через десять минут никакой реакции не последовало, поскольку мешающая спариваться сигнализация была отключена.

Перемахнул через забор, прошел в невидимой из кухни зоне к дому и влез в заранее приоткрытое окно. Неслышно прокрался к ванной брата, где он (по данным ежедневного хронометрирования) лежал по горло в нежной воде с комиксом в руке и наушниками в ушах. Лежал незапертый, поскольку прислуга была вышkolена отцом до евростандартовских кондиций.

С минуту постоял, проиграв в уме уже многократно отрепетированное. Энергично сжал и разжал кулаки, включив в себе *механизм автоматического убийцы*. После этого выключил свет, что на несколько мгновений привело брата в замешательство. Но этого было достаточно для того, чтобы рывком распахнуть дверь и тут же без стука захлопнуть ее, отсекая свет. И в крошечной темноте Стив безошибочно сунул руку в воду, схватил лодыжку и изо всех сил дернул вверх и на себя. Раздался совсем негромкий всплеск. Нога дернулась в конвульсии и тут же затихла. Легкие были полны воды, мозг выключен. *Навсегда*.

Стив прислушался к себе — внутренний убийца честно продолжал работать. Поэтому спокойно, чуть приоткрыв дверь, включил свет, вытащил из-под рубашки припасенную тряпку, насухо вытер пол и снова спрятал тряпку за пазуху.

*И посмотрел*. Без малейшего страха. Слегка колеблющаяся вода покрывала брата. Его лицо уже расправило судорогу смерти и было умиротворенным. Блики от воды плясали вокруг него, словно стайка прозрачных мальков.

Стив тем же путем выбрался наружу, перемахнул через забор и через полчаса был уже на озере.

Вволю накупавшись и навалывшись на теплое песке, вернулся домой — в рыдания и причитания. И только тогда его словно молнией пронзило долгожданное чувство своей единственности. И, несмотря на свои двенадцать лет, Стив мудро подумал о том, что каждый человек, который стремится занять в жизни достойное место, должен когда-нибудь *сделать это*. Иначе нельзя. Иначе затопчут. Иначе не станешь таким, как отец. Ведь отец был *первым*, что гораздо труднее, чем быть достойным наследником.

А отец все это уж тем более знал. Именно поэтому он мудро и искусно разжигал в детях соперничество, чтобы остался сильнейший. Ведь его империя была задумана и построена на долгие годы.

## ЖИЗНЬ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ С ПОСЛЕДНИМ УДАРОМ СЕРДЦА

Строго говоря, эта трагическая история не совсем соответствует избранной нами проблематике, потому что ее главный герой к моменту ниже описанных событий был уже *бывшим* банкиром. К тому же, по злему стечению обстоятельств, эта *разыгравшаяся* летом 1995 года трагедия скорее напоминает скверный анекдот, рассказанный пошляком в приличном обществе, а зна-

чит, способна вызвать вполне естественный протест у людей с обостренным чувством нравственной гармонии. Но тем не менее двумя этими обстоятельствами следует пренебречь, поскольку тут как в капле воды отразился механизм действия слепого и безжалостного рока, который разит наповал, не разбирая ни правых, ни виноватых, ни трусов, ни героев, ни праведников, ни святотатцев, ни детей, ни стариков, ни беззащитных, ни окруживших себя неприступными крепостными стенами, прочные камни которых скреплены глиной, предварительно размягченной потом и слезами многих бессловесных людей...

Банк, которым владел Константин, с треском лопнул. На его беду, среди испытывавших глубокое разочарование вкладчиков был и некто N — человек богатый, могущественный и необычайно принципиальный, когда речь шла о его материальных интересах. Сумма его вклада, которая обеспечила бы безбедное существование как минимум пятидесяти непритязательным российским гражданам, была для N незначительна и навряд ли достигала одной десятой процента от всех его капиталов. Однако он считал, что во всем должен быть строгий порядок и, изменив сегодня своим принципам в малом, завтра наверняка будешь попустительствовать своему полному ограблению.

Поэтому N через секретаря передал Константину требование вернуть причитающиеся ему двести с чем-то тысяч долларов не позднее чем через две недели. В противном случае к нему будут применены самые строгие санкции. В случае каких-либо необдуманных поступков, на которые *отважится* должник, истец оставляет за собой право на адекватный ответ. Деньги должны быть переданы не позднее 22-х часов вышеуказанного дня.

Шанс быть обнаруженным с простреленной в двух местах головой был настолько велик, что Константин тут же кинулся исполнять приказание. Ведь в банковских кругах N был известен как человек слова и дела. И не было случая, чтобы данное им кому бы то ни было обещание осталось невыполненным.

Обзвонив всех более удачливых, чем он, в бизнесе друзей, Константин понял, что все без исключения относятся к нему как к покойнику. А одалживать деньги покойникам в их среде было не принято.

Тогда он срочно, по бросовым ценам, распродал все, что было возможно. Получилось сто с небольшим тысяч. Рассчитывать на что-либо еще было бессмысленно. Поэтому Константин решился на побег.

Через день появились двое *посредников*, которые решили поинтересоваться, каким образом и для каких целей в компьютер авиакомпании «Люфтганза» просочились имена Константина, его жены и сына, за которыми забронировано три места на завтрашний четырнадцатичасовой рейс Москва — Нью-Йорк. Посредники избили незадачливого беглеца так, чтобы последствия побоев не мешали ему заниматься добыванием денег для *истца*. И сообщили, что поскольку *ответчик* попытался нарушить установленные правила игры, то с завтрашнего дня его *ставят на счетчик*, то есть за каждый день к общей сумме долга будет приплюсовываться определенный процент.

Это был явный произвол, свойственный беспринципным, придерживающимся воровского обычая людям, для которых издевательство над беззащитной жертвой является своеобразной формой самоутверждения; им ничего не стоит убить невинного человека, даже если этот человек из кожи вон лезет, лишь бы вернуть долг чести... Все это Константин хотел сказать по телефону господину N. Хотел объяснить ситуацию с тем, чтобы сразу отдать половину, а остальное потом — вскоре, как только снова встанет на ноги... Однако секретарь сухо ответил, что всеми имущественными вопросами относительно счета господина N в неплатежеспособном банке занимается посредник, с представителями которого и надлежит связаться Константину.

Константину стало по-настоящему страшно. Ему было всего лишь двадцать девять лет. Этого было явно недостаточно для того, чтобы относительно

но спокойно умереть в конце долгой и насыщенной жизни. Константину *смертельно хотелось жить*, любой ценой, во что бы то ни стало. Поэтому он вспомнил о том, что жена застрахована на сто тысяч. Этого должно было хватить.

Встретился с *курировавшими* его бандитами и спросил, сколько они возьмут за убийство жены, но такое, чтобы это выглядело как несчастный случай. Но те уже начали играть с ним в кошки-мышки, им уже не так-то и нужны были его деньги, им хотелось *от души* поглумиться над *лохом*, поиздеваться вволю. Поэтому, отгоголавшись как следует, назвали цену в восемьдесят тысяч.

Константин сломя голову бросился искать киллера, что не столь уж и простое дело даже в таком криминализированном городе, как Москва. Но ему повезло: нашелся человек, согласившийся *выполнить работу* за десять тысяч.

Думал ли в это время Константин о жене как о *человеке*? О том, что она прожила на этом свете еще меньше, чем он? Что она родила ему сына? Что всегда была ласкова, деликатна, пыталась, как могла, приободрить его в трудную минуту, взять на себя часть его хлопот и волнений? Думал ли он о том, что *жена ему родная*?

Навряд ли, иначе не решился бы на такой шаг. И это вполне естественно, поскольку в нем, еще не сформировавшемся как личность, еще не осознавшем всю меру своей ответственности в этом мире, еще не ставшем *мужчиной*, из всех первобытных сил сработал безотчетный инстинкт самосохранения, который полностью выключил в сознании Константина все социальные функции. Ужас смерти гнал его по коридору, заставляя истерично дергать запертые двери и крушить все, что преграждает путь к *ложному* спасению. Если бы обстоятельства сложились так, что ради его жизни надо было бы пожертвовать жизнью матери, то он не остановился бы и перед этим. Вселенная для Константина разделилась на две разновеликие части: большей частью был сам Константин, меньшей — все остальное, которое было неважным и несущественным...

Киллер сработал чисто. Обезображенный труп жены со следами алкоголя в крови был обнаружен на железнодорожных путях недалеко от станции Реутово. Несмотря на *полуистеричное состояние всех жизненных систем*, Константин быстро собрал все необходимые справки и документы и передал их в страховую компанию. Произошло это в пятницу, накануне двух выходных дней, поэтому деньги новоявленный вдовец смог получить только во вторник.

Бандиты, поинтересовавшись, сильно ли мучилась *дорогая жenuшка*, начали пересчитывать принесенные деньги. Потом потыкали толстыми пальцами в калькулятор и заявили, что этой суммы хватило бы *вчера*, а *сегодня* ее недостаточно, потому что за сегодня набежало еще два процента. Не хватало пяти тысяч.

Но даже этой малости никто из бывших *компаньонов* Константину не дал. У живых и у мертвых разные деньги, они не пересекаются ни во времени, ни в пространстве...

Даже квартира была уже продана, и он *ютился* в однокомнатной квартире у брата, у *безденежного* брата. Точнее, он там только урывками ночевал, а все остальное время волчком вертелся по городу в поисках денег, оставляя днем одного в квартире шестилетнего сынишку...

Сын тоже был застрахован, и тоже на сто тысяч.

Довольно быстро в голове вызрела мысль о том, что «если меня убьют, то и Сережка, никому не нужный на этом свете, будет обречен на пожизненные мучения». Эта *спасительная* мысль нужна была для того, чтобы собраться с духом и сделать так, чтобы сын сломал руку.

Через три дня Константин принес те, старые, пять тысяч и новые пятнадцать. Но бандиты уже вошли в такой кураж, который покруче любых нарко-

тиков будет. Они с наслаждением следили за развитием трагедии. «Дело в том, уважаемый Костя, что проценты-то идут сложные, они берутся не от первоначальной суммы, а от *текущей*. Так что тут не хватает трех тысяч ста пяти долларов. Центы мы тебе, так уж и быть, прощаем», — издевательски заявил один из них, тот, что был не в спортивных штанах, а в костюме.

Напрасно Константин ползал в ногах, выли, умолял, клялся. Хотя клясться ему было уже нечем, не было на земле ничего такого, что могло заставить сдержать слово. Ничего, кроме собственной жизни. В конце концов бандиты пресытились этим банальным зрелищем. Они с нетерпением ждали кульминации режиссируемой ими пьесы. «С тебя еще восемьдесят штук. И это будет все, потому что ты нам уже надоел», — крикнули ему в спину, вышвыривая за дверь.

Константин поверил. Поверил, потому что иначе ему оставалось лишь броситься в метро на рельсы.

На киллера уже не хватало. И он сам стал киллером для своего сына. Сработал четко, автоматически, не думая о том, как сможет жить дальше. Да это сейчас было для него и не важно, не было для него сейчас вопроса о том, что будет потом, после избавления от смерти. Смертельный ужас загнал Константина в такой угол, где он, не раздумывая ни мгновения, начал бы стрелять во все живое, приближающееся к нему, нажимать на кнопки запуска ядерных ракет, взрывать плотины, смывая с лица земли города с многомиллионным населением...

Главное — жить, пусть навсегда запертый в железный ящик, пусть замурованным в стену, лишь бы только одно лицо было свободно — чтобы дышать. Жить во что бы то ни стало себе и окружающему миру...

Константин убил доверившегося ему сына. И принес все деньги. Бандиты выли от восторга, хлопали по плечу, заглядывали в глаза: «Да ты, Костя, просто гений злодейства, такой, как ты, терминатор скоро всю Россию под себя подомнет!»

Потом сказали, что и этих денег не хватает, «но больше тебе взять негде». Ударили по затылку, заклеили рот лентой, руки сковали наручниками и потащили к джипу.

## СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПОЕДИНОК

У Евгения была прекрасная семья. *Ровные* отношения с Зинаидой, одаренный сын, *крепкий* дом, надежная прислуга, лучший в Москве повар и, конечно же, отменное здоровье, которым природа наградила Евгения, Зинаиду и сына Альберта. Все это создавало тот прочный фундамент, ощущение которого под ногами позволяет в нечастые минуты праздности признаться самому себе: «Да, я счастлив!» Собственно, и со стороны было видно, что Евгений *души в семье не чаял*.

Шло время. Сын переходил из класса в класс, с курса на курс, расширялся в плечах, рос и как личность, выказывая незаурядные успехи в финансовых дисциплинах. При этом Евгений с Зинаидой оставались все такими же — молодыми, спортивными, обаятельными и оптимистичными. С точки зрения человека завистливого, этот оптимизм и жизнелюбие проистекали из тех огромных средств, которыми владел Евгений. Однако такой взгляд крайне субъективен и поверхностен. Именно оптимизм, жизнелюбие, ну и, конечно, как теперь принято выражаться, *трудоголизм* — именно эти качества позволили Евгению занять подобающее место в кругах отечественной банковской элиты.

Шло время. Альберт из новоиспеченного бакалавра Чикагского университета превратился в заведующего внешнеэкономическим отделом отцовского банка. А вскоре и женился. По любви, а не на деньгах, поскольку своих денег было более чем достаточно. Невеста, то есть молодая жена, была краси-

ва, обаятельна, умна. Принадлежала к *своему кругу*, что снимало некоторые психологические нюансы, связанные с адаптацией в ином имущественном классе. Альбина — так звали жену Альберта — просто-напросто перешла из одной приличной семьи в другую приличную семью. Поэтому искусство управляться с горничными и прочей прислугой не было для нее тайной за семью печатями.

Родители как с одной, так и с другой стороны по новой русской традиции подарили молодым небольшой особнячок и сумму, необходимую для первоначального устройства хозяйства. И *дети* сразу же занялись этим самым устройством с упоением, свойственным юности, стремящейся к самостоятельности. Придирчиво выбирали дизайнера, капризно копались в предлагаемых им вариантах, скрупулезно нанимали прислугу, которая соответствовала бы интерьеру. Как говорили в старину, *любовно вили свое гнездышко*.

В доме Евгения царили иные эмоции. Супруги, оставшись в доме одни, то и дело заговаривали о том, как счастливо складывается сыновья судьба, подсмеивались над рвением, с которым молодые занялись домом, строили планы относительно своей скорой поездки в какую-нибудь экваториальную экзотическую страну, в шутку пугали себя будущими внуками, называя друг друга *дедом* и *бабкой*. В общем, нажимали на мажорные ноты, потому что в потаенных уголках их сердец появилась не то чтобы тревога, но некоторая грусть. Трудно однозначно назвать ее причину. Тут было и ощущение своей уже ненужности взрослому сыну, и нерастраченность родительского чувства, и осознание того, что в их доме, в их сердцах, в их обоюдном будущем уже никогда ничего не изменится радостно и мгновенно, а жизнь будет медленно сползать на нет. И предчувствие грядущей старости, которая будет мучительно медленно затягиваться над головой, словно полынья.

Все эти летучие тени на сердце, конечно, до поры до времени не представляли никакой опасности для психического здоровья Евгения и Зинаиды. У *старых и опытных супругов* было чем заняться в этой жизни, было чем поддержать свой душевный тонус и интерес к конкретности бытия. Евгений более, чем прежде, погрузился в банковские дела, разгребая успешные поднакопиться за время предсвадебных хлопот *авгиевы кучи*, отыскивая в них за счет неординарного подхода жемчуга и изумруды. Зинаида посвятила себя спонсорству и меценатству, ощущая неподдельную *материнскую* радость, когда слабые мира сего получали необходимую для них, как глоток свежей ключевой воды, не только материальную, но и моральную поддержку. И при этом испытывала *неловкость*, когда вульгарные телевизионщики подавали любую акцию помощи обездоленным, страждущим и беззащитным молодым дарованиям не как нечто естественное, подобное дуновению ветерка или июльскому дождю, приносящему облегчение измученной жаждой траве, а как балаганное шоу, рассчитанное на самого непритязательного зрителя, очертившего до самого дна души, которая когда-то — в далеком детстве — была и отзывчивой, и звонкой, и естественной, как дуновение ветерка или июльский дождь, приносящий облегчение измученной жаждой траве. «Боже! — думала Зинаида. — Как же это так? Куда же в человеке девается все человеческое — правдивое и способное восхищаться величием Твоего творения?»

Конечно, в послесвадебной отъединенности сына от родителей было некоторое эмоциональное преувеличение. Ведь он переехал не на край земли. Наносились обоюдные визиты, как правило ежемесячные. Помимо этого отец и сын работали в одном банке. «В нашем банке», как говорил Евгений.

Однако Альбина так не считала. Ее честолюбие было слишком велико даже по меркам возрастного эгоизма, присущего подавляющему большинству юных жен, склонных предаваться мечтаниям о собственной уникальности, которая должна быть вознаграждена *здесь и сейчас* по наивысшей тарифной сетке. Но если бы эта несимпатичная особенность характера была единственной, то никакой беды не случилось бы. В таких случаях дальше устных со-

жалений о никчемности мужа дело, как правило, не заходит. Но комплекс *обнесенности блюдом* соседствовал в характере Альбины с отменными практическими качествами, которые при отсутствии положительных нравственных ориентиров могут способствовать разрушению счастья не только близких людей, но и своего собственного.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что через полгода после венчания Альбина уже основательно, как говорят в низших слоях населения, *пилила* Альберта. Суть ее претензий заключалась в том, что место третьестепенного банковского клерка унижительно не только для него, но и для нее. Не о том она мечтала, не на то рассчитывала, когда с жертвенностью агнца отдавала руку и сердце человеку, обольстившему ее при помощи внешнего лоска.

Подобных разговоров в семье Евгения никогда не было, да и быть не могло, потому что он был банкиром первого поколения, самостоятельно пробившим себе дорогу наверх, закалившим себя до состояния этической неуязвимости в тяжелых боях и жарких схватках. Однако в России, *живущей как бы на качелях*, второе поколение банкиров вырастает, как правило, нежизнестойким, если не бесхребетным. Ну а третье поколение в силу принципиальной невозможности сделать окончательный выбор между псевдодуховным и псевдоматериальным начинает финансировать революционеров.

Альберт принадлежал ко второму поколению. Поэтому вместо того, чтобы самым решительным образом *ввергнуть жену в осознание подобающего ей места*, он, пытаясь снять семейное напряжение, задавал абсолютно безвольные вопросы: «Ну а чего бы ты от меня хотела?» — и: «А как это можно сделать?»

Альбина же прекрасно знала, *чего и как*. Формирование честолюбивых рефлексов мужа было лишь одним из пунктов ее программы, благодаря которой Альберт в конце концов стал вице-президентом правления. Но и этого было ей мало. Она видела себя лишь женой президента. Меньшее ею воспринималось как окончательное крушение жизни.

Поэтому вторым пунктом захватнической программы было устранение с пути главной помехи — президента правления. Или свекра. Или отца мужа. Поскольку победить его психологически было невозможно, оставался лишь один путь — физическое устранение. Нет, она не намеревалась самым вульгарным образом *посылать к свекру киллеров*. Альбина была все-таки женщиной, поэтому *поединок* в ее изошренном сознании интерпретировался не как примитивный ритм сшибающихся клинков под аккомпанемент литавр и большого барабана, а как нервный диалог скрипки и флейты.

Поэтому Альбина начала обольщать Евгения, что в мировой любовной культуре является не столь уж и большой редкостью, поскольку ни о каком кровосмешении тут не может идти и речи. Нельзя утверждать, что Евгений, знавший толк в женщинах и во множестве их любивший, был такой уж пассивной стороной этого, в дальнейшем именующегося совместным, предприятия. Однако Альбина была все-таки инициатором, то есть, как говорили в кургуазные времена, была *загонщиком*, а не *дичью*.

Как она добилась того, что в сердце свекра вспыхнула первая преступная искорка, от которой занялось *снедающее пламя*, нам судить сложно. Поскольку внешний наблюдатель всегда чего-нибудь да недосмотрит, в отличие от того, на кого направлены разящие женские чары. Ведь самые незначительные, с посторонней точки зрения, вещи могут достигать очень большого эффекта. А уж Альбина расстаралась от души, применив весь свой арсенал *бальных приемов*, куда входили и игры с запахами, и *случайные маленькие оплошности* в костюме, и особый макияж для мужчин конкретного возраста и положения в обществе, и искусно приливающий к щекам *стыдливый румянец*, и томная, но отнюдь не вульгарная, протяжная медлительность жестов, и язычок, выразительно чуть облизывающий верхнюю губу, и интонации, и определенный тембр голоса, и позы во время разговора, и выгодный ракурс точно помещенной в пространстве фигуры, учитывающий особенности ин-

терьера и освещение... Все это она обрушила на пока еще не подмороженную годами и делами голову свекра, обрушила тонко и искусно, поскольку была уже опытной молодой женщиной с пятью годами замужества за плечами. Немалую роль в ее сексуальной экспансии сыграло и то, что она владела фирмой, разрабатывающей имидж политиков, бизнесменов и просто состоятельных дам — любительниц острых ощущений.

Первое недвусмысленное *телодвижение* в сторону преступной связи сделал Евгений. Альбина *страшно перепугалась*, изобразила смятение, но не оскорбленность. И с трепетом слабой, боящейся своей эмоциональности женщины отбила первую атаку. Это был верный шаг, который отрезал Евгению путь к отступлению. Не предпринять новой попытки означало навсегда стать человеком, *который приставал к жене своего сына*. Трудно себе представить более унижительное положение.

Вопреки опасениям Евгения, Альбина не стала избегать общения со свекром. Однако стала более задумчивой и молчаливой. И Евгений, который, благодаря проницательности, свойственной людям его профессии, был очень чуток к глубинным душевным состояниям людей, вдруг начал улавливать исходящие от предмета страсти и вожделения *волны женской взволнованности*.

В конце концов грехопадение состоялось. Любовники, *случайно* оказавшиеся наедине в охотничьем домике, безмерно и сладостно познавали друг друга *по-настоящему*. И спустя пять часов в муках оборвали животные, в хорошем смысле этого слова, объятия.

С этого момента их тайные встречи стали регулярными. Но эта регулярность, способная со временем превратить живые чувства в механический бездушный ритуал, была неисчерпаемой и таила в себе бездны новизны и нескончаемого восторга и изумления. Евгений очень скоро понял, что до встречи с Альбиной он, можно сказать, и не жил. И в этом нет ничего удивительного, ибо ни любовь, ни плотская страсть, ни оплачиваемые долларами интимные услуги, ни благодарность, ни страх, ни милосердие не могут дать любовнику в постели то, на что способна плетущаяся против него интрига.

Параллельно с этим любовным неистовством вероломная невестка плела против Евгения *деловые* интриги, воплощая их в жизнь руками безвольного и недалекого в личных делах Альберта. В результате искусно замаскированных деяний молодого вице-президента банк постоянно лихорадило.

Знал ли Альберт о конечных целях своей жены? Отчасти знал. Так что его никак нельзя считать слепым орудием отвратительного женского вероломства. Во всей этой истории с трагичным финалом есть определенная доля и его — сыновней — подлости. Однако он был убежден Альбиной в том, что все эти подстроенные деловые неурядицы он же сам и выправляет. Мол, Евгений со временем поймет, что молодой сын, постоянно *спасающий положение*, умнее, одареннее, образованнее и энергичнее уже несколько подуставшего отца. И вскоре передаст бразды правления в руки Альберта, а сам займет спокойное и почетное место главного консультанта.

На самом деле Евгений никому и ничего отдать был не в состоянии, если бы даже вдруг того пожелал. Таковы были его природа, его положение основателя крупного дела, его нравственные устои. Евгений был запрограммирован природой и социальной ролью только на то, чтобы брать. Не зная этого Альбина не могла.

Знала она и то, что из-за непрерывных деловых неурядиц Евгений постоянно пребывает в стрессовом состоянии. Испытывал он огромный дискомфорт и дома, поскольку связь с молодой пылкой возлюбленной делала его абсолютно несостоятельным на брачном ложе. И не потому, что он расходовал все свои пятидесятичетырехлетние силы на Альбину, а Зинаиде ничего не оставалось. Отнюдь нет, просто Зинаида в сравнении со своей



невесткой не выдерживала никакой сексуальной критики. И центральная нервная система Евгения не могла отдать четкие и ясные распоряжения относительно насыщения горячей кровью соответствующего органа.

Знала Альбина и то, что люди с короткой шеей предрасположены к серьезным сердечно-сосудистым заболеваниям. А шея у Евгения была именно короткой.

И вот настал час самых решительных действий, которые должны были принести окончательную и бесповоротную победу. Альбина сделала так, что пакостничество Альберта против собственного банка стало известно отцу. Состоялся мучительный разговор с сыном с глазу на глаз. За звуконепроницаемыми дверьми звучали проклятья и текли иудины слезы. Однако принимать важное решение сгоряча было не в правилах Евгения. Немного придя в себя, с раскалывающейся от боли головой он поехал *искать забвения* у Альбины.

В этот вечер Альбина была *в ударе*. Оргазматические конвульсии ее ненасытного тела, ее иступленные стоны и вопли не прекращались ни на мгновение. Обезумевший Евгений со сладостным ужасом валился в какую-то бездонную пропасть, призывно сверкающую отвесными алмазными стенами. Вдруг в его глазах вспыхнул ослепительный свет, а изо рта пошла пена. Альбина *закончила* в последний раз и проворно соскочила с поверженной жертвы. Повернула безответного Евгения на бок, чтобы не захлебнулся. Вызвала «скорую». Оделась. Накрасилась. И сдала горничной ключ от номера с соответствующими пояснениями.

У Евгения случился апоплексический удар, что в соответствии с современной медицинской терминологией называется инсультом. Он навсегда лишился несчастного возможности не только говорить и самостоятельно передвигаться, но и *осмысленно думать*. Евгений, не понимая своего печального положения, переместился в мир странных иллюзий и аномальных образов...

Самым загадочным в этой истории является то, как Зинаида — тоже до мозга костей женщина, чуткая, интуитивно мыслящая, в свое время способствовавшая возвышению Евгения, — как она не разглядела сгущавшиеся над головой тучи. И как уже потом, после всего случившегося, она не поняла, не распознала виновницу своего несчастья!

А впрочем, когда через три года пошли внуки, уже не было ни правых, ни виноватых. Жизнь зарастила старые раны и взамен бывшего благополучия дала надежду на то, что если не мы, то уж наши дети и внуки обязательно будут счастливы.

## ДУРНОЙ ПЛЕМЯННИК

Судьба развела Игоря с младшим братом на заре кооперативного движения. Игорь сразу же понял, что не за горами час, когда можно будет не *бомбить* сберкассы в поселках городского типа, а открывать собственные банки. Брат не поверил и продолжил делать уголовную карьеру.

Через семь лет Игорь стал главой корпорации, годовой оборот которой равнялся полутора процентам российского бюджета. Брат за то же время отсидел, а потом стал *бригадиром* в одной из трех соперничающих группировок провинциального городишки с населением в пятьдесят тысяч человек.

Такое родство тяготило Игоря. Брат, в свою очередь, также отвечал ему нескрываемой неприязнью, которая объяснялась скорее не завистью бедного, а обидой. Ведь мог бы пристроить где-нибудь рядышком с собой, каким-нибудь референтом по криминалу. О чем, кстати, у них однажды был разговор. Но Игорь отдал по половине доходов корпорации за то, чтобы рядом не было такого вот *родственничка* с блатными ужимками, с золотой *фиксой* во рту и татуировкой «Коля» на пальцах правой руки.

При этом Игорь как-то раз попытался дать непутевому брату двести тысяч долларов, чтобы тот открыл свое дело. Даже опытного консультанта для него нашел. Однако это благое начинание закончилось самым препаскудней-

шим образом. Братец, одуревший от дармовых денег, устроил платную нелегальную школу высшего воровского искусства, куда набрал соответствующую профессуру. После этого Игорь стер в своем сердце всякие родственные чувства.

Но братец в конце концов подложил ему такую свинью, что жизнь превратилась в сущий ад. Кто-то из честолюбивых бандитов решил подняться на следующую воровскую ступеньку, которую занимал Колян. В результате в одно прекрасное утро машина, на которой Колян с женой возвращались из ночного кабака, была зажата с двух сторон джипами и превращена в дуршлаг шквальным автоматным огнем. Это известие старший брат воспринял с облегчением. Более того, на дне души шевельнулась даже радость, которую он тут же оправдал тем, что «наконец-то отмучился, бедолага».

Однако через три дня, на похоронах, которые избежать было невозможно, выяснилось, что имеется сирота, четырнадцатилетний изрядно накачанный парень с крупными кулаками, покрытыми ссадинами, и короткой стрижкой, подчеркивающей происхождение и жизненные устремления. С именем, перелицованным на блатной лад, — *Серый*. И что самое неприятное, у сироты на этом свете был один-единственный близкий родственник — дядя Игорь. Дедушки и бабушки, которые обзавелись сыновьями в немолодом возрасте и которым хорошо было бы сбавить этот подарок, в живых уже не было.

Конечно, можно было бы послать его на все четыре стороны. Благо он, несомненно, уже *ошивался* в компании молодняка — бандитских *приготовишек*, *тряся* челноков и ларечников. На это и смог бы жить. Но по закону *мальчику*, не достигшему шестнадцатилетнего возраста, нужен опекун, который воспитывал бы его и нес ответственность за все его деяния. Конечно, можно было бы сдать племянника в детский дом, но тогда деловой мир наградил бы Игоря клеймом *жестокосердного изверга, бросившего сироту на произвол судьбы*. А с этим было бы крайне затруднительно расширять круг компаньонов.

Игорь лихорадочно перебирал в уме варианты достойного выхода из безвыходного положения, один нелепее другого. Европейский частный пансионат, где сирота, изнывая от скуки, изнасиловала классную даму. Суворовское училище, где сирота изувечит двоих-троих однокашников. Школа-интернат олимпийского резерва по восточным единоборствам, учебная парусная шхуна «Товарищ», школа для одаренных детей при Новосибирском академгородке, двухгодичный кругосветный круиз...

Пришлось остановиться на самом нежелательном варианте: терпеть его у себя дома два года — до получения паспорта, после чего можно будет выставить ублюдка на законном основании.

После въезда нового жильца жизнь в доме сразу же превратилась в сущий ад. Матерные слова были неотъемлемой частью речи племянника, без них она утрачивала всякий смысл. Позволить ему свободно материться было невозможно, поскольку в семье росли две дочери — Жанна и Полли. Но и запретить было нельзя, так как это было бы равносильно приказанию вообще ничего не говорить. Возникла и масса иных проблем. Например, *урловатые* друзья, которыми он довольно скоро обзавелся в *местном* поселке. Правда, после их второго визита, когда исчез видеоплеер младшей дочери, охране было дано указание не пускать их на порог. Племянник по этому поводу немного побушевал, разбив в знак протеста телевизор и антикварную вазу, но смирился. Хуже было с *девками*, с которыми охрана несколько раз отследила его в московских притонах. Не хватало, чтобы в дом какую-нибудь заразу притащил.

Создалась любопытная ситуация: присутствие в доме племянника было омерзительно, отсутствие — чревато каким-нибудь криминалом, о котором конкуренты, дрожа от удовольствия, растрывают на весь свет, засунут во все газеты, на все телеканалы: «Неопровержимые доказательства криминального происхождения капиталов Игоря N». В принципе, враги вполне могли под-

толкнуть племянника с гипертрофированной мускулатурой и недоразвитыми мозгами, например, к ограблению пункта обмена валюты. Ради этого удовольствия они, пожалуй, и откроют его в *местном* поселке, чтобы далеко не надо было ездить: прорежут в телефонной будке окошко, посадят туда ветхую старушку. И чтобы стол без ящиков, чтобы пачки долларов прямо на столе лежали...

Эта взрывоопасная ситуация навела Игоря на мысль о том, что племянника следует убить. Не самому, конечно, он и в давние годы, после двух *отсидок*, этим не занимался. Нанять основательного киллера, заплатить ему как следует... Но, спокойно взвесив все *pro et contra*, Игорь отказался от этого тривиального шага. В конце концов, репортеры разнохают прошлое племянника, подробности гибели его родителей, прежние его прегрешения и нынешние шалости, о которых начальник охраны регулярно докладывал Игорю. И опять-таки на первой странице «Коммерсант-daily» будет напечатано аршинными буквами: «Неопровержимые доказательства криминального происхождения капиталов Игоря N». Инсценированное самоубийство тоже не годилось, поскольку выставляло бы опекуна не в лучшем свете.

И вдруг Игоря осенило.

Как-то вечером, когда дочери уже спали, он вошел в мезонин к племяннику, куда тот был отселен из соображений здравого смысла. И, припомнив *арго*, которым он когда-то неплохо владел, повел с растерявшимся опекаемым разговор о романтике бандитской жизни. Рассказал пару гиперболизированных историй из своего давнего прошлого, теплым словом помянул брата. А потом ненавязчиво перешел на тему наркотиков, которые *дают человеку новые необычные впечатления, возвышающие его над обыденностью, развивают остроту и парадоксальность мышления...* И для большей достоверности после каждых трех слов вставлял междометие *бля*.

Племянник сказал, что да, *анаша и кодеин — торчковый кайф*. Дядя сказал, что *эта туфта и лажа для ботаников. А торчковый кайф для крутых — это героин*. И предложил *попробовать*, достав из надетых для пущей убедительности спортивных штанов бутылочного цвета коробочку. А из коробочки два шприца и две ампулы.

— Ну что, *ширнемся?*

— А ты что, *ширяешься?* — изумился племянник.

— Да уж лет двадцать.

— Так говорят, что через пять лет от героина дуба дают!

— А ты больше слушай. Так говорят потому, что тогда водку никто покупать не будет. А на водке у нас половину бюджета делают.

Сережинными мозгами никто никогда всерьез не занимался, поэтому он с готовностью поверил.

Игорь, который ради этого дела довольно основательно натренировался на охранниках, вколол племяннику в вену ампулу героина. А себе в локтевую мышцу — дистиллированной воды. Племянник *заторчал* со счастливым выражением лица.

На следующий вечер он уже *ждал*. И вновь укололись.

Спустя две недели племянник уже крепко *сидел на игле*. А дядя стремительно наращивал дозу.

Потом наступил следующий этап — *изгнания бесов*. После очередной дикой выходки — кажется, в тот раз он затащил к себе и попытался изнасиловать официантку — ему было отказано в ежевечерней дозе. Он крепился всю ночь, а утром просил пресмыкаться. Но был оставлен до вечера, чтобы *ломать* стало. Перед вечерним уколом уже почти ползал *в пыли*, но *следы* пока не лобзал. И тут ему было сказано, что за малейшее прегрешение он будет наказан еще больше, то есть *дольше*, и получит *меньше*.

Но все-таки была еще пара *дисциплинарных* срывов. А потом пошло как по маслу, автоматически, по четкому алгоритму. Кололи охранники. Они же

и не кололи, даже если племянник выходил к людям, то есть выползал куда-либо за пределы флигеля. Иногда разрешалось поваляться на лужайке в отдаленном уголке парка.

Потом Сергей научился колотиться сам.

Через полгода племянник стал бессловесным растением (даже говорить ему запретили *при людях*), реагирующим на свет, температуру и, конечно же, на *питательные соки*, которые циркулировали в его венах, артериях, капиллярах. Дважды в день отпирали дверь и давали ему ампулы, еду и слегка прибирали в комнате. Перед сном выключали телевизор. Потом, когда вонь от *непроизвольной* мочи стала достигать *жилых комнат*, на его любимой лужайке выстроили домик и перевели его туда.

Нельзя сказать, что все то время, которое оставалось до совершеннолетия, племянник *медленно угасал*. Отнюдь нет, просто за счет бычьего здоровья, молодости и плебейской приспособляемости он превращался в *иную форму организма*. До фазы быстрого умирания ему оставалось не менее десяти лет. Но они должны были пройти уже вне дома, вне юридической и информационной ответственности Игоря.

Когда наконец-то настало долгожданное совершеннолетие, засунули племяннику в карман пиджака паспорт и отвезли на джипе на его прежнюю квартиру, где на стене висели фотографии отца и матери, сыном не признанные. И наняли человека, чтобы он дважды в день приносил по ампуле и кое-какой еды. Потом, когда прошел год и племянник *зажил самостоятельной жизнью* и стал дядиным *однофамильцем*, человеку заплатили последние деньги, и он передал, для перестраховки, пятнадцать десятилитровых ампул.

На этом все и завершилось. Правда, было еще расследование по факту летального исхода от передозировки с целью выявления канала поступления сильнодействующего наркотика. Однако *нанятый человек* давать свидетельские показания не смог, потому что его также уже не было в живых.

Для корпорации, чей ежегодный оборот равен полутора процентам национального дохода, все эти расходы были сушим пустяком. Но нервов было потрачено немало. А нервные клетки, как известно, не восстанавливаются.

## ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ

Дмитрий уже давно ненавидел жену. Марина отвечала мужу тем же. Однако о разводе не могло идти и речи. Дмитрий был связан по рукам и ногам сословными условностями, на которые окружающие подчас обращают больше внимания, чем, скажем, на происхождение капитала. Марина тем более не могла разорвать опостылевшие узы, поскольку, лишившись средств к существованию, не смогла бы дать должного воспитания и образования сыну. Но это в том случае, если на бракоразводном процессе Майкла оставят ей. Скорее всего, учитывая огромные средства Дмитрия и его общественное положение, она бы лишилась и средств к существованию, и сына.

Семейная дисгармония была для Марины тягостнее, чем для Дмитрия. Во-первых, у него было *дело*, которому он посвящал всего себя. Так что расхоловать нервы на постылую жену не было ни сил, ни времени. Во-вторых, все в доме, включая Маринины тряпки и кредитную карточку, принадлежало ему. В-третьих, будучи гораздо умнее жены, он выбирал такие способы издевательства над ней, от которых получал определенное удовольствие. Поэтому избил жену всего лишь дважды. И то лишь потому, что был пьян. А у пьяных, как известно, наблюдается снижение интеллектуального уровня.

Марина пыталась мстить мужу. Но делала это столь неловко и неумело, что все попытки оборачивались для нее плачевно.

Например, Дмитрий в ответ на какую-либо неуклюжую дерзость ничуть не стесняясь вызывал охранника, который должен был держать Марину, а

сам делал ей внутримышечную инъекцию чего-то такого, от чего ее через двадцать минут начинала терзать неутолимая жажда. Она выпивала пять — семь литров воды. А наутро вставала чудовищно отекающей и с поднявшимся давлением. И, наглотавшись таблеток, весь день лежала пластом. Но иногда муж проявлял гуманизм — после укола запирали Марину в спальне, и ей приходилось мучиться часа три, пока не проходило действие препарата.

Однако наиболее излюбленные издевательства Дмитрия были морально-го характера. Так, в присутствии горничной он порой начинал как бы подружески, как бы находясь в лирическом расположении духа вспоминать какие-то интимные подробности из их безвозвратно ушедшего прошлого. Скажем, как он брил ей лобок бритвой «Жиллетт», намыливая перед бритьем помазком, который сохранился от ее рано умершего отца. Или как она делала ему минет, когда он вез ее из роддома, а сынишка в это время сладко спал на заднем сиденье. Рассказывал, мерзко подхихкивая, о негре в Неаполе, который, схватив Марину за руку, вопил на всю улицу: «Ту хандрид долларс!», о менструации, которая выступила на белой юбке в театре, вспоминал слова, которые она выставляла во время оргазма... И при этом не отпускал не знавшую куда девать глаза горничную, периодически обращаясь к ней: «Я надеюсь на вашу исключительную порядочность, милочка. Уверен, ничто из услышанного вами не дойдет ни до чьих ушей».

Когда Марина забыла сказать мужу об одном телефонном звонке, не столь уж и важном, Дмитрий отказался в течение двух месяцев посылать деньги Марининой матери, которая, будучи по профессии инженером-химиком, сидела в Курске без средств к существованию. И при этом отправил жену зарабатывать деньги для матери. «Заодно узнаешь, как люди живут, чем кормятся», — сказал Дмитрий со злорадной ухмылкой. И Марину ежедневно отвозили с сумой испеченных поваром пирожков на Курский вокзал, где она стояла в шеренге матерящихся и выпихивающих из *калашного ряда* заскорузлых баб и *торговала*, выкрикивая посиневшими от унижения губами: «Горячие пирожки с капустой, с картошкой. Две тыщи штука», — откупалась от милиционеров с наглыми бараньими глазами, в ужасе отшатывалась от проходивших мимо зловонных бомжей...

Конечно, на всякий случай рядышком покуривал охранник — Дмитрий не хотел, чтобы приключилась какая-нибудь громкая история с выяснением личностей участников и регистрацией свидетелей.

За месяц наторговала на восемьсот тридцать тысяч. И получила завершающую пощечину: Дмитрий заявил, что двести тысяч надо отдать повару и еще двести — охраннику.

К счастью, ничего этого не видел сын. Он учился в Англии. А когда приезжал на каникулы, муж временно прекращал *очевидные* издевательства. Свидетелями ее унижений были в основном охранники, поскольку им поручалось обеспечивать ее безопасность в самых разнообразных испытаниях, которые придумывал муж. Он все больше и больше входил во вкус, и казалось, что нет предела для его изощренного садизма.

После пирожков была ночная палатка с сигаретами, дешевой водкой, спрайтом на запивку и сникерсами на закуску. Марина, опять-таки, зарабатывала деньги для матери. Торговала по ночам. И не в центре, а на задворках Казанского вокзала — чтобы побольше всякой мерзости насмотреться: поножовщины, блюющих мужиков, предлагающих потрахаться ублюдков, трахающихся бомжей, угрозы убить, если не даст бутылку...

Опекавшие ее охранники, люди, в общем-то, неплохие, но боящиеся потерять работу, сочувствовали Марине. Тайком помогали, хоть имели строжайшие инструкции действовать лишь в самых экстремальных ситуациях. Отгоняли подальше наиболее ублюдочных типов, приносили сосиски и кофе. Но эта жалость была для Марины куда больнее, чем бесстрастный нейтралитет.

По логике вещей, следующее *хождение в народ* должно было быть «челночной» поездкой куда-нибудь в Турцию или Польшу. Дмитрий в глубине

своей нездоровой души уже вынашивал этот план. Ну а после возвращения из шоп-тура Марина должна была стоять на вещевом рынке и сбывать привезенную из дальних стран гору мужских трусов. Именно мужских трусов, как задумал Дмитрий.

Однако этот план остался неосуществленным.

Исстрадавшаяся Марина все-таки решилась разводиться. Она поняла, что уж если сейчас практически не видит пятнадцатилетнего Майкла, то скоро он закончит учебу и заживет своей жизнью. «Отцовской жизнью», — с невольной неприязнью подумала Марина. Так что для нее нет никакой разницы, отберут ее ребенка продажные судьи или же будущая жизнь, которая для сына полностью определена на долгие годы. Сын банкира станет банкиром.

Когда Марина сообщила о своем намерении, Дмитрия ослепила ярость: это ничтожество захотело самостоятельности! Суверенитет ей подавай! Да знаешь ли ты, сука приبلудная, сколько я в тебя денег вложил?! Да ты передо мной по гроб жизни в долгах как в шелках! Одно тряпье сколько стоит! А шубы?! А обувь по тыще баксов за пару?! А апартаменты в Ницце, в Лос-Анджелесе, в Монте-Карло?! А сколько ты, учительская дочь, в рулетку просидела?! Да ты моя рабыня, что захочу, то с тобой и сделаю!..

И заперся в кабинете пить и думать, не забыв распорядиться, чтобы *эту блядь* — именно так и сказал начальнику охраны — из дому ни на шаг не выпускали.

Спустя три часа решение было готово. Точнее, приговор, который был зачитан «вероломной рабыне, некогда делившей с господином брачное ложе без должного усердия и прилежания, что и послужило причиной всех ее последующих бед и несчастий». При этой шутовской процедуре присутствовали все охранники, которым предстояло надзирать за исполнением приговора.

Дмитрий оценил долг своей жены в один миллион долларов. В случае его выплаты он намерен предоставить ей полную свободу. Если же через два года нужной суммы у Марины не окажется, она станет в доме бесправным существом, *общественной вещью*, которой всякий — от господина до последней посудомойки — волен распоряжаться по собственному усмотрению.

Был придуман и способ зарабатывания выкупа. Причем это было не желание, а неукоснительный приказ. Марина должна была продавать себя мужчинам, то есть заниматься проституцией. При этом всем было прекрасно понятно, что таким образом заработать миллион невозможно, а значит, торговля женой будет продолжаться до тех пор, пока это не надоест Дмитрию.

Марина ожидала всего, чего угодно, но не такой низости. Какая-то совсем новая — не прежняя — ненависть к *бывшему мужу* охватила все ее существо. Это чувство было тягостнее, чем омерзение, ей было противно даже плюнуть ему в лицо, то есть голова раскалывалась от одной мысли о том, что только что наполнявшая ее рот слюна вступит в соприкосновение с этой гадкой харей! Побледнев, она с нечеловеческой уверенностью в свои духовные силы сказала: «Этого не будет никогда. Ты понял меня, гнида?»

Однако сила была не на ее стороне. Пробудившиеся в Марине гордость и чувство собственного достоинства были подавлены грубой физической силой. После недельного заточения в плесневом подвале без воды и пищи воля Марины была сломлена. В конце концов она прошла и через это *последнее* испытание.

И вот, вколов ей чего-то отупляющего и затолкав в джип, муж с двумя охранниками повез продавать Марину к гостинице «Космос».

Первого клиента придирчиво выбирал сам Дмитрий. Он же и торговался — со щеголеватым негром средних лет. На чем они сошлись, Марине было безразлично, она с трудом сдерживала приступы тошноты. От глотка джина из предложенной тайком охранником фляжки стало немного легче. Потом она пошла, обреченно, словно на собственные похороны...

Чувства вернулись, когда уже снова сидела в машине. Когда начались рвотные позывы, Дмитрий распахнул дверцу и как-то по-бандитски схватил

ее сзади за волосы и наклонил над асфальтом: «Не здесь, сука, тут люди ездят». Потом дал сто долларов. Марина машинально засунула бумажку в карман — какая теперь разница. В конце концов, эти деньги должны прежде всего его унизить.

С этого момента в жизни Марины наступил *болезненный безотчетный автоматизм*. Она спала, ела, листала журналы, переключала телеканалы, ехала на биржу, раздевалась, стискивала зубы и начинала про себя считать: «Один, два, три, четыре, пять... девяносто три, девяносто четыре, девяносто пять... шестьсот сорок один, шестьсот сорок два...» И так до тех пор, пока все не кончалось. Правда, некоторые клиенты высказывали вполне обоснованные претензии по поводу ее непрофессионализма. И не хотели платить. Или намеревались вдвое уменьшить размер гонорара. Но два дюжих охранника не повышая голоса убеждали клиента в том, что он не прав.

Кстати, Дмитрий участвовал в продаже только один раз, в дальнейшем перепоручив это дело охране. Трудно сказать, что думали эти внешне невозмутимые люди, какие чувства ими владели и как бы они себя повели, если бы хитрый Дмитрий не платил им за эти нестандартные услуги очень приличные деньги.

Однако как ни хитер был Дмитрий, как ни предусмотрителен и опытен в делах, но один нюанс он все же не учел. Да и не мог учесть, потому что не только сам никогда не сталкивался с подобным феноменом, но и от других ни разу не слышал. Дело в том, что в одном случае из тысячи *человеческие чувства слуги*, как бы ему ни повезло с *местом*, как бы ему хорошо ни платили, как бы высоко ни ценили его профессиональные качества, оказываются сильнее соображений личной выгоды. И такой крайне редко встречающийся в жизни *порядочный слуга* способен навредить хозяину гораздо больше, чем слуга беспринципный, продажный, способный на любую подлость, если, конечно, она останется безнаказанной.

И такой человек, на беду Дмитрия, был в его окружении.

Принято считать, и на то существует немало оснований, что охранники — люди жестокие, бездушные, грубые и недалекие. Однако есть множество противоположных примеров. Именно из таких нетипичных охранников вырастают подлинные профессионалы. Ведь ими движет чувство человеческой привязанности и *моральной* ответственности сильного человека за жизнь, здоровье и судьбу слабого — опекаемого ими хозяина. Как правило, они принадлежат к высшему офицерскому сословию, имея за плечами высшую военную академию и опыт боевых действий в какой-либо *горячей точке*.

Один из таких людей верой и правдой служил Дмитрию. Издевательства хозяина над женой были ему неприятны. И по мере увеличения их изощренности они вызывали в честном и добром сердце все нарастающее чувство протеста. В конце концов, когда Дмитрий дошел до крайней степени мужской низости, охранник начал испытывать настоящие душевные страдания. Жалость к Марине он уже переживал как свою собственную боль, от которой невозможно спрятаться даже во сне.

И так уж устроен человек, особенно русский, что жалость к угнетенным и поруганным зачастую перерастает в любовь. Собственно, в этом нет ничего удивительного, поскольку во всех мировых религиях страстотерпцы устаиваются любви и поклонения.

Этот естественный и старый как мир механизм сработал в душе охранника. И он беззаветно полюбил Марину. Чувство росло и ширилось, и однажды он ей открылся.

Марина была ошеломлена — как, ее, втоптанную в грязь, можно полюбить?! И кто ее полюбил — человек, являющийся свидетелем всех ее страшных унижений! И лишь слезы, стоявшие в глазах охранника в момент объяснения, убедили ее в искренности признания. Могла ли она не ответить ему взаимностью?

Так родилась их любовь — *бедная и невозможная*, словно после мировой атомной войны, когда все вокруг сожжено и покрыто серым ядовитым пеп-

лом. Все, кроме их исстрадавшихся, кровоточащих, но живых душ. Это была жертвенная любовь...

Однако способность к любовно-религиозному экстазу охранник сочетал в себе с качествами настоящего мужчины, который способен защитить любимого человека.

Обладая еще и аналитическим умом, возлюбленный выбрал для акта возмездия очень удачный момент, когда интересы его хозяина и хозяина конкурирующего банка столкнулись не на жизнь, а на смерть. Именно в момент кульминации этого кризиса он заминировал автомобиль хозяина. Причем, будучи человеком глубоко порядочным, он не мог пойти на убийство ни в чем не виновного своего коллеги. Поэтому в тот роковой день повел автомобиль сам. Взрыв был узконаправленным, поэтому опытный минер отделался лишь легкой контузией и переломом левой руки, поскольку машина была с правосторонним управлением.

Был ли в убийстве Дмитрия какой-либо денежный расчет? Если даже его и не было, то результат освобождения тем не менее принес охраннику помимо моральной выгоды и материальную. Не претендуя ни на какие контрольные пакеты, а потому не выдержав траурного срока, Марина почти сразу же вышла замуж за своего избавителя. При этом и без всяких контрольных пакетов денег, которые по наследству перешли Марине со многих счетов Дмитрия во многих банках, вполне хватило бы для безбедного существования пятисот семей, аналогичных Марининой, состоящих из любящих друг друга мужа и жены и обучающегося в туманном Альбионе сына-подростка.

Перед свадьбой Марина рассчитала всю прислугу. А после свадьбы сразу же продала усадьбу. Правда, вначале она намеревалась спалить ее дотла, но чувство здравого материального смысла возобладало над эмоциями.

В заключение этой истории со счастливым до поры до времени концом необходимо отметить один очень пикантный момент. Самым *богатым*, самым пышным венком, возложенным на могилу Дмитрия, был венок, заказанный Мариной на те самые, на *проститутские*, доллары.

## СЛУЧАЙ НА ОХОТЕ

Крупные бизнесмены при общении с представителями прессы и телевидения рассказывают о природе своих первоначальных капиталов, как правило, очень туманно и неконкретно. Их витиеватые воспоминания, не отличающиеся логической оригинальностью, вполне укладываются в одну фразу: *«Был молодым, энергичным и очень много работал»*. Такое объяснение может вполне удовлетворить людей, родившихся после 1980 года. Однако люди постарше начинают вспоминать и среднюю зарплату в период зарождения в стране кооперативного движения, которая равнялась двумстам рублям в месяц (около пятидесяти долларов по курсу черного рынка тех лет), и советское законодательство периода *перестройки*, которое связывало молодых предпринимателей по рукам и ногам, и отсутствие таких понятий, как *недвижимость, биржа, заграничный паспорт, киллер, ваучер, залоговый аукцион, кредитная карта, налоговая полиция, казино, шоу-бизнес и маркетинг*. Даже сотовых телефонов и факсов в ту пору не было. И, вспомнив все это, люди зрелые, читая подобные *откровения*, в недоумении пожимают плечами.

В качестве одного из примеров того, что стоит за словами *был молодым и много работал*, можно раскрыть тайну происхождения стартового капитала одного ныне процветающего банкира, приветливо улыбающегося со страниц газеты «Коммерсант-daily». Правда, задача этой публикации состоит отнюдь не в каких бы то ни было обобщениях, которые, вне всякого сомнения, являются прерогативой такой серьезной науки, как социология. И уж тем более мы здесь не стремимся кого-нибудь разоблачить, схватить за руку, за-



клеймить позором. Как раз напротив: наша цель — составить некую *живописную* портретную галерею, в которую вошли бы уникальные типажи, яркие характеры, захватывающие судьбы, поражающие воображение читателя.

А история капиталов героя данного повествования, которого мы назовем Федором, тут очень кстати, потому что она в значительной мере объясняет его природный характер.

Федор родился и долгое время жил в областном российском городе, ничем не выделяясь из шести сотен тысяч его обитателей. Затем, когда началась перестройка и появилась возможность стать *легальным богатым человеком*, в нем, словно в былинном русском богатыре, проснулась доселе дремавшая сила, которая опиралась на оригинальность мышления, дерзость, циничность и безмерный эгоизм. Поэтому Федор не стал открывать платный туалет, кооперативную продажу пирожков, телеателье или перекупочную фирму. Он начал в *промышленных* масштабах продавать иностранным гражданам новорожденных детей. Для этой цели был арендован находившийся вдали от города пионерский лагерь и нанята группа уголовников старого типа, потому что нынешних бандитов тогда еще не было.

Уголовники довольно скоро заполнили лагерь похищенными женщинами репродуктивного возраста, которые спустя девять месяцев после регистрации кооператива «Демос» начали в массовом порядке рожать детей. Дело оказалось настолько выгодным, что уже спустя два года Федор распорядился ликвидировать производство и с новеньким паспортом и чемоданчиком долларов, на часть которых бесосновательно претендовали *подельщики*, растворился в московской круговерти.

Ну а уж потом он действительно *очень много работал*, но уже в иной, более легальной, сфере. Эта работа в конце концов принесла долгожданные плоды, и Федор стал могущественным банкиром.

Однако личная жизнь у него все никак не складывалась, хоть он и привлекал внимание даже самых привередливых женщин. И дело было вовсе не в деньгах, которыми он владел без счета, а в мощном потоке энергии, излучаемой его черными глазами. Многие столичные красавицы, умницы и *новые аристократки* готовы были прийти к нему по первому же зову и смиренно связать свою жизнь с его победоносной судьбой.

Но ни к одной из них у Федора не лежала душа. А жениться по расчету или же с расчетом для него не имело никакого смысла. Он был достаточно богат, чтобы жениться по любви.

Но что такое любовь? Чувство глубоко индивидуальное. Одним нравятся нежные и голубоглазые, другим — озорные и задорные, третьим — умные и рассудительные, четвертым — жертвенные, пятым — чадолюбивые домохозяйки... Что ни человек, то какое-нибудь замысловатое *пристрастие*. Федор попытался разобраться в себе, в своих чувствах и потребностях. В результате мучительных раздумий во время долгих бессонных ночей он понял, что способен полюбить такую же, как он сам. То есть оригинально мыслящую, дерзкую, циничную... Но не эгоистичную, а до самозабвения преданную любимому человеку.

Опираясь на это прозрение, он по-новому проанализировал женский сектор круга своего общения и выделил из него семь кандидаток, которые в какой-то мере удовлетворяли предъявляемым к ним требованиям. Но как выбрать из них одну-единственную, с кем можно было бы счастливо прожить всю оставшуюся жизнь?

Он вызвал референта. Каждый раз, когда Федору на глаза попадался этот исполнительный, компетентный в любом деловом вопросе, безукоризненно одетый, подстриженный и выбритый, благоухающий каким-то особым ароматом, спортивного вида молодой человек, в душе рождались резко отрицательные эмоции. В мозгу Федора вихрем проносились самые неожиданные фантазии относительно этого *ученого козла*, не знавшего реальной жизни и

за счет лишь университетского образования зарабатывающего бешеные деньги, которые можно было бы потратить на более насущные нужды.

Федор, прикрыв глаза, на пять минут перенесся в мир сладостных грез. Он отчетливо видел, как погружает коротко остриженную голову референта в забитый испражнениями унитаза пристанционный туалет и, оперев кончик ножа под лопатку, заставляет его есть фекалии. Или, взяв в правую руку молоток, а в левую — долото, приставляет острие к позвоночнику привязанного к неструганой деревянной скамье референта и изо всей силы бьет молотком по деревянной ручке долота. Или подводит референта к токарному станку, у которого Федор в его годы надрывался на машиностроительном заводе, и включает максимальные обороты. А потом, якобы для объяснения, склоняется вместе с референтом над вращающейся заготовкой, зажатой в патроне, и накидывает кончик его галстука на *бешеную сталь*. Галстук сделан из отличной ткани, поэтому он не рвется, а мгновенно наматывается на заготовку и душит референта. И затем честный и бесхитростный станок начинает крушить уже мертвую голову, разбрасывая по цеху, словно сливочный крем, такие умные, такие дорогие мозги господина референта...

Закончив свою ежедневную аутогенную пятиминутку, Федор открыл глаза и распорядился составить психологический тест на определение оригинальности мышления, циничности, дерзости в поступках и преданности хозяину. Но при этом он должен иметь такую неявную форму, чтобы тестируемый не подозревал о том, что подвергается проверке.

Спустя две недели Федору вручили результаты компьютерной обработки исследований. Вышло так, что из семи претенденток резко выделялись трое девушек — Жанна, Карина и Фира. Они шли с большим отрывом от конкуренток и имели практически одинаковую сумму баллов.

Необходима была новая проверка. И по возможности практическая, а не теоретическая. *С теорией ни в постель не ляжешь, ни детей не вырастишь*. Так рассуждал о ситуации Федор. Так что предстояло выяснить не потенциальные возможности каждой, а то, кто из них лучше справится с трудной и опасной задачей, требующей от человека необходимых Федору качеств.

И такая задача была придумана с той же фантастической дерзостью, цинизмом, эгоизмом и оригинальностью мышления, что и *детский питомник*. Федор приступил к делу самым естественным образом — начал ухаживать одновременно за Жанной, Кариной и Фирой. Конечно, слово *ухаживать* в нашем случае навряд ли правомочно, поскольку загруженность задумавшего жениться банкира не позволяла ему уделять объекту сердечных притязаний времени, достаточного для регулярных продолжительных встреч, в ходе которых вызревает взаимная привязанность и душевное благорасположение, то есть именно то, что людьми не столь ответственными за свои поступки именуется *влюбленностью*.

Федор *оказывал знаки внимания*, что в его положении было более чем достаточно. Согласно этикету, бытующему в кругах финансово-олигархической элиты, данные знаки свидетельствуют о самых серьезных намерениях человека, их оказывающего, а также о согласии человека, эти знаки принимающего, взять на себя любые жизненные обязательства перед человеком, оказывающим эти знаки внимания. Таким образом, Жанна, Карина и Фира потянулись к Федору со всем жаром своих пылких сердец.

И тут начинается самое интересное для читателя и самое сложное и невероятное для потенциальных невест, которые уже прикидывали в уме фасоны подвенечных платьев, программы свадебных торжеств и места проведения медового месяца.

Федор с отменными актерскими интонациями сообщил каждой из них, что две другие готовят на нее покушение. Что киллеры уже разрабатывают план. И что он страстно желает разрушить это злодеяние, но его служба безопасности связана по рукам и ногам, поскольку в нижней палате намечается заседание, посвященное якобы его связям с криминальными структурами,

которое спровоцировано теми же самыми интриганками, *что хотят разрушить нашу с тобой любовь. И что я не переживу, если с тобой что-нибудь случится. Уверен, что ты с ними справишься сама.*

Кроме мотивировки задуманного злодеяния, которая преподносилась как ревность и зависть чужому счастью, Федор приводил и некоторые косвенные улики, вычитанные им в юности в книге «Классический английский детектив». Он почти убедил каждую из девушек в реальности угрозы для жизни. Однако сомнения все же оставались. И, расставшись с Федором, с чарами его убедительных интонаций и *тревожных глаз*, они постепенно успокаивались, склоняясь к мысли, что все это является следствием перенапряжения возлюбленного, который, не щадя своего здоровья, самозабвенно возделывает банковскую ниву.

На следующий день они все вместе, за исключением Федора, встретились на рауте в честь прибытия в Россию нового чрезвычайного и полномочного посла Республики Бразилия. И тут начала работать инициированная Федором программа. Каждая из девушек стала пристально приглядываться к двум другим, стараясь все время держать их в поле зрения — прислушиваться к словам, присматриваться к выражениям глаз. Поэтому все они с ужасом обнаружили повышенный интерес к себе со стороны соперниц. Девичий треугольник еще больше напрягся, чувства обострились до предела, натянутые нервы стали издавать мелодию войны. При этом включилось такое грозное оружие, как женская интуиция, которая стала безошибочно улавливать флюиды злобы, исходящие от *заговорищи*.

На следующий раут Карина пришла в сопровождении двоих вертящих во все стороны головами дюжих охранников. Утром следующего дня охранниками обзавелись и две другие *охотницы*.

Первой в этой тайной войне пала Карина. Второй — Фира. Федору досталась Жанна. Однако до счастливого конца было еще далеко.

Всем известно, что любой работающий в банковской сфере человек, даже самый незначительный клерк, осторожность в делах переносит на свою частную жизнь. Ни один поступок он не совершает без многократной и всесторонней проверки, которая в достаточной мере гарантирует успех запланированного шага. А уж Федор, который, как говорят в малообеспеченных слоях населения, *ворочал миллиардами*, был скрупулезен в каждой мелочи. Поэтому он придумал для будущей супруги еще одно испытание, которое оказалось настолько роковым, что его результаты выплеснулись в общественную сферу и привели к лавинообразному падению курса рубля, названному *черным четвергом*. Причем эпитет *черный* в данном случае не является синонимом слова *плохой*, а свидетельствует о том, что причиной финансовой катастрофы стало событие, происшедшее на *черном континенте*, то есть в Африке. Но не будем забегать вперед.

Федор оторвал от своего поистине *драгоценного* времени две недели и пригласил Жанну развлечься, а заодно и успокоить нервы в Сан-Сити — фантастическом городе-оазисе, построенном на юге Африки десятками тысяч бедных для тысяч богатых. Жанна с удовольствием приняла приглашение будущего мужа, и переполненные счастьем без пяти минут супруги отправились в довольно странное, с точки зрения национальной обрядовости, *предсвадебное* путешествие.

Феерические шоу с участием мировых звезд первой величины, умопомрачительные казино, где с небрежной улыбкой на устах проигрывают годовую прибыль дочерних предприятий, экскурсии к чернокожим колдунам, которые в сотни раз сильнее отечественных шарлатанов, бесконечные фейерверки, карнавалы, гладиаторские *бои без правил* и мартини по пятьсот долларов за порцию — все это ошеломило после слякотной Москвы и вскружило голову ничего не подозревавшей Жанне.

Федор же тем временем собрался на охоту на львов. Ну а поскольку данное развлечение является совершенно безопасным из-за того, что охотников

опекают опытные егеря, то Жанне, как будущей спутнице жизни, предстояло разделить с Федором все прелести, но и некоторые трудности этой элитарной забавы.

После обстоятельной двухдневной подготовки Федор с Жанной сели в проседавший от снаряжения джип и в сопровождении двоих чернокожих отправились в таинственную саванну.

Неожиданности начались сразу же после того, как вылезли из машины, и аборигены стали объяснять, что в пяти часах ходьбы на северо-запад обитает семейство львов, в котором можно выбрать очень приличный экземпляр. И вдруг Федор дал каждому егерю по стодолларовой бумажке и сказал, что больше в их услугах не нуждается. Однако пусть поджидают с джипом на этом самом месте. Жанна выразила недоумение, граничащее с неодобрением такого легкомысленного поступка. Но ее избранник очень логично аргументировал свое решение идти на львов вдвоем. Во-первых, банковское дело гораздо труднее и опаснее, чем охота на каких-то там *хвостатых кошек*, которые в интеллектуальном отношении никак не могут соперничать с Федором. Во-вторых, его будущая жена должна на равных делить с мужем все тяготы и превратности семейной жизни. В-третьих, это совместное испытание еще больше укрепит их любовь. В-четвертых, когда у них появятся внуки, то они будут иметь все основания гордиться своими храбрыми дедушкой и бабушкой. И, взвалив на плечи тридцатикилограммовый рюкзак и два автоматических карабина армейского образца, Федор начал прокладывать путь в африканские дебри. Сзади, с рюкзаком поменьше и одним карабином, послушно пошла Жанна.

Путь был нелегким. Буйная растительность мешала продвижению, в воздухе звенящим облаком клубилось комарье и гнус, крепчайшие незнакомые запахи дурманили сознание, заставляя поминутно сверяться с часами и компасом. Трижды охотники на львов останавливались на привал, подкрепляясь натовскими сухими пайками. А когда в конце концов вышли к точке, обведенной на карте красным кружком, их силы были настолько истощены, что пришлось поставить палатку и как следует отоспаться, включив на ночь согласно инструкции маячок с сиреной, который отпугивал хищников.

Утром проснулись в прекрасном настроении, освеженные сном и взбодренные осознанием того, что все у них складывается самым наилучшим образом. Впору было настрелять десятка два львов, леопардов, носорогов... Их охватила такая чуть ли не юношеская эйфория, что, попадись им стадо слонов, они весело взяли бы в руки карабины и начали пальбу. К счастью для них, такой встречи не произошло.

Однако надо было ждать ночи, когда согласно инструкции львы, как следует отоспавшись, выходят на охоту. Жанна по этому поводу пошутила: «Прямо не львы, а богема какая-то».

Вечером, когда все было готово к встрече с грозными хищниками, Федор с несвойственной ему вкрадчивостью сказал:

— Ты знаешь, Жанна, этой ночью нам с тобой может и не повезти. Просидим в засаде, а львы не придут. То же самое может повториться и завтра, и послезавтра. И будем мы тут торчать до скончания века. А в банке без меня может что-нибудь *стрястись*.

— Ну, тогда придется возвращаться без львиной шкуры, — ответила ни о чем еще не догадывающаяся Жанна.

— Так-то оно так, да после такой охоты у меня за спиной начнут гаденко посмеиваться. А я этого не терплю. Слишком дорого дался мне мой авторитет, чтобы с такой легкостью им разбрасываться налево и направо.

— Но что же делать, Федор?

— Есть один способ. Даже и не знаю, как тебе об этом сказать.

— Что-нибудь жутко неприличное, да? Как при охоте на крокодилов? — вспомнила Жанна ходивший в их кругу анекдот.

— Нет, этот самый надежный способ охоты на львов предполагает использование приманки.

— Ну и что? У тебя в рюкзаке наверняка что-нибудь такое есть. Подбрось им, они и сбегутся.

— Ты не понимаешь, Жанна, приманка должна быть живой. Только в этом случае успех гарантирован.

— Так где же мы ее сейчас найдем? Надо было раньше позаботиться.

— А я и позаботился.

Наступило тягостное молчание. Жанна с удивлением посмотрела на Федора и поняла, что все свои слова теперь надо тщательно взвешивать и обдумывать. А Федор между тем продолжал:

— Я позаботился. Еще в Москве прочел кучу материалов об охоте на львов. И узнал, что в здешних племенах, которые за счет этого кормятся, фигурально, конечно, выражаясь, охотники используют в качестве приманки кого-нибудь из своего круга. Они это делают по очереди. Способ абсолютно безопасный для *приманки*.

— И кто же у нас будет приманкой? — собрав всю свою волю, чтобы оставаться спокойной, спросила Жанна.

— Ты.

— Да ты соображаешь, что говоришь?! А сам не хочешь попробовать?!

— Так я же лучше тебя стреляю, дорогая. Если ты за карабин возьмешься, так они нас двоих сожрут.

— И что же я должна делать, голой по лесу, что ли, бегать?! А потом ихнему вожаку отдаться?! Тут ты его, милый, влет и снимешь?!

Жанну начала бить дрожь. Она даже хотела дать пощечину *этой скотине*. Федор понял, что все дальнейшие уговоры абсолютно бесполезны. Однако он предполагал и такую реакцию. И она отнюдь не означала того, что Жанна не выдержала испытания.

Федор сменил тактику. На глазах у застывшей от страха и омерзения Жанны достал из рюкзака веревку. А когда она попыталась спастись бегством, грубо ударил ее кулаком и потащил к дереву, не обращая внимания на вопли и глубокие царапины, которые *приманка* оставляла на его лице. Затем крепко привязал к стволу дерева неведомой породы. Рот заклеивать не стал, потому что она уже только негромко стонала — именно это от нее и требовалось. Потом оторвал правый рукав от рубашки защитного цвета и сделал на нежном девичьем предплечье неглубокий надрез острым как бритва охотничьим ножом из золотеновской стали. Тонким ручейком потекла кровь — пахучая и притягательная для хищников.

Затем Федор отошел на расстояние в двадцать шагов, обрызгал себя аэрозолем, убивающим всякие запахи, залег с карабином, положив рядом второй, и засыпал себя сверху листвой. Настроил прибор ночного видения, потому что уже сгущались сумерки, и затаился.

Настроение Жанны волнами менялось от полной обреченности до слабых проблесков надежды — и тогда она умоляла Федора освободить ее, употребляя самые сердечные, самые ласковые слова.

Но Федор был тверд. Такое изуверство в отношении будущей жены было абсолютно обоснованным. Пройдя это *последнее испытание*, Жанна должна понять, что Федор — ее мудрый и могущественный господин, который всегда знает, что нужно делать и как себя вести для достижения удачи. Жена, во всем послушная мужу и вместе с тем достаточно инициативная и дерзкая для творческого исполнения любой его просьбы, — что еще нужно для семейного счастья? Но если Жанна этого не поймет, значит, Федор ошибся в выборе.

Между тем наступила кромешная тьма. Ночь была наполнена тревожными шорохами, хлопаньем невидимых крыльев, отдаленным воем шакалов, безумным смехом обезьян. В этот хор ночных голосов вплетался тихий стон

Жанны... И вдруг все смолкло. Значит, на охотничью тропу вышел лев — царь зверей. Федор предельно сосредоточился, весь обратившись в слух, напряженно вглядываясь в зеленоватую картинку прибора ночного видения. Счет пошел на минуты.

Львица, которую привлекли странные звуки, осторожно, чтобы не спугнуть загадочную добычу, начала приближаться к их источнику. Вскоре ее ноздри взволновались от запаха крови. Сделав еще несколько шагов, львица увидела затаившееся у дерева человеческое существо, которое испуганно озиралось, почуяв приближение своего страшного конца. Львица была прекрасной охотницей. Неизменная удача, которая постоянно сопутствовала ей в каждом поединке, была следствием не только чрезвычайно развитых органов чувств, ловкости, незаурядной силы прыжка и удара грозной всесокрушающей лапы. Она была наделена обостренной интуицией, которая ее еще ни разу не подводила.

Поэтому за шесть-семь шагов до того, чтобы собраться в упругий комок мускулов и распрямиться *мощной пружиной прыжка*, львица внезапно обнаружила еще чье-то присутствие. Это был враг, точнее, соперник, грозный соперник, который претендовал на ее добычу. Чувство гнева пронзило сердце честолюбивой охотницы, и она поняла, где он есть и где его голова, которую следует сокрушить прежде, чем метнуться невидимой тенью на сладостный запах крови. И бесшумная львица мощно ударила Федора своей страшной лапой по голове.

Федора спасло то, что удар пришелся о прибор ночного видения. Поэтому он всего лишь на несколько секунд потерял сознание. Придя в себя, Федор с ужасом различил страшные крики Жанны, полные нестерпимой физической боли, и грозный львиный рык. Прибора нигде не было, что делало положение отчаянным. Нашарив лежащий рядом карабин, Федор стал в ужасе стрелять в кромешную темноту наугад.

После того, как вся обойма была расстреляна, Федор понял, что больше не раздастся ни единого звука.

На ощупь, спотыкаясь и падая, вытянув вперед беспомощные руки, он нашел то *страшное* дерево. Жанна по-прежнему была к нему привязана. Все ее тело было покрыто чем-то липким. «Кровь», — потерянно понял Федор. Прильнул ухом к груди, искал пальцами пульс на шее — но тщетно, сердце Жанны больше не билось. «Жанна! — страшно закричал Федор. — Жанна!» Но Жанна была мертва.

Остаток ночи он провел без сна, упав к подножью дерева и проклиная беспощадный рок...

Потом наступил рассвет, и Федор наконец-то смог рассмотреть обезображенное львицей тело Жанны. Если и попала в *него* шальная пуля, то бедняжка уже ничего не почувствовала. «Хоть это-то на мне не лежит», — обессиленно подумал Федор.

Далее события развивались по-будничному скучно. Егеря за молчание получили по тысяче долларов, что по африканским меркам считается очень хорошей платой за такого рода услуги. Ничего не узнали о трагедии, разыгравшейся в саванне, и в Москве, поскольку Жанна летала в Сан-Сити инкогнито, то есть по чужому, а точнее, по фальшивому паспорту. Все это устроил Федор, который не хотел компрометировать незамужнюю девушку, отправляющуюся в столь интимное путешествие.

Поэтому Жанна исчезла абсолютно бесследно, не оставив растерянным родителям даже короткой записки с уведомлением о своих намерениях. Такая эксцентричность не уникальна. Именно так, как известно, в истории человечества поступали многие. Например, писатель Сэлинджер, серьезно увлекшийся дзен-буддизмом, или несостоявшийся антрополог Кастанеда, ушедший в неизвестность по тропе индейской магии. Именно поэтому в определенных столичных кругах имя Жанны приобрело романтический ореол.

Страдал ли Федор по приезде в Москву, мучили ли его угрызения совести? На этот счет какими-либо конкретными свидетельствами мы не располагаем. Однако доподлинно известно, что та роковая охота ожесточила его.

Кое у кого может возникнуть поверхностный эгоистичный вопрос: «А какое дело всем нам, пребывающим в постоянных волнениях и стрессах, до его эмоционального состояния?» На это следует категорически возразить. Такое безразличие было бы простительным по отношению к любому простому человеку. Но когда речь идет о сильных мира сего, то тут для нас не может быть мелочей, ибо дурное расположение духа человека, находящегося на олимпе, способно произвести *обвал*, плоды которого придется пожинать всем нам, находящимся у подножия уходящей в заоблачные дали горы.

Именно этот механизм, к несчастью, и сработал, когда прилетевший в среду в Москву Федор, сердце которого было крайне ожесточено, в четверг переступил порог банка. В результате этого курс рубля упал более чем на тысячу пунктов. Этот инфляционный *обвал* в финансовых кругах назвали *черным четвергом*. Как уже было сказано, слово *черный* подразумевает *черный материк*, а отнюдь не *черный день*. Для финансовых кругов этот день был как раз *красным*, очень *красным*.



---

---

ЭЛЬМИРА КОТЛЯР



## ЗИМНИЕ ТЕТРАДИ

### 1 ТЕТРАДЬ

1

Какая радость  
утром проснуться —  
Господу улыбнуться:  
— Господи!  
Это я...

Вспомни,  
Господи: я —  
дудочка Твоя.  
Вложи в Свою ладонь  
и губами  
тихонько тронь!

Разве не счастье?  
Любовь меня посетила,  
дни мои осветила!

Боже!  
Его лицо  
для меня  
светлей огня!

«Свет очей моих!» —  
говорю о нем  
в сердце моем.  
Дай мне, Господи,  
возлюбить его  
во имя Твое,  
как себя самое.

Сердце светом полно,  
как воздух полдня!  
Кланяюсь каждой  
густо-зеленой кроне  
и замираю в поклоне.  
Кланяюсь донизу доннику  
и татарнику —  
колючему разбойнику!



А мне всей гурьбой  
кланяется зверобой.  
И ромашки желтым глазом  
моргают разом.  
А от розового клевера  
поклонились семеро!

Я шла по саду  
и вдруг  
ощутила в груди  
солнечный круг!

Я тебя  
еще и не знаю толком.  
Собираю по словечкам,  
по обмолвкам.  
Как собирает нектар пчела,  
вьюсь вокруг твоего чела.

Сегодня как-то особенно  
тобой полна,  
твое присутствие  
так явно —  
я не одна.

## 2

И никакой ты не взрослый!  
Подпасок  
вихрастый, белобрысый —  
из русских сказок!

Вбежал,  
как мальчик,  
в избу, в сенцы —  
в мое сердце!

Господи!  
Как дитяtko,  
его храни,  
от беды  
оборони!

## 3

Уехал!  
А я  
до самой Казани  
провожаю его глазами!

Случайная страница —  
твой почерк —  
буквы —  
листки из почек!

Как хорошо было летом!  
Я входила в дом  
с терпким живым букетом!  
И сама была пронизана  
запахом сада.  
Как я этому человеку рада!

## 4

Боже!  
Как мы расстались сухо.  
Как торопливые слова  
коснулись моего слуха!  
Как будто и не было  
в глазах света.  
В сердце не было лета...

А тот поцелуй бесплотный,  
он — бесплодный?

Как бестрепетен голос...  
Любви ни на волос!

Последнее прикосновение руки  
к моему рукаву.  
Я им живу.

Я надевала на шею  
жемчуг речной.  
Ты был тому виной.  
Бусы лежат —  
горсть окаменевших слезинок.  
Я проиграла с тобой поединок!

## 5

Ноябрь.  
Деревья голы.  
Чуть слышатся дождя  
осенние глаголы.  
Гремит Каширское шоссе,  
и невпопад  
под окнами  
вздрагивает сад.

Солнце потухло,  
небо померкло,  
как будто  
завешено зеркало, —  
я от тебя  
на все времена  
отлучена!

## 2 ТЕТРАДЬ

## 1

Я просыпалась утром,  
и первое слово  
было — Бог!  
А теперь  
мой дух изнемог.  
Такая на меня напасть —  
земная страсть.

Молюсь Тебе,  
а думаю о нем.  
Смятенье  
в сердце моем.

Огонь разрастается,  
огонь разрастается!..  
Боже!  
Что со мною станется?

Перебираю четки,  
Иисусову молитву творю,  
а сама с ним говорю.

Прости,  
уже не пойму,  
Тебе молюсь, Господи,  
или ему?  
Человека посылает Бог.  
Ты сделать мне зла не мог.

О ком молю Тебя,  
того нет со мной!  
И не будет ни осенью,  
ни весной...  
Господи,  
замени мне  
все и вся...  
Только бы слышать Тебя,  
ни о чем не прося.

## 2

Богородица!  
Которую ночь не спится.  
В сердце вонзилась любви  
острая спица.

Мир накануне восхода  
Звезды Вифлеемской,  
А у меня в душе — плач вселенский!

В лесу  
белая тишина.

Душа моя  
перед нею  
обнажена.

Лес,  
ты спасал меня  
столько раз.  
Спаси и сейчас!

## 3

Страда!  
Неужели боль  
не уйдет никогда?

И сквозь сон:  
он! Он!..

Господи, спаси,  
огонь погаси!

Не видела его  
сто один день —  
хоть траур надень.

## 4

Любовь моя,  
как лунный серп, —  
на ущерб.

Нет! Нет!..  
Я раскаиваюсь, Господи!  
Только пожар мой не туши.  
Только бы этот человек  
не уходил из моей души!..  
Пусть боль,  
беда,  
любое мученье...  
Не отнимай только  
имени его свеченье!

## 5

Я сегодня слабее былинки.  
Справляю любви поминки.

Небесная мгла...  
Звездочка ее пронзила,  
как игла.

Холодно!  
Душа пристыла к ребрам,  
как будто я одна  
в мире недобром.

Во сне тебя видела —  
и наяву  
целый день  
тобой живу.

Годовалый мальчик  
в гостях у меня,  
такой же, как твой внук.  
Я его не спускаю с рук!  
Беда!  
Похоже, что не разлюблю  
никогда!

## 6

Позвонить?  
Я подняла трубку,  
как разбойник, вор,  
которому вынесен  
смертный приговор.

Дура из дур!..  
Телефонный провод —  
бикфордов шнур!

Чудо! Чудо!  
Услышала твой голос —  
и сердце от счастья  
не расколосось!

Если и половину счастья  
отдать,  
конца ему не видать!

Тебе было плохо!  
Когда говорил со мной,  
голос тихий, больной!

Молю Тебя, Боже,  
о человеке родном  
в мире земном!  
Укрепи его,  
продли его дни,  
спаси, помилуй  
и сохрани!

## 7

Опять вспоминаю расставанье.

Такой бездушный был,  
такой чужой...

Если бы знал,  
что сделал  
с моей душой.

## 3 ТЕТРАДЬ

## Лилия

Три года я ждала,  
лилия все не цвела.

Когда проклюнулся первый  
зеленый росток,  
я не поверила,  
думала, просто новый листок!

Лилия зацвела  
от моего тепла.  
Никакого здесь нет секрета.  
Цветет, любовью моей согрета!

Середина декабря,  
а на окне цветок —  
белая заря!

Лилия!  
Пожалуйста, доживи  
до святого  
Рождества Христова!

Первенец поник головой,  
но проснулся бутон другой!

Бутоны!  
Четыре белые капли  
на высоком стебле,  
на зеленой стреле.  
Белый цветок  
в моей келье —  
воздуха глоток!

Лилия!  
Уходят последние часы  
твоей красоты!

И в умирании  
ты в сиянии.

Боже!  
Цветок,  
с которого я  
не сводила глаз,  
погас!

Нет! Нет!..  
Какая  
тугая,  
тяжелая  
темно-зеленая листва...  
Лилия жива!

А ты не видел того,  
 что видела я:  
 как возник из небытия  
 лилии белый цветок  
 и осветил в моем доме  
 каждый закуток!

#### 4 ТЕТРАДЬ

##### 1

Нет и нет звонка!..  
 Позвонить?  
 Не поднимается рука.

День пуст,  
 как бесплодной смоковницы куст.

Как я могла подумать,  
 что звонит он?  
 Пустой звон.

Кажется, уже прошли  
 все сроки.  
 Остались от надежды  
 крохи.

Такое упрямое сердце!  
 Сказано ему,  
 что все ни к чему,  
 а оно стоит на своем:  
 «Хочу быть с ним вдвоем!»

О, надежда пустая!  
 Что ты мучишь меня,  
 сквозь отчаянье прорастая?

Почему, Господи,  
 почему  
 не сказала Тебе  
 тех слов любви,  
 что говорила ему?

##### 2

И еще одна среда!  
 Звонка не будет долго,  
 может быть, никогда!

Хула на тебя  
 сорвалась с языка.  
 Так боль велика.

Неужели, Боже,  
 так скорбя,  
 звонка телефонного  
 не вымолю у Тебя?

Лилия меня утешала,  
а теперь ее нет.  
Глаза бы мои  
не глядели на свет.

## 3

Предвижу:  
никогда его не увижу!

Радость была  
такой краткой,  
расплата —  
слезы, боль, —  
не серебро и не золото.

Боже!  
Он забыл,  
что я существую.  
Забыл меня.  
Живую!

Столько было радостей,  
а печаль одна,  
но перевешивает она!

Надолго ли  
я к этой муке  
приговорена?  
Невыносима она.

## 4

С какой силой  
нежность нахлынула!  
Ничто не прошло,  
ничто не минуло!

К твоему лицу припасть —  
пропасть!

## 5

Позвонила —  
не заманила.  
Поговорила —  
не покорила.

Всех радостей  
и мучений моих виновник —  
голос твой,  
он — с шершавинкой,  
как крыжовник!



Как сердце мертво!  
Не могу говорить с трубкой...  
Боже,  
дай мне увидеть его!

## 6

Ожидание —  
умирание  
и оживание!

Если б ты знал,  
как нужна мне встреча,  
ты бы не перечил!

Если открою  
дверь тебе,  
перевернется все  
в моей судьбе!

## 7

Воробьи.  
Солнце.  
Трава.  
И я жива!

День так расцвечен,  
будто он вечен!

## 8

Одинок  
лунное око!

Снова сон  
сбывается:  
мою полы.  
Кто-то из жизни моей  
вымывается.

Будто оторопь  
с догадкой мгновенной:  
ты — обыкновенный!

Сердце пусто,  
тебя вынули оттуда —  
погасло чудо!

## 9

Кричит,  
кричит душа моя  
от горести.  
Мне совсем не до гордости!

Я одержимая!  
Господи!  
Удержи меня!

«Не разжигай костры!» —  
говорила покойная мать.  
Ей ли меня не знать?

Мамочка!  
Помолись обо мне.  
Я как дом в огне!..

Боже!  
Пошли мне помощь!  
Это я!  
Ты меня помнишь?

## 5 ТЕТРАДЬ

### 1

Что со мной?  
Я прощаюсь  
с любовью земной.

Осталась нежность,  
как к ребенку малому —  
годовалому!

«Мой мальчик!» —  
тебя называю  
и в мыслях  
к груди прижимаю...

Мальчик — свет в окошке.  
Дышать ему на ладошки.

### 2

День длится и длится,  
чтобы мне молиться.

Только тишина  
мне слышна.

### 3

Душа в сиянии,  
с Богом в слиянии.

Как будто рядом со мной  
тот человек родной.  
И не будет уже расставания —  
в том Господне обетовании.

Бог снизошел в мою душу.  
Да не нарушу!

4

И вдруг  
сердце мое  
тебя отпустило.  
Земной любви  
уже не вместило.

Наверное,  
встречи уже не нужны.  
Мы в Господе  
соединены!



---

---

ГРИГОРИЙ ПЕТРОВ



## ДВА РАССКАЗА

### БОЛОТНЫЙ ПОПИК

**С**разу-то, как Егор родился, ничего необычного в нем не заметили. Мальчик как мальчик, разве что тихий только. Никогда не кричал, не капризничал. Смотрит как взрослый. Слизнёва, крестная, заметила, когда его крестили:

— Белый он у вас какой-то... Будто ангел с небес...

Когда уже он в школе был, мать сетовала:

— Что ты все один да один... Ровно старик какой. С ребятами бы поиграл.

У него и кличка в школе была — «дэвица».

— Эй, дэвица! — кричали ему. — Идем с нами! Покурить дадим!

Он и дома больше молчал, слова из него не вытянешь. Как гости к отцу с матерью — Слизнёва там, крестная, с мужем или еще кто, — Егор всегда к себе уходил. Закроется в комнате и сидит, ангелов из бумаги вырезает. Или еще пристрастился — книги духовные читать. Ему бы уроки делать, учебники учить, а он — Священное Писание. Мать всем жаловалась:

— Наш Егоша совсем затворник... Мы его так и зовем — Егоша-затворник... Как он жить будет — не знаю... Хлебнет горя...

Отец, тот все больше кричал на Егора, бранился почему зря.

— Да шевелись же ты, нюня! Чисто колода! Спишь, что ли, или помер?

Егор от этой ругани совсем терялся, как неживой делался. «А вдруг отец убьет меня?» — думал. Однажды во сне тот даже явился ему в каком-то диком облике. Уши свинячьи, на лбу — рога. «Я — сатана! — кричит. — Я тебя одолею!»

А потом вдруг, это Егор уже школу кончал, стали замечать что-то необычное, а именно — будто кто невидимый оберегает его. Хотя, конечно, может, просто случай, но все равно удивительно — сколько раз был он на волоске от гибели, и всегда выходило так, будто кто-то спасал его.

Однажды, к примеру, идет Егор по улице. Весна, оттепель, с крыши капает. Шагает он себе не спеша — и вдруг, рассказывал он потом, будто голос ему: «Остановись... Постой минуту». Егор остановился, огляделся — никого. Только сделал два шага, громадная глыба льда сорвалась с крыши и упала перед ним. Не задержись он, угодила бы прямо на него.

Другой раз и того чудесней. Баловались ребята в школе, возились, бегали. А потом вдруг возьми и случайно толкни Егора. Упал он, да так неудачно, что головой о батарею ударился. Крови совсем не было, только он в беспомощность впал. Принесли его домой, а он никого не узнает. Врач, которого вызвали, лишь руками развел:

— Если к утру не придет в себя — в больницу...

Ночь прошла, а утром Егор поднимается как ни в чем не бывало, будто и не было ничего накануне. Врач приходит, глазам своим не верит. Потом уже Егор рассказал, что приснился ему сон.

Сначала увидел он соседа Пыхтеева, который помер в прошлом году. Егор спрашивает его: «Ты за мной?» А Пыхтеев отвечает: «Нет еще». Потом увидел Егор очень ясно, будто он в гостях у какого-то священника. Батюшка лежит на диване, за спиной подушка в белой наволочке. Одна пола рясы у него отвернулась и видна подкладка — розовая, с белыми полосами. Батюшка встал с дивана, а ростом он ниже Егора. Смотрит Егор — в руках у него икона в золоченой раме. На иконе — женщина какая-то в платье василькового цвета, на голове покрывало темно-синее. Егор стал припоминать, кто бы это мог быть. Он решил, что это Мария Магдалина, которая жалуется императору Тиберию на Понтия Пилата и подносит ему красное яйцо. «Только где же яйцо?!» — думает он, разглядывая икону. Батюшка тут благословляет его, делает иконой крестное знамение. И Егор теперь видит, что никакая это не Мария Магдалина, а Пречистая Владычица, только без Предвечного Младенца. Прижался он к иконе лицом — и все пропало, а он проснулся.

Доктор выслушал его и говорит:

— Что же это за батюшка такой был? Видно, молился он за тебя. И вот вымолил исцеление у Божьей Матери...

Вот тогда-то, сразу после этого случая, Егор и сказал родителям, что хочет после школы идти в духовную семинарию.

— Больше мне некуда, кроме как туда...

Дома, конечно, скандал. Отец так кричал, что Егор вовсе дурачком делался. На него будто столбняк нашел. Стоит, ни рукой, ни ногой шевельнуть не может.

— Совсем дурак! — орал отец. — Ты погляди вокруг, дубина! Что творится-то! Свобода! Люди только жить начали! Работай — не хочу! Сейчас богачом в одну ночь сделаться можно! Все вертятся, крутятся! А ты — попом! Точно, что дурак! Таким, видно, и родился!

И чем больше отец кричал, тем больше его разбирало. Разошелся — сердце унять не может. Будто пьяный от ругани делался, по комнате бегают.

— И зачем таких земля носит? Тебе бы вовсе родиться ни к чему!

Ночью у Егора истерика — судороги, слезы. Мать капли ему какие-то давала.

— И откуда ты такой взялся? — причитала она. — Все люди как люди... А ты будто с неба свалился. Будто и не я тебя рожала...

Утром отец ходит по дому, глаза в землю прячет, на Егора не глядит. Потом не выдержал, подошел к нему — и на колени.

— Прости меня, сынок! Прости за ругань! Сам не знаю, что со мной... Будто дьявол какой подзуживает...

Егор-то, конечно, его простил, только сказать этого не может — речь он после вчерашнего потерял. Стоит посреди комнаты, мычит, плечо у него левое дергается и голова трясется. Ну, через три дня его отпустило, и все пошло по-прежнему.

А сразу после школы родители надумали женить Егора. Мать невесту ему нашла на своей работе. Маленькая такая, худенькая, лопатки торчат. Она как увидела Егора, так во все глаза на него и уставилась. На работе потом рассказывала:

— Я ему, наверное, не понравилась... А так он хороший... Добрый... Я уже и влюбилась в него... Он не как другие... Сейчас все зарабатывать ищут... А он не может — я, говорит, для этого не гожусь... А нам бы и моих денег хватило... Зачем нам «мерседесы»?

Отец опять кричал на Егора:

— Чем она тебе не хороша, идиот? Что ты нос воротить? Чего жениться не хочешь?

Вот тогда-то Егор и сказал:

— Нельзя мне жениться... У меня сердце слабое...

Родители, конечно, сразу не поверили, повели к врачу. Врач долго выслушивал Егора, выстукивал. Потом говорит:

— Все верно: сердце никуда не годится... Тоны глухие... Расширение влево... Ослабление мышцы левого желудочка...

Дома мать плакала, а отец сказал:

— Что ж, видно, делать нечего... Не судьба... В армию тебя не возьмут... Работа нормальная тоже не для тебя. Ни к чему ты, видно, не способен. Шут с тобой! Иди в семинарию!

Мать собрала Егора в дорогу, как могла, — немного денег, сколько было, продукты на первое время.

— Страшно мне за тебя, — говорила она. — Пропадешь ведь... Жил бы себе дома. Куда уж тебе соваться?

А Егор ничего, не боится. Добрался до Москвы, оттуда в Лавру, к Троице-Сергию. Через месяц получают отец с матерью от него письмо: «Представьте себе — счастливый случай. На первом же экзамене — у меня сердечный приступ. Меня и зачислили так, без экзаменов. Сказали — не надо больше сдавать. Просто чудо. Не иначе — кто-то молится за меня...»

В семинарии Егор, как и в школе, был на особицу, сам по себе. Идут к обедне или ко всенощной, он позади всех, в одиночестве. В хоре семинарском стоял где-то сбоку, его сразу и не увидишь. Соберутся, к примеру, семинаристы вина выпить по случаю какого-нибудь праздника, Егор в стороне.

— Ты что же, не хочешь с нами стихарь обмыть? — обижались на него.

В семинарии ему и дали прозвище — «болотный попик». Однажды стал он в постель ложиться, а у него на простыне — лягушка. Вокруг хихикают:

— Болотный попик, исцели хромую лягушку... Перевяжи болящую лапу...

Преподаватели же хорошо к нему относились, жалели, особенно учитель словесности Опоркин.

— Это ничего, что здоровьем слаб, — говорил он. — Сила Господа в немощи совершается. Ведь как было дело? Все сатана окаянный. Истыкал он Адама палкой и впустил в него семьдесят недугов. Господь спрашивает: «Зачем ты, проклятый дьявол, недуги впустил в человека?» А окаянный сатана отвечает Господу: «Если болезней не будет у человека, он до конца Тебя не вспомнит, а если заболит, всегда будет в страданиях призывать Тебя на помощь». Так-то вот...

После выпуска дали Егору приход в самом заброшенном захолустье, где-то под Ефремовом, в глухом поселке. Протоиерей, ректор семинарии, когда провожал его, сказал:

— Слабый ты только очень... Как ты там будешь? Дьявол-то силен!

Егор погостил немного дома — и в дорогу. Отец провожать его не пошел. Мать сказала — ругается тот сильно.

— Ты не обижайся на него, Егоша. Ведь отчего он так? Всю жизнь мы работали, а жили как нищие. Теперь смотрим — вроде другие времена. Думали, выйдешь ты в люди и нас вытянешь... А ты — вон как...

До Ефремова Егор добрался быстро, на другой же день, а оттуда два дня не мог попутную машину до поселка найти — не ездит туда никто. Хозяйка, у которой он нашел в поселке комнату, Фелицата Прокофьевна, жалела его:

— Что ж это вас к нам-то прислали, в нашу дыру? Неужто получше места не было?

Церквушка, в которой Егору служить, крошечная, тесная, повернуться негде. И запущенная очень — везде пыль, паутина. Прихожан у Егора мало — какие из стариков больны, какие уже и вовсе с постели не поднимаются. Первое время, правда, часто ходили три девушки, совсем молодые, — смотреть на нового батюшку. Но потом и они перестали. Егор как-то случайно слышал их разговор:

— Тщедушный он какой-то, некрасивый, — говорит одна. — И ростом не вышел, совсем коротышка.

— А бородка-то, бородка, — смеется другая. — Жиденская, две волосинки...

А третья говорит:

— А мне жаль его... Сердце у него одинокое...

Егор потом еще несколько раз видел эту третью в храме. Как-то после службы она провожала его до дому. Звали ее Аидой.

— У меня весной мама умерла, — рассказывала она. — А тут недавно во сне явилась. Говорит — замуж тебе надо...

— Да, да, — отвечает ей Егор. — Умершие все рядом с нами, так с нами и живут... Тут вот в чем дело... Если есть только этот мир, то все в нем бессмысленно: болезнь, страдания, смерть. Все получает смысл, если есть жизнь невидимая.

Аида слушала Егора, слушала, а потом, когда они уже возле дома были, и говорит:

— Хотите, я буду к вам приходить убираться, готовить?.. Я могу и жить с вами...

Егор слабо так улыбнулся:

— Мне нельзя с женщиной жить... У меня сердце слабое...

Аида сначала молчала, потом заплакала.

— Я все одна, одна... А мне тоже семьи хочется, мужа... Здесь же нет никого...

— Бог даст, все у тебя будет, — утешает ее Егор. — Вон ты какая красивая — глаз не оторвать. Ты только не ожесточайся. Это от демона. Демон ожесточает сердца наши...

Больше Аиду Егор в храме не видел. Он как в должность свою вошел, ему сразу и помощник сыскался — Мефодий Свиридович, хромой старик с военными орденами. Мефодий Свиридович следил за порядком, прибирался в храме, помогал во время службы. Денег за труды не брал, просил только поесть что-нибудь. Егор покупал ему из еды что мог — у самого денег-то негусто.

— Раньше-то я хорошо жил, — рассказывал Мефодий Свиридович. — Боевой ветеран, инвалид... Пенсию аккуратно носили, вовремя. А теперь все по-новому. Кругом все дельцы, коммерсанты... Только и дела, что торгуют... Я до вас, батюшка, на паперти здесь сидел, милостыню просил Христа ради...

Каждый почти день Егор ходил по домам, навещал тех, какие сами ходить не могут. Носил им молоко, хлеб, помогал по хозяйству. Чаще всех бывал он у бабы Прасковьи. Ее в поселке так и звали — Параскева-болящая, с постели она не вставала. Принесет ей Егор молока, а она всегда одно и то же:

— Заждалась я, отец Георгий... Не хочет, видно, Господь прибрать меня... Не милостив ко мне...

— Не говорите так, матушка, — увещевает ее Егор. — Это вас дьявол смущает...

— Не верю я ни в какого дьявола. Нет его... Верить в дьявола — это грех.

— А дьяволу только это и нужно, — говорит Егор. — Чтобы в него не верили. Нет его — и говорить не о чем... Нет уж, матушка... Если вы верите в Бога живого, надо верить и в другую личную силу — темную, противную Богу.

— А я вот не верю... В Воскресение верю, а в дьявола — нет. Ты скажи, отец Георгий, будет Воскресение или нет?

— А Воскресение уже совершается, — отвечает Егор. — Мы воскресаем, когда познаём Бога истинного. Как познаем, всякий раз и воскресаем.

Егор часто прибирался у Прасковьи в комнате — подмести там, мусор выкинуть. Вот идет он по двору с помойным ведром, на лавочке сосед сидит, Гвоздарёв, жестянщик.

— Нет, батюшка, — говорит он. — Не Георгий ты! Тот с копьем и на коне. А ты — с ведром помойным...

Этот Гвоздарёв проходу не давал Егору. Как увидит, что Егор к Прасковье пришел, тут же за ним. Встанет в дверях и начинает с порога:

— Меня вот что интересует. В Библии, к примеру, сказано: сотворил Бог небо и землю. Ну, хорошо, это я допускаю... Только вот что интересно — из чего же, спрашивается, Господь творил? Из какого то есть материала? Вот я, скажем, воронку какую делаю или бидон. Так мне же ведь материал нужен, жель. А там как? Материя, что ли, какая особая? Она что же — до Бога, значит, еще была? Или вовсе творил он из ничего — из пустоты? Как это понимать?

— Я не могу вам ответить, — говорил Егор. — Это все богословские споры. Я в них не силен...

Помолчит он, вспомнит семинарию и добавит:

— Я ведь болотный попик... Лапу лягушке перевязать — это по мне. А высоко я не забираюсь...

Только Гвоздарёв не унимается:

— Или вот еще... Там же в Библии: и сказал Бог — сотворим человека... А кому он это сказал? К кому обращался? Ведь нет же никого... Одни скоты, гады и звери... Вот вопрос... И где он сам находился, когда ничего не было?

— Я же говорю вам — я не богослов. Я — болотный попик.

Другая старушка, к которой ходил Егор, Карповна, та в другом конце поселка.

Домик ее — совсем развалюха, возле оврага, на склоне, тропинка к нему узенькая между двумя глухими заборами, вся травой и лопухами заросла. Спускаешься — только и думаешь, как бы не свалиться. Вот приходит к Карповне Егор, она спрашивает:

— Какой сегодня день, батюшка?

— Среда, матушка, среда.

— Надо же, — скажет Карповна. — А я думала, пятница.

Иной раз придет к ней Егор, а у нее гости — Шубёнкова и Переслегина, вместе когда-то на ферме работали. Сядут возле кровати и давай поселковые новости обсуждать.

— Иду я сегодня утром, — говорит Шубёнкова, — а Павлина уже спешит... Опять, значит, пошла...

— Мажет кума телегу, хочет успеть до снегу, — вторит ей Переслегина.

— Что это за Павлина? — интересуется Егор.

— Возле магазина живет, — отвечает Карповна. — Пропащая совсем... Загульная...

— И не загульная она вовсе, — защищает ее Шубёнкова. — Болезнь у нее такая... А женщина она хорошая...

Тут Переслегина поднимается с табуретки и начинает кружиться на одном месте.

— Хорошая, хорошая... Ах, какая хорошая... Испила кума бражки, да хватилась рубашки...

— А все через козу, — вставляет Карповна.

— И муж у нее хороший, — продолжает Шубёнкова. — Федотий Кузьмич, плотник. Совсем в рот не берет, ни капли...

— Зато Павлина за него старается, — опять веселится Переслегина. — Вот уж точно: женился рак на лягушке...

Егор снова спрашивает:

— Какая же это Павлина?

— Да хорошая она, хорошая, — говорит Шубёнкова. — Все у них хорошо. В доме всегда порядок, чистота. Как придешь, стол накроют. И никакого вина... Слабость у нее вот только, вроде болезни... Вдруг ни с того ни с сего уходит из дома и идет в пивную забегаловку, что на шоссе. А ведь дома никогда не пьет. И не скажешь, чтоб напивалась в пивнушке. Никто не видел, чтоб она валялась где или еще какое безобразие. Но вот посидеть в пивнушке — это ей обязательно.



— А все через козу, — опять вставляет Карповна.

— Какая еще коза? — спрашивает Егор.

— Коза у нее есть, Сильва, — поясняет Шубёнкова. — Так она эту Сильву больше мужа любит. Все дни в сарае с ней пропадает. Возится, как с дитем, играет...

— Детей у них нет, вот она с козой и играет, — вторит Переслегина. — Баба дурует, а деду грехи.

Тут Карповна говорит:

— Дьявол в этой козе... Это точно... Вот он и посылает Павлине искушение... А выгнать бы его... Павлина и поправится...

Егор только вздыхает:

— На все воля Божия.

— Только тебе, батюшка, отец Георгий, не выгнать его... Слаб ты для этого... Тут человек сильный нужен...

А Егор опять:

— На все воля Божия... А мне пора. Других еще навестить надо...

Так он и мотался с одного конца поселка на другой. Пока всех немощных не обойдет, домой не возвращался.

Как-то на Благовещенье заходит он к Параскеве-болящей, у той соседка Клара Капитоновна, дом ее напротив, через дорогу.

— Кончается наша Прасковья, — говорит она.

Егор смотрит на Прасковью, лицо у ней желтое, нос острый, глаза еще глубже провалились, черные.

— Мне бы причаститься, батюшка, — шепчет Прасковья. — Приобщиться Святых Таин... А потом бы еще — еееем помазаться...

— Принесу я Святые Дары, принесу, — обещает Егор.

— Бойся смерти — не утащили бы черти, — говорит Клара Капитоновна.

Прасковья снова голос подает:

— Ничего я не боюсь... Какие там черти... Сказки все это... Нет никаких чертей... Выдумали люди... детей пугать... И дьявола тоже нет...

— Это ты напрасно, — говорит Клара Капитоновна. — Вот у Сулейкиных случай был... Сына они тогда только-только женили... Вот парень ходит по двору, а за ним все время свинья. Он терпел, терпел, а потом не выдержал — возьми и отрежь ей ухо. Утром смотрит, а у тещи ухо перевязано... Что это была за свинья? А ты говоришь...

— Все равно никаких бесов нету, — стоит на своем Прасковья.

Егор говорит:

— Апостол Павел сказал: бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ищет, кого поглотить...

Когда Егор принес из храма Святые Дары, баба Прасковья совсем уже отходила. Глаза мимо куда-то смотрят. Потом вдруг ясно так говорит:

— А вот и тетка Лукерья... И дядя Прохор здесь... Спасибо, что пришли... Вы уж проводите меня...

Сказала — и руку перед собой тянет:

— Вот он... За мной пришел... Ты кто? Ты не Спаситель... Ты — дьявол... А я думала — нет тебя...

Рука у нее упала, и она дышать перестала. А на лице такой испуг — будто увидела что страшное.

Вечером служил Егор панихидку по бабе Прасковье. Народу в храме никого. Один Мефодий Свиридович, да женщина какая-то в платке, немолодая уже. Раньше Егор ее здесь не видел.

— Во блаженном успении вечный покой подай, Господи, рабе твоей Прасковье и сотвори ей вечную память...

Говорит Егор, а сам думает: что это за женщина? Краем глаза видит — крестится она как-то неловко, неумело. Он так и решил, что это и есть та самая Павлина, о которой столько разговоров.

На другой день похоронили Прасковью, кладбище тут же, за церковью. Народу мало — Гвоздарёв с приятелями, которые гроб несли, да несколько женщин — Клара Капитоновна, соседка, Фелицата Прокофьевна, да Шубёнкова с Переслегиной.

На другой день, сразу после похорон, бежит к Егору Клара Капитоновна, дух перевести не может.

— На могиле-то что творится! — наконец произносит она. — Пришла я цветочки посадить... Воеет там кто-то... Прямо из-под земли... И собака черная, прямо на могиле...

— Собаку я тоже видел, — говорит Мефодий Свиридович. — Такой в поселке у нас нет...

— А все отчего? — продолжает Клара Капитоновна. — Не верила покойная в дьявола... Вот он и веселится, гуляет... Говорила я ей...

— Молебен бы надо, батюшка, — вставляет Мефодий Свиридович. — Окропить могилку.

Егор так и сделал. На другой день отслужил на могилке молебен. И опять — читает он Псалтирь, а сбоку та же женщина стоит в платке, Павлина. Как выходил Егор с кладбища, подходит она к нему:

— Помогите мне, батюшка... Пропадаю я совсем... Не могу от слабости избавиться... Сил нету...

Выслушал Егор ее исповедь и говорит:

— Господь только и может помочь... Не я... Ходи в храм, молись... А главное, брось свою козу...

— Привязалась я к ней, — говорит Павлина. — Как же бросить? Жалко ведь...

— Все равно брось...

И вот, как это ни странно, послушалась Павлина Егора и вроде бы за разум взялась. Шубёнкова и Переслегина передавали Егору, что забросила она наконец свою Сильву, ходит в сарай только покормить ее. Егор все чаще видел Павлину в храме. И лицо у нее другое сделалось — светлое, гладкое. Егор только теперь разглядел, какая она красивая, красивее Аиды и невесты, на которой его хотели женить. Потом она стала приходиться к Егору в гости. Вот сидят они, чай пьют, Фелицата Прокофьевна в щелочку на них смотрит, радуется.

— Хорошо у вас, — говорит Павлина. — Будто другой мир. Только одному, верно, плохо. Будете умирать, а рядом никого... Страшно...

Егор ей говорит:

— А я так думаю, смерти нет. Для христианина есть сон или усение. Разрушается только тело. А истинная жизнь — в сердце. Сокровенная жизнь... Кто живет сокровенной жизнью, не знает смерти... Ведь что такое земная смерть? Разлучение с телом... И только.

Иной раз придет Павлина к Егору, поесть ему принесет — курятины там или еще что, а Егор ей:

— Среда сегодня, нельзя мне...

Павлина только вздыхает:

— Что же вы так себя изнуряете? Ведь слабый какой... Вы, батюшка, будто из другого мира... Если только он есть...

— Есть, есть, — радостно так кивает Егор. — Как есть видимое небо, так есть и другое — невидимое телесным очам, светозарное. Там ангелы... Нет там ни ночи, ни лукавых духов, ни брани...

— Значит, вы оттуда, — смеется Павлина. — Здесь вы не жилец... И зачем вы только к нам явились?

Как-то возвращается Егор домой, смотрит, а во дворе бельё его постиранное развешано. В комнате — носки чистые и заштопанные аккуратно разложены.

— Павлина была, — говорит Фелицата Прокофьевна. — Я уж отругала ее. Я, что ли, постирать не могу?

Скоро все в поселке заметили перемены, какие совершились с Павлиной. Никто уже не видел, чтобы она бегала в пивнушку. Больше всех радовался Мефодий Свиридович. Кого ни встретит, на шею кидается, будто праздник:

— Победил-таки наш батюшка дьявола! Слабый, слабый, а сокрушил!

Не отставала от него и Фелицата Прокофьевна. Остановит кого на улице — и давай рассказывать:

— Своими глазами видела... Вот тебе крест... Сидит отец Георгий ночью на стуле, спит. Грудная жаба у него, он не всегда лежать может. Вот спит он на стуле, а я слышу — вроде копыта по полу стучат. Заглянула — Сильва, коза. Стоит перед батюшкой и голос подает: «Ты думаешь — победил меня? Не радуйся... Рано еще...»

Иной раз она и вовсе несла что-то несуразное:

— Что было, что было! Я-то жильца своего всегда сама обслуживаю — принести что, подать. А тут он мне который день заявляет: ничего, мол, не надо, не беспокойтесь... А я думаю: как же не надо? Ведь он же больной... Ему лишний раз встать трудно... Вот ночью к двери подошла. И кажется мне, есть у него в комнате кто-то. Так голосов не слышно, а точно кто-то есть. Я щелочку приоткрыла, гляжу. И вот провалиться мне на этом месте — ангел. Небольшой такой, с крыльями. Укутывает батюшку одеялом, стакан с водой подает. Тут дверь скрипнула, а отец Георгий кричит: «Не входите! Не входите!» Смотрю я — ангел пропал. Отец Георгий на меня сердится — зачем я ангела спугнула... Я так думаю, Господь ангелом его венчает за смирение...

И вот вроде бы Егору радоваться надо да Бога благодарить. Только стал теперь к нему Федотий Кузьмич ходить, муж Павлины. Приходит — и сразу в крик:

— Что это вы, батюшка, в нашу жизнь лезете? Кто вас просил? Сами как-нибудь разберемся!

Фелицата Прокофьевна за рукав его тянет:

— Как тебе не стыдно, Федот? Отец Георгий твою жену спасает...

— Не его это дело! Пусть не лезет!

— Для тебя же, дурака, старается!

— Я знаю, он хочет соблазнить мою жену! Рога мне наставить! Только у него ничего не выйдет!

Гвоздарёв смотрел на все это, смотрел, потом говорит:

— Что же ты, батюшка, всякого к себе пускаешь? Ругань терпишь. Гони ты Федота в шею...

Егор только улыбается:

— Господь с ним! Лишь бы у них все хорошо было...

Последний раз, что Федотий Кузьмич был, он особенно бранил Егора:

— Растреленный поп! Развратник!

После этого вышел на улицу и стал камнями кидать в окна, все окна побил. Фелицата Прокофьевна выскочила, хотела к участковому бежать, но Егор удержал ее:

— Не надо, матушка. Это ничего... Я стекла вставляю...

А как-то сразу после престольного Успенского праздника заходит к Фелицате Прокофьевне Шубёнкова. Села чай на кухне пить и говорит громко так, как бы между прочим:

— Слыхали? Сильва заболела, коза Павлинкина...

Егор в своей комнате как раз переодевался. Услышал он Шубёнкову и вспомнил, что уже несколько дней не видел Павлину в храме. Вышел он тогда на кухню и спрашивает:

— А что Павлина?

— Уж убивается, как по самому близкому родственнику, — смеется Шубёнкова. — Дом забросила, хозяйство. На Федотия Кузьмича никакого внимания.

— Вот уж точно — взяв черта в дом, не выбить его лбом, — говорит Фе-лицата Прокофьевна.

— Так что она придумала? — продолжает Шубёнкова. — Перетасила свою Сильву в дом. На кухне постель ей мягкую сделала. Сама рядом на полу спит, на тюфяке...

В тот день Егор нарочно сделал крюк, чтобы пройти мимо дома Павлины. Она как раз из калитки выходила. Ее и не узнать — осунулась вся, почернела. Егор сперва не нашелся, что сказать, потом говорит:

— Я слышал, у вас коза заболела?

Павлина только рукой машет, говорить не может.

— Ветеринара вчера привозила, — шепчет она. — Сказал — не выживет... Воспаление легких... Прирезать надо...

— А что? — говорит Егор. — Может, оно и к лучшему. Мясо можно бедным отдать... Мефодию Свиридовичу... Вы же не станете это мясо есть...

Павлина разрыдалась и убежала.

Через день заходит Егор к Карповне, молока ей принес, хлеба.

— Говорят, Павлинкина Сильва сдохла, вы не слышали? — спрашивает Карповна.

— Нет, не слышал, — отвечает Егор.

Потом спрашивает:

— Как же теперь Павлина?

— А что Павлина? Известно что... С утра уже видели ее в пивной. Говорят, пьяная, как никогда... Такой, говорят, никто ее не помнит... Первый раз так...

Подняла она палец и погрозила Егору:

— Говорила я тебе, батюшка... Не сладишь ты с дьяволом... Куда тебе против него!

Когда Егор уходил от нее, во дворе — Гвоздарёв, будто его дожидается.

— Нашел, с кем тягаться, отец Георгий! Тут с копьём нужен, на коне! Прост ты очень и кроток... И голоса у тебя нет... Тут труба нужна. Гаркнуть, чтоб вся нечисть так и посыпалась...

А еще через день возвращается Егор из храма, поздно уже, темно. Навстречу ему Мефодий Свиридович, в храм спешит — прибраться. Увидел Егора, рукой назад показывает:

— Не сам пьяный ходит, сатана его носит...

— О чем ты? — спрашивает Егор.

А Мефодий Свиридович только рукой махнул и заковылял дальше, ногу приволакивает. Пригляделся тогда Егор — впереди фигура чья-то в темноте. Шатается из стороны в сторону, еле на ногах стоит. И вроде бы женщина, показалось Егору. А как ближе подошел, так и есть — Павлина. Взял Егор ее под руку:

— Домой тебе надо... Идем, я провожу...

Павлина вырвалась, глаза оловянные, на лице синяки от побоев.

— Федот меня из дома выгнал! Вот так-то... Или я виновата, что рубаха моя дыривата...

— Идем ко мне, — говорит Егор. — Проспишься, потом я с Федотом поговорю...

— Ишь чего захотел, — бормочет Павлина. — Хитрый какой... Придумал... То не спасенье, что пьяна в воскресенье...

Отшатнулась она в сторону, чуть не упала. Егор еле успел поддержать ее. А она вырвалась и побежала.

На другой день искал ее Егор повсюду — нет нигде. На второй день тоже не появлялась она в поселке. И куда делась, неизвестно, ни один человек не знал. Исчезла, как сквозь землю провалилась. Федотий Кузьмич совсем с ног сбился. В область ездил, в милицию обращался — никаких следов. Все жалели Федотия Кузьмича.

— Не вино виновато, виновато пьянство, — говорила Фелицата Прокофьевна во дворе. — А уж коли бабу вино-пиво держит, тут уж сам сатана правит... Пляши под его музыку...

Гвоздарёв ей поддакивал:

— Оно конечно. У кого к чему охота, к тому и смысл... Видишь как... Бог дал путь, а черт кинул крюк... Вот она и пропала...

Как-то утром Федотий Кузьмич к Егору заглянул. Тихий такой, смиренный. Поглядел на новые стекла в окнах и спрашивает:

— Что же делать теперь?

— Господь милостив, — говорит ему Егор. — Все устроится по его воле, дай срок...

Так прошла зима: Рождество, святки, Крещение. А в самом начале весны, на Евдокию-плющиху, отслужил Егор обедню, а Мефодий Свиридович ему говорит:

— Вас там ждут на улице... Люди какие-то...

Вышел Егор на паперть, там отец с матерью, проведать приехали. Изменились они мало, одежда на них все та же, хорошо Егору знакомая: на матери ее лучшее, выходное, платье с цветочками у ворота, на отце — куртка с блестящими пуговицами. Мать как Егора увидела, сразу в слезы:

— Господи, что же это такое? Совсем плох стал! Белый как бумага...

Егор утешает ее:

— Ничего, ничего... Вот в Оптину съезжу, поклонюсь святым угодникам, исцелюсь...

Привел он отца с матерью домой, а угостить их нечем, только чай и сухари. Хорошо, мать гостинцев с собой привезла — рыбки копченой, колбасы, пряников. Вот сидят они за столом, мать и говорит:

— Тут такого страху я натерпелась. Голос мне был... Вечером легла — и вдруг слышу: «Родила ты сына, а он ведь не твой... Другая у него родина... Небесная... Скоро ему обратно... Пора уже...»

— Будет тебе, — машет на нее отец. — Приснилось, а она уже вообразила...

— Да не спала я, не спала. Перепугалась... Думаю: кто бы это мог говорить? И тут смотрю, а это ангел, что ты из бумаги вырезал. Он как раз над моей кроватью висит... Это ангел и говорил, бумажный... Я и подумала — надо к тебе ехать, проведать...

Потом, когда мать вышла зачем-то из комнаты, отец прикрыл за ней дверь и снова, как раньше, на колени перед Егором:

— Обижал я тебя, сынок, напрасно, ругал сильно. Ты уж прости меня. У меня вся душа изболелась...

— Я уж и забыл про это, — говорит Егор.

Три дня жили у Егора родители, потом, как деньги кончились, уехали. Мать так прощалась с Егором при расставании, будто не ждала больше увидеть его. Отец все оттаскивал ее от сына:

— Ну, будет, будет... К зиме денег накопим, снова приедем...

Остался Егор один. Фелицата Прокофьевна рассказывала знакомым:

— Батюшка совсем плох стал. Аппетит пропал, не ест ничего. Ночью слушаю — хрипы у него, кашель. Одышка, прямо задыхается. Будто душит его кто, я же вижу...

Гвоздарёв как увидит Егора, укоряет его:

— Что же ты, отец Георгий, со своей болезнью не борешься? Ты борись! К врачам езжай! Пусть лечат!

— Ничего, — говорит Егор. — Вот в Оптину съезжу... Бог даст, исцелюсь...

Гвоздарёв окидывает Егора взглядом:

— Не доедешь ты, батюшка... Слаб очень... Вон дышишь как тяжело. В груди, видно, стеснение... И ноги, смотрю я, опухли...

— Ничего, Господь доведет, — отвечает Егор.

Гвоздарёв только головой покачал, когда Егор от него отошел.

— Удивительное дело... Даже странно как-то... Господу служишь, а Он тебя пожалеть не может... Вроде как отвернулся....

И вот сразу после Ильина дня Егор и в самом деле собрался в дорогу — в Оптину пустынь. Пока добирался, сколько раз думал — все, конец, не доехать. А вот добрался, к самому празднику успел — к Преображению Господню.

В монастыре Оптином неспокойно — суета, шум. Машины грузовые взад-вперед гоняют, рабочие в грязных одеждах, под ногами мусор строительный. Как разорили большевики в свое время обитель, так она до сих пор устраивается. И повсюду толпы паломников.

Отстоял Егор обедню в соборе — и скорей в скит, к старцу Антонию. Там тишина, покой. Возле кельи старца дуб огромный, в два обхвата. Под дубом народу — толпа целая. Скоро сам Антоний на крыльцо вышел, веселый такой, улыбается. Подрысничек на нем белый, поясок кожаный, на голове — камилавочка мягкая. Все сразу к нему кинулись:

— Благослови, батюшка...

Кто-то кричит:

— Не напирайте Христа ради... Задавите...

А Антоний улыбается и говорит:

— Проще жить надо, проще... Где просто, там ангелов со ста, а где мудреное — там ни одного... Жить не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем — мое почтение... Господь почивает в простых сердцах... Где нет простоты, там одна пустота...

Какая-то женщина в шляпке вперед протиснулась, коляску перед собой толкает. В коляске — мальчик расслабленный, руки-ноги плетью висят.

— Что делать, батюшка? — спрашивает она. — Болен он у меня...

— А ты молись, и довольно дела, — отвечает старец. — Человеку болезни полезны... Болезнь и есть Божье посещение. Скорбями истребляются грехи наши. Нет скорбей — нет и спасения. Жди скорбей, как любезных гостей. Ненаказанные, вы не сыновья... Если со Христом, то и со скорбями...

Потом вдруг спрашивает:

— Есть ли у тебя, матушка, платочек?

Женщина порылась в сумочке, достала платок. Старец спустился с крыльца, взял платок и разложил его на коленях мальчика, после чего стал доставать из кармана сухарики и класть на платок.

— Была у меня гостя — Царица Небесная, вот после Нее и осталось. Дома этих сухариков дай мальчику покушать.

Рядом какой-то парень молодой — очки, борода, волосы в косичку заплетены. Старец посмотрел на него и говорит:

— Знаю, сирота, знаю... Один ты, без матери, без отца... А ты не беспокойся... Есть у тебя Отец... Небесный... Ты смиришься — и все дела. Вино пить бросишь... Сердца смиренных — дом Господа... Господь смиренных и посещает Своей милостью.

— Где же его взять — смирение? — вздыхает бородатый.

— А ты смотри только на свои грехи... Вот оно и придет к тебе, смирение... И не пей вина больше, не пей...

Сказал это Антоний и идет дальше, народ перед ним расступается. Подходит он к старушке. Та согнулась вся, на костыль опирается. Увидела, что старец возле нее, — полотенце ему вышитое протягивает. Антоний полотенце взял, утерся им три раза и говорит:

— Ну, ты еще бегать будешь...

И идет дальше. А старушка постояла-постояла — и вдруг костыль отбросила и пошла следом за старцем, да так бойко, что не угнаться. Кто-то закричал:

— Чудо! Чудо!

А старец только рукой отмахивается. Тут он как раз перед Егором оказался. И прямо к нему обращается:

— Какое там чудо! Не это главное. Терпение — вот что нужно. Терпение выше чудес... Бог чудес и не требует, только смирения и терпения...

— Слабый я, — говорит Егор. — Вот дьявола не смог одолеть...

— А ты терпи, — отвечает старец. — Терпеливый лучше сильного. Силой-то никогда ничего путного не делалось. А дьявола только смирением и можно одолеть... Силой его не взять...

Утром чуть свет Егор в монастыре. Вот стоит он в соборе, певчие красиво так поют, тонко: «Изведи из темницы душу мою...» Народу в храме — не протолкнуться. Кругом на полу корзинки и узелки с яблоками: Преображение Господне — яблочный Спас. И пахнет в соборе по-домашнему — свежими яблоками. Будто это и не церковь вовсе. После молитвы священник окропляет яблоки, и все едят их тут же, в храме. Даже певчие на клиросе жуют. Егор смотрит — к дьякону женщина какая-то подходит в платке. Лицо вроде знакомое. Дьякон дает ей большое красное яблоко.

— Павлина! — узнал ее Егор.

Вышли они вместе на улицу. Павлина рассказала, что она теперь всегда здесь живет, вблизи святых угодников.

— Комнату рядом снимаю... Хозяйка добрая такая...

Привела она Егора к себе. Хозяйка как увидела, что батюшка пришел, засуетилась сразу, на стол собрала. Сидят они, чай пьют, яблоки освященные едят.

— Я знаю, — говорит Егор. — Это ты исцелилась по молитве святых угодников...

— Нет, — качает головой Павлина. — Вами, батюшка, исцелилась. Вашей слабостью... Я как увидела вас, жалко мне вас стало... Святой, истинно святой... Я так думаю, что любила я вас... Точно — любила.

Так они и сидели за столом до самого вечера.

— Я тогда думала, позвали бы меня к себе... Все бы бросила и пришла.

А Егор опять свое:

— Мне одному надо... У меня сердце усталое...

Хозяйка дома и впрямь оказалась доброй. Не пустила она никуда Егора на ночь, постелила ему на диване, тут же, в комнате Павлины. Павлина разделась, легла. Лежит, дыхание Егора слушает — тяжелое, хриплое. Потом голоса ей почудились. Кто-то говорит негромко: «Пора уже, пора... На свою небесную родину...» Она думала, что это ей снится, но никак не могла разобрать, о чем же ее сон. Утром поднимается, а Егора на диване нет. Хозяйка в дверь заглядывает, тоже удивляется:

— Рано же ушел батюшка...

А Павлина знала, что он не просто ушел. Она так и сказала хозяйке:

— Нет, бабушка... Здесь, на земле, мы его больше не увидим...

И они пошли на веранду завтракать.

## РЯЖЕННЫЕ

Конечно, если бы не святки, не святые дни, ничего подобного с Шишигиным никогда бы не случилось. А началось все с того, что жена Шишигина принесла два билета в цирк, как раз святки начались, на второй день, что ли. Шишигина это очень удивило. Жена его — человек деловой, парфюмерией в ларьке торгует, а тут вдруг — цирк. Сам-то Шишигин сейчас не работает, временно конечно. Их всех на фабрике в отпуск отправили — зарплату платить нечем. Так что времени у него — хоть отбавляй.

Короче говоря, пошли они с женой в цирк. Ну, в первом отделении все шло хорошо. Какая-то блондинка в купальнике собачек водила по барьеру, клоуны лупили друг друга музыкальными инструментами — все как полагается. А в перерыве они с женой слегка повздорили. Шишигин попросил взять ему пива в буфете, а жена по этому поводу скандал закатила. Дескать,

она из кожи лезет, зарабатывает, а ему пива подавай. И пилила его до тех пор, пока звонок в зал не прозвенел.

Вот после этого все и началось. Сидят они во втором отделении, друг на друга не смотрят, не разговаривают. И тут на арену фокусник выходит, лицо надменное такое. Сначала-то он всякие мелочи показывал: шарики из уха вытаскивал, монеты глотал, еще что-то. Потом вдруг на арену вывозят большой ящик на колесиках. А фокусник обращается к публике — не желает ли кто быть распиленным в этом самом ящике. Зрители сразу примолкли, сидят ухмыляются. И тут Шишигин вдруг возьми и скажи жене, просто так, конечно, ради шутки:

— Уж я бы знал, кого распилить...

Даже вроде бы и не ей сказал, а куда-то в сторону. И еще добавил:

— Ну, иным-то, положим, нечего волноваться. Их никакая пила не возьмет...

А жена посмотрела на него как-то странно и поднимается с места.

— Я! — кричит. — Я желаю быть распиленной!

Тут зрители сразу оживились, в ладоши захлопали. А жена Шишигина на арену выходит и в ящик забирается таким образом, что голова ее из одного конца ящика торчит, а ноги — из другого. Помощницы фокуснику пилу дают. Он долго примерялся, приладил наконец пилу и принялся пилить. Перепилил ящик, в одной половинке — голова, в другой — ноги, и откатил их в разные стороны.

Все опять, конечно, захлопали, засмеялись. Многие на Шишигина оборачиваются, сочувственно так, он рукой знаки делает: мол, все в порядке, не волнуйтесь. После этого фокусник снова сдвинул вместе половинки ящика, а помощницы уже несут покрывало, ящик накрыть. А как покрывало сняли, из ящика выходит женщина, только уже не жена Шишигина, а совсем другая, незнакомая. Шишигин поднялся и кричит:

— Это не моя жена!

В зале, понятно, хохот, все так и заливаются. Шишигин и сам тоже посмеялся немного. Только жена его так до конца представления и не появилась. А как все кончилось, Шишигин подождал еще немного и идет за кулисы, жену свою требует. Ему говорят — никого нет, все разъехались. «Верно, она без меня уехала — обиделась», — думает Шишигин. Спешит он домой, поднимается в квартиру, открывает дверь — никого. Жены дома нет.

На другой день Шишигин снова отправился в цирк, вызывает фокусника.

— Верните мою жену! — требует.

— Не знаю я никакой вашей жены, — отвечает фокусник, а лицо надменное, точь-в-точь как вчера на представлении.

Следом за фокусником выходит к Шишигину женщина, та самая, что оказалась в сундуке вместо его жены. Шишигин как вблизи глянул — красавица, глаз не оторвать. А та смеется, обольстительно так, будто на арене:

— Жены вашей здесь нет. Я могу вместо нее...

Шишигина даже в пот бросило.

— Нет, — говорит. — Мне моя жена нужна...

Шишигин уже думал было в милицию обратиться, только подруга жены Балалаева отсоветовала:

— Может, она к фокуснику от тебя сбежала... Вот сраму-то будет, когда найдут...

Друзья Шишигина тоже отговаривали.

— Вечно у тебя меланхолия, — говорил Замочилин. — Найдется твоя жена, куда она денется.

И Ахренеев Тасик туда же:

— Все у тебя не как у людей. У других деньги пропадают или вещи. А у этого — жена. Одно слово — неудачник...

— Другой бы радовался, — поддакивал Ванякин. — А у этого все наоборот. Нет жены — все равно тоскует. Да тебе в цирке все мужики завидовали, наверное...



— Ты вот что, — заключил Замочилин. — Завтра сочельник... Ты приходи... У нас гулянье святочное...

Шишигин сначала не хотел идти, потом подумал и согласился. Явился он в гости поздно, все уже в сборе были. Входит он в квартиру Замочилина и понять ничего сразу не может. Свет в комнате выключен, только свечи горят. Гости все в масках, одет кто во что. Один полуголый в чалме, другой — в зимней шапке и в шинели. Старик с длинными седыми волосами и с большим горбом на спине прижимает к себе горшок с гречневой кашей и по очереди всех угощает. Цыганка в маске держит в руках блюдо с жареным поросенком. Другие бегают друг за другом с вениками.

Не успел Шишигин войти, за спиной голос женский:

— Ну что, нашли свою жену?

Оборачивается Шишигин и уже знает, чей это голос. А как женщина маску сняла, так и есть — циркачка из сундука. А она все так же обольстительно улыбается и за руку его берет:

— Сегодня я буду вашей женой...

А над самым ухом голос Замочилина:

— А вот мы их сейчас обвенчаем...

И все сразу закричали, в ладоши захлопали. Кто-то уже поставил посреди комнаты большую картонную коробку, накрыли ее полотенцем. Потом книгу толстую принесли, положили сверху. Шишигин успел прочитать название: «Книга о вкусной и здоровой пище». Рядом с книгой — крестик: две связанные палки.

После этого на головы Шишигину и циркачке надели какие-то венки из проволоки и стали водить вокруг коробки. А из темноты голос Ахрнеева на ухо Шишигину:

— Не упускай своего счастья, недотепа! Тебе с этой женой лучше будет... Красавица-то какая...

В другое ухо голос Ванякина:

— Может, другого такого случая и не представится, дуралей...

Тут Шишигин вырвался, опрокинул коробку и кричит:

— Не надо мне другой жены... Мне моя нужна...

Вокруг все попадали от хохота, кто-то кричит:

— Гадать! Гадать! Давайте гадать!

Принесли большое зеркало в дорогой раме. Кто-то стал колотить половником по кастрюле, другие взяли веники и принялись сметать мусор из всех углов на середину комнаты. Шишигин слышит голос Балалаевой:

— Чёрт из черты, а я в черту...

Поставили перед зеркалом две горящие свечи в подсвечниках. И вот вывели за руку какую-то маску и усадили у зеркала. Голос Балалаевой говорит:

— Ряженный, суженый, приходи со мной ужинать...

Тут маска перед зеркалом как вскрикнет:

— Вот он! Он здесь!

И падает на пол без чувств. Шишигин кинулся было на помощь, хотел поднять, но его удержали. Лежащую на полу накрыли белой простыней, вокруг наставили на пол зажженных свечей, и женщины принялись голосить, как над покойницей. Потом подняли на руки и стали носить по комнате. Кто-то припевал:

— Покойник, покойник... Умер во вторник...

Поносив по комнате, положили на сдвинутые стулья.

— Кто это? — спрашивает Шишигин.

— Твоя жена, — отвечает маска голосом Балалаевой.

«Опять розыгрыш», — думает Шишигин. Подходит он к лежащей на стульях, становится на колени и стягивает простыню. А как маску с лица снял, глазам своим не верит — его жена собственной персоной. Стоит он перед ней на коленях, не знает, что делать. А вокруг все просто надрываются от хохота. И сама жена не выдержала — расхохоталась.

— Как же ты попала сюда? — спрашивает ее Шишигин.

А жена хохочет, остановиться не может:

— На то и святки... Самая бесовская потеха... Разве ты не знаешь, что под Рождество Господь всех бесов и чертей выпускает... Это Он на радостях, что у него Сын родился...

А Шишигин смотрит на нее, наглядеться не может.

— Как я рад, что ты нашлась... Мне без тебя хоть пропадай! Мне ведь без тебя и жить-то не на что...

Жена еще пуще смехом заливается:

— Знаешь, ты кто? Ты — каженник...

— Что еще за каженник?

— Каженник — он только кажется, что человек... Вроде как и все.. А приглядишься — он каженник и выходит. И тот же человек, да не тот. Все у него не так. Задумает что — все выходит наоборот. Начинает по-людски, а к концу сведет, хоть брось. Жить или не жить — ему все равно. Вроде нет ни тоски, ни кручины, а он все равно горюет. И все у него есть — а для него хоть ничего не будь... Их, каженников, только на святках и можно узнать. А в другие дни — ни за что... Они в святки ходят, виноватого ищут, чтобы болезнь свою вылечить...

Тут вдруг за дверью шум какой-то, оживление. Кричат:

— Ряженные пришли!

И в комнату вваливается веселая компания, мужчины и женщины. Лица у всех вымазаны краской, за спинами крылья бумажные. Один звезду из бумаги на палке несет, другой коробку картонную вроде домика, внутри свечка горит.

Впереди ряженных — дети, два мальчика. Один вымазан сажей, на голове колпак. Другой в короне из бумаги, в руках картонный меч. Мальчик в короне тычет мечом чумазого мальчика:

— Ирод, ты Ирод, зачем ты родился?

После этого он ударяет мечом чумазого, и тот падает как подкошенный. Шишигин смотрит и думает — вот сейчас он поднимется, а тот все лежит, не встает. «Надо же, как в роль вошел», — думает Шишигин.

Тут откуда ни возьмись еще один ряженный. На голове мешок, лица не видно. Сорвали с него мешок, а под ним — рога. А лицо старое, сморщенное, как у столетнего деда. Потом и хвост у него увидели. Гости смотрят на него, удивляются, спрашивают друг у друга:

— А это кто такой? Этот откуда?

Только никто старика не знает. Стали тогда за хвост его дергать, за рога, думали — отвалятся. А они держатся, как настоящие.

Тем временем новый гость поднимает на руки чумазого мальчика, ходит с ним по комнате и всех спрашивает:

— Это не ваш мальчик? Не ваш ребенок?

Подошел он и к Шишигину. Поглядел на него и тихо так говорит:

— Ты вот сидишь, милый человек, и не знаешь... А жена твоя получила тебя нечистой силой...

Сказал — и дальше с мальчиком на руках:

— Это не ваш ребенок?

Кто-то говорит:

— Это из детского дома... Беспризорник...

— Тогда ему со мной быть, — сказал старик и унес мальчика из комнаты.

А Шишигин на жену смотрит:

— Это правда, что он сказал? Что ты получила меня нечистой силой?

Жена наконец перестала смеяться.

— Правда, правда, — говорит. — На святках как-то мы вот так же гадали. В шутку, конечно... Села я перед зеркалом, стала звать суженого... Тут кто-то и приходит... Шинель солдатская, мешок, а в руках платок красный... Познакомились мы... Потом поженились... А ведь это ты и был...

— А платок? — спрашивает Шишигин, сам на месте усидеть не может. — Платок у тебя сохранился?

Жена принесла из прихожей сумочку, достала красный платок.

— Он у меня всегда с собой...

Шишигин долго платок разглядывал, потом говорит:

— Точно, он самый... Я тогда из армии возвращался... Демобилизация... Поезд где-то стоит, жара. Я платок вынул, пот утереть. Откуда ни возьмись — собака. Схватила платок — и прочь. Я тогда думал, шут с ним, с платком, не жалко...

Гости всю веселились, а Шишигин сидел, все смотрел на свою жену.

— Как же мне теперь с тобой жить? — спрашивает он. — Если здесь нечистая сила замешана? Ты как хочешь, а я уже не смогу...

Поднялся он тогда и домой поехал. А там ждало его новое событие. Он еще когда к дому подходил, свет в окне увидел. «Неужто я забыл выключить?» — перепугался. Поднялся скорее в свою квартиру, открыл дверь — да так и остолбенел. Прямо перед ним сидит на диване его жена, чай из блюдечка пьет.

— Когда ж ты успела? — только и мог он выговорить.

— Я уже пятый час здесь сижу... Приехала вот... Уезжала, а теперь приехала...

— А в гостях... у Замочилина... ты разве не была?

Жена рассердилась даже:

— Я же тебе говорю: четыре часа здесь торчу. Никуда не выходила.

Уснуть, конечно, в эту ночь Шишигин не мог. Так только чуть-чуть подремал под утро. Жена уже ушла на работу, а он все лежал, не поднимался. Только чувствует, сидит кто-то у него в ногах. Открыл глаза — опять понять ничего не может. Прямо на его постели сидит тот самый вчерашний старичок-гость, на голове мешок, как и вчера. Шишигин пошевелил ступнями — старик сидит.

— Ну-ну, не балуй, — на всякий случай сказал Шишигин. — Вот веник-то возьму...

— Не сердись, милый человек... Мне бы только погреться... Мороз-то вон какой — святки... Нас всех, кто в проруби живет, мороз выгоняет... Вот мы и ходим по домам, где потеплее...

— Так ты кто же? Черт, что ли?

— Черта теперь нет, — наставительно сказал гость. — Есть шиликун. Это кого в прошлые времена выселяли с родных мест. На Север сгоняли, еще куда... Вроде как бездомник... Это и есть шиликун...

Шишигин подумал и говорит:

— Ну, шут с тобой! Грейся, коли замерз...

Гость захихикал, ладошки потирает.

— Ты не думай, я недолго... Я скоро уйду... Как жена твоя явится, так я и уйду... Строгая она у тебя... Только ты все равно не обижай ее. Какая-никакая, а все — жена.

Так они и сидели вдвоем, разговаривали. Старичок все про мальчика рассказывал, какого вчера у Замочилина подобрал.

— Тоже бесприютный, как и мы... Вроде ссыльного... Он теперь у нас будет жить...

А как жена Шишигина пришла, гостя уже не было. А кто он — ряженный или нет, — теперь уже не разберешь...



---

---

ЯН ГОЛЬЦМАН

\*

## ПО ВОДЕ ЗЕМНОЙ.

\* \*  
\*

А слова не защитят,  
Не спасет бумага тонкая.  
Замерла равнина долгая.  
Черны вороны сидят.

Там, где пусто и бело, —  
На березе, на осине —  
Мертвенно блистает синим  
Их чернильное перо.

Стынет лунный леденец,  
Тает тоненькая долька.  
«Верю тонущему только», —  
Говорил один мудрец.

Отчего же на краю,  
Не дождавшийся улова,  
Перелить стремится в слово  
Жизнь мгновенную свою?

\* \*  
\*

Так и стою в нелепом своем дозоре  
На берегу обезлюдевшем, на откосе  
И ощущаю кожей, любым суставом:  
Только листок — а может, крыло стрекозы? —  
И умещается ныне в слепом зазоре  
Между ручьем апрельским и ледоставом.

Только листок трепетицы — листок осины,  
Солнцем бессонным просвеченный аж навьлет,  
Только слюда стрекозы лежит, мерцающая.  
А над простором вновь говорок гусиный  
Тянется скорбно, покуда Илья не выльет  
Все воспаренья июля, июня, мая.

Трудно додумывать, если расплавлен в лете —  
 В крике немолчном, в свете излишне резком.  
 Все подмывает предаться другим охотам.  
 ...Разве что после, в доме за перелеском,  
 Вскинется слово в тесном глухом просвете  
 Между декабрьской льдиной и ледоходом.

\* \*  
 \*

Да разве я о смерти говорю?  
 О жизни, что похожа на зарю,  
 Поскольку хороша и мимолетна.  
 Об этом все поэмы и полотна.  
 Сначала — утро, яркая денница,  
 Потом — закат, вечерняя заря,  
 А после прожитое долго снится,  
 Тысячелетья тлея и горя...

Про смерть — в разгаре жизни говорится.

Когда же впрямь дыханьем ледяным  
 Повеет на тебя неотвратимо,  
 Захочется взглянуть поверх и мимо,  
 Чтоб слабый разум укрепить иным.  
 Припомнить осень давнюю, рассвет  
 И тишину, какой в помине нет,  
 Картавый стон тетеревиных веток.  
 Какая свежесть, музыка и страсть!

...Когда в сырую землю станут класть,  
 Ты будешь улыбаться напоследок.

\* \*  
 \*

Снова один. Значит, время в себя заглянуть.  
 Лист догорает. И птицы давно отлетели.  
 Свищет октябрь, заливая раздолбанный путь.  
 Встретишь ромашку — напомнит о близкой метели.

Трудно держаться теперь на покато́й Земле:  
 Сивая гни́ла по всем косо́горам раскисла.  
 Самое время за чашкою чая, в тепле  
 Поговорить о бессмысленных поисках смысла.

Что-то мешает, однако, сидеть у печи.  
 Машет призывно на острове ближнем осина —  
 Редкие листья по-прежнему так горячи!  
 Впрочем, под ветром они опадают бессильно.

Тонут. Подолгу, недвижно светясь в глубине,  
 Виснут прощально, еще не достигшие ила,  
 Силясь, должно быть, сквозь толщу увидеть вонне  
 Стылую ветку, где было и горько, и мило.

Видимо, так, в запредельные дали спеша,  
Не принимая убогую крепь домовины,  
Мертвое тело не смеет покинуть душа —  
Медлит, покуда исполнятся сороковины.

Поздние строки — гагар полуночная нудь.  
Этак недолго дожить до тяжелой хворобы.  
Надо бы завтра на мир по-другому взглянуть.  
Встал поутру, а вокруг леденеют сугробы.

Да, что ни год испытанья и вправду трудней.  
Даже забвенья теперь добывается с бою.  
Меньше и меньше в запасе оставшихся дней.  
Больше и больше надежды остаться собою.

\* \*  
\*

Припекает — только озеро не тает.  
Враз темнеет, да никак не рассветает.  
Все не в жилу, все-то нам не по нутру.  
Полукровки, полудурки, перестарки,  
Мы не светим, а мигаем что огарки,  
Что оглодыши свечные на ветру.

Как просторно-незапятнанна бумага!  
Нарастают отрешенность и отвага:  
Что терять, когда потерям счету нет?  
Может, только порешив, что песня спета,  
Напоследок излучаешь столько света,  
Что кому-то и взаправду виден свет.

\* \*  
\*

Возле острова, правей, —  
Сразу две луны.  
Смолкли трубы журавлей —  
Кличут кликуны.

Крячет ворон-нелюдим.  
Голосит желна.  
Стынет озеро. Над ним  
Роща зажжена.

Свет ее неотразим!  
Впрочем, как всегда,  
Пламень вспыхнувших осин  
Отразит вода.

До притопленных коряг,  
Призрачен и пуст,  
Вызолотит березняк  
Берег, явит куст

Можжевеловый. Черны  
Ягоды-плоды,  
Что светить обречены  
В сумраке воды.

Не дыши: когда веслом  
Шевельнешь едва,  
Тотчас все пойдет на слом —  
Камни, острова,

Табунок пролетных птиц,  
Облачко над ним.  
...Мир, разъятый до частиц,  
Снова породним?

Что, когда источник наш  
В глубине иссяк  
И теперь другой пейзаж —  
Наперекосьяк?

\* \*  
\*

Месяц — прямо за кормой.  
Сумерки. Плыву домой.  
Недалекий путь.  
Облетевшие леса.  
Отлетают голоса.  
И не повернуть...

Поутих былой задор.  
Что за прихоть — всякий вздор  
Рифмовать, молоть?  
Для печали нет причин.  
Может, лучше помолчим  
До кончины вплоть?

Разве что стишок в альбом...  
Лунный свет стоит столбом,  
Тянется за мной.  
Как просторно, Боже мой!  
Я теперь плыву домой  
По воде земной.



---

---

# ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

БОРИС ЕКИМОВ

\*

## ВОЗЛЕ СТАРЫХ МОГИЛ

**К**огда подъезжали мы к старинному кладбищу станицы Голубинской, что на Дону, в Калачевском районе, то мельком, сквозь планки забора, увидел я девушку, сидящую возле одной из могил. Мы обогнули просторное кладбище, подъехали к воротам. А потом долго бродили между старых могил, разглядывая замшелые плиты, кресты, вырубленные из тяжелого камня песчаника: «1870 год... третьего дня декабря...» Полустертые временем даты и письма. А рядом — могилы новые, вчерашнего дня и нынешнего. Вспомнил о девушке, которую видел сквозь забор. Вспомнил — и пошел к тому месту. Но не было на кладбище живой души, кроме нас. Лишь — могилы, кресты, надгробья. Кладбищенская трава, кладбищенский покой. И высокое донское небо.

Может, померещилось? Но вроде ясно видел: сидела. Видимо, ушла — слава Богу, живая.

Живы и мы. И потому так тягостно говорить и слушать печальное. Вот и нынче: доброжелатель мой — газетный редактор, прочитав материал, позвонил и попросил: «Давай изменим заголовок. Поставим: „Возле старого погоста”. А то „могилы” как-то нехорошо звучат». Что ж, изменим — значит, изменим. Бумага стерпит, как и прежде терпела.

А вообще-то писать очерки ли, заметки о сегодняшнем дне русской деревни — занятие неблагоприятное, горькое. Таким оно было, таким и осталось. А ведь как естественно наше стремление к доброй солнечной жизни, как хочется тепла душе и телу, пусть не сегодня, так непременно завтра. Сегодня уж как-нибудь перетерпим. До вечера — недолго. А вечером в «Новостях» прямо рукой показывают — могучей властной рукой, пусть в воздухе, но рисуют, — как плавно закончились все невзгоды и наконец вывезла нас кривая к иной жизни, вверх и вверх потянула. Разве не хорошо? Особенно — к ночи. А утром проснешься, возьмешь газету — на первой странице неглупый вроде человек, писатель, да еще и доктор сообщает, «что в опубликованном интервью с министром сельского хозяйства и продовольствия Хлыстуном сказано, что Россия наконец-то будет не покупать зерно, а, наоборот, может быть, продавать. Впервые с 1963 года!».

Славно-то как... Дожили.

Выписка из протокола правления коллективного сельскохозяйственного предприятия «Победа Октября» от 7 июля 1997 года: «...озимая пшеница пропала почти полностью по неизвестной причине, горючего нет из-за отсутствия финансов, корпорация горючего не дает из-за большой задолженности 1995 и 1996 годов. Постановили: 1. Продать за наличный расчет что можно... 3. Просить районную администрацию об отсрочке погашения задолженности... за 1997 год».

Что это? Грязное пятнышко на фоне подъема, который... «впервые с 1963 года!»? Склонный характер автора? Ведь не лень было ехать, время убивать, жечь дорогой бензин, гробить машину. Искать худое, когда рядом... И ведь верно: не в «Победу Октября» недавно министр сельского хозяйства



приехал и премьер-министр. А куда же? Куда ездили, гостя на волгоградской земле, все высокие руководители — Хрущев, Горбачев и иже с ними. Конечно же — в «Волго-Дон», хозяйство могучее, славное, орденоносное.

Не отстанем от них и мы. В «Волго-Дон» подадимся. Но не вместе с высоким начальством. Пораньше ли, попозднее, без шума и грома.

Всякий раз, когда приезжаю я в «Волго-Дон», бывший совхоз, ныне, как и все, реформированный в некое «коллективное предприятие», то в начале рабочего дня иду в гараж. Там — утренняя планерка, там — все руководители. И прежде, когда «Волго-Дон» был одним из самых могучих хозяйств в стране, и ныне, когда времена иные, начало рабочего дня в гараже завораживает. Гаражом это подразделение хозяйства называют по привычке. Это — целый автокомбинат: проходная, диспетчерская, один за другим выбираются из ворот тяжелые грузовики. Им счету нет: могучие «КАМАЗы», самосвалы, молоковозы. Идут и идут. И это естественно — «Волго-Дон» не какой-нибудь колхозик с сотней буренок. Одного лишь крупного рогатого скота — 6500 голов. 2300 — коров. Более 1000 тонн мяса произвел «Волго-Дон» в 1996 году, сдавая могучих бычков, каждый по 420 килограммов весом. Молока произвели 7330 тонн. В среднем по 20 тонн в один день надаивали. Это половина молочного и мясного производства такого мощного района, как Калачевский, где 12 коллективных хозяйств. «Волго-Дон» произвел в 1996 году около 25 тысяч тонн овощей. Годовая реализация всей произведенной продукции составила 22 миллиарда рублей. Показатели не просто большие — могучие. Не то что какие-то коллективные хозяйства, целые районы могут позавидовать такому производству.

«Волго-Дон» колхозом назвать язык не повернется: это — завод по производству мяса, молока, овощей, зерна. 20 тысяч гектаров пашни взглядом не окинешь. Откормочные площадки, фермы, теплицы — везде работа, но не всегда шумная, заметная. А вот здесь, у проходной гаража, в утренние часы осязаемо видна мощь производства, живого и деятельного.

Если в «Волго-Доне» один скотник обслуживает до трехсот голов скота, одна доярка доит сотню коров, если с одного гектара земли получают до пятисот центнеров овощей, то понятно, что главная сила хозяйства — техника: 200 автомобилей, 100 комбайнов, 349 тракторов. Если эти машины завтра встанут, то не будет ничего: ни мяса, ни молока, ни овощей. И потому еще прежний руководитель «Волго-Дона», В. И. Штепо, старался создать наилучшие условия для содержания и ремонта техники. И потому у «Волго-Дона» не какие-нибудь мастерские, не убогие «кузницы», а могучий завод с просторными, оснащенными цехами. Вот механический цех, где одних лишь токарных станков насчитал я десяток, вот цех с конвейером, где ремонт ведется по узлам, аккумуляторный цех, два сварочных, кузнечный, по ремонту топливной аппаратуры, цех по ремонту автомобилей. И все эти цеха находятся в рабочем состоянии. Пусть не все оборудование сейчас в деле, но оно — на месте. В помещениях стекла не побиты, крыши и стены целы. А значит, мощь ремонтной базы сохранена.

Склад запасных частей — бесчисленные стеллажи, конечно, не былое богатство, но для большинства селян и нынешние запасы «волгодонцев» — на великую зависть. Вот колеса к трактору «Беларусь», цена одного — два миллиона семьсот тысяч рублей. Вот склад металла. Он тоже не пустует. Потому и работает «Волго-Дон», что шесть сотен его машин, шесть сотен моторов — в ходу, в деле.

Но вот вывеска: «Опытное проектно-конструкторско-технологическое бюро по механизации овощеводства». Это бюро — знаменитое, единственное в стране. В былые времена работало в нем до тридцати специалистов, а в придачу — целый цех, где создавались машины и внедрялись в производство непосредственно на полях «Волго-Дона». Овощеводство — дело трудоемкое. И в помощь человеку нужна умная машина. Здешнее бюро создавало сеялки, культиваторы, бороны, уборочные машины — для лука, томатов, капусты,

огурцов. Эти машины нужны были не только «Волго-Дону», но и другим хозяйствам области, страны. Их охотно брали Средняя Азия, Краснодарский край, Астраханская область. Но это в прошлом. Нынче специалистов почти не осталось и производство практически остановлено. Хотя даже сейчас, как сказал руководитель бюро, можно начать серийный выпуск машин. Можно... Но при условиях, которые известны всем: гарантированные заказы с оплатой. Их нет.

Наша область по-прежнему остается овощеводческой. В отличие от прошлых времен, на прополку овощей и на их уборку обком орду бесплатных работников из города не пришлет. А значит, машины для овощеводства будут нужны. Пока еще уникальное производство этих машин в «Волго-Доне» возможно. Но что завтра?

О дне завтрашнем мои собеседники из «Волго-Дона» говорили вяло:

— Не знаем... Все как в тумане.

И тут же сбивались на день вчерашний. Николай Николаевич Андреев, слесарь-ремонтник и механизатор, тридцать пять лет отдавший совхозу, светился радостью, вспоминая:

— Я сюда переехал из Кумылженского района, уже пятнадцать лет отработал. Приехал, рот разевал от удивления. Суббота и воскресенье — как в городе, отдыхай. Спортивные соревнования на стадионе. В клубе — концерт. Весь народ вместе. А хочешь — поезжай в город: в театр, в цирк. Автобусы и билеты бесплатно. На машину денег скопил — пожалуйста, в том же месяце на машине. А теперь какие копейки и заработал, не дают. Завтра? Тошно и думать.

Женщины-овощеводы, проработавшие в совхозе не один десяток лет, тоже сбивались на прошлое: работали от души. И зарплату давали в срок. Тринадцатую зарплату — тоже в срок. Премию по результатам года — вовремя. А теперь хоть криком кричи — кто услышит?

— Я недавно спросила: когда зарплаты дождемся? Отвечают: ты живая, мы лишь на похороны даем.

Вчерашний день. Прославленный, орденосный «Волго-Дон»: детские сады, школа, Дворец культуры, больница чуть ли не лучше обкомовской — с зимним садом, двухместными палатами, профилакторий с «соляными шахтами», плавательным бассейном. И ведь все не с неба падало, все по труду. Пять с лишним тысяч килограммов молока — средний надой на корову. Килограммовые привесы на откорме. 500 да 600 центнеров — овощные урожаи. Все это было, было.

Но жить памятью о вчерашнем может лишь человек доживающий, у которого все в прошлом, а будущее — лишь мир иной.

В «Волго-Доне», в его селеньях, живут 2100 работников хозяйства да еще дети, их немало. Около шести тысяч народу в поселках. Пенсионеров — 700. Остальным жить бы да жить, жить да работать. Значит, нужно думать о дне завтрашнем.

Алексей Петрович Киршин, тридцатидвухлетний бригадир овощеводов, четко знает, что его бригада выращивает на 100 гектарах капусту, на 60 гектарах томаты, огурцы, морковь, перец. Но вот что будет завтра с «Волго-Донем», ему неясно. Твердо знает, что надо работать. Но...

Звеньевые Екатерина Михайловна Мазайкина и Люция Павловна Кузнецова, овощевод Александра Михайловна Иванченко, проработавшие в «Волго-Доне» по пятнадцать и по двадцать лет, тоже уверены, что их основное дело — посеять, прополоть, вырастить овощи и собрать урожай.

— Но ведь и в прошлом году, — спрашиваю я, — вы посеяли, прополотли, вырастили и заработали неплохо, в среднем по пятьсот тысяч рублей в месяц. И в нынешнем — заработки неплохие. Чем недовольны?

— Где они, эти деньги? Когда получим? Они лишь на бумаге. Задержка заработной платы подпирает к году.

— Но ведь вы акционеры, хозяева, вот и думайте, как дело вести.

Тут начинаются вздохи: «Ничего не знаем».

— Надо бы и своего реализатора, чтобы он продавал, — предложил кто-то из женщин.

Ее остудили:

— Начальство не разрешит.

— Придумали какие-то трудовни... Не поймешь. За четыре дня я заработала два с половиной. А что это такое, никто не знает.

В тот же день на животноводческой ферме мне жаловалась телятница:

— Взяла молока, колбасы под запись. Осталась еще должна. Восемьдесят четыре тысячи в месяц, а остальное — потом. Кто придумал?

И здесь та же песня: «Наше дело — работать. Остальное — начальства».

Песня привычная: колхозник ли ты, рабочий совхоза или, как теперь говорят, а к ц и о н е р, то есть собственник земельного и имущественного пая, — все одно: «Наше дело — работать, а начальство нехай думает». И еще: «Конторские все равно обманут».

Песня вечная. Сто лет назад писано: «...трудность состояла в непобедимом недоверии крестьян к тому, чтобы цель помещика могла состоять в чем-нибудь другом, кроме желания обобрать их...» И еще: «...разговаривая с мужиками и разясняя им все выгоды предприятия, Левин чувствовал, что мужики слушают при этом только пеньё его голоса и знают твердо, что, что бы он ни говорил, они не дадутся ему в обман». Это писал Лев Толстой — не только писатель, но волею судьбы земледелец, помещик, а волею совести и разума — радетель о своих мужиках.

Сто лет прошло. И будто ничего не изменилось. Только барин другой — «контора». «Конторские все равно нас обманут» — вот самый уверенный прогноз на день завтрашний.

...«Волго-Дон» и теперь остается мощнейшим производителем овощей, молока, мяса, зерна. 20 тонн молока ежедневно получали здесь в 1996 году и поставляли в город, к нашему столу. За год — более 7 тысяч тонн; мяса — тысячу тонн за год; овощей — 25 тысяч тонн. Повторяю еще раз: такое количество сельскохозяйственной продукции не всякий район способен произвести. В «Волго-Доне» по-прежнему работают 2100 человек, и никто не потерял работу. В поселках «Волго-Дона», где живут 6 тысяч человек, в домах действуют отопление, водопровод, канализация. Работают три детских сада, три дома культуры, профилакторий, комбинат бытовых услуг с парикмахерской, швейной и телемастерской. В школе — столовая, где дети питаются по льготным ценам, а многие — бесплатно. На всю социальную сферу затраты составили 9 миллиардов, то есть более трети всех годовых доходов. Районный бюджет помощь оказал, но очень малую. Взять на себя, как это нынче положено, всю социальную сферу «Волго-Дона» районные власти не могут. А значит, по-прежнему огромная доля доходов от производства идет на «социалку». Это груз тяжкий. Потому что эти миллиарды повышают себестоимость продукции, ее конкурентоспособность.

Сейчас у нас, жителей городских, великая тревога: правительство постепенно ликвидирует субсидии на содержание жилья. А вот «Волго-Дон» давно и сполна за себя платит. Это доля крестьянская. Но она тяжелее год от года. Она лежит не только на «конторе», но и на каждой семье.

Задержки (до двух лет) с расчетом за произведенные овощи, несообразные закупочные цены на мясо не дают возможности вовремя выдавать работникам заработную плату, иметь оборотные средства для поддержки на нужном уровне производства. А это не проходит даром. Сегодня среднесуточный надой — 6 килограммов. А ведь был и вдвое больший, и даже 17 килограммов. Это помнят. Потому что раньше заготавливали одного лишь силоса 60 — 70 тысяч тонн. Не только себе хватало, но и соседние хозяйства из года в год снабжали, заготавливали достаточное количество отличного сена, гранул, фуража. Не тот стал полив, не хватает средств на удобрения, семена, соблюдение технологии. Одно другое цепляет, а результат — потеря продук-

ции. Надои и привесы в «Волго-Доне» еще пять лет назад были почти в два раза выше. И урожаи овощей доходили до 700 центнеров с гектара. Нынче — чуть не вдвое ниже.

Ежемесячная заработная плата в «Волго-Доне» была в среднем за 1996 год — 500 тысяч рублей. Она выросла по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза — ежемесячно надо платить один миллиард рублей.

— Как жить? — спрашивает молодая женщина. — Шестьдесят тысяч надо уплатить за квартиру, да еще столько же за детей в детский сад. А определили — восемьдесят пять тысяч в месяц.

Действительно, как?

Не укладывается наша жизнь, особенно сельская, в простую арифметику. Живут люди.

На коллективных фермах и базах «Волго-Дона» 6500 голов крупного рогатого скота. А сколько их в личных сараях и сарайчиках огромного «шанхая», как называют его, что растет год от года на окраине поселка?

Подсчитать не сможет никто. Но говорят, что частного скота не меньше, чем общественного. Значит, около семи тысяч? Сенных угодий вокруг «Волго-Дона» нет. Значит, весь этот скот кормится за счет хозяйства: его земля, техники, вложенных средств. Энергичный, ловкий человек может держать и до десяти голов. Никакие запоры на гумне, никакая охрана не преграда. Корма «уходят» к своим буренкам, колхозные — жуют солому. Если прежде воровали «по совести», чтобы прокормить поросенка, десяток кур для семьи, то теперь «можно» красть и для «хорошей жизни», чтобы купить, например, машину.

И теперь не сует, как раньше говорили, а точнее, воруют все, что есть в хозяйстве: на молочной ферме — молоко (и не баночку, детям на кашу, а уже десятками и сотнями литров); на овощных плантациях — не помидорку-другую и не кочан капусты, а десятками килограммов. Приходится ставить охрану. Да не киношного деда с берданкой, а «спецов» из города. Но и они не справляются...

В прошлом году ли, в позапрошлом, когда такая охрана была в новинку, здешние работники возроптали: «Как? Наше кровное... от кого охраняют? Наши деньги тратятся... придумала контора... убрать!»

Убрали. Лишь на сутки. И за эти сутки, за день и ночь, украли с поля не килограммы, а тонны лука, потеряв на этом многие миллионы рублей.

Потеряли все вместе, весь коллектив, который эту землю пахал, засеивал, день-деньской гнул, полон, поливал — словом, целый год трудился. А «нашли» люди не сторонние, не из Москвы и не из Волгограда приехавшие, — «нашли» свои, но ловкие, беззастенчивые, корыстные.

Остановить их невозможно. Они сегодня оправдывают себя морально: «Зарплату не дают! А надо себя и детей кормить!» Органы милиции, прокуратура, суд ничего с ними не делают. Ведь крадет человек с фермы ли, с поля не государственное молоко, лук, капусту, а свое. Он — акционер, а следовательно, хозяин «Волго-Дона», его полей, скота, угодий. В тюрьму его не посадишь, морально на таких людей не воздействуешь. «Воруй, как мы, воруй с нами, воруй лучше нас!» — это правило ширится, разбедая механизм коллективного хозяйства и подрывая его экономику.

Повторю: не луковицу крадут, не кочан капусты. Совхозный пенсионер рассказывает: «Каждый день вижу в окно, как с дойки идут. У всех — ноша. Особенно одна неба не жалеет. В обеих руках по канистре по двадцать литров. Плечи у нее — как у штангиста».

Лучше теперь живут не самые работающие, а бесстыжие и наглые.

— А если я не могу воровать?! — слышу я не впервые. — Физически не могу! Что мне делать?

В последнее время, когда бываю в «Волго-Доне» и гляжу на поселок, на многоэтажные дома его центральной усадьбы, то грезится мне недоброе.

Вспоминаются страшные мертвые города, которые приходилось видеть в степях Казахстана, в Сибири: там жили люди, работали, а потом ушли, все бросив. Истощился рудник ли, шахта, не нужна стала воинская часть. И теперь стоят пустые дома. Свистит лишь ветер в оборванных проводах.

Не хочется думать, что такая судьба ждет «Волго-Дон», не хочется. Но ведь и в нашей области уже есть селения, где вчерашняя котельная — лишь коробка с трубой, вчерашний детский сад — без дверей, без окон, вчерашний коровник — руина.

«Волго-Дон» внешне еще могуч. Но его «внутренности» разъедают многие язвы. А как говорится, большой падает с большим грохотом, потому что на плечах его — груз великий. Постепенная деградация очевидна. За последние годы надои в «Волго-Доне» упали с 5500 килограммов до 2500. Привесы — с 900 граммов в сутки до 300 — 400. Урожай овощей — с 600 — 700 центнеров до 300. Долгов у «Волго-Дона» на июль 1997 года — 16 миллиардов рублей.

Процесс разложения, падения самого мощного, самого производительного хозяйства в области очевиден. И если его, бывшего директора, дважды Героя Социалистического Труда В. И. Штепо, сместили в 1990 году вполне демократично — с помощью инициативных групп, митингов, голосования, — то нынче последние главные специалисты уходят сами.

Уходят они не к сладкой жизни, не к какой-нибудь коммерческой кормушке. Опоздав на пять-шесть лет, они спешат в фермерство. А точнее — убегают от «волго-донского» колхоза, где год от года все тошнее и горше, тем более людям, хорошо помнящим лучшие времена.

А в фермерстве пример им, конечно же, Виктор Иванович Штепо, их бывший директор. Это к нему в прошлом августе привезли нашего премьер-министра, чтобы показать новый фермерский «товар» лицом. Показывать есть что.

У Виктора Ивановича Штепо я стараюсь бывать каждый год. Человек он интересный и мудрый, но более того: судьба дважды Героя Социалистического Труда, ныне фермера — это судьба страны, вчерашний день ее, нынешний, а главное — залог завтрашнего.

Когда в давние годы молодой Штепо возглавил совхоз «Волго-Дон», там были лишь бараки бывшего лагеря заключенных. «Начали строить...» — вспоминает он. Построили один из лучших в стране совхозов, с высочайшей технологией сельскохозяйственного производства, с достойным бытом и отдыхом людей.

Но пришли нелегкие перемены. И Виктор Иванович, уже в годах немолодых, пенсионных, начал новое дело — и опять с нуля. Вернее сказать, дело-то старое, каким занимался всю жизнь: земля, хлеб, — но условия новые. Не огромный коллектив, не тысячи гектаров земли, а лишь свое. И уже в первую осень Виктор Иванович и два его соратника получили 2 тысячи тонн зерна.

Годы начала земельной реформы — 1991-й, 1992-й — для многих новых хозяев оказались золотыми. Государство давало весьма льготные кредиты фермерам, но зачастую эти деньги доставались не земле, а превращались в доходные магазины, автомобили, в еще большие деньги.

Виктор Иванович повторял свой прежний путь земледельца. Но если раньше создавался совхоз «Волго-Дон», предприятие государственное, с немалыми государственными же затратами, то теперь — хозяйство Штепо и его семьи. Принцип оставался прежним: все для земли, все для урожая, все условия для самостоятельного хозяйствования.

В прежние свои приезды видел я сначала проекты, потом — начало работы, ход ее, а теперь, летом года 1997-го, стоит на окраине Береславки целый комплекс фермерского хозяйства Штепо.

Просторная высокая мастерская для ремонта тракторов, комбайнов, автомобилей. Кран-балка, небольшой механический цех с токарным и сверлильным станками. Аккумуляторное отделение, сварочное, компрессорное. Склад

запасных частей. И все сделано аккуратно, с умом, по-хозяйски. Везде чистота и порядок. Это — Штепо. Это его характер. В огромном ли «Волго-Доне». Или здесь, у себя.

Тут же — гараж для сельскохозяйственной техники. У Штепо под открытым небом машины ржаветь не будут. Так было в совхозе. Так и у себя.

Неподалеку расположился комплекс жилой — для людей, для скота. Но если дома обозначены лишь фундаментами, то помещения для коров, свиней, сенник, склад зернофуража уже готовы.

Еще одно строение показал мне Виктор Иванович — пекарню.

И опять это не пекарня-временка, не сараи, каких нынче много развелось, когда выпечка хлеба стала очень рентабельной. Это — не на час, чтобы барыш сорвать. Это — навсегда. Технологическая цепочка: склад муки, за ним — помещение, где будут стоять сита, далее — тестомесильные машины, шкафы для выпечки, склад готовой продукции.

Встречи с Виктором Ивановичем — это всегда не только разговор о гектарах да центнерах, о Береславке да Калаче, но и о времени, о нынешних путях России, о дне вчерашнем, который порою так похож на сегодняшний. Просто забывается старое, и кажется, что нынешнее — новь, какой не бывало.

Виктор Иванович вспомнил Николая Лескова, его «Загон», где пишется будто о сегодняшнем, когда порою бездумное реформаторство, слепое копирование «на английский манер» для сторонних людей — смех, а для крестьянина — горе.

Посетовал Виктор Иванович, что не может в книжных магазинах сегодня привычно отыскать достойного чтения. И молодых жалко: почитай-ка всю эту дурь, что на прилавках, — недолго и свихнуться. Примеры налицо: взял автомат — и всех подряд уложил, словно в боевике да в триллере. Молодая душа — словно весенняя пашня: что посеешь, то и вырастет...

В общем, Черномырдина не зря к Виктору Ивановичу привозили. Премьер был доволен: руку жал, обнимал, спрашивал о заботах.

— Земли бы надо, — отвечал Штепо. — Бурьяном зарастает, а не дают.

— Там, где бурьяны растут, все бери, паши, — разрешил премьер.

Вольно было обещать. За расширение своих земельных угодий Штепо бьется давно и безуспешно: не дают. И, видимо, не дадут даже после высокого визита. Объясняют: «Не можем нарушить закон. Да, земля плохо используется. Но отобрать ее у законного владельца мы не имеем права». И получается — ни себе, ни людям.

Увы, фермерские успехи Штепо не правило — исключение. Двенадцать тысяч фермеров в нашей области. А крепких хозяев по-прежнему на пальцах можно перечесать. Остальные мыкают горе, кое-как сводят концы с концами, разоряются.

В нашем районе недалеко от Штепо земля А. Б. Колесниченко и Н. Н. Олейникова, работники — каких поискать: молодые, энергичные, образование — высшее агрономическое. Опыт — все тот же прославленный «Волго-Дон», где отработали более десяти лет на нерядовых должностях. Фермерствуют самостоятельно уже пять лет, увеличивая свои земли за счет аренды. В этом году единственные в районе получили продовольственную пшеницу. Словом — смотри и завидуй. Главная проблема — старая-престарая техника, «латка на латке». Новую купить не в состоянии, даже при хороших урожаях. Эти люди — одни из немногих, которые входят в невеликую «золотую сотню» из двенадцати тысяч фермеров области. А что ж говорить про остальных?

Едешь по бывшим землям колхоза «Голубинский» — глядеть уже не горько, а страшно. Хозяйство развалилось, на смену ему пришло... как и называть, не знаю. По бумажным отчетам — фермеры. По сути — голытьба. Говорить про них тошно.

Спроси в райцентре у любого сельхозначальника или в Голубинском округе у встречного-поперечного: «Кто у вас из фермеров? От кого прок

есть?» Спроси, и назовут, как таблицу умножения: «Пушкин, Коньков». Что один, что другой — работяги. У Пушкина — четверо сыновей: младшему — 11 лет, старший сельхозинститут заканчивает. «Трудятся как муравьи, от темна до темна», — говорят соседи. Коньков занимается бахчевыми культурами. Но назвать их уже состоявшимися фермерами, а их хозяйства хотя бы приблизительно похожими на хозяйства Штепо — язык не поворачивается. Это — лишь начало. Самоотверженное, героическое начало очень долгого пути. У Пушкина — 200 гектаров, у Конькова — столько же. Но ведь у «Голубинского» было 40 тысяч гектаров земли, на которых не 20 бычков Пушкина паслись, а тысячи голов крупного рогатого скота и десятки тысяч овец. И не только арбузы да дыни Конькова отсюда увозили, но и хлеб.

А теперь из края в край — дикое поле.

Районный отдел статистики сообщает: «...сохранилась тенденция к сокращению поголовья скота и снижению производства продукции. Поголовье коров уменьшилось на 7%, свиней — на 10%, овец — на 16%. На сельхозпредприятиях, в крестьянских и личных подсобных хозяйствах произведено скота и птицы в живом весе 2694 т (93,5% к уровню соответствующего периода 1996 года), молока — 13406 т (85% к уровню 1996 года)».

И это — лучший район области.

Итак, осень 1997 года — можно «считать цыплят». Щедрая осень: дождей летом хватало и урожай — очень хороший, не в пример двум прошлым годам.

Но... Во-первых, если «Бог дал», то не в амбар, а на поле. Два месяца длилась уборка хлебов в районе. Ну, ладно. Убрали, каждый — свое. Вопрос второй: насколько разбогатели от хорошего урожая наши хозяева? Прокормятся ли до нового?

Из истории да хорошей художественной литературы все мы знаем, что, если хватало у крестьянина своего хлеба до «новины», значит, крепкий хозяин. А те, кто после Рождества шли взаимны просить, — голытьба.

Наши нынешние коллективные хозяева — все до единого! — если и рассчитываются с долгами, которых набрали за год у областной «Агропромышленной корпорации», то лишь затем, чтобы немедленно, уже в сентябре, брать в кредит у той же корпорации горючее, запчасти и прочее для сева озимых, вспашки зяби, то есть лезть в долги в счет 1998 года.

Но вот если колхоз распустить, то для большинства настанет горькая жизнь. Пусть было у них 10 тысяч гектаров пашни. В наших краях, для того чтобы заниматься зерноводством, фермеру нужно не менее 500 гектаров земли. Значит, вместо колхоза — 20 хозяев, которые будут нанимать на сезонную работу около 50 работников. Итак, всего — 70 человек. А в колхозе их было 500. Куда податься остальным? На что жить? Ведь ни в Волгоград, ни в Сибирь, ни в Австралию не переселишься. Они останутся на том же хуторе, но без всяких средств к существованию. Это уже катастрофа, и люди ее нутром чувствуют. Поэтому даже в самом завалящем, погрязшем в долгах колхозе дружно проголосуют: «Работать вместе!» Во-первых, трезвый расчет: без колхоза — гибель. Во-вторых, хорошая память: они родились в колхозе, выросли в нем, всю жизнь проработали. Он давал им гарантированную (пусть невеликую) зарплату и еще позволял кое-что «уносить» для жизни. Колхоз строил жилье для работников и давал его бесплатно, содержал детишек в детсадах да школах, лечил больных в своих больницах; со своими бинтами да простынями, как нынче, в больницу не ходили. А в общем, колхоз обеспечивал сегодняшний и завтрашний день, в который глядели без особой опаски. Лишь работой, слушай, что прикажут, и выполняй. Потому прошлые годы для большинства крестьян — это сладкий сон золотой. Так что колхоз, даже сегодняшний, — строение крепкое. Он долго будет «держаться», «терпеть», «выживать», «надеяться»; «должно наконец правительство понять», «должны наконец повернуться лицом к деревне»...

...Повторю: рассказ мой в основном об одном из лучших районов области. В других по пять лет уже зарплаты не видели. По пять лет! Понятно, что это за коллективные хозяйства, какие в них хозяева и до чего они доработались.

Подчеркну: сельское хозяйство нашей Волгоградской области наряду с Краснодарским краем, Ставрополем, Ростовской областью — одно из самых крепких и производительных в России. Нельзя даже сравнивать — и прежде, и теперь — наши края с Севером да Нечерноземьем. Нынешний год заглянул в один из районов Тверской области. Поговорил в тамошнем сельхозуправлении: положение — «страшной войны». У нас хоть областную «Агроркорпорацию» придумали, она — в помощь. Да прежние нажитки доедаем. У тверяков и этого нет.

Но разговор нынче о наших краях как части крестьянской России, бедственное положение которой начинают понимать наконец московские власти. Не зря ведь ездил Черномырдин по сельским районам Кубани, Ставрополя, Волгоградской области, не зря горестно разводил руками.

Что нужно сельской России? Почему плачет она возле старых могил, вспоминая как сон золотой даже свои прежние несладкие годы?

Прежде всего нужен тот, кто, во-первых, понятно объяснит, что колхозные времена кончились навсегда и жизнь давно потекла по-новому. А во-вторых, понятно и доступно начнет учить новой жизни. Потому что этого не знают не только скотник и тракторист, но и колхозный председатель, даже руководитель района и области. У тех лишь: «Держаться, выжить, перетерпеть...» Это незнание понятно: родились, выросли, воспитаны советским колхозным строем, получили образование в областном сельхозинституте да заочной совпартшколе. Другой жизни не ведали. Откуда же взяться иному опыту?

Новый опыт, иные знания должны прийти в виде четкого плана переустройства колхозной страны. Чем позже это свершится, тем хуже. Деревенские страсти, борьба за жизнь, дикий рынок разрушают и могут до основания разрушить десятилетиями созданную материальную базу села: землю, производственные помещения, технику, ремонтную базу, поголовье скота. И начинать придется снова от деревянной сохи и урожая в 6 центнеров с гектара, который нынче и получили в коллективном хозяйстве «Голубинское», что возле старых могил.





---

---

# ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ИГОРЬ ДЕДКОВ

\*

## ОБЕССОЛЕННОЕ ВРЕМЯ

*Из дневниковых записей 1976 — 1980 годов*

<Без даты, 1976.>

**Я** давно не смотрел вечерами в это окно, и деревья показались чересчур большими, разросшимися и густыми. Весь день было пасмурно и ветрено, небо и сейчас казалось тревожным и беспокойным. Неожиданно за высокими темными деревьями на другой стороне улицы я заметил полосу огней. Они проглядывали сквозь макушку кроны, словно светился весь верхний этаж какого-то дома... Огни меж тем становились ярче, и уже казалось, что это придвигается какое-то гигантское крыло с огнями по борту. Да и справа, и слева за деревьями и пятиэтажными спящими зданиями тоже стала нарастать какая-то краснота, словно там, дальше, пробивается, захватывает пространство огромный сгусток огня. Я пытался себе объяснить, что это запад и солнце июльское не так давно зашло, а небо очистилось, но огни надвигались и уже совсем не походили на светящиеся окна, и веяло от них жутью какого-то провала, зияния, теперь уже далекого от красного цвета, а скорее — светлого и даже мертвенно-белого, но интенсивного и плотного. На какое-то мгновение я почувствовал, что сердце сжалось с какой-то обреченностью, словно я уже принимал то, что вот-вот со всеми нами случится.

И тотчас я вспомнил, как в другом доме и другой квартире, войдя с улицы в темную нашу комнату, увидел за распахнутым по-летнему окном огромный оранжевый шар в половину оконного проема и вмиг подумал, что настает космическая катастрофа и Луна — я все-таки сообразил, что это Луна, — сейчас или очень скоро врежется в Землю. <...>

Уже давно в одном из научно-популярных журналов я прочел об оптической иллюзии, позволившей мне увидеть гигантскую Луну. Там было какое-то простое объяснение, и все-все в моем случае под него подпадало. Но что я пережил, так и осталось: чувство ужаса и неизбежности.

Хорошо помню теплую июльскую ночь далекого года. Мы с бабушкой стоим на крыльце (не крыльцо даже, две широкие доски) избы. Может быть, даже избушки. Бабушка держит на руках спящую сестру, ей еще нет и двух лет. Это я сосчитываю теперь. Тогда это для меня не имело значения. Я стою прижимаясь к бабушке и дрожу. Что-то наброшено мне на плечи, кажется одеяло. Мы давно уже спим одетыми — для быстрого подъема и бегства. Мы стоим и смотрим в темное небо. В нем ничего не видно, но оно заполнено гулом самолетов. Бабушка говорит, что они летят на Ельню. А может быть, на Смоленск. Ельня совсем близко. Нам уже говорили, что там

---

Продолжаем публикацию фрагментов из дневников литературного критика, публициста и культуролога Игоря Александровича Дедкова (1934 — 1994). См.: Дедков Игорь. «Как трудно даются иные дни!». Из дневниковых записей 1953 — 1974 годов. — «Новый мир», 1996, № 4 — 5.

Публикация и примечания Т. Ф. ДЕДКОВОЙ.

разбомбили базар. Мы живем в избушке на краю оврага в тени каких-то высоких деревьев. А перед избушкой большая поляна, теперь — издалека — она кажется мне похожей на футбольное поле. Там я бегаю с другими детьми, стреляю из лука — кто выше. А справа на краю поляны — двухэтажная деревянная школа. Там людно и что-то происходит. Бабушка говорит, что там призывники и немцы могут их бомбить. Кто его знает — может быть, эти самолеты уже знают про школу. Мы стоим и дрожим и смотрим в небо. Слава Богу, гул высокий, но какой же он долгий, как много их летит.

В ту ли ночь или в другую мы смотрим в смоленскую сторону: там по всему горизонту высокое красное, какое-то подвижное, вздрагивающее небо. Это называется зарево.

Наутро из Смоленска приезжает мама. Ее и других женщин их учреждения отпустили с работы. Работа кончилась. Мы укладываем вещи, потому что скоро приедет грузовик и мы побегим дальше. СМОЛКНИСМ — так называлось учреждение, где работал отец.

Эта дрожь во мне началась с воскресенья (22 июня) в самом центре Смоленска, на Блонье, под столбом с черным раструбом, где мы стояли всей семьей, вышедшие погулять. И вокруг стояли такие же, как мы, — вышедшие погулять в теплый июньский воскресный день.

22.12.76.

Читал в утешение Нагорную проповедь. «Истинно говорю вам: они уже получают награду свою».

Хорошо бы, хорошо бы, если б было так. И я верю, что так.

И. А. Гашин<sup>1</sup> рассказывал в присутствии Томи историю опубликования в «СП» [«Северной правде»] материала под названием «Клеветнику» (или «Ответ клеветнику»). Оказывается, на имя первого секретаря обкома партии была получена тетрадь машинописи с почтовым штампом г. Галича. Содержание ее было расценено как клеветническое. Было поручено госбезопасности установить автора, и он был установлен. Не знаю, что уж с ним было, но в «ответе», написанном полковником госбезопасности Виктором Гавриловичем Лавровым (псевдонимы Викторов, Гаврилов), его фамилия и профессия упоминались (Потепалов, учитель). Каково-то теперь ему, обратившемуся с письмом, пусть анонимным, в важное учреждение партии, т. е. к высшей власти в области.

Гашин рассказывал также о некоем костромском кандидате экономических наук, обратившемся с письмом к 25 съезду партии, где содержались какие-то соображения (предложения) по экономике. Письмо, вероятно, было задержано. Этого человека вызывали в парткомиссию, потом с ним разговаривал секретарь обкома партии Суслов, но убедить его в неправильности действий — действовал «через голову» и т. д. — не смогли. Наконец его пригласили в госбезопасность, и тогда-то он постиг, что совершил ошибку, и сказал, что больше не будет.

Некий рабочий (строгальщик) из Заволжья написал письмо в «Сев. правду», жаловался на нехватку продуктов и прочие недостатки. Редактор доложил куда следует, и ему посоветовали вызвать автора в редакцию. Пришла жена, работница детского сада, сказала, что муж болен, а [зав. отделом писем] Гасана Гасановна Васильева стала ее отчитывать: вот вы хорошо выглядите, и одежда у вас какая, мы после войны таких сапожек не носили и не жаловались. А вы избаловались и т. д. Вот так и ушла женщина, а что при этом думала?

29.12.76.

Пенсионерам дают к Новому году талоны на мясо в домоуправлениях (1 кг на пенсионера). Впрочем, не талоны, а «приглашения». Получаешь

<sup>1</sup> Гашин И. А. — заведующий отделом пропаганды и агитации в газете «Северная правда» (Кострома).

«приглашение» и идешь в магазин. Сегодня «Северная правда» отправила своих представителей в магазин, чтобы получить мясо (по 1 кг на работника). Именно так «дают» мясо трудовым коллективам. В магазине же сказали: берите тушу и рубите сами. Редакционные женщины возмутились и ушли. После телефонных переговоров с начальством мясо обещали завтра: и разрубленное, и высшего сорта. Сегодня жена Камазакова, член областного суда, целый день рубила мясо. Этому «коллективу» мясо выдали тушей. Рубили, взвешивали, торговали.

Р. С. Перечитал все это. Какой-никакой, а документ. След пережитого. Соединить бы все — «роман моей жизни».

### 23.1.77.

Были Грибов Ю. Т. с женой<sup>2</sup>. Вспоминали старую «Сев. правду», совместную работу. Он рассказывал про нынешнюю свою жизнь, подчеркивая, что он не писатель, а газетчик и в этом своем качестве старается укреплять свое положение (публикации в «Правде»). Все прочее подавалось не без самодовольства, что неудивительно. Самое занятное из сказанного: там, наверху, — самые обыкновенные люди, если не сказать большего, т. е. заурядные. В устах Г. это признание знаменательное. Когда-то он опасался — когда поднимался. Теперь понял: все те же.

Сегодня я лишней раз понял, что люди, управляющие жизнью, себя не забывают, устраиваются и устраивают своих детей и родню. Идеальное они оставляют на долю таких, как мы. Т. е. следование принципам, которые провозглашены. Захватчики и есть захватчики. (Петелин, кстати, зять Стаднюка.)

### 22.2.77.

Статья об Астафьеве идет трудно, медленно<sup>3</sup>, и как всегда в таких случаях, нервничаешь. Иногда я думаю, сколько же я так смогу выдержать. Одинокий же труд, и работаешь в одиночку, и умрешь в одиночку. И неизвестно — вспомнят ли добром тебя твои же мальчики?

### 12.7.77.

Все бьюсь над началом (о Быкове)<sup>4</sup> и все читаю («вокруг» Быкова), и мучаюсь, и буду мучиться, пока все не пойдет как следует. <...>

Прочел огромный роман Энтон Майера «Однажды орел» (1976) — о судьбе профессионального американского военного, прошедшего все войны начиная с Первой мировой и погибшего во Вьетнаме. Имя этого генерала Сэм Демон. М. б., это чересчур обширная книга, но, кажется, честная. И очень горькая. Много горечи, и она захватывает тебя — а какой я вояка? Страшная жизнь.

Вероятно, Оскоцкий обиделся на меня. Я в последнем письме намекнул ему, что скорее всего не напишу о его книге, хотя уже полгода собирался написать. Я честно объяснил ему, почему так и почему мне все это неловко. И отказываться тоже неловко.

А вот о книге Лени Фролова написал<sup>5</sup>. Там дело ясное, и я могу быть искреннее. Предмет книги Оскоцкого мне, по сути дела, неинтересен<sup>6</sup>. Он абстрактен и рассмотрен ортодоксально. То есть истина была известна заведо-

<sup>2</sup> Грибов Ю. Т. — в 70-е годы главный редактор еженедельника «Литературная Россия», один из секретарей правления СП РСФСР и СП СССР.

<sup>3</sup> Дедков И. На вечном празднике жизни. О творчестве В. Астафьева. — «Вопросы литературы», 1977, № 6.

<sup>4</sup> Дедков И. Василь Быков. Очерк творчества. М., «Советский писатель», 1980.

<sup>5</sup> Дедков И. Полежаевские истории. (Л. Фролов. Во бору брусника. М., 1977). — «Литературная газета», 1977, № 34.

<sup>6</sup> Оскоцкий В. Богатство романа. Многообразие и единство. М., 1976.

мо. Но каждый волен доказать истину своим путем. Вот он и доказывал. Но истина-то известна и потому банальна и проч.

Показывали фильм о 56-м годе в цикле «Наша биография». Сделан, как все, бесстрастно и лживо. Двадцать лет прошло. Не пресекли они наше поколение, но воли не дали — и печально, что прошло, прожито столько лет, — и мы прикидываемся благополучными, добившимися своего. В какой бы угол, иногда думаешь, забиться! Нашей жизни не хватает

естественности,  
простоты,  
здорового смысла,  
честности,  
прямоты и свободы!

29.8.77.

Про издательские дела: они объявили о моей книге на IV квартал 1978 года<sup>7</sup>. Но ни договора, ни денег, никаких новых вестей. И я думаю, вот толкуют московские литераторы о засилии еврейства. Ни о чем другом говорить не могут — захлебываются ненавистью. Ну, хорошо, вот издательство, кичащееся своей русскостью. Но эта русскость оборачивается самым худшим еврейством: дело зависит от кумовства, от обхаживания начальственных лиц, от умения устраиваться. Я же знаю, как Целищева, сотрудника этого издательства, здесь, в Костроме, обхаживают все, кто зависит от него (он ведет прозу), и льстят ему, и угощают, ни на шаг не отходят. Вот и разберись. А что разбираться? Еврейство — это такая болезнь, которая может поражать русских больше, чем евреев. Или украинцев, или еще кого.

30.9.77.

Повсюду без передышки — по радио, в печати, по телевидению — «мы лучше вас, мы выше вас, мы лучше всех, мы выше всех». И нет конца этому потоку.

25.10.77.

Говорю дома: пишите дневник, такой быт уходит, не будут знать, как мы жили, что скрывалось под покровом официальных слов, всякой чепухи.

Быт все выедает; все в нем сквозит, все воплощается. Я имею в виду не только быт домашний, но быт конторский, служебный тоже.

<...> в эти дни повсюду по конторам собирают по 7 — 8 рублей (на колбасу и за курицу), чтобы можно было отметить 60-летие родного государства. Сам видел, как в отделе комплектования обл<астной> библиотеки среди стоп новых книг на полу лежали горами куры и стоял густой запах. Все ходили и посмеивались.

Такая пора: все ходят и посмеиваются.

В эти дни в магазинах нет туалетного мыла.

Нет конфет. Само собой разумеется, нет мяса (на рынке в очередь — по четыре рубля за кг), нет колбасы, сала и прочего.

29.10.77.

В записках, подобных тем, что вел В. В. Каррик («Голос минувшего», 1918, № 4 — 6), есть смысл: мало фактов, много молвы, слухов, легенд, анекдотов, но и в них время, действительность, состояние умов, положение человека.

<sup>7</sup> Дедков И. Возвращение к себе. Литературно-критические статьи. М., «Современник», 1978.

Инструктор горкома партии рассказывал в редакции: однажды Председатель обнаружил, что Москва-река покрыта бетоном. Он вызвал министра обороны: «В чем дело?» — «Зато, — ответил министр, — „Аврора” в наши воды не войдет».

Этот инструктор — аккуратный партийный чиновник, но тогда же он рассказывал о системе льгот, существующих в городском комитете: о «конвертах», о распределении продуктов строго по рангу и проч. Не знаю, что побуждало его (обида на положение инструктора, на медленную карьеру, на то, что «обошли»?), но это и не столь важно. Важно, что он об этом говорит и даже «распространяет» анекдоты. Я думаю, что двоедушие — один из самых существенных признаков нашей жизни; есть роль — и есть актер, исполнитель, есть некое раздвоение личности. Актеры посмеиваются над ролями.

В редакции обсуждали праздничные номера. Говорили, что торжественная сессия Верховного Совета начнется значительно раньше дня торжеств, и толковали, кто приезжает. Редактор, не называя имени (то ли забыл, то ли плохо помнил и не знал, как правильно выговорить), сказал, что пригласили даже руководителя испанской компартии. И тут же заметил, что заседание назначено так рано потому, что с представителями — гостями из западных партий «надо поработать». Люди, подобные редактору, недавнему обкомовскому работнику (заведовал отделом агитации и пропаганды), воспринимают все заявления о самостоятельности партий с нашей стороны как тактическую уловку, как ширму для проведения давно заведенной политики, для отношений начальника, старшего, и подчиненных, младших. Точно так же, как прикрытие, как фразу, воспринимают они и все настояния на политике разрядки. И надеются, что под покровом разрядки идет всегдашняя работа и ничего измениться не может.

Позавчера начались занятия в так называемом творческом семинаре по эстетике при обкоме партии для творческой интеллигенции. Лекцию читал преподаватель педагогического института Александров. Слушать я его не слушал, но много раз наблюдал, мы здороваемся на улицах. Массивный, грубоватый человек с большой шевелюрой, был бы хорош в роли матроса-анархиста или боцмана. Он занимает много места, движется энергично и всегда один. Известен как любитель выпить. В пору стрижки наголо посетителей вырезвателя был острижен и он.

В лекции Александров много говорил о стране развитого и полного социализма. Художник Сергей Румянцев задал ему вопрос: а как совместить с полным и развитым социализмом устойчивые нехватки с едой в нашем городе и что бы сказали о нашей жизни наши друзья из стран с еще не полным социализмом, доведись им побывать у нас в гостях? И тогда лектор со всем пылом и энергией обрушился на Румянцева за выискивание негативных сторон в жизни, и разгорелся сыр-бор, потому что аудитории «отпор проискам» не понравился, хотя нашлись защитники и у лектора. Едва успокоились. В довершение всем собравшимся объявили, что их на три года записали в вечерний университет марксизма-ленинизма. Писателей по крайней мере записали, не спросив, хотят они того или нет. Конечно, этот фокус не пройдет, но замашки устроителей показательны.

30.10.77.

Читал «Голос минувшего» (1918): записки В. Каррика и московского цензора А. Сидорова (1909 — 1917). Ранее прочел там же записки Н. П. Огановского об Учредительном собрании. Читал «Размышления натуралиста» В. И. Вернадского<sup>8</sup>, а также сочинение Г. З. Иоффе «Крах российской монархической контрреволюции» (М., «Наука», 1977).

<sup>8</sup> Вернадский В. И. Размышления натуралиста. Т. 1. М., «Наука», 1976.

У Иоффе использовано очень много эмигрантских источников; по сути дела, без них оно было бы невозможно. Из Вернадского сделаю обширные выписки; приходится сожалеть, что в свое время не смог ее купить. Редакционные примечания, сноски, а также купюры только доказывают, как прав был Вернадский, когда говорил о положении науки и ученого в государстве. Кроме того, примечания и сноски во многих случаях до смешного трусливы.

Виктор Б. уверял меня, что ливерная колбаса ныне переименована в «растительную» (58 и 60 копеек за килограмм). Сегодня впервые я попробовал пить кофейный напиток производства ростовского (ярославского). Состав: ячмень — 75 процентов, овес — 15 процентов, рожь — 10 процентов. Пить можно, но действия никакого. Пахнет зерном.

Мама по телефону говорит, что сердита на меня за письмо. За что? — удивляюсь я. За кур, говорит она. Я смеюсь: так ведь ничего страшного я не написал. Я же написал, что никто не печалится, что все веселятся. Но мама считает, что о таких вещах писать в письмах не следует.

В телевизионном варианте «Хождения по мукам» Деникин, Корнилов, Марков представлены даже уважительно, зато белые офицеры вышли сплошь мелкими, пошлыми людьми, озлобленными подонками. Творческая смелость В. Ордынского заключалась пока в том, что полностью было исполнено «Боже, царя храни». Дашу так часто показывают в ночной рубашке, что невольно задумываешься: так какую же часть кинорежиссуры мы наблюдаем эти ночные рубашки? В. Ордынский, предваряя фильм, сказал, что пытался прочесть роман как философское произведение. Конечно, его счастье, что он нашел в романе философский смысл. Но в фильме чересчур много уступок антифилософскому, антиисторическому, пошлому мышлению и вкусу.

Художественную выставку, открывшуюся недавно в городе и посвященную 60-летию Октября, решили украсить наскоро сделанным (автор не указан) панно, где изображен Председатель на фоне множества человеческих голов — митинга или демонстрации. В углу полотна надпись: «Это тот основной закон, которого мы так долго ждали».

Да, забыл, у Иоффе приводится такой разговор Николая II со своим врачом. Царь уже решил на отречение и дал приказ отправить телеграммы в ставку и Родзянке. (Это еще до приезда Шульгина и Милюкова.) В разговоре с врачом царь говорит, что будет теперь жить с сыном Алексеем (по манифесту именно Алексей объявлялся наследником, а регентом — Михаил, брат царя). Но в ответ слышит, что вряд ли правительство разрешит ему это и Алексею придется жить в семье Михаила. Царь крайне удивился и «решительно заявил, что он никогда не отдаст сына в руки супруги великого князя», и стал ее ругать. Психологически это возможное расставание с сыном стало доводом против отречения. Подействовало, видимо, и что-то другое. Но и это.

31.10.77.

Выпускающий «Северной правды» рассказывает, что ему дано редактором указание не допускать переносов фамилий Брежнева и Баландина (первого секретаря обкома). Вполне возможно, что инициатива в таком своеобразном поддержании авторитета власти принадлежит не редактору, а самому Баландину. В редакции хорошо знают, что этот человек чрезвычайно внимательно следит, каким шрифтом набрано его имя, на каком месте расположена его речь на полосе, насколько полно она дана. До Б. все общеполитические абзацы в речах сокращали до минимума, оставался конкретный, местный материал. Теперь же общеполитическая часть фактически не сокращается.

5.11.77.

Сообщили, что вчера Каррильо уехал из Москвы. Наши не дали ему выступить на торжествах. Все это в нашем государственном стиле. Они думают,

что это признак силы, могущества: что хотим, то и делаем; как поступим, то и правильно. На самом же деле запреты такого рода — признак слабости, неуверенности в себе.

Наш знакомый, вернувшись с очередной учебной сессии в Высшей партийной школе, рассказал, что слушателям партшколы теперь уже не продают в киоске (в вестибюле ЦК партии) журналов «Америка» и «Англия». Чтобы все-таки купить их, он просил об этом преподавателя.

«Неделя» перепечатала из «Комсомольца Кубани» очерк о кубанской крестьянке, посмертно награжденной орденом Отечественной войны первой степени <...> Один из ее сыновей был замучен и повешен в годы Гражданской войны, другой погиб под Халхин-Голом, шестеро не вернулись с фронта Великой Отечественной, и вот Николай умер последним. Когда автор очерка впервые увидел Е. Ф. Степанову, она жила в старом своем доме — мазанке с камышовой крышей, там же, где жила до войны и где росли ее мальчишки. Муж ее был одним из энтузиастов новой власти, и дети шли по его стопам, были комсомольцами, активистами, один успел стать учителем, другой — инструктором райкома, третий служил в армии. Т. е. это была семья, верой и правдой служившая новой власти. Вот я и думаю: что означает эта посмертная награда орденом (лет через десять после смерти), что означает дом-музей Степановых в Тимашевске, улица их имени, заложенный в честь Матери памятник? Какое же горе носила в себе эта старая женщина и есть ли слова в нашей речи, способные его выразить? И какое право имело государство взять на войну семерых сыновей из одного дома? И какой же безмерной кровью оплачено все то, что является сегодня нашей российской жизнью.

А писатели обдумывают роль и характер товарища Сталина — те же Стаднюк, Проскурин, наш Корнилов всё опасаются, что обидели, недооценили, возвели напраслину. И такое неустанное и давнее идет благодарение — всем начальственным лицам, что рядом с этой безостановочной хвалой, с этим океаном лести, — доброе слово народу, о народе, о той же несчастной матери едва слышно. И как оно опаздывает, такое слово. Трагедия семьи Степановых — трагедия народная; вот так плата, вот так взнос в победу и торжество. Была война для того же Сталина, война для какого-нибудь маршала и генерала, война для Алексея Толстого или Константина Симонова — и война для жителей Хатыни, для Януша Корчака, война для Е. Ф. Степановой, и еще многие другие войны, — какие же они могли быть чудовищно разными...

Вчера Тамара была на торжественном праздничном собрании во Дворце текстильщиков. Говорили, что там будут продавать хорошие книги, на самом же деле ничего для нас она не нашла <...> Жены начальства (т. е. секретарей) явились в панбархатных платьях, в таком же платье была и ткачиха Плетнева, уже многие годы сидящая только в президиумах. Старый (80-летний) большевик Хрящев пытался читать свою речь с помощью лупы, но ничего у него не получалось. Тогда Баландин, обратившись к нему на «ты», сказал, чтобы тот говорил без бумаги, но старик сбился и так с горем пополам и закончил свое выступление.

Секретарь горкома комсомола и гость из Болгарии, из города Самокова, начали свои выступления с обращения к Баландину («Дорогой Юрий Николаевич!») и лишь потом обращались к залу, в котором сидели тысяча двести человек. Это что-то новое в здешних торжественных процедурах, или я просто отстал. Когда в самом начале президиум вышел на сцену, то он долго стоял и аплодировал, и было такое ощущение, что президиум ждет, что зал в ответ тоже поднимется. Но зал оказался недостаточно воспитанным, обученным, и никто не поднялся.

Председательствовал на собрании второй секретарь Суслов, и все аплодисменты на протяжении собрания начинались с него. И аплодисментов было много, их вообще сейчас много, словно шум именно этого рода особен-

но поднимает самочувствие народных масс. Припоминаю рассказ кого-то из обкомовцев, как в начале своей здешней карьеры, явившись из недр цекковского аппарата, Баландин выразил неудовольствие тем, что, когда ему представляют слово, в зале нет аплодисментов. И тогда было решено, что инициативу должны проявлять члены бюро (они всегда сидят в президиуме). С тех пор и пошло. Разумеется, Баландин хлопотал о престиже первого секретаря. Но в этом случае аплодисменты должны вовсе не сообразовываться с возникающей на трибуне личностью, выходит, что личности вовсе может не быть, лишь бы было некое физическое тело на этом месте.

8.11.77.

Может, так было всегда? Жизни не хватает здоровья. И еще — достоинства и честности. Или надо сказать точнее: жизни общества, то есть всему, что не является частной жизнью. В частной жизни может происходить все, что угодно, но это чаще всего скрыто от глаз, и там свои законы. Да, жизни, обступающей человека и дом человека, не хватает здоровья, и никакой радости от того, что ты это чувствуешь, нет. Это скорее страшно. Нет здоровья — нет духовного и нравственного здоровья. И первый признак тому — ужасное обращение со словами. Бесцеремонное. Будто слова полые и не имеют своего давнего смысла и применять их можно как угодно, как заблагорассудится. Вот, например, говорят «великий человек», но слово — не орден, который можно прицепить на лацкан пиджака и никто не задумается, что он означает, слово требует подтверждения и не позволяет забывать о своем смысле. Те же, кто не беспокоится о «подтверждении», надеются на положение говорящего и провозглашающего: никто не посмеет, не дерзнет оспорить и перечить. По крайней мере сегодня не посмеет, а до завтра надо еще дожить.

Впрочем, все, наверное, проще: они привыкли, что все сходит с рук, что ответственность слова невелика или же ее вообще нет. И потому со словами можно делать все, что захочешь, все, что нужно. Безобидная была бы игра, но от слов страдают люди, миллионы людей. Конечно, человек вырабатывает иммунитет, возникают разного рода защитные реакции против пустых и плохо обеспеченных слов, и есть словарный запас, не поддающийся девальвации, и все-таки это печально и очень серьезно, когда слова легчают в весе и пусто гремят. Очень громко гремят.

Где взять силы, Ваша честь?..

10.11.77.

На днях из Вильнюса прислали октябрьскую книжку журнала (на литовском языке) «Пяргале» с переводом моей статьи о К. Воробьеве из «Нашего современника». В бандероль было вложено и очень доброе письмо редактора журнала Ю. Мацявичюса. Было и приятное известие (из «Дружбы народов») от Е. А. Мовчан о том, что статья о В. Семине принята без правки. Все это, конечно, помогает жить. Человек я не избалованный успехом <...>

13.11.77.

<...> секретаря областного Общества охраны памятников старины и культуры (женщина лет сорока с небольшим, жена архитектора Лени Васильева) заметили в церкви во время службы. Ей предложили подать заявление об уходе с работы по собственному желанию. Она сгоряча было согласилась, но наутро передумала и ничего не написала. Через несколько месяцев ей напомнили. Но она сказала, чтобы увольняли сами, если есть за что. На это начальство не пошло. Сейчас она продолжает работать. Прошли перевыборы, и она была оставлена в прежней должности. То ли не решились во всеуслышанье объявлять, за что ее желательно устранить, то ли были другие соображе-



ния. Изменилось лишь одно: раньше эта женщина показывала достопримечательности города гостям высокого ранга, теперь обходятся без нее.

Из статьи Р. Г. Скрынникова «Загадка древнего автографа» («Вопросы истории», 1977, № 9): князя Петра Шенятева «живьем зажарили на огромной сковороде», а казначей Фуников был живьем сварен в кипятке. Речь в статье идет о правке, внесенной в некоторые летописи времен Ивана Грозного; об авторстве этой правки. В некоторых случаях Скрынников делает вывод о «некомпетентном, властном вмешательстве высокопоставленного публициста в летописную работу».

У нас не любят аналогий, но без аналогий ничего нельзя понять в том, что происходит с людьми и государством, нельзя уяснить, что унаследовано и от кого и какие силы настойчиво на протяжении столетий пробиваются в этом пространстве и в этом этносе.

Сегодня в «Правде» на видном месте на второй полосе, где обычно размещаются материалы партийного отдела, статья зам. министра внешней торговли СССР Ю. Брежнева. В обзоре газет в девять утра сказали об опубликовании статьи Юрия Леонидовича Брежнева. Обычно в обзорах ни имени, ни отчества автора не называют — не принято. Но вот бьют исключения.

Уже больше недели, а может быть, и дольше в городе нет электрических лампочек <...> У нас в люстре из трех лампочек перегорели две. Так и сидим при включенной настольной лампе. Я шучу: чему удивляетесь? Все идет как нужно. Так было задумано.

15.11.77.

Сегодня еду в Москву: заседание критиков в «Нашем современнике». К тому же просят быть в издательстве «Современник». Лучше бы, конечно, никуда не ездить, да и от посещения издательства я не жду ничего хорошего.

Читал вчера вечером рукопись воспоминаний Л. Китициной «Материалы для биографии Василия Ивановича Смирнова (1882 — 1941)»<sup>9</sup> <...> Если будет время, некоторые страницы постараюсь перепечатать на память. Лишний раз убеждаешься, что более всего уважения заслуживает человек работающий, не служащий, не отбывающий номер, не зарабатывающий на кусок хлеба, а работающий с полной отдачей, знающий свое назначение и осуществляющий себя. Читал Китицину, ее очень сдержанный и благородный рассказ, где главное — факты и сведения, и был лишь прославленный, и она не дает ему воли, — и думал, как мало знает современный советский человек о том, как жила его страна в пред- и послереволюционные годы. О том думал, что и по литературе нашей, за редкими исключениями, о двадцатых — тридцатых годах истинного представления себе не сложишь. Вся надежда, что сохранятся такие вот документальные свидетельства и когда-нибудь состоится возвращение в канувшую эпоху и канувшим людям. Какой там материал, какая там бездна. Судьба юных краеведов братьев Вадима и Валерия Беляевых (костромичей), судьба чухломского краеведа Л. Казаринова, самого В. И. Смирнова — сколько горя, беды, сколько стойкости, сколько правды о времени и о человеке в его тисках.

Я часто употреблял в статьях выражение «жизнь большинства» или просто «большинство». Сегодня вычитал, что это выражение употребил Достоевский, говоря о жизни, остающейся вне пределов романов Тургенева, Гончарова, Толстого. Изменилось, пожалуй, за это время содержание того, что можно было бы назвать меньшинством. Но смысл расхождения и несовпадения остался, по сути, прежним <...> тут не сословный признак важен, для меня жизнь того же В. И. Смирнова, Л. Казаринова и многих-многих других, едва ли не всех, упомянутых в этой книге, т. е. рукописи, и есть жизнь

<sup>9</sup> Смирнов В. И. — председатель Костромского научного общества по изучению местного края, в 30-х годах репрессирован, погиб в лагерях.

большинства, тоже жизнь большинства. Когда говорят о «толще» жизни, имея в виду жизнь человеческих множеств, то не преувеличивают. Жизнь и вправду многослойна, но ее «толща» расширяется к основанию, как пирамида. Если же сравнивать течение жизни с течением реки, то к «большинству» можно было бы отнести самые медленные, глубинные, то есть самые независимые от поверхностных изменений слои.

Сравнивать бытие разных слоев — значит обнаружить разные миры, разные языки, разные нравственные ценности. Но самое печальное, самое страшное в этом несовпадении, что не-большинству выгодно придумывать и навязывать всем остальным, настоящему и будущему, свое обозначение и объяснение событий и людей, свое истолкование исторического процесса. То, что не выгодно, в расчет не берется; то, что еще хранит частная, отдельная память (той же Китициной или Неймарка, бывшего посыльного при советском посольстве во Франции в 20-е годы; по моему совету он сдал свои воспоминания в архив, а какую-то их часть мы напечатали в «Северной правде»; вскоре он умер — старый, одинокий еврей), не становится общей памятью. И еще мучает: сколь же мала и незащищена отдельная человеческая жизнь, сколько охотников на свете ею распорядиться, ею управлять, ею манипулировать, и при этом с чувством своей правоты, своего превосходства, своего могущества, которое не знает предела. Они ведут себя так, словно замышляют на земле самого Бога. Не Бога, а дьявола.

Вчера же начал свой спецсеминар по современной прозе на четвертом курсе пединститута. По средам же буду читать спецкурс по той же прозе и еще критике. Это то же самое, что я делал в прошлом учебном году. В октябре, т. е. недавно, я прочел лекций восемь на пионерском факультете. Может быть, к случаю я запишу некоторые впечатления о студентах. Сейчас же я вспомнил об этих лекциях потому, что удивила небрежная организация занятий на этом факультете. Переносы, перемены в расписании там производятся без согласования с преподавателями; во всяком случае — со мной. А когда я пришел на очередную лекцию, оказалось, что студенты отбыли на месячную практику. И заплатить за лекции тоже не позаботились. Деньги там маленькие, но из приличия хотя бы стоило им позаботиться. За них это сделал Ю. Лебедев, зная, что я об этом сам хлопотать не стану.

Вообще же эта запись вызвана тем, что занятия я вчера проводил не в аудитории, а на кафедре литературы, где-то в дальнем и глухом коридоре опустевшего полутемного здания. И было там очень уж неудобно, словно сидишь на приставном стуле, и даже подумалось: вот удобное место, чтобы скрытно поставить магнитофон и записывать, что этот давно примененный нами тип говорит неискушенным студентам. К тому же, едва я начал, зашла какая-то женщина и попросила разрешения что-то взять в своем столе и рылась там. Попросила разрешения — это, конечно, не совсем точно. Она просто сказала, что возьмет нужное ей. Скорей всего, это — мои домыслы, работа уставшего за день, раздосадованного воображения, но и то, что оно склонно работать в этом именно направлении, — тоже показательно. Сколько же этих разговоров о подслушивании происходит в нашей среде, и не потому, что от страха глаза велики, а от будничной уверенности, что все подобное возможно, и если этого нет, то от нехватки аппаратов, от нехватки средств — на всех не напасешься. Во всяком случае, приходится иметь в виду и такой вариант... просто знаю, что все зависит от интерпретации. Просто я приучен к тому (читали же наши письма), что гарантий не существует, и это очень будничная мысль, элементарная<sup>10</sup>.

<sup>10</sup> Борис Вайль 9 февраля 1993 года писал И. Дедкову из Копенгагена: «Читали ли Вы мемуары А. Гидони — вышли в Канаде лет 15 назад, — где, в частности, и о Вас (автор получал задания стучать на Вас в Костроме, а вот стучал ли — насколько я помню, — не признается)».

А. Гидони в 70-е годы преподавал в Костромском пединституте им. Н. А. Некрасова, выехал на Запад.

20.11.77.

Вчера около двенадцати ночи вернулся автобусом из Москвы. Шестнадцатого заседали в «Нашем современнике»: члены редколлегии и авторы критического отдела. В тот же день ездил в издательство («Современник») <...> Восемнадцатого встречался с Л. Лавлинским (накануне он разыскал меня на Волгоградском по телефону). Он назвал вакантные должности: заведующего отделом русской прозы и ответственного секретаря, намекнул, что в перспективе он мог бы предложить мне пост заместителя редактора <...>

Я припомнил все прежние случаи, когда что-то грозило перемениться: разговоры (в том числе и с редактором Войтеховым) о переходе в «РТ»; направление на учебу в Академию общественных наук (от которого я отказался); предложение работать в «Правде» и беседу с Н. Потаповым (я послал письмо с отказом, хотя тогда-то квартира была бы обеспечена); предложение ехать в Прагу в журнал «Проблемы мира и социализма», беседу с К. Зародовым (и неясное по мотивам отклонение моей кандидатуры в инстанции, оставшейся неизвестной; О. Лацис утверждает, что повинен обком партии, давший не ту характеристику моей личности, я же до сих пор не знаю, так ли это)<sup>11</sup>; предложение заведовать отделом в журнале «Журналист» (правда, без квартиры, через обмен жилплощадью), предложение устроить меня в «Московскую правду» к Спиридонову чуть ли не заместителем редактора (исходило от Лени Кравченко, работавшего тогда инструктором ЦК партии; Спиридонов же — бывший секретарь вузкома комсомола МГУ, который меня знал по пятьдесят шестому году, да и я его припоминаю); предложение С. Викулова заведовать критикой в его журнале (пресеклось где-то на уровне С. Михалкова или Ю. Бондарева, для которого я сижу «на двух стульях»; а может, пресеклось где и ниже). Все ли перечислил — уж не помню, да не в том суть. А в том, что все это было, и не раз, и нет во всем этом ничего серьезного. Все пустое. Было бы за чем ехать, давно бы уехал.

22.11.77.

Все-таки в «Нашем современнике» я чужой или получужой. Леня Фролов после заседания говорит мне: «Жаль, разговор скомкали. Ребята собираются (т. е. вокруг журнала) хорошие, умные». А я в ответ что-то пробормотал ему насчет того, что странные все-таки эти заседания и не знаешь, что и как говорить и насколько подробно. Вежливый я, однако, человек и не могу огорчить человека, который доброжелателен ко мне и не раз это доказывал. А потом я шел по Новому Арбату и думал, что мало хорошего в тех ребятах, во всяком случае в их речах. В отличие от меня, они прекрасно понимали, где выступают и чего от них ждут.

Лариса Б. вернулась на работу в архив. На собрании секретарь парторганизации рассказывала о том, как была оценена колонна демонстрантов-архивистов на празднике 7 ноября. В обкоме были сделаны такие упреки: когда был провозглашен с трибуны лозунг в честь архивистов, колонна откликнулась недружно и слабо; во-вторых, очень низко несли плакаты и портреты.

Виктор рассказывал о некоем человеке, который пошел работать начальником какой-то конторы, но карьера его не удалась, потому что без особых на то оснований его из Степана Ивановича переделала народная молва в Станкана Ивановича и он ничего не мог с этой молвой поделать.

<sup>11</sup> Как стало известно в последнее время, зам. зав. Отделом ЦК КПСС по работе с заграничными кадрами и выездам за границу в те годы А. К. Долуда заявил представителям Костромского обкома партии: Дедкова выпустить не можем. Знаете ли вы его историю в МГУ?

Долуда пришел в ЦК КПСС из КГБ, был в охране Н. С. Хрущева.

Редактор журнала «Свободная мысль» Н. Б. Биккенин в послесловии к посмертно изданной книге Дедкова «Любить? Ненавидеть? Что еще?» вспоминает: «Хотя на дворе был второй год перестройки, для его (Дедкова. — Т. Д.) работы в журнале «Коммунист» потребовалась санкция М. Горбачева».

25.11.77.

«Сов. писатель» дал отсрочку до 1 февраля, а работы у меня еще много, хотя я не ленюсь и спешу. Дни стоят теплые и мокрые, и зима, должно быть, будет лютая. Вчера по телевидению был фильм о Шкловском «Жили-были»; слава Богу, догадались снять старика, прежде чем канет, — ни голоса, ни улыбки. Такие передачи — редкость; видеть живого человека, думающего, вспоминающего при нас, смеющегося довольно, когда удастся сказать точно и метко, рассуждающего так, как он привык и может и считает нужным. И мелькнул даже портрет Мандельштама, и прочел Виктор Борисович несколько строк. Я часто думаю: какие богатства нашей культуры под спудом, какие люди — хранители и преумножатели культуры скрыты от глаз и какие уважаемые манекены болтают перед телевизионными камерами о большой политике, прикидываясь, что говорят умное и свое. Шкловский сказал, что искусство нетерпеливо, но несколькими минутами раньше призвал к терпеливости: вот Горький в голодные годы составлял проспект издания лучших произведений мировой литературы, а дождался мы этого издания через пятьдесят лет. Что ж, мы чересчур терпеливы, всё ждем и ждем и привыкаем ждать, и ожиданье оказывается нашей национальной добродетелью. И вот на радость промелькнул портрет Мандельштама, вот однажды издали его стихи, вот мелькнула сегодня статья в «Правде» к 90-летию Н. И. Вавилова. Никто не несет ответственности за то, что их давно нет. Никто не виноват. Издержки производства.

1.12.77.

Зима началась позавчера. До этого было тепло. Чересчур тепло. Сегодня уже морозно, скрипит снег, тянет дымком. Двадцать девятого было партсобрание. Корнилов объяснял нам устройство жизни: что, отчего, почему. Он может объяснить что угодно. В частности, он сказал, что американцы еще в шестидесятые годы научились управлять климатом, и очень ясно намекнул нам, что все засухи и несуразности в погоде последних лет связаны с империалистическими происками. Я слушал оторопело.

9.12.77.

Приехал И. Сапов из Москвы, где был на выставке «Интерпресс» и ее обсуждении. Рассказывал, что на многих фотографиях представлен наш Председатель. На обсуждении с докладом выступал Гаранин и говорил, что после развенчивания культа личности советская фотография пошла в гору или что-то в этом роде. И тут Сапов не выдержал и с места выкрикнул: «После которого культа?» И разразился общий смех. Гаранин немного смешался, но объяснил, что имел в виду известное постановление и т. д. Сапов рассказывал и посмеивался: думал, говорит, прямо с заседания отведут куда следует.

Он же вечером, накануне похорон Василевского, у Охотного ряда видел, как репетировалась вся процедура похорон: маршировал эскорт, ехал лафет, т. е. бронетранспортер с лафетом (так, что ли?), и засекалось время.

Редактор «СП», этот бледно-розовый иезуит, говорил на редколлегий о происках церковников. О том, что когда руководство (возможно, редактор был в числе) явилось в театр на похороны А. А. Образцова, главного режиссера, то увидело на крышке гроба большой крест. И тогда, сказал редактор, гражданскую панихиду отменили. Вот что значит в наши дни всемогущее руководство. Везде наш пострел — успел. Кстати, Алексей Алексеевич, судя по его речам в театре, по единственному спектаклю, который я видел, был, что называется, большевиком. И крест этот — или знак предсмертной сдачи, или просто воля родни. Впрочем, жена у него была еврейка.

И. Ф. Клевицкий (начальник облкниготорга) рассказывал мне сегодня о том, как допекают его всякие начальники из-за книг. В том числе секретари

обкома. Я говорю Клеевицкому: так они же получают списки новых книг и нужно только вовремя поставить галочки и отослать. Списки-то они получают, сказал Клеевицкий, но галочки часто ставят не там, где нужно, а потом, про слышав, начинают хлопотать. Тупиченков, к примеру, чтоб ничего не упустить, отдает теперь этот список в свой отдел (агитации и пропаганды), и там дружным умом ставят галочки. А как-то позвонил второй секретарь К. И. Суслов и попросил достать «пять Пикулей» (имеется в виду сборник исторических рассказов Пикуля). Когда же председатель облисполкома К. И. Донцов обнаружил, что когда-то, лет десять, а то и больше назад, он не выкупил какого-то тома какого-то издания, то дал Клеевицкому машину и отправил его в Москву на добывание недостающего тома. Клеевицкий сделал все, что мог, но не добыл. А чтобы убедить Донцова в серьезности своих усилий, он привез официальный ответ от какого-то крупного книготоргового начальника, что достать этот том сейчас не представляется возможным. Клеевицкий жаловался, что все дела теперь приходится устраивать с помощью книг и преподносить книги строителям, автотранспортникам и т. д. Да и в Москву, сказал, приходится возить книги, чему я удивился, а он только подтвердил, что приходится, причем, как я понял, собственному начальству.

Молва о том, как пьют: привезли, говорят, в сельский магазин двадцать ящиков водки, пришли двадцать мужиков и купили по ящику, а когда прибежал двадцать первый, ему не досталось ни бутылки.

Другая молва: запас сахара в стране должен быть трехгодичный, но у нас якобы, после повышения цен на водку, он сократился до одногодичного, так как усиленно гонят самогон <...>

Сегодня шли из института вместе с Юрой Лебедевым. Разговаривали на вечную тему: что будет дальше? Я сказал, что русская интеллигенция еще сто лет будет перетирать веревки.

На обложку новой книги Евтушенко («В полный рост», М., 1977) вынесены слова: «С нас многое спросится эпохой и вечностью. Мы — первая просека всего человечества». Они произносятся поэтом с гордостью, торжественно. Но просека — это коридор, прорубленный в лесу. Если исходить из сравнения с просекой, то выходит нечто отталкивающее: то ли «мы» прорубали «просеку» в человечестве, уничтожая (вырубая) какую-то его часть, то ли «мы» прорубили «просеку» в своем народе, и то и другое — чудовишно. Осталось «просеками» разделить человечество на «квадраты» и установить надежную охрану: пушить «объездчиков».

18.12.77.

Кажется, позавчера западное радио сообщило о смерти в Париже Александра Галича.

Опять тепло, середина декабря, а температура плюс один.

Печаль, что время спешит. Художники — как птички, слетающие с ветвей на ладони власти, которая подкармливает, и чувствительно вздыхает, и умиляется. А потом ладонь сжимается — хватать.

22.12.77.

В редакции услышали «туркменскую» поговорку: годы подъема дают много героев, годы упадка — много начальства. В диетическом магазине, где не было ни творога, ни сливочного масла, раздраженный немолодой мужчина обронил: «Не по Ленке шапка». <...> На областном собрании физкультурного актива представители из районов говорили о том, что нельзя ждать никаких результатов от штангистов, потому что спортсмен в районе, даже в областном центре, не может поддерживать необходимый режим питания. Все запасы пищи, которые я привез из Москвы, закончились; осталось немного корейки. Я понимаю, что все это можно стерпеть. Когда Слава Сапогов огорчился, увидев в продаже только синие лампочки (у него уже в комнатах

темно), я ему сказал: «А ты не огорчайся, ты смейся, потому что, может быть, так и было задумано».

Во время шестинедельной забастовки английских пожарников погибло в огне четверо детей. Пожарников заменяли солдаты, и они не смогли спасти этих детей. Конечно, это случайность, но борьба этих пожарных за повышение зарплаты оказалась ничтожной в сравнении с происшедшей трагедией. Тут даже знак какой-то есть; через детей в мире налагается запрет на многие вещи, и люди, переступающие его, не оправдываются.

28.12.77.

Сегодня я понял, что, возможно, написал бы совсем хорошую работу о Быкове, если бы переписал ее еще дважды. Теперь же я должен завершить ее, переписав один раз. Конечно, я надеюсь написать хорошо, иначе не стоило браться. Но из-за этой работы душа все время в напряжении, легкости в жизни нет.

Близок Новый год. Сегодня подумал о том, что жизнь мимолетна и нам только кажется, что нам повезло больше, чем бабочкам-однодневкам. <...>

Приближение праздника чувствуется во всем: несут елки, в пять вечера на улице выстраивается очередь за маслом, по конторам (служащим) продают мясо по килограмму, низшей категории. Значение пролетариата как авангарда сказывается в том, что рабочим выдают тот же килограмм, но двухрублевой. <...>

Кажется, восстанавливаются наши отношения с Оскоцким. Я на самом деле виноват перед ним: и о книге его не написал, и письмо весной дурацкое ему послал. Что кривить душой: весь этот популярный ныне антисемитизм мне абсолютно чужд, а я в письме, словно дразня, обронил несколько сочувственных слов о Селезневе, хотя, когда гуляли у «Волгаря»<sup>12</sup>, весь разговор Селезнева и Машовца крутился вокруг происков сионизма. Больше разговаривать было не о чем. Что винить себя нам, русским, поищем козла отпущения на стороне. Тем более, что это вполне безопасное занятие и при случае премией Ленинского комсомола не обойдут.

Вот разговор о «еврейском вопросе» в Ясной Поляне, о котором рассказывал Иван Наживин («Русская мысль», 1910, № 12, с. 112):

«Врач Льва Николаевича Д. П. Маковицкий подметил, что русская передовая пресса усиленно избегает говорить дурно о евреях, замалчивает даже и заведомые недостатки; это неприятно удивляло его.

— Это очень понятно... — сказал я. — Кроме общего гнета, евреи у нас в России терпят еще гнет специальный, и поэтому со стороны прессы понятна эта деликатность по отношению к ним. Это очень благородно.

— Конечно, — согласился Лев Николаевич. — Побитого не бьют...

— Из ваших слов, — заметил я д-ру Маковицкому, — я вижу, что для вас существует так называемый еврейский вопрос. В чем же его сущность?

— В грубом эгоизме евреев.

— Как же бороться с этим?

— Средство одно: всюду и везде противопоставлять им мягкость и свет христианской жизни...

И Лев Николаевич, и я не могли удержаться от смеха.

— Согласны... Согласны!.. Только не одним еврейским эгоистам, а всем, всем эгоистам!..»

Перелистывал «Русскую мысль» (читал о Толстом) и думал: вот был же возможен такой журнал большого объема и самого серьезного направления. Теперь такой журнал непозволителен; подобного отклонения от стержня партийной политики, близкого отклонению «Русской мысли» от тогдашнего официального стержня, никто сейчас не допустит. Им страшно.

<sup>12</sup> В молодежном лагере «Волгарь», близ Костромы, состоялось Всероссийское совещание молодых писателей.

Читал статью Э. Ренана «Несколько слов о состоянии умов в 1849 г.» (Собр. соч. в 12-ти томах. Т. 4, стр. 78), где очень отчетлива мысль о том, что свобода не является условием активной духовной деятельности человека, его борьбы. «Истинная идея не требует позволения, она мало заботится о том, признается ли ее право или нет. Христианство не нуждалось ни в свободе печати, ни в свободе собраний, чтобы покорить мир...» «На силу интеллектуального развития не оказывают большого влияния ни благосостояние, ни даже свобода, а только вид великих событий, всеобъемлющая деятельность, страсти, развиваемые борьбой. Духовная деятельность будет находиться в серьезной опасности только тогда, когда человечество будет жить в слишком большом довольстве. Но нам нечего бояться, что это время близко от нас!»

31.12.77.

Нельзя осуждать тех, кто рисковал (Радищев, декабристы, народовольцы и т. д.), если ты сам не рисковал. Осуждать как заблуждающихся, недалеких фанатиков. О действующих уместнее (нравственнее) рассуждать действующим, а не умствующим. То есть оценивать можно, но тут есть грань; только отдавая должное, с уважением, иначе будет ложь: всегда можно подумать, что ты оправдываешь свою слабость, свой страх.

(За чтением книги М. Гилленсона «От арзамасского братства к пушкинскому кругу писателей», Л., 1977, где речь, в частности, идет об отношении к Радищеву — Дашковой, Пушкина. Поразительно, как много неприязни у Дашковой к Ушакову, герою первой книги Радищева, — причем раздраженно-мелкой.)

14.1.78.

Вечером первого января я получил повестку, приглашающую завтра в военкомат. Некоторые из моих товарищей по начавшимся третьего числа очередным сборам говорили, что получили повестки тридцать первого. Я подумал о том, что в этих повестках был своего рода знак: мы о вас не забываем, не заноситесь, стоит нам захотеть — и вы в наших руках. Подумал же кто-то, чтобы повестки пришли к людям в праздник. Никто никогда не ждет от повесток хорошего; словно нарочно хотели омрачить наши души.

Сегодня я наконец отмаялся: так называемые сборы офицеров запаса — командиров мотострелковых рот — закончились. Занятия проходили в расположении десантного полка. Рассчитаны они были на одиннадцать дней. Первый же день показал, что сборы были подготовлены плохо. В полку до нас никому не было дела. Так называемые лекции, которые нам «читали» офицеры по должности не выше командира роты, в двадцать — тридцать минут умещались и состояли из беглых сведений об оружии (новом), о десантировании и проч. Старшие лейтенанты, как правило симпатичные ребята, смущались и говорили вначале что-нибудь в таком роде: «Мне только что сказали прочитать вам лекцию, и я не смог специально подготовиться, у меня, конечно, есть конспекты (показывает), по которым я выступаю перед солдатами. Но может быть, будет лучше, если вы зададите вопросы?» Но и таких «лекций» было всего три. Обычно мы уходили домой, отсидев в полковом клубе большую часть времени в ожидании очередного оратора, в половине шестого. Однажды мы ушли вообще никого не дождавись.

Однако человек, порадовавший нас повестками под Новый год, не дремал. Начальник третьей части военкомата майор Шалаев целую неделю являлся в полк сам и пытался хоть чем-нибудь нас занять. Когда «лекторов» больше не нашлось, он затеял соревнования по одеванию противогаза, чтобы мы укладывались в норматив: семь секунд. И вот господа офицеры запаса (от лейтенанта до капитана) в возрасте от тридцати с лишним до пятидесяти (старшие инженеры, директора предприятий, заместители директоров, препо-

даватели вузов, музыканты и один рабочий — немолодой грузчик из магазина «Универсам», являвшийся каждый раз с бутылкой за пазухой, — он охотно ее демонстрировал) впопыхах натягивали на себя эти резиновые маски, чтобы получить в журнале майора какую-нибудь оценку. Один из нас — человек лет пятидесяти — ухитрился маску порвать. Вывозил нас майор и на стрельбы (это всегда наиболее организованная часть сборов) в Песочное. Из пулемета я попал в одну мишень из трех, из пистолета — промазал.

Кто хотел, настролялся вдоволь: патронов было взято на тридцать два человека, таков был первоначальный состав группы, но ходило нас человек двадцать, — майор сказал, что патроны нужно израсходовать все. Ну и расходовали.

Сегодня нам на плацу показывали технику и вооружение полка, а вчера майор придумал для нас прогулку: сопровождаемые отделением солдат и двумя лейтенантами, мы пошагали в лесок за ипподромом, где обычно гоняют мотоциклисты, и там «отрабатывали» развертывание роты с марша при соприкосновении с противником. Третий из нас была в валенках, остальные в ботинках. И вот, разделенные на три взвода, мы развертывались в цепь в глубоком снегу. Дважды. Майор был одет, сообразно задаче, в удобный комбинезон. Я вернулся домой промочив ноги и с мокрыми до колен брюками. Не в том дело, что боялся простуды или в тягость была вся эта прогулка. Плохо, что все сборы от начала до конца носили формальный, символический характер; основное в них — напоминание людям, что они подвластны могучей надличной силе, которая вправе ими распоряжаться как захочет. Захочет — и погонит через поле, через глубокий снег — без смысла, без пользы; не надеялся же майор обучить нас по-солдатски рассыпаться в цепь в два приема; да и не думал же он, что это такая хитрая премудрость, что мы ее, случись нужда, не освоим тотчас. Но ведь был, должно быть, у него и такой интерес: как же, уважаемые, солидные люди, образованные, многоопытные, а вот повинуются, бегут, даже стараются, никто не задает неотразимого вопроса: зачем все это?

<...> И еще о военных делах. Нам показывали новые автоматы и ручные пулеметы с уменьшенным калибром пули. Эта пуля замечательна тем, что если она попадет в человека выше колена, то смертность от попадания — 90 процентов. Якобы в полку уже узнали ее действия. На учениях молодой солдат прострелил себе ногу и скончался. Эта прекрасная пуля, входя в ткани тела, начинает кувыркаться, и сквозная рана уже невозможна. «Если смерти, то мгновенной, если раны — небольшой», — припомнил наш майор и сказал, что песенка устарела. Рассказывали нам и о том, как во время маневров в Средней Азии, в жуткую жару, погибли от теплового удара два солдата полка — крепкие парни, разрядники. Это, как пояснил нам все тот же майор, — предусмотренный процент потерь, неизбежный для армии. Но можно думать об этих смертях и с другого конца — думать об этих оборванных бессмысленно жизнях, о матерях и невестах этих молодых людей. Вот бы майор представил своего сына в «предусмотренном проценте». А он, кажется, готовит сына к военной доле: таскал этого мальчика-первоклассника на стрельбы и рассказывал, как сын у него тренируется стрелять из пушечки по игрушечному самодвижущемуся парку. Желал бы я этому сыну, чтобы он возненавидел всю эту военную забаву.

Все идет своим чередом. Стасик<sup>13</sup>, воспроизведя настроения, распространенные в кожиновском кругу, говорил, что царь, видимо, необходим России. Что осталось делать бедным русским умам — все перебрать, во всем разочароваться и вернуться к убогой мысли о самодержавии. На здоровье. Пусть тешат себя. Эта идея никогда не возродится в народе, она противоестественна, и интеллигентские умы — единственное место, где она может обсуждаться.

<sup>13</sup> Стасик — Лесневский С. С., литературный критик, литературовед.



<Без даты.>

Захваченная страна; сословие захватчиков; партия захватчиков; если «рабы не мы», то кто же?

Бедный человек, бедный русский человек, такая короткая жизнь — и уже оприходована: изведут на дело.

Упирайтесь, красные кирпичи великой стройки, выпадайте из ихних рук в мягкую житейскую грязь.

Господи, как прекрасно небо, волна, кленовый лист, лицо сына, взгляд жены, тропа в лесу, ночь за письменным столом,

Господи, как прекрасны мгновенья свободы и любви,

продлитесь,

продлитесь,

растянем кольцо ошейника, выплюнем сахар, сжует намордник,

положим на рельс виляющий хвост,

сбросим с плеча сосновую иголку и комариное крыло, это уже не наш дом.

23.4.78.

Была пустая или полупустая неделя. Два дня ушло на семинары т. н. областного совещания литераторов. Да еще трижды выступал с лекциями: в областной библиотеке, в школе, на всесоюзном семинаре профсоюзных школьных работников. Все требует трат: времени, нервов, прочего. И отказаться по разным причинам было нельзя, т. е. неудобно.

С возрастом время физически ощутимее и дороже. Впрочем, слово «дороже» бессильно выразить то, что за ним. И «ощутимость» — это не совсем то, что можно было бы определить как ускользание жизни, сокращение шагреновой кожи. Это какая-то возрастающая скорость движения времени. Когда сижу за столом, то со страхом оглядываюсь на часы: еще прошло полчаса, еще час и еще час. И так мало сделано!

Очень горько бывает оттого, что много времени прожито вполсилы, нам просто не дали и не дают жить в полную меру своих возможностей. Они не нужны тем, кто держит в своих руках власть. Могущество же этой власти ни с чем не сравнимо; ей все подконтрольно, она проникла повсюду и все подчинила себе, в том числе и закон. Все недостаточно ей послушное оттеснено и отграничено и ходу не получит. Впрочем, это давно понято, пережито, и послушание в нас не возрастет. Ничего уже не переменишь; выбор непослушания и отказа от карьеры был сделан сознательно. Плохо, что нереализованными остаются возможности множества людей; можно сказать — народа... Боже, не оставь моих мальчиков, помоги им.

9 мая.

Сегодня пришла весть об убийстве Альдо Моро. Это дело рук террористов из т. н. «красных бригад». Вот какой дальний красный отблеск — «красные бригады», «красная армия» (ФРГ) — у нашего «красного дела». Руководители многих государств выступили с резким осуждением этого убийства. Сомневаюсь, чтобы подобного рода заявление было сделано нашей страной. Притязая быть ведущей нравственной силой в мире («ум, совесть и честь нашей эпохи»), наше государство избегает нравственных, моральных оценок; это откровенный прагматизм, преисполненный корысти.

Каждый день радио и телевидение передают отчеты о проходящих по всей стране читательских конференциях и «идеологических активах» по книгам «Малая земля» и «Возрождение». На этих заседаниях выступают партийные руководители соответствующего масштаба: от секретарей райкомов до секретарей Цека. В Костроме на это обсуждение были собраны все секретари райкомов области и города и прочие из того же круга. Едва отсеялись (а может быть, не все еще и отсеялись), как вызвали всех — и уселись расхвали-

вать ценнейшие произведения. Докладчик сказал, что сие — вклад в мировую литературу. Сидящие в зале разговаривали, читали газеты и книги. Если судить по теленовостям, то нет у нашего народа в последний месяц более важного дела, чем безудержная хвала, хуже того — безумная хвала, сочинениям и их автору. Ю. Каюров читает по радио главы из этих сочинений. Очень старается. (Да, конференция в Костроме названа была научно-практической.)

Будучи премьер-министром, Альдо Моро читал курс уголовного права в Римском университете; у нас это кажется немислимым.

Вчера вечером у нас в гостях была Э. А. Лазаревич, заведующая кафедрой техники печати и еще чего-то факультета журналистики. Она приезжала с туристской группой на автобусе. Вспоминали, что могли... Элеонора Анатольевна говорила, какой я был бескорыстный и чистый тогда, в пятьдесят седьмом; она удивлялась, как долго помнят мне это бескорыстие. Наивное удивление.

Прочел «Неуемный бубен» А. Ремизова, чрезвычайно упрощенно истолкованный Ю. Андреевым в предисловии. Герой повести Стратилатов жил подле церкви Всех Святых. Вчера Виктор рассказывал (он читал дело в архиве) о том, как в начале тридцатых (1932?) разрушили эту церковь, обыденный храм. Секретарь горкома комсомола объявил тот день — Днем борьбы с Богом. Собрались люди, верующие. Секретарь с активистами забрался под купол, сказал оттуда речь о том, что Бога нет, и в подтверждение дважды плюнул в небо, и мир не пошатнулся. Но когда стали подпиливать колонны, чтобы скovyрнуть купол, в чем-то ошиблись, и купол осел и придавил двух героев. Один погиб тотчас, а секретаря горкома прихватило наполовину, защемило полтуловища. Примчавшиеся пожарники пытались его спасти, но не смогли высвободить — хоть рви тело. Тогда разогнали толпу, а несчастный каялся и просил у людей и у Бога прощения, да так и умер. Дело же было заведено на предмет изучения причин гибели: не было ли тут диверсии, не подпилил ли кто те столбы заранее. Эта церковь снесена была до основания — там теперь голое место, что-то вроде спортивной площадки.

19.5.78.

Дошло известие о смерти Виталия Семина «за рабочим столом» (некролог в «Лит. газете»). Трудно было поверить (глаза не поверили), да некуда деться. Заплакал, ходил по комнате, ругался, побежал давать телеграмму. Все непрочно, тонок лед под ногами; ты жив — значит, прав, вот и вся мудрость; написали вслед, какой он был хороший писатель. А ведь его война (и фашизм) дотянулись и забрали. И Лукины руку приложили.

В Костроме большой переполох: белят, красят, метут, подмазывают, разрушают и ставят заборы, латают асфальт. Видел высокий новый забор вокруг старого сарая с поленницами. Поглядел сбоку, а там, за забором, скамеечка и сидит старушка.

В понедельник приедет Косыгин вручать орден Костроме, оттого столько усердия. И деньги ведь сразу нашлись для всех этих побелок и латок. Шел сегодня по нашей улице, маляр красит забор у ветхого дома, и рядом стоит бабка и говорит, что в доме перекрытия ветхие, а маляр отвечает: вот проедут, увидят, что вокруг чисто, и больше ничего не будет, не жди.

Купил книжку стихов Кшиштофа Бачинского (перевод с польского). Родился в 1921, погиб в Варшавском восстании в 1944. Женился в сорок втором; его жена погибла в те же дни, похоронены в одной могиле. Трагические судьбы этого рода сильно действуют на меня. Тем более, что это судьба талантливого поэта. Я чувствую в такой судьбе что-то истинное; мы лишены этого истинного; торжествует умственность, отказ совместить твор-

чество с жизнью, то есть трусость, слабость, безумные успехи в самооправдании.

Написал об Овечкине для Воронежа<sup>14</sup>. Когда-то Мартынов<sup>15</sup> произвел на меня большое впечатление. В том, что точнее всего назвать «грезами» (это не мечты; мечты еще могут сбыться, грезы — никогда), я представлял себя таким Мартыновым после окончания университета: такая была жажда практического дела и перемен, достигаемых с твоей помощью.

#### 4.6.78.

Завтра тот перенесенный понедельник; утром прилетает Косыгин. <...>

Улицу Калиновскую какие-то безумцы выкрасили в бледно-желтый цвет, или, прошу прощения, в цвет детского поноса, как шутят шутники; выкрасили подряд все заборы и многие дома. Выглядело это ужасно — какая-то замазанная, забрызганная желтым улица, словно это какая-то единая казарма или концлагерь. Тем более, что улица эта одноэтажная, деревянная, полудеревенская, скучная, пропыленная. Вчера-позавчера улицу перекрашивали. Организована же вся раскраска-перекраска города так: распределили улицы, по которым пролегает маршрут Высокого лица, между предприятиями и сказали: красьте. Естественно, все было сделано, не без глупостей, но сделано. Работали на улицах и солдаты.

Уже сегодня можно было видеть, как пронесился по улицам черный «ЗИМ» с занавесками, опережаемый двумя желтыми автомашинами ГАИ, откуда неся окрик: «На обочину!» Возможно, этот помощник премьера обследовал объекты. Все это похоже на спектакль, и театра вокруг так много, что пора вроде бы и привыкнуть, но и в этом театре хочется видеть более талантливых исполнителей.

Две недели назад, в субботу, Корнилов устроил встречу председателя обл-исполкома Донцова с писателями. Донцов приехал к двум часам, пили чай с лимоном и печеньем, он говорил, мы слушали, кто хотел — задавал вопросы. Я сидел молча. Донцов держался естественно, просто, он из тех, кто знает — и чувствует, — как себя держать. Толкуя о производстве молока, Донцов увлеченно говорил о том, что соски у коров «бывают различные, как по объемности, так и по выпуклости». Это, мол, представляет затруднение для машинного доения. Говорил о том, что нередко возникает «стрессовая обстановка для скота»...

Раскладка сил итоговая такая: вот видите, как много, толково мы, руководители, работаем, помогайте же нам, пишите о том же и том же. Так бывает: человек скромн, уважителен, но излучает всезнайство — он знает все необходимые решения, его ничем не удивишь. Разве что у таких решений чересчур абстрактный характер, логически-самоуверенный. Все-то они знают, это такое разделение труда; они знают и руководят не терпя прекословия; остальные должны послушно подчиняться. Не трогайте этих людей за живое! — иначе они вмиг забудут о своем демократизме и простоте, они тотчас укажут нам наше место — так, чтобы всю жизнь мы помнили, что однажды на свою голову посмели... Вот ведь герои власти... Все время приходит, не дает покоя годами мысль: почему они так боятся — в своей стране, на своей земле, своего народа? Отчего так быстро носятся по улицам? Зачем огораживают трибуну в дни праздников шеренгой офицеров госбезопасности? Отчего так болезненно нетерпимо воспринимают мысль других? Отчего так оберегают от малейшей критики партийный аппарат, а также руководителей в любых сферах? Чего же они так боятся?

<sup>14</sup> Дедков И. Не шайди себя. — В кн.: Овечкин В. Районные будни. Воронеж, 1980.

<sup>15</sup> Мартынов — герой очерков «Районные будни», противостоящий сталинисту Борзову.

8.6.78.

Косыгин был в Костроме 5 — 6 июня.

Сегодня на исполкоме горсовета отчитывался костромской хлебозавод. Его там за что-то ругали и заодно припомнили, что завод не смог выполнить «спецаказ» — испечь каравай для Косыгина (как же, хлеб-соль): пятнадцать раз перепекали, но не смогли. Наконец испекли в каком-то ресторане. Еще любопытная подробность: в Заволжье вдоль московской дороги тянутся газоны. Перед приездом Косыгина на газонах обрывали одуванчики — ходили два мужика с ведрами и обрывали. Говорят, что когда в позапрошлом году приезжал Соломенцев, то сделал замечание насчет сорняков (видимо, на газонах); так что теперь постарались. А одуванчики сейчас желтые, яркие, весна поздняя, все только-только раззеленелось, расцвело.

В день приезда, когда состоялось торжественное заседание, Косыгин был нагримирован — заседание телевидение показывало на Костромскую область, — видимо, для телевидения и был наложен грим. Но еще до заседания Косыгин ездил в опытно-показательное хозяйство и прошелся по улице. Грим был заметен, и Косыгин выглядел (цвет лица) лучше всего окружения. Но было в гладкости и розовости что-то физически неприятное. Что-то от благообразия человека, убранного в последний путь.

А вообще писать об этом скучно.

Помню перуанский фильм «Зеленая стена»<sup>16</sup>; давно я смотрел его, да не забывается. Там в параллельном монтаже шли кадры, изображавшие змею, подползавшую к мальчику, беззаботному и прекрасному, и кавалькаду черных лимузинов, несущуюся по дороге и петляющую вместе с ней (кажется, это снято с высоты было и одно напоминало другое). На огромной скорости все это, черное и поблескивающее, несется посреди улицы; какие-то наглухо закупоренные снаряды, стремящиеся к какой-то неведомой цели; только шелест, свист, рев моторов — пронеслось и кануло.

26.6.78.

— Батюшка, Алексей Николаевич, — сказала бабка, выглянув в окошко, — сделай милость, вели снести наш домик, заждались.

Все давно прошло, а круги расходятся, да и что прошло, случилось ли что, — какое событие, однако? Что упало?

Все бедно, беднота, беднотища, — ничего нет; ничего — шум слов, аплодисментов, звяк орденов, — и ничего: бессодержательное, бессобытийное, бесцветное, обессоленное время.

Одно всемирно-историческое сменяется другим всемирно-историческим. И все происходит у нас, только у нас: монополия на всемирно-историческое. Об этом кричат газеты и дикторы, но устойчивое чувство: ничего не происходит. И ничего не может произойти.

Разве что — событие пьянства, событие болтовни, событие личного обогащения. Или событие холуйства, нового приступа старой болезни. Событий в этом роде — избыток, и скучно перечислять. И небезопасно. Но главное — что скучно. Противно.

В отсутствие некоторых ценностей вообще трудно поверить. Видишь: лица как лица, голоса как голоса, чины, звания, заслуги. А сколько значительности, гордого сознания своей правоты, своей роли, своего превосходства. Как тут предположить, что это мнимые величины или люди, начисто лишенные здоровой самооценки, скромности, совестливости. Эти предположения заглушаются в нас непрерывным грохотом слов: человек сам себя перестает слышать. И все-таки, как ни трудно поверить, что попрано элементарное и нормальное, верить приходится. И может быть, острее всего ощущаешь потерю достоинства личности и личной мысли.

<sup>16</sup> Фильм снят в 1969 году режиссером Роблесом Годоем.

Телепрограмма «Время» (последние известия) — наполовину занята тем, что показывает нам людей, на наших глазах теряющих всякое достоинство, и прославляет таких людей. И никому не стыдно — во всяком случае, внешне; достоинство не ставится ни в грош. Самое удивительное, что эти люди не без выгоды теряют достоинство, и к тому же вам никогда не удастся укорить или дождаться их наказания — они нравятся всем правителям, и никогда не дожидаться, чтоб их постигла опала. И никому не дадут сказать им правду в лицо.

4.7.78.

Почти пять дней (с 27 июня по 2 июля) мы с Никитой вдвоем провели в Шабанове. Автобус Кострома — Вологда для такого путешествия очень удобен. В Шабанове я не был семь лет.

<...> Перемена одна, от года к году — одна: трава выше, кусты гуще, тропа незаметнее. Все зарастает, все пустеет. Куда-то перебирается, умирает, скрывается с головой. Во мне осталось как что-то целое, все собой обнимающее: и то, что видел, и то, что слышал и что почувствовал. И землю, по которой ходил, и людей, под чьим кровом ел-пил-спал, и все вокруг. Все зарастает, и нельзя же, невозможно сказать, что дело простое: природа, скажем, зализывает раны, и ей ни до чего нет дела: какая там эпоха и что творится с людьми. Она рада, что ей не препятствуют, вот и зализывает, припрятывая и людей. Однако все не так; человек уходит, унося свое барахло, и сам оставляет природе свою обжитую землю — свое прошлое, смывая его, будто и не было. А оно было, и если бы достало воображения, можно было бы, пожалуй, и ужаснуться: это какое-то обеднение и даже сокращение жизни.

Обе деревни (Шабаново и Поповкино) расположены прекрасно: не на холме, не на возвышенности, вровень с лесом, близко подступающим с одной стороны, но высоко — в другую сторону, на Обнору, и там-то, в заречной стороне, видно на полсвета, и никакого преувеличения в этом «полсвете» нет. Полсвета — это половина окружности, и вся эта половина — амфитеатром поднимающийся, далекий синеватый, туманный по окоему лес. Прекрасно чувствовать — глазу приятно физически, словно утоляется жажда зрения, — прекрасно чувствовать этот простор, эту свободу, эту глубину и даль. Шли от Поповкина к Обноре, и я думал, что когда-то основатели этой деревни увидели эту красоту, почувствовали эту волю, а теперь от нее отказываются, уже отказались, и она будет существовать все для меньшего числа людей, а потом и сама по себе, ничего от того не потеряет, но мы-то потеряем: можно и забыть, какова свобода и как просторна твоя родина.

Когда человек может окинуть взглядом полсвета, в нем непременно что-то происходит, он себя по-другому осознает в мире. И не затерянным ощущаешь себя в таком огромном пространстве — гордым, что ты это видишь и здесь идешь, здесь стоишь. А если живешь?

Ходили на Золотуху, на песчаную гору, что видна от Поповкина. Потому Золотуха, что этот левобережный, высокий, откос Обноры весь день почти залит солнцем и песок золотился. Сейчас не золотится, откос подернулся травой. Под горой, на правом, нашем, берегу, стояла мельница («мельница на Золотухе»), два полупогруженные в землю жернова по сей день можно видеть. Об остальном (где стояла плотина, где дом мельника?) можно только догадываться, оглядывая землю вокруг себя, все эти ямы и всхолмия, поросли бурьяна, весь рельеф местности. Но мельница-то была, и была здесь жизнь.

Так мало всего осталось в деревенском мире, но деревня не обходится без трагических событий, и кажется, что их случается здесь больше, чем в городе.

В день нашего приезда в соседней деревне Сомове были похороны. Молодежь отправилась в поход на Обнору, набрав водки и закуски. 24-летний

тракторист уже ночью, в два часа, вдруг решил броситься в омут. Потребовал, чтоб ему помогли снять сапоги, и во всей одежде метнулся. На том все и кончилось. Бабушка Тася ходила на кладбище, рассказывала, что народу собралось много, и родни у парня полно, и отец с матерью живы, и начальство совхозное его уважало, и заведующий отделением речь сказал. Правда, говорит, и отец, и мать выпивали, да это же не редкость. На поминках тракторист Вениа, дружок, заявил, что раз так вышло, то жить тоже не будет. Завел трактор — и к омуту на Комарихе (там тоже была мельница). Его товарищи тоже — на трактора и следом. Догнали его, когда он с разгону влетел в омут. Ну, они его, конечно, вытащили, да и он, видно, передумал, а потом ныряли, цепляли трактор тросом и всю ночь там мучились. Были мы после них на Комарихе: разворотили они там берег серьезно, а до того, судя по всему, было это заросшее, тихое место, — разве что тропки да кострища рыбаков...

А весной этого года случилась беда и в самом Шабанове: умерла старая женщина — было ей уже за семьдесят, а когда женщины увидели ее тело, то ужаснулись: была она вся истыкана шилом. И все отшатнулись от этого дома, и некому было ее обрядить. А мужа этой старухи, который довел ее до смерти, решили не трогать. И верно решили: через несколько дней он повесился. Был он пьющий и приворовывающий старик, побывавший в тюрьме. Бабушке Тасе он складывал поленницу и унес топор, и она не решилась спросить его о топоре.

Дед Федор убежденно говорит, что до революции и в двадцатые годы самогона в деревнях не гнали и пили много меньше. Жил Федор Яковлевич в селе Исакова Пустынь (там был монастырь), километрах в сорока от Шабанова, в Ярославской губернии. Было в семье пятеро сыновей и четыре дочери. Федор Яковлевич был старшим. «Батраком» пришлось быть, говорит он не без горечи и с обидой на отца. В двадцатые годы эта работающая семья имела свою кузню, ветряную мельничку и все тогдашние сельскохозяйственные орудия, кроме трактора, были у отца и ульи, и многое, видимо, он умел. И даже скрипку сам смастерил. Федор Яковлевич и сейчас подробно рассказывает, из какой древесины надлежит ее делать. Дед Яков сам вступил в коммуны и отдал все накопленное добро, даже мясо-солонину. «Мясо сожрали», а все остальное, как выражается Федор Яковлевич, «ушло дымом в небеса». До революции дед Яков выписывал газеты «Сельский вестник» и «Биржевые ведомости». А сосед выписывал «Ниву» и журнал «Новый мир» (так говорит Федор Яковлевич), и по вечерам семья собиралась у огня, и он читал вслух, а каждый занимался своим делом: шили, вышивали, вязали.

А к чему я все это? Да к тому, что жизнь была личностнее, что ли. Гуще и пестрее.

### 8.7.78.

Заходил после поездки в Москву Виктор. Ездил по делам краеведческим. Был у Лесневских, у Чумакова<sup>17</sup>, когда-то, в двадцатых, поставившего в Костроме «Крест и розу», танцовщика, принадлежащего к семье, владевшей Васильевским под Костромой (теперь там колония для малолетних преступников; а как прекрасно на высоком, обрывистом берегу над Волгой стоит барский дом). Рассуждали о выходах из Костромы, о людях, связанных с ней, о Рязановских<sup>18</sup>, о Ковальковских и др. И я подумал, как необходима не история событий, но история лиц. Первые хотя бы пишутся с пятое на десятое, вторых же — нет. И еще подумал, что люди бывают жизнью затасованы, как карты, — не найдешь где и краешком высунется.

<sup>17</sup> Чумаков М. М. — балетмейстер спектакля «Роза и крест» (по пьесе А. Блока), поставленном зимой 1920 года в Костроме режиссером Ю. М. Бонди.

<sup>18</sup> Рязановский И. А. — искусствовед и юрист, друг А. Ремизова, М. Пришвина, Б. Кустодиева, основатель Костромского музея (1913).

19.7.78.

Хотелось бы думать, что поездка не сильно омрачит мою душу, как это часто бывает в Москве, да разве угадаешь.

Сегодня вечером густая черная туча приползла с северо-запада и повисла, а солнце высвободилось из-под нее и осветило сумрак комнаты тревожно и багрово: придавленный какой-то шел свет, словно туча прижимала его к земле, и не было от него светло, и угадывались в природе скрытые угрожающие человеку возможности, которые и здесь, в северной Руси, могут тряхнуть как следует наше существование.

В Апокалипсисе предсказано, что небо свернется в свиток. Все остальное, что уготовано, кажется мне не столь страшным, как это. И как это — подлинно провидческим.

Смотрели от Малышкова на Кострому, на ту часть города, что по левобережью Волги продолжается за железнодорожным мостом. Панорама старой Костромы с Волги прекрасна; видно, что это — город людей, которые с умом выбрали себе место и с умом строились, не забывая о красоте своего деревянного и каменного становища; новая часть города — нагромождение каменных строений — безобразна... Я и раньше замечал, когда бродили по окраинам, как безобразны эти каменные нагромождения заводских корпусов, складов, баз и всей прочей всячины, когда смотришь на них чуть отстранясь — из поля, с пустыря. Если написать эти пейзажи, то они должны внушать ужас своей зловещей обездушенностью, какой-то исходящей от них опасностью — нарастающей.

6.8.78.

Позавчера мы с Никитой прилетели из Москвы. На «Як-40».

Надо бы записать кое-какие московские впечатления.

Залыгин мне понравился. В нем нет совсем того, что отталкивает меня более всего: напускной значительности, вельможности. Слушать его было тем более приятно, что в его воспоминаниях и рассказе (а он, надо сказать, разговорился) было мало специально-литературного. То есть он выглядел человеком жизни, а не какой-то избранной касты. Это было и в его внешности, и в его манерах, и в интонациях. Потом я вспомнил, как наблюдал однажды на каком-то семинаре Вадима Кожевникова, и еще вспомнил фотографии, распространенные ныне в литературных газетах, с изображением писателей, заседающих, посещающих, вникающих, рассуждающих и как бы выделенных и отделенных от всех прочих, как правило безымянных, толпящихся, ошастливленных...

Ездили с Оскоцким в Переделкино.

Было пасмурно. От прекрасных сосен, бесконечных заборов и асфальтированных просек исходил стойкий дух привилегированности. Наш социализм без этого духа и не представишь. И культуру его тоже.

Были на могиле Пастернака и К. Чуковского.

Неподалеку могилы старых большевиков. Ровные ряды одинаковых надгробий — солдатское кладбище, подумал я тогда. Отсражались, отборолись, отстроились. Этой геометрией для них все закончилось. Они приходили сюда из расположенного поодаль пансионата и привыкали. Некоторые решили напомнить оставшимся и прохожему люду, что они были персональными пенсионерами такого-то значения. Слово «персональный» тоже из социалистического словаря.

Оскоцкие снимают в Переделкине на лето половину дома у какого-то шофера. Это уже вне писательского поселка. Но все-таки рядом, и можно «ездить в Переделкино» после работы. К тому же из Дома творчества привозят обеды.

Переделкино — это пример писательской сосредоточенности не на том и вокруг не того. Сосны прекрасны, участки велики, у каждого свой лес, свой

озон, но велика писательская кучность. Однако им нравится, они за эту геометрию боролись, а ты им не завидуешь. Вот Феликс Кузнецов теперь тоже там, «за голубым забором» бывшей дачи Вирты. Он боролся с вдовой Вирты и, конечно, победил.

Феликса я видел в ЦДЛ. Он энергично шел обедать, но остановился, чтобы пожать руку, и пригласил заходить к нему в кабинет часа через два. Он выглядел бодрым, деловым, довольным и уверенным. И животу его уже было тесно под пиджаком. Я и не подумал идти к нему. Зачем?

12.8.78.

Виктор убеждает меня, что встречал в документах выражение: руинированная церковь.

Дочитал «Кануны» В. Белова. Книга Белова — горькая, но с компромиссами, некоторые — необязательны и заставляют предполагать, что это никакие не компромиссы, а просто он так думает. Если так, то это печально. И все-таки вышла книга о том, как разрушали русскую деревню; отнести это разрушение на счет троцкистов (в 1928 году!) и евреев — невозможно. Нечестно.

Из Москвы хорошо возвращаться: там чужое мне, разговорный жанр, значительность, тщеславная борьба, литературное чинопочитание, подогреваемый беспрепятственно антисемитизм и просто толчея. Все это я переношу тяжело и, разговаривая, чувствую, что не могу быть искренним: что-то мне мешает постоянно <...>

Примириться с состоянием нашей общей российской жизни было бы невозможно, если б не само ощущение продолжающегося бытия, которое мы — многие российские люди — научились ставить и ценить выше всего. Все прочее перед этим ощущением отступает и обретает ничтожность. А ведь всегда было синее летнее небо или клейкие листочки весны, всегда были дети, матери, жены, отцы, всегда ели и пили, ездили на дачи, бродили по лесу и вообще просто жили и не могли не испытывать от этого простого счастливого чувства, и все-таки они отрывались от этой прекрасной чаши бытия, чтобы посчитаться с оскорбителями жизни, с насильниками и распорядителями человеческих судеб.

16.8.78.

Самое могущественное — это количество жизни; это оно примиряет человека с бедами и потерями; человек оглядывается и видит, что все вокруг продолжает совершаться, а он-то думал, что рухнули небесные своды...

Прочел сегодня «Мою жизнь» С. А. Толстой (напечатаны отрывки в «Новом мире» — к юбилею). Читая С. А. Т., я думал о том, что даже в девяностые годы в России было больше гласности и больше свободы в печати, чем сейчас. Пожалуй, и сравнивать невозможно. И еще думал, какой мы послушный народ, русские, какие забывчивые, какие благодущные. Все это сошло бы за добродетель, не оборачивайся это неисчислимыми жертвами человеческими.

Опять за чтением о Толстом та же мысль об утраченном состоянии народа и общества; оно было более естественным и достойным.

Многие годы — и все интенсивнее — интеллигенция ищет оправдания своей слабости и трусости. И упрекает храбрых — во все времена.

Печальное письмо от Л. Григорьяна. Пишу о Можяеве («Мужики и бабы»). Читаю Н. Страхова о Герцене.

19.8.78.

С годами все более понимаешь, как коротка жизнь. Это неудивительно; сам организм чувствует свои возможности и как они сокращаются. Это горькое чувство. Но с годами понимаешь и другое: сознательная твоя жизнь со-



впала с временем мрачным и растворяется в его глубине; и превозмочь эти мрачные силы невозможно, и страшно оттого, что жизнь твоих детей зависит от тех же сил и может пройти под их же деспотией, в царстве фальсификаций, фарисейства, страха.

Откуда же я выписал это: «Симуляция демократии — это комплимент, который тирания делает свободе»?

Как рождается во мне примирение? Страх нарушить или сломать жизнь близких. Но это умственный страх, страх воображения. Повседневно сильнее всего действует другое: небо синее, облака плывут, солнце греет, воздух свежий, рука Никиты в моей руке, и мы идем куда хотим, и нам хорошо. Сама жизнь примиряет. Как же они преодолевали это? Или они вовсе не преодолевали и сама эта жизнь вела их против своих осквернителей?

24.8.78.

Сегодня на исполкоме горсовета слушали о борьбе с пьянством (т. е. о выполнении последнего по времени постановления правительства). Говорили три часа, говорили, что Кострома по потреблению спиртных напитков и по преступлениям, совершенным в пьяном виде, занимает сейчас первое место в республике. В 1972 году выпивалось на 21 млн. руб.; в 1977 году — на 26 млн. руб. Смертность от пьянства соответственно: 378 и 460 человек.

2.9.78.

Сегодня Вячеслав Васильевич Смирнов рассказывал мне (сидели у него в кабинете в Доме книги) о Сергее Плотникове. Когда-то, после войны, когда Плотников ходил в форме офицера МГБ (так, должно быть, тогда называлось это ведомство), они дружили. Дружили настолько, что вот многие годы спустя вдова Плотникова решила навестить Смирновых <...> С этим Плотниковым (он умер в прошлом году, в Москве, куда уехал вслед за женой уже давненько и зарабатывал тем, что вел литературную консультацию при каких-то газетах, где удавалось) я познакомился в 57-м году; к нему-то, в отдел писем, я и попал после приезда в Кострому. Он же, оказывается, за год-два до моего появления был уволен из госбезопасности с выговором по партийной линии. Обо всем этом я узнал только сегодня; к тому же Смирнов не объяснил, за что был Плотников изгнан. Забыл, не знал или не захотел сказать. Но рассказал, что жена Плотникова — особа важная, избалованная давней хорошей жизнью, которая прекратилась, когда ее первого мужа, ответственного работника, расстреляли, а ее выгнали из Москвы, а потом (или последовательность событий другая) арестовали. И вот тогда-то Плотников познакомился с ней и попал под ее чары — или как это называется.

Господи, мог ли я тогда, осенью пятьдесят седьмого, подумать, что этот мягкий, какой-то невнятный, неразборчивый человек с чертами графомана — недавний офицер столь страшного учреждения! Он уехал в Москву, когда жена его получила денежную компенсацию за первого мужа и добилась возвращения пусть не квартиры, но комнаты в коммунальной квартире. Помню, как Плотников заезжал в Кострому, заходил в редакцию, и всегда меня путало странное соединение в нем мягкости и просительности с какой-то непонятной мне твердой уверенностью в своей ценности, что всегда казалось мне безосновательным. Смирнов рассказал, как однажды в цирке на французской борьбе Плотников вызвался побороться с самым могучим из выступавших борцов, пообещав друзьям подшутить над этим Аркашкой Воробьевым (так звали борца). И вот, к удивлению публики, невзрачный Плотников то ли дважды, то ли трижды уложил этого силача, и администрации пришлось вмешаться, чтобы защитить престиж (спасти!) своего борца. Плотников знал приемы — вот о чем хотел сказать этой историей Вяч. Вас.

Когда возвращался домой, то думал: сколько же этих явных и тайных офицеров прошло уже через мою жизнь. А скольких я не знал! Да и ныне знаю достаточно. Вот Эдуард Прокопьевич Камазаков, которому я своим

уходом из редакции открыл «путь наверх», — офицер запаса госбезопасности; там он и проходит регулярно учебные сборы. На те же сборы вызывают Андрея Протасова, главного редактора областного радиокomiteта, человека грубого, злобного, невежественного. Припоминаю, как бывший старший бухгалтер «Северной правды» Михаил Васильевич Логойко, воевавший в Гражданскую войну под началом Якира, предупреждал нас с Володей Ляпуновым против Гашина (заведующего отделом пропаганды редакции), явно намекая на его доносительские склонности или функции. Подобным же образом несколько лет назад осведомленный человек предупредил нас с Тамарой против Е. З., человека уже нашего поколения. И это, я думаю, далеко не все. Общественные начала в этой «сети», вероятно, развиваются успешно и в наши дни. Я уже не говорю о том, что обилие новых лиц в этой организации заставляет предполагать, что тенденции к сокращению штатов там нет и не ожидается. Вышедшие же в отставку или на пенсию бывшие работники (Епихин, Лавров, а также полковник с японской улыбкой и вставными зубами, который в свое время разговаривал со мной (допрашивал) самым неприятным образом, а потом, уже в нетях, любезно беседовал со мной в пирожковой, оказавшись со мной за одним столиком) то и дело попадают на улицах, и невольно думаешь, что по крайней мере некоторые из них не забыли своих прежних служебных задач по пресечению и уловительству. Современный общественный быт непредставим без присутствия и участия этой могущественной и тайной организации; без ее представителей жизнь неполна, ее изображение — тоже.

### 3.9.78.

Коля С. рассказывал анекдот: солдату перед ученьями говорят: «Продай автомат». — «А как же я буду без автомата?» — удивляется он. «А ты делай: тра-та-та, и все будет в порядке». Ну, отдал солдат свой автомат за сто рублей, отдал — и бежит в атаку, крича: тра-та-та-та. И вдруг видит: мчится кто-то ему навстречу и изо всех сил завывает: жу-жу-жу! И руки в стороны простерты...

Вот отмечается 150 лет со дня рождения Л. Н. Толстого. Юбилей. В журналах и газетах — высказывания, рассуждения, славословие. К сожалению, ко всему или ко многому примешана фальшь: в сущности, то, чему учит писателя русского Толстой, не пошло впрок; в некоторых устах его имя звучит кощунственно, настолько он далек как художник, мыслитель, человек от того, чем удовлетворяется наша литература и те, кто мнит себя на вершине этой иерархической чиновной организации. Ни в ком нет духовного, художнического достоинства, которое хотя бы отдаленно напоминало толстовское достоинство и толстовскую духовную независимость и влияние. Они говорят о нем, хотя, по сути, они враги ему или абсолютно чужие.

### 8.9.78.

По телевидению показывали торжественное заседание, посвященное 150-летию со дня рождения Л. Толстого. В Большом театре в первом ряду президиума сидели Брежнев и другие; а также: от Брежнева вправо — Г. Марков, С. Михалков, Л. Леонов, М. Алексеев, А. Сурков, Н. Грибачев, К. Симонов, А. Чаковский (этот, конечно, сидел ближе к центру, я пропустил его). Доклад делал Бердников. Затем выступили П. Зарев (Болгария), Х. Варелла (Аргентина) и представитель Индии, который сказал — единственный — то, что соответствовало духовным заветам Толстого. Секретарь Тульского обкома партии по фамилии Юнак с замашками большого вождя к концу забыл, где он и зачем, и с энтузиазмом превозносил Брежнева и заверял в преданности и верности.

Помню, как на подобном заседании выступал Леонов; это было событием культуры. Нынешнее заседание неизмеримо мельче; в нем было что-то

позорное для нашей литературы, для всего общества. Смотреть и слушать было мучительно. Эти самоуверенные, значительные надутые люди превзошли Толстого; он со своими сомнениями и страданиями — малое наивное дитё. Они давно поняли, что совесть, правда, человечность, дух, справедливость — это прежде всего слова и произнесение этих слов — служебная обязанность, которая неплохо оплачивается. Он-то ломал голову, мучился: как же, как же, я живу богато, праздну, мне прислуживают! Нехорошо! Ах, бедный, бедный Толстой, все эти мучения никого теперь не мучают, все это — пустое, мелкое, какое-то детское. Теперь у нас роскошь — трудовая, потому что каждому дают «по труду», и совесть может спать спокойно. Совесть теперь — из области декламации, одно из самых бессодержательных слов. Если вернуть ему смысл, то оно станет одним из самых разрушительных переживаний для нашего народа.

Пятого сентября совпало: вдовы Семина и К. Воробьева прислали мне книги, сопроводив их добрыми словами. Что-то странное и печальное было в этом совпадении.

22.9.78.

Завтра редакционные едут за картошкой. Как у Чухонцева о маленьком городке: «Он, может быть, и верит в чудеса, но прежде запасается картошкой». Изменение одно: пожалуй, уже не верит. Я не поеду. Однажды после такой поездки, насидевшись на земле и на мешках, я сильно и неприятно болел. В другой раз, уже будучи заместителем редактора, я поехал на второй день (за первый день не успели), и мы вместе с одним человеком, мужем секретарши, нагрузили и разгрузили, развезя по домам и дворам, полный грузовик набитых под завязку мешков. Я так и таскал, кому до порога, кому до сарая. Да и в первую поездку помню, как женщины звали: «Мужчины, помогите» (и на весы мешки надо затащить, и с весов снять, и на грузовик пошвырять), а откликалось нас четверо-шестеро, и чем дальше — все меньше, и я — до конца, пока пальцы держатся за углы мешков, пока не разжимаются... Теперь у меня и силы, должно быть, не хватит, да и с какой стати?

Начал читать роман О. Михайлова «Час разлуки» («Волга», 1978, № 8). Интересно уже потому, что знаю этого человека, а роман откровенно автобиографический. <...> Михайлов пишет о себе с большой любовью и сочувствием; это неудивительно. Удивительнее, что в этом преуспевающем, вольном, даже циничском герое пробивается жалость к себе, потому что ускользнуло что-то старомодно-хорошее, твердое, что-то из старых, осмеянных ценностей. Или так мне показалось.

12.10.78.

Продолжается матч Карпов — Корчной, именуемый «претендентом». Возможно, его сопровождают многие анекдоты, но я слышал один: «А вы знаете, что Карпов дисквалифицирован?» — «За что? За прием допинга?» — «А как же: у него в одном кармане нашли „Малую землю“, в другом — „Возрождение“».

Сливочного масла нет.

В эти дни, кажется, заканчиваются работы в колхозах и совхозах, в которых участвовали тысячи горожан. Никто и не думает этих людей просить. Звонок из райисполкома («примите телефонограмму») обязывает: такого-то числа поставить в такое-то хозяйство столько-то человек. Эта власть давно разучилась уважать своих граждан, она — бесцеремонна. Всякое непослушание, принимающее — даже невольно — политическую окраску, расценивается как худшая из разновидностей непослушания и нарушения порядков. И пьянство, и хулиганство, и прочее понимаются и воспринимаются (и наказываются также) много спокойнее и легче, чем инакомыслие.

На мосту через Волгу был потерян прицеп с кирпичом и простоял там — десять дней. Никто не хватился, и ГАИ не заметило, хотя прицеп стоял, затрудняя движение и способствуя возникновению аварийной ситуации. Подумаешь, грузовик кирпича! Пока Галунина, ездящая каждый день через Волгу на троллейбусе, не начала обзванивать разные конторы, прицеп все стоял. Не будь она настойчивой, он бы так и стоял. А забыли о нем армейские строители. Вот наши нравы.

23.10.78.

В минувшие дни произошло событие: краковский кардинал стал Римским Папой. Впервые за 400 лет Папой избран не итальянец. Думаю, это событие очень не понравилось в нашей столице. Оно укрепляет национальную гордость поляков, а это нам ни к чему. Нашему начальству хочется, чтобы вся жизнь повсюду шла по его планам и указаниям. К счастью, жизнь не престанно огорчает кремлевских старцев.

Как-то вечером ходил в магазин за хлебом и чаем, подошел к кассе. Впереди меня выкладывал свои покупки мужчина лет пятидесяти: пачку вермишели, буханку черного хлеба, два куса сыра, две банки рыбных консервов и четыре плавленных сырка — «разные», сказал он кассирше, т. е. разных сортов. И я как-то неожиданно для себя всмотрелся в это богатство рабочего пожилого человека, пришедшего в магазин после работы, и слезы прихлынули к глазам от простой и ясной мысли: это же он после полочки пришел и купил что мог, получше, и потому сырков этих плавленных разных набрал, и консервов, и сыра — другого ничего не было. Ах, не о сытости я болею, не о пище, о другом — о справедливости и равных человеческих возможностях...

Реальная жизнь и ее официальное выражение, ее официальные обозначения, определения, расходятся всё более, и уже давно это началось, и хотя ненадолго замедлилось, теперь с новой силой растет это катастрофическое для человеческих душ расхождение, и неизвестно, когда здравый смысл постарается взять свое. <...>

Боже, как же мы не ценим своего уходящего, неотвратно уходящего, ускользающего времени — времени, общего с дорогими и любимыми людьми, будто оно продлится бесконечно долго.

26.10.78.

В Кострому прибыли 25 молодых азербайджанцев-мелиораторов. «Северная правда» сообщила об их приезде на первой полосе, с фотографией под заголовком «Интернациональная нечерноземная...» Это нужно понимать так: братья азербайджанцы явились на помощь своим русским братьям. Теперь-то матушка-Россия будет спасена, навалятся дружно азербайджанцы, грузины, узбеки да туркмены, отмелиорируют ее бедные земли на славу, и начнется новая жизнь, новее прежней. Не справиться нам, русским, самим, не суметь, наконец-то дождалась подмоги, и газета костромская захлебнулась в восклицательных знаках. И уже в Сусанине строят, спешат ракетчики — отложив какие-то свои дела — 60-квартирный дом для азербайджанцев и тех, кто прикатит следом. А про азербайджанцев уже поговаривают, то ли в шутку, то ли всерьез, что они уже просят барашков и удивляются, почему это в Костроме буквально каждый день — мяса Яет.

Галунина рассказывала, как ходила недавно в ресторан Берендеевка. Там обедала группа грузин; какая-то заехавшая в Кострому делегация, а не предприниматели с базара. И вот один из грузин, разговорившись с Аней, сказал, что у вас здесь нет достоинства. У вас нет того и другого, а вы делаете вид, что так и должно быть, что все в порядке. У вас нет достоинства, повторил он и, уходя, сказал: «Подумайте об этом».

Те помогают нам осушать наши болота, эти учат достоинству. Но лучше всех наши руководители. Они требуют, чтобы их беспрестанно благодарили за их благодеяния.

3.11.78.

Когда иду из Союза писателей по Советской улице к центру, всегда смотрю на новостройку, к которой никак не привыкну. Теперь уже близок день, когда справят новоселье. Была тюрьма (Советская, 88) — и пропала тюрьма. Скрылась за высоким, декорированным по фасаду отнюдь не тюремной решеткой зданием, увенчанным с правого крыла девятиэтажной башней, где вскоре разместится областное Управление внутренних дел. Вот с той башни, с ее этажей, старая, никуда не девшаяся, но укрытая от глаз тюрьма с ее двором будет как на ладони. Уберем с глаз, будто и нет ее. Не видно — значит, нет. Не слышно — значит, нет.

От П. Палиевского была неожиданная открытка, чтобы я выслал свою «последнюю книгу» в Польшу, где ее хотят рецензировать. Что ж, вышлю, когда появится. Занятно это «последнюю», потому что она «первая» и как бы не стала последней, чего доброго. Это, к сожалению, не вполне от меня зависит.

Вернулся из отпуска Корнилов, собирается к Баландину — разговаривать насчет проведения в мае будущего года в Костроме выездного секретариата Союза писателей РСФСР. Корнилов говорит, что такой секретариат дорогого станет области, потому что приедут заседать свыше ста человек и содержание их основное должны брать на себя костромичи. А зачем, думал я, костромичам это дорогое заседание? Для того ли писатели существуют, для разъездных ли заседаний с выпивкой и закусками по колхозам, совхозам да заводам? Уж лучше бы обойтись без таких торжеств. Но ради престижа и газетной огласки на что ни пойдешь!

12.11.78.

Арагон о Ницце 41-го года, городе, где «немыслима безысходная горечь, так как от этого защищает само его небо» (Л. Арагон, «Анри Матисс»).

А что — за нашим, здешним небом я знаю такую же — или другую — защитную силу; не за тем густо-синим, навязчиво-южным — с рекламных открыток, а за обыденным, жидко-голубым, чистым небом утренних часов, когда так явственно чувствуешь присутствие солнца и его участие.

Или эта сила — надежда? Новое приглашение к жизни? Призыв к примирению? И ничего не надо, кроме возможности видеть, слышать, идти? Ни революций, ни контрреволюций? Ничего.

Надолго ли?

Надолго ли хватает той защитной силы — от «безысходной горечи»?

Серая земля, серое небо, рассеянный свет. Монотонное, тягучее насилие. У него есть продолжение и нет конца.

Неужели не будет — идти с людьми, со множеством людей, свободно, не толпою, по улице, по улицам, переговариваясь, посмеиваясь, ликуя, что-то выбирая и что-то говоря всем видом этого потока, которого стал частью, частицей, всем этим слитным и свободным движеньем: захотели — и пошли, потому что иначе — не скажешь, не заявишь о своей воле оборвать эту монотонность. Эту бесконечность — самозваную и наглую.

Почему же я думаю о том, что это будет вечером, в покое вечера?

16.11.78.

Водку возят в грузовиках, штабеля ящиков покачиваются, горлышки торчат, жидкость колеблется, прохожие посматривают, привычно примечая,

продукция или посуда. Как боеприпасы подвозят, думаю я. Как боеприпасы, которые должны быть доставлены вовремя. Как боеприпасы, которых вдоль. Никаких перебоев.

Уууууу — ревет машина ГАИ и вращает свою вертушку, как ненормальный, зыркающий глаз, и за ней — черные «Волги», гладкие, сверкающие, отрешенные, летящие, — ах, не отвлекайте их, граждане-товарищи, от великих задач, от научно обоснованных маршрутов, — хорошо еще, что не рекомендуют снимать ваши шапки, замирая в почтении, хорошо еще, что не кричат: «пади, пади», а то ведь и попадали бы на колени, отчего же не падать, если все наше с ними — ум, честь, совесть, все права и свободы, все бремя забот, вся тягость исторических трудов, — а мы — налегке и в беззаботном счастье, дарованном, щедром, безоблачном, и дух наш захватывает от благодарности благодетелям, этим великим душам нашей бессмертной эпохи. Но кто расскажет людям будущего о выражении наших лиц, наших глаз и наших губ? О гримасе благодарности и счастья?

19.11.78.

На днях шел по Никитской улице; здесь больше военных машин и вообще военного; наверное, поэтому я сразу подумал, что это — военная машина, и потом жалел, что не взглянул на номер (у военных номер из двух букв). Правда, рядом с шофером в кабине сидел человек в штатском, и, возможно, я ошибся и те два грузовика, что шли следом, с солдатами за рулем, к тому, первому, с портретом Сталина на переднем стекле, не имели никакого отношения. А портрет Сталина был достаточно крупный, не открыточка какая-нибудь, а сантиметров тридцать — сорок по высоте, и достаточно отчетливый, чтобы невозможно было ошибиться насчет, что там промелькнула за личность. Надо же, как я вздрогнул от этого портрета, и сразу почему-то представилось мне, что и следом — колонной — движутся другие грузовики с такими же портретами справа за стеклом, и на какой-то мелькнувший миг стало мне страшно, и повеяло на меня каким-то мгновенно воображенным путчем, новым торжеством какой-то воистину темной силы, нерассуждающей, не желающей ничего знать и помнить и карающей, раздавливающей всякое знание и всякую память. И потом, успокаиваясь, я уже думал о том, что надо бы написать тому шоферу — заметить бы номер да загородили спешащие следом грузовики, — написать письмецо и спросить об одном: да знаете ли вы, чей портрет выставляете с укором и с некоторой даже смелостью, знаете ли, какая кровь, несмываемая, неслыханная, на том человеке? И потом укорял себя: ну и какой вышел бы из всего этого толк, какой смысл? Не пошел бы я к нему объясняться! А сейчас, когда записываю, подумал: а ведь в том гараже шофера сто раз видели этот портрет и, наверное, обсуждали эту любовь к Сталину, что-то на этот счет думают, — вот что послушать бы. Власть и органы печати давно уже не говорят о Сталине дурно, все сказано якобы, и этого достаточно. Вот и может подняться волна реставрации, темная и мутная, коричневого цвета, и все потому, что преступник не осужден и преступное не названо преступным, т. е. публично не доказана преступность этого человека и его подручных. И пока это не сделано, опасность будет существовать и нависать над миллионами жизней, над всей страной.

23.11.78.

Вчера в половине десятого вечера показывали фильм о Михаиле Булгакове (автор — К. Симонов). Фильм спокойный, все вроде бы обдуманно, объяснено, но впечатление — тяжелейшее. Хоть плачь. Напрасно Симонов упомянул слова Сталина и напрасно рассказывал, как Фадеев заходил к Булгакову незадолго до его смерти и какое письмо написал Е. С. Булгаковой. Особенно большое впечатление производит предложение Фадеева (когда жить Булгакову оставалось несколько недель) отправить Булгакова на лечение в Италию, на Средиземное море. И это в феврале или марте сорокового

года, когда в Европе (и в той же Италии) торжествовал фашизм. Или Фадеев говорил об этой поездке «просто так», чтобы «проявить участие», т. е. болтал. Или же он надеялся договориться со Сталиным, а также с итальянскими властями? Удивительно гуманный человек этот Фадеев. А тяжело после фильма потому, что Булгаков умер так и не увидя своих главных книг (да и неглавные как явились в самом начале двадцатых, так и не были переизданы, да и сейчас не изданы заново). И такова судьба одного из самых талантливых русских писателей советского времени. Осталось показать фильм об Андрее Платонове, потом о Мандельштаме, о Заболоцком, о Пильняке, о Воронском. И многих других. Хоть оплакать. Любовь и признание нужны людям при жизни. И Симонов, и Бондарев, и Распутин — все хотят всего при жизни, все спешат, чтобы все состоялось при них: и бесчисленные издания, и премии, и слава, и награды и звания, и полный достаток. Или Булгакову, и Платонову, и Заболоцкому ничего этого не было нужно? И было им достаточно знать, что их вдовы всё издадут и дело их жизни, их огромного таланта будет доведено до конца. И они там утешатся и оттуда — увидят.

Прекрасное, великое было время, говорит Шагинян о двадцатых — тридцатых годах, несмотря на трагические ошибки и беды. Характернейшее умозаключение выживших их. Точно так же рассуждал недавно в том же «Новом мире» Эрнст Генри. Он тоже — из выживших и уцелевших. И Шагинян, и Генри можно понять. Но истины в их словах нет, потому что существует угол зрения тех, кто не выжил, не уцелел, тех, кто скрыт за словами о трагических ошибках и бедах, и этот угол зрения не учтен, и нужно многое сделать и восстановить, обнародовать, чтобы он был учтен, насколько это теперь возможно. Радость выживших и живущих хорошо понятна. Как нам представить себе и понять отчаяние и муку тех, кто не дожил, кто навсегда так и остался в тех великих временах со своей единственной, бесцеремонно оборванной жизнью. И еще — неизвестно, когда дойдет черед! — как представить себе судьбы семей, жен, матерей, братьев и сестер, но более всего — детей! — вот где зияние, вот где самое страшное, вот где неискупимые слезы, которые никогда не будут забыты, иначе ничего не стоим мы, русские, как народ, и все народы вокруг нас, связавшие с нами свою судьбу, тоже ничего не стоят, и ни до чего достойного и справедливого нам всем не дожить. Не выйдет. Достоевский знал, что те слезинки неискупимы, он откуда-то знал эту боль, перед которой вся значительность, все надутые претензии, все возвышение человеческое, все самовосхваление власти и преобразователей русской жизни — ничего не значат. Пустое место. Шум. Крик. Безумие. Тщета. Ничто. Сколько бы силы ни было за теми претензиями, сколько бы могущества ни пригнетало нас, ни давило, — все равно ничто, потому что те слезы переступлены и сделан вид, что не было их вовсе. Вот вид так вид: не было. Т. е. было, но все равно не было. Не было. По всем лесосекам давно уже сгнила щепка и поднялись мусорные заросли. Не было. Ничего. Так вырежьте нам память, это самое надежное. В генах ту память нарушьте, и пусть дальше продолжается нарушенная; то-то всем станет легко. И ткнут меня носом и скажут: гляди, это рай, а ты, дурак, думал, что обманом, и ударят меня головой о твердый край того рая, как об стол, и еще, и еще раз — лицом — о райскую твердь, и, вспомнив о безвинных слезинках своих детей, я все пойму и признаю, лишь бы не пролились они, — жизнь отдам, кровью истеку, отпустите хоть их-то, дайте пожить, погулять по земле, траву помять, на солнечный мир поглядеть, — и еще взмолюсь втайне — да сохранится в наших детях память, пусть выстоит и все переберет, и пусть достанет им мужества знать и служить истине, которая не может совпадать с насилием, насилие ничего не строит.

Я верю, что истина не может быть разрушительной, т. е. та истина, закон, которому подчинено развитие человеческого, земного мира. Даже если нас, людей, ждет будущее — через десятки миллионов лет, по Циолковскому (см. беседу с Чижевским), — невероятное, пугающее, лучистое, лучевое, но возможное. Впрочем, до тех ли далее нам, нынешним, до того ли, до таких

ли перспектив! Тут вся душа, все сознание заполнены нынешним и все отвлеченности пугающе конкретны, хотя в конкретном облике их следовало бы называть иначе, поточнее, и угроза жестокости, насильственного подчинения, массового убийства при помощи новейших научных достижений нависает над нашими головами, и жить изо дня в день позволяет нам, утешая и отвлекая, лишь бессмертное человеческое легкомыслие... Не забыть, как стоял на Бородинском поле полк Андрея Болконского и как рвались в его рядах шрапнели и падали ядра, а полк смыкал ряды и продолжал стоять, и со стороны это каре выглядело невозмутимо стойким... (Насчет шрапнели я придумал, там были, наверное, только ядра.)

27.11.78.

Вернулась из отпуска Лариса Бочкова. Рассказывала, что в поезде за Харьковом (она ехала в Ворошиловградскую область, в Попасную) в вагон вошли глухонемые парни и продавали портреты Сталина, а также фотографически исполненные буклеты с изображением различных событий из жизни того же Сталина. <...> Никто в вагоне не удивился и не возмутился этой торговлей. Занятно, не правда ли? Попробовал бы кто-нибудь носить по вагонам другие портреты. Да и спроста ли эти глухонемые пропагандируют Сталина, только ли ради денег? Или за ними — вполне разговорчивые люди, да еще с острым слухом?

8.12.78.

Знакомая рассказывает, что некий представитель обкома (хотел бы я узнать его имя; кому же это поручено?) регулярно интересуется поступлением товаров в универсам и последнее время все (?) джинсы, дубленки, хорошие шапки остаются обкому. Та же женщина вспоминала, что Скулкова (жена первого секретаря обкома КПСС. — Т. Д.) сама откладывала интересующие ее вещи в специальный мешок и выкупала их по мере надобности. Однажды поступили три шубы, видимо достаточно хорошие, и заведующая отделом одну купила сама. Вскоре явилась Скулкова и распорядилась, чтобы одна шуба была продана ей, а остальные — отправлены в районы (тогда в Костроме такая шуба будет только у нее). Но заведующая заупрямилась и, как ни уговаривали ее торговые власти, от своей шубы не отказалась, и тогда Скулкова не стала покупать шубу. Об этой Скулковой в свое время я слышал немало; о том, например, как из одного районного центра, где она была с мужем, гоняли самолет в другой райцентр, чтобы купить там какие-то предметы дамского туалета.

Вчера было т. н. занятие совместно художников и писателей на предложенную мной тему: «временное» и «вечное» в искусстве. От писателей говорил я, от художников — Слава Штыков; нечто вроде докладов. Я же читал отрывки из сочинения, отправленного в «Лит. обоз.» насчет «вечного» и «духовности», к которым присовокупил некоторые рассуждения, в том числе об «отрепетированности», «сценарной основе», которые занимают сегодня столь много места в общественной жизни, о «предусмотренных», прямо-таки уже «каталогизированных» реакциях, о значении и исчезновении «неожиданности» как ярчайшего проявления жизни.

На занятии чуть было не разгорелись страсти. Поводом послужило упоминание Штыковым культа личности и имени Сталина. <...> отношение к Сталину (к тому, что сокращенно обозначается этим словом) самым резким образом разделяет людей до сих пор, и, видимо, так будет еще долго. <...> Расчеты со сталинской эпохой (хотя бы в сфере знания и нравственности) не закончены. Это создает ложное положение, и наше общество живет в состоянии неуверенности и неопределенности.

28.12.78.

Двадцатого сидел в Зале Чайковского на пленуме Союза писателей РСФСР. Заседали в честь 20-летия этого Союза. Было очень скучно, ораторы



ры, поминая Леонида Сергеевича (Соболева), то и дело сбивались на Леонида Ильича, и зал оживлялся. Федор Абрамов сказал мне, что этот Соболев (однажды они вместе возвращались из какой-то поездки) был как мешок, полный подвязку грязи. Сидящие в президиуме выходили и возвращались, гордо неся свои животы; поступь сих лиц была значительна. Юрий Тарасович (Грибов. — Т. Д.) пробегал по сцене пригнув голову, словно по окопу под обстрелом, словно слыша команду «пригнись»; не привык еще, подумалось мне. Самым большим писателем в президиуме был, кажется, Ю. Верченко; немногим уступал ему А. Софронов, да и Ф. Кузнецов с В. Липатовым стоят на верном пути и вот-вот нагонят ушедших вперед. Софронов заканчивал свою речь, в которой не было ничего примечательного, словами Маяковского: «Я достаю из широких штанин...» Голос его, исторгаемый мощной грудью, гремел, и какие-то дамы заплодировали. Вот так наследничек у поэта, вот так «продолжатель» дела и традиций; ну и ловки эти люди: всех норовят прибрать к своим рукам, ко всем пристроиться — к Маяковскому, Есенину, Булгакову, Платонову, Твардовскому и т. д. И вот что заметил и что удивило: говорят пустое, разве что повышенным тоном, но хлопки срывают, кому-то нравятся. <...>

И еще можно было бы удивиться — если б к этому давно не приучали, что все произносимое имело самое малое отношение к реальному состоянию жизни и литературы. Разыгрывали спектакль, и актерам важнее всего было распределение ролей, а все остальное — реальная жизнь прежде всего — значения большого не имело. Это было стыдное представление, но актеры, в том числе наш «прогрессист» Феликс Кузнецов, не краснели.

Если б не удалось поговорить в этот день с Федором Абрамовым (сидели вместе после первого перерыва) и с Троепольским, то день был бы раздражающе пропащим. <...> Разговаривали о разном: о рынках (базарах) в архангельских райцентрах, о «Мужиках и бабах» Можаяева (Ф. А. сказал, что конец двадцатых он понимает сложнее, чем Можаяев).

Троепольский постарел, ходит с палочкой (после того, как попал под автомобиль, а позднее вдобавок сломал несколько ребер), но выглядит, что называется, импозантно, и фотографии гоняются за ним. Сказал, что год ничего нового не писал и по возвращении собирается садиться за «Колокол». Извинился, что до сих пор не выслал обещанный экземпляр трехтомника с надписью<sup>19</sup>. Расстались мы тепло.

Возле гардероба, когда я уже уходить собрался, он сказал: «Подожди минутку, я сейчас», — и устремился к Юлиану Семенову, в руках которого был какой-то сверток. Возвратившись, Г. Н. сказал, что Юлиан купил мыло, которое продавали для членов президиума, и что тоже нужно пойти взять мыло.

Эта подробность ни против Семенова, ни против Троепольского; это просто подробность нашей жизни, ее состояния, общественного быта.

22-го выступал на своем факультете перед студентами разных курсов (было человек тридцать — тридцать пять) из «мастерских» Лазарева и Оскоцкого. «Мастерскими» на кафедре А. Бочарова именуют то, что обычно называют семинарами. Слушали хорошо, спрашивали, и длилось это более двух часов. Сидели мы в шестьдесят шестой аудитории, где 5 марта 1953 года на лекции, кажется по языкознанию, переживали смерть Сталина. Своим выступлением я не очень доволен; кое-что нужно было сказать иначе и совсем не хорохориться.

Вечером того дня вместе с Бочаровым ездили к Оскоцкому; разговаривали, вспоминали.

Москва в эти декабрьские дни наводнена приезжим народом. За мясом и колбасой огромные очереди. Даже выехать из Москвы трудно. Никогда не видел зимнюю Москву такой. Достали и до Москвы продовольственные не-

<sup>19</sup> Речь идет о Собрании сочинений Г. Троепольского в 3-х томах (Центрально-Черноземное книжное издательство, Воронеж, 1977). К этому трехтомнику Дедков написал предисловие.

хватки. Нина Сергеевна Самарская (из «Молодой гвардии») нимало не смущаясь сказала мне, что на одной из новых станций метро есть изображения городских гербов из т. н. Золотого кольца и что теперь москвичи говорят: это города, которые «у нас кормятся». Под мудрым руководством Феликса принято решение раскрепить московских писателей по магазинам. Ради этого решено устроить прием в честь пятидесяти директоров гастрономов, и на правлении Литфонда обсуждали вопрос о выделении денег для преподнесения директорам книжных подарков.

У Феликса теперь красная «Волга», которую водит его жена.

Лит. разговоры заключаются также в том, что обсуждают, кто на ком женился <...> Очень хорошее выражение: номенклатурные жены, т. е. переходящие из рук в руки в определенном кругу.

Но хватит пока про Москву. Когда сидел у Вяч. Смирнова, пришла какая-то уже пожилая, видно приезжая, женщина. Оказалось, землячка Смирнова, директор Вохомского сырзавода, Герой Социалистического Труда Буракова. Приехала она на областную партконференцию. Очень располагающая к себе, по всему, добрая и умная женщина. Сначала рассказывала, как два вохомских председателя ездили в Голландию и как им там понравились условия сельской жизни. <...>

Настроение у этой женщины было не очень веселое. Молока заводу не хватает. Коровы стоят голодные. «Съездишь на ферму, потом полночи не спишь, всё эти коровы в глазах стоят». Они уже не способны принести приплод, настолько обесилены. Осенью вручную было выкошено около пяти тысяч га пшеницы, ячменя, овса, из тех, что не взяли комбайнами. Выкосили, сложили в копешки, и все ушло под снег. Под Ростов же погнали грузовики за соломой. Пришли два грузовика с прошлогодней соломой; там согласны дать лучше и больше, но за вохомский лес. Люди пьянствуют; видела она и спящих пьяных доярок, свалившихся прямо на ферме. «Наверное, мы долго не проживем», — сказала она, и я даже не сразу понял, о чем это она. Оказалось: о войне. Беспорядок, разболтанность, небрежение общими интересами она связывает с войной; народ словно предчувствует, куда все идет. С горечью рассказывала, как ездила в Одессу в связи с экспортом сыра на Кубу. Ее поразило обилие и высокое качество товаров, отправляемых на Кубу, — масла, консервов, сыра и т. д. — и почему своим ничего не остается.

Рассказывала, как пришли обследовать вохомскую среднюю школу, а там в бачке с кипяченой водой — лед. И на уроках ребятишки сидят в варежках: руки мерзнут.

Красиво рассуждать научились, это да, сказала она, а вот дела-то нет.

После московских впечатлений, после писательской болтовни этот рассказ особенно подействовал на меня.

Стоят морозы и напоминают, что это Россия; хорошо дышится, и пробуждается энергия. <...>

О нынешней ситуации в хозяйстве. Такие есть данные: в этом году уже пало крупного рогатого скота: 9886 — в совхозах, 6900 — в колхозах [области]. Теперь понятнее, почему директор сырзавода, вернувшись с ферм, долго не может заснуть. Она вспоминает, как дрались коровы из-за корма, и как сильные теснили слабых, и какой стоял рев.

В обкомовском буфете клюква стоит три рубля килограмм. Это дороже заморских фруктов.

С Новым годом, с новыми чудесами под нашими небесами!

*(Окончание следует.)*

---

---

# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ



## ОСКОЛКИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

**С**еребряный век... Эти слова вызывают в памяти культурный взлет, духовное возрождение, которое пережила Россия в эпоху войн и революций. Потому и называют так первую четверть нынешнего столетия, что по созвездию блестящих имен и творческому накалу она вместила — век. Целая плеяда религиозных философов, Блок, Есенин и Гумилев — в поэзии, Скрябин и Рахманинов — в музыке, Врубель и Рерих — в живописи, Шаляпин и Станиславский — в театре... Будто пламя вдохновения вспыхнуло ярко, перед тем как — не погаснуть, нет! — но уйти вглубь, спрятаться в пепле от урагана истории. Прерванная дума, пресеченное слово, недопетая песня...

Что же случилось, какой катаклизм погрузил в пучину эту Атлантиду?

Случился семнадцатый год, Октябрьский переворот жизни, одним махом будто вывернувший ее наизнанку. Случилась советская власть, провозгласившая: «Железной рукой загоним человечество к счастью!» (плакат 1918 года). Красный молот идеологии кует из людей нового человека, кровавый меч диктатуры отсекает головы тем, кто перековке не поддается.

Однажды, вскоре после революции, чекисты схватили группу интеллигентов, среди которых был и Александр Блок. Тот самый Блок, который призывал всем сердцем слушать музыку революции, который на вопрос: «Может ли интеллигенция работать с большевиками?» — отвечал: «Может и обязана». Теперь, в тюрьме, Блок спросил у одного из товарищей по несчастью:

— Как вы думаете, мы когда-нибудь отсюда выйдем?

— Конечно! Завтра же разберутся и отпустят...

— Нет, мы отсюда никогда не выйдем, — печально сказал поэт. — Они убьют всех, всё...

Эту историю рассказал мне другой поэт, Семен Липкин, который, в свою очередь, слышал ее от тюремного собеседника Блока — переводчика и искусствоведа Абрама Эфроса. По каплям просачиваются сквозь толщу времени, доходят до нас все новые вести о конце серебряного века.

Да, Блокá выпустили назавтра. И все же он оказался прав. И сам он вскоре погибнет, задушенный революцией, — от нужды и недоедания и, главное, от душевных мук, потому что «музыка кончилась». За два месяца до смерти поэт написал о себе: «Слопала-таки поганая, гнившая родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка». И его собеседник Абрам Эфрос еще хлебнет тюрьмы и проживет в опале всю жизнь. Уже никогда не выпустят большевики из своих железных тисков мыслителей и художников, да и всю страну превратят в один громадный концлагерь.

Молот ЦК и меч ЧК обрушились на серебряный век русской культуры, и великолепные осколки его разлетелись в пространстве и времени.

Теперь, пытаясь восстановить разорванную связь времен, вернуть себе историческую память и духовные богатства, мы ищем и собираем эти оскол-

ки всюду, куда закинула их судьба: и за границей — в наследии русской эмиграции первой волны, и дома — в библиотеках, архивах и музеях, и в воспоминаниях немногих свидетелей далекого уже прошлого. Обнаруживаются они и в темных тайниках самой власти, в секретных хранилищах карательных органов — драгоценными блестками в бумажной породе.

Здесь пойдет речь только о четырех именах из всего неохватного списка творцов серебряного века — двух философах и двух поэтах, которые подают о себе весть из архивов Лубянки.

### Философский пароход

Начало 1922 года. Нэп... Страна приходит в себя после лихолетья военного коммунизма. Бойко торгуют магазины и лавки, наперебой зазывают рестораны и пивные. Заработал транспорт. Люди радуются возврату к нормальной жизни — еде, теплу, свету, отсутствию выстрелов. Оживляется и культура: растут как грибы новые издательства и журналы, научные и художественные общества, переполнены театры, выставки, концерты. Вспыхнули надежды. Кажется, жизнь идет на поправку.

Но это все лишь краткая передышка. Уже весной коммунисты разворачивают новое наступление — на идеологическом фронте. Экономика — экономикой, без хлеба не проживешь, а вот без духовной пищи как-нибудь обойдемся! Выходит декрет о конфискации церковных ценностей — солдаты в шапках-буденовках (в народе их прозвали «свиными рылами») бесцеремонно врываются в храмы и грабят их под предлогом помощи голодающим. Одновременно с массовыми арестами священников вносится разлад в духовенство и паству: создается обновленческая, «живая» церковь, дружественная советской власти. Идет охота на эсеров и членов других партий, еще вчера бывших союзниками большевиков. ВЧК сменила свое пугающее название на ГПУ — что это сулит? Генсеком партии становится Сталин и начинает потихоньку прибирать власть к рукам. В толпе ходят панические слухи. Будто бы Ленин болен и отстранился от государственных дел. Нет, шепчут другие, он уже на том свете, а все указы за него подписывает кто-то. Ничего подобного, возражают третьи, Ленин жив, но заперся во дворце, потерял дар речи и только повторяет: «Что я сделал с Россией?» — и ему уже являлась скорбящая Богородица... Еще говорят...

Слухи не беспочвенные: здоровье Ленина действительно резко пошатнулось и он на несколько месяцев потерял работоспособность. Но прежде успел дать ход новой, невиданной кампании, которая с неудержимостью лавины ползет на страну.

В мае Ленин редактирует Уголовный кодекс: «По-моему, надо расширить применение расстрела (с заменой высылкой за границу)...» Ну а если вернуться? И это будет предусмотрено: за неразрешенное возвращение из-за границы — расстрел!

Это первое упоминание о высылке, идея, ударившая в голову Ильичу накануне апоплексического удара, — одно из последних политических деяний вождя партии.

А 19 мая 1922 года — за шесть дней до приступа, свалившего его в постель, — Ленин пишет секретное письмо Дзержинскому — программу операции, которая наверняка задумана и обсуждена заранее: «Тов. Дзержинский! К вопросу о высылке за границу писателей и профессоров, помогающих контрреволюции. Надо это подготовить тщательнее. Без подготовки мы наглупим...» Тут же названы и имена первых кандидатов в изгнанники — авторов журнала «Экономист», попавшего на глаза Ильичу: «Это, по-моему, явный центр белогвардейцев, — и подсказывает, доносит товарищам из ГПУ: — В № 3... напечатан на обложке список сотрудников. Это, я думаю, почти все законнейшие кандидаты на высылку за границу». И дальше, срываясь уже на крик: «Все это явные контрреволюционеры, пособники Ан-

танты, организация ее слуг и шпионов и растлителей учащейся молодежи. Надо поставить дело так, чтобы этих „военных шпионов” изловить и излавливать постоянно и систематически и высылать за границу».

Таким образом, честь составления первого проскрипционного списка с указанием круга лиц, профессий и даже имен принадлежит самому вождю мировой революции. И это происходит в то время, когда, при всей яркости звезд на культурном небосводе, ученых людей в полуграмотной, нищей, обескровленной революциями и войнами России катастрофически не хватает, когда даже «лучший друг» Ленина Максим Горький, тоже, кстати сказать, незадолго до этого вытолкнутый в эмиграцию под предлогом лечения, говорит, что без «творцов русской науки и культуры нельзя жить, как нельзя жить без души», и что во всей стране их «только девять тысяч»...

Перед ГПУ поставлена срочная задача: собрать досье на «писателей и профессоров» («поручить все это толковому, образованному и аккуратному человеку»), отобрать из этой подлой публики самых неблагонадежных и выбросить вон, произведя тем самым селекцию интеллигенции.

И вот уже советская печать, в пристяжке с ГПУ, поднимает истерические вопли. «Диктатура, где твой хлыст?» — вопрошает «Правда», гремя малюсенькую книжечку критика Айхенвальда о поэзии, называет ее «мразью и дрянью» и требует хлыстом диктатуры заставить автора и ему подобных «убраться за черту, в тот лагерь содержания, к которому они по праву принадлежат со своей эстетикой и со своей религией».

В то время как профессора и писатели ломают голову над мировыми проблемами, их судьба уже решена. За лето чекисты и чекисты подготовили проскрипционные списки. Назначен час «икс» — ночь с 16 на 17 августа. Облава начинается...

Один из кандидатов в изгнанники — Николай Александрович Бердяев.

Здесь не место излагать взгляды крупнейшего мыслителя серебряного века — любопытный читатель может обратиться к его многочисленным трудам, изданным во всех цивилизованных странах, а ныне ставшим доступными и на родине. Скажем только, что Бердяев — самый известный на Западе русский философ, творец «нового религиозного сознания» — дал свой оригинальный и глубокий взгляд на историческую судьбу России, свое понимание истоков и трагедии русского коммунизма.

Что же он противопоставил коммунизму? Духовную свободу и свободную личность — как высшие ценности. Революция не несет в себе созидательного творческого начала — это голое отрицание, продукт рабского сознания. Социализм — не что иное, как лжерелигия, демонизм, который все вопросы жизни сводит к куску хлеба, порождает убогое и злобное мещанство, принудительное равенство в нищете духа и тела. И освободить человека от внешнего насилия мало — это значит освободить не человека, а зверя, — необходимо реализовать его внутреннюю свободу, которую нельзя купить ни за какие блага мира.

Презиравший политику — «Я всегда был ничьим человеком, был лишь своим собственным человеком, человеком своей идеи, своего призвания, своего искания истины», — он тем не менее неизменно оказывался в эпицентре политической борьбы — именно потому, что публично, во весь голос решал извечную русскую загадку: как быть свободным в мире несвободы. И голос этот вызывал мощное эхо, к нему прислушивались все: и друзья, и враги, — кто с горячей симпатией, кто с нескрываемой злобой. Голос этот проникал к людям даже тогда, когда ему был закрыт доступ в советскую печать, — через неподцензурную литературу, летучие списки самиздата.

Изучая следственное досье другого выдающегося философа серебряного века, Павла Флоренского, — дело «Партии Возрождения России», я обнаружил там рядом с его собственноручными показаниями рукописные копии двух статей Бердяева. Как они туда попали? После обыска у одного из мно-

жества арестованных по этому делу, ничем не примечательного человека, единственным преступлением которого была вера в Бога. Переписанные кем-то из эмигрантской газеты, бердяевские статьи — о судьбе русской Церкви — передавались из рук в руки, пока не легли на стол следователя. И стали главной уликой — несчастный хранитель их поплатился своей свободой.

Сейчас мы видим, что русский культурный ренессанс — духовная родина Бердяева — был не чем иным, как возможной, увы, несбывшейся альтернативой русскому коммунизму, отбросившему страну в варварство, ставшему национальной катастрофой. Вот почему советская власть запретила книги философа и заклеила его идеи презрительной кличкой «белибердяевщина», вот почему в наши дни, когда после краха коммунизма образовался духовный вакуум, мысль его воскресла в сознании и обрела второе дыхание.

Сочинения Николая Бердяева — плоды не только холодного ума, но и пламенного сердца: он пережил революцию как личное, внутреннее событие, случившееся и с его народом, и с ним самим.

В первые годы революции, в пору разрухи и голода, власть выделила двенадцати самым известным писателям академический паек, среди этих тут же в шутку окрещенных «бессмертными» счастливицков был и Бердяев. Охранная грамота позволяла ему еще иметь и квартиру, и рабочий кабинет, и библиотеку. И каждую неделю в его гостиной — пожалуй, это был единственный такой дом в Москве — собирались люди разных убеждений, от крайне левых до крайне правых, и вели дискуссии на самые разнообразные злободневные и классические темы. Как-то газета «Известия» опубликовала сообщение-донос об одном из таких собраний, где обсуждалось, Антихрист ли Ленин; пришли к выводу: нет, не Антихрист, а лишь предшественник Антихриста...

В то время как революция объявила войну духу, отнеся его к контрреволюции, Бердяев основал в Москве Вольную академию духовной культуры, куда стекались со всей Москвы голодные, замерзшие, но жаждущие высокого общения люди. В те годы революционной стихии еще существовала относительная терпимость и свобода мнений, были возможны и критика, и полемика, еще верилось во внутреннее перерождение коммунизма. Но в первом ряду среди слушателей неизменно сидел агент ЧК.

И «охранная грамота» не оградила профессора от других опасностей и тягот революционного времени...

Откроем лубянской досье Бердяева.

Первая встреча с Чрезвычайкой случилась у Бердяева в ночь с 18 на 19 февраля 1920 года.

Свидетельство о ней — документы, сохранившиеся в лубянском досье. Восстановить это событие помогут также воспоминания о тех злополучных днях самого философа и его свояченицы — Евгении Рапп.

Утро 18 февраля началось для Бердяева очень рано: он был вызван по предписанию властей на принудительные работы. Еще затемно собрали таких же, как он, «буржуев» по указанному адресу, в каком-то мрачном закутке, чуть освещенном керосиновой лампой, после переключки по номерам построили в колонну и с конвоем солдат, под злые окрики, погнали за город. Стоял лютый мороз — больше тридцати градусов. Бердяева лихорадило: накануне он простудился и сейчас еле держался на ногах. Дотащились до какого-то вокзала, там мужчинам всучили тяжелые ломы — очищать ото льда и снега железнодорожный путь; женщины грузили глыбы в вагон. Работали до сумерек, без еды, лишь в конце получили по куску черного хлеба...

Была уже ночь, когда Бердяев, совершенно измученный, с высокой температурой, добрался наконец до дома. И только улегся в постель, едва согрелся — домашние принесли ему в спальню железную печку, которую топчили старинной мебелью, — только задремал, как вдруг входная дверь задрожала от оглушительных ударов.

— Здесь квартира Бердяева? — на пороге стоял чекист с вооруженными солдатами.

Ордер на арест в архивной папке называет имя этого человека — комиссар ВЧК Н. Педан, подписал же документ председатель Особого отдела ВЧК Менжинский.

— Не стоит делать обыск, — сказал Бердяев. — Я противник большевиков и никогда своих мыслей не скрывал. Вы не найдете в бумагах ничего, что бы я ни говорил открыто...

Тем не менее обыск был произведен со всей тщательностью и продолжался до рассвета. Изъяли: рукописи, переписку, лекции, несколько журналов и газет и две печати: каучуковую — Вольной академии духовной культуры и сургучную — с гербом дворянского рода Бердяевых.

Что же касается разговора с философом, его комиссар тоже не оставил без внимания. Приложил к ордеру специальный «доклад»:

«При аресте гр. Бердяева он заявил, между прочим, что он „идейный противник идеализации коммунизма“, и пояснил, что это происходит оттого, что он, Бердяев, очень религиозный, а коммунизм „материален“ (его выражение)».

На Лубянку арестованного вели пешком — через весь центр заиндеветшей, промороженной Москвы, под испуганными взглядами прохожих: транспорта у советской власти на всех ее бесчисленных врагов не хватало.

В задании чекистам на операцию указано дело, по которому привлекался Бердяев, — дело «Тактического центра».

В скором времени в Москве выйдет «Красная книга ВЧК» — материалы о контрреволюционных организациях первых лет советской власти, успешно разгромленных доблестными чекистами. «Тактическому центру» посвящен почти весь второй том этого знаменитого издания. Судьба книги драматична: ее составители были репрессированы, а сама она изъята из библиотек и уничтожена. Уцелело лишь несколько экземпляров в закрытых хранилищах. Преследовалась правда?

Все оказалось еще сложнее. Внимательное знакомство в лубянском архиве с делом «Тактического центра» в тридцати четырех томах — а именно на его основе составлялся второй том «Красной книги» — приводит к неожиданному открытию: эта гонимая книга — еще одна фальсификация в советской истории, еще одна довольно искусно сфабрикованная ложь, возродившаяся, кстати сказать, в нашей печати и до сих пор не разоблаченная. «Красную книгу ВЧК» извлекли из спецхранов и перепечатали в первоизданном виде во времена перестройки. Старую ложь продолжают тиражировать!

Что же сохранили архивы, о чем умолчала эта самая «Красная книга»?

Мало того, что в нее включены не все, а только тенденциозно подобранные материалы следствия, но и те, что вошли, сокращены с умыслом. Был тщательно сокрыт и сам иезуитский механизм чекистской работы: угрозы и обман, провокационная роль следователей и предательская — некоторых из арестованных. Запугать расстрелом и арестом близких, поссорить между собой, запутать — такой была тактика чекистов. Найти слабое звено, выявить предателя, сделать послушным орудием своей воли и через него слепить дело, раздув его до исполинских масштабов очередной великой победы — чтобы было чем отчитаться перед вождями и гордиться перед потомками.

Кто же были эти страшные враги, на которых обрушился карающий меч революции? Профессура, юристы, историки, публицисты, специалисты по народному образованию и сельскому хозяйству, дипломаты, экономисты, представители различных партий, в том числе и социалисты, и беспартийные, — одним словом, интеллигенция. Ну да, почти все они были из дворянства, объявленного классово враждебным нынешнему гегемону, но так уж исторически сложилось — сам вождь большевиков, как известно, происходил из дворян.

Конечно, можно найти среди этих людей, переполнивших Внутреннюю тюрьму Лубянки, и тех, кто носил оружие и помышлял военным путем свергнуть советскую власть, но таких раз-два — и обчелся. В основном же это были просто патриоты, равнодушные к судьбам родины, активные общественные деятели, мыслящие люди, но люди — и на комы слящие, оппозиционно настроенные, несогласные в чем-то с новым режимом, основанном на бесправии и кровавом терроре. И собирались, кооперировались они для того, чтобы сообща, в горячих спорах найти пути спасения России, лучшее будущее. Ведь иллюзия свободы еще не улетучилась в умах. Шла Гражданская война, большевистская диктатура держалась на волоске и, казалось, вот-вот падет. Исход был не предreshен.

Но Кремль и Лубянка спешили атаковать первыми, нанести упреждающий удар, пока духовная оппозиция не созрела, не обрела силы для сопротивления.

Истинную цель карательной акции большевиков раскроет вскоре на заседании Верховного Ревтрибунала государственный обвинитель Крыленко:

«...В этом процессе мы будем иметь дело с судом истории над деятельностью русской интеллигенции... Русская интеллигенция, войдя в горнило Революции с лозунгами народовластиа, вышла из нее союзником черных генералов, наемным и послушным агентом европейского империализма. Интеллигенция попрала свои знамена и забросала их грязью...»

Николай Бердяев числится среди обвиняемых в списке «Совета общественных деятелей», якобы входившего в «Тактический центр». Из материалов дела явствует, что он был арестован по показаниям только одного человека, лично с ним даже не знакомого, — «специалиста по государственному устройству» Николая Николаевича Виноградского, бывшего в «Совете общественных деятелей» на технической должности, чем-то вроде секретаря. Этот «специалист» выступает в деле как доносчик и провокатор: запуганный чекистами, под страхом смерти, он по поручению руководившего этой операцией особого уполномоченного ВЧК Якова Агранова настрочил подробнейшие полуфантастические «очерки», в которых дал обвинительные характеристики на десятки людей — разумеется, по подсказке, а то и под диктовку самих чекистов. Больше того, его специально подсаживали в камеры к другим арестованным, и он, влезая к ним в доверие, потом докладывал следователям.

В «Красной книге ВЧК» Бердяев проходит лишь тенью.

16 февраля, за два дня до его ареста, Виноградский в показаниях (где он прозрачно раскрывает свою цель: «оправдать доверие» чекистов) пишет: «...В числе лиц, входивших в состав „Совета общественных деятелей” и посещавших его заседания, был еще... профессор-философ Бердяев (Николай Иванович или обратно)...»

Такова степень знакомства — не знает даже имени-отчества! Впрочем, для ареста этого оказалось достаточно. А потом, когда дело уже распухнет и антисоветский центр обретет в стенах Лубянки устрашающие очертания, Виноградский уточнит, дополнит, даст более развернутую характеристику:

«Бердяев Николай Александрович. Один из учредителей „Московских совещаний” и „Совета общественных деятелей”. Как мыслитель, философ, а по убеждениям — определенный монархист, был идеологом монархической идеи. С другой стороны, давал идеологическое обоснование революции и различных явлений революции, в том числе коммунистического течения».

Вот и пойми тут, кто он, этот самый Бердяев!

Большого о нем из «Красной книги» выжать нельзя.

Следственное дело на этот счет куда словоохотливей. Не включили составители-комиссары в книгу, например, такой пассаж из заявления другого арестанта, дипломата и публициста Валериана Муравьева:

«Все жили, не исключая и коммунистов, изо дня в день в ожидании катастрофы... Я сам часто спрашивал себя, правилен ли мой диагноз и верно ли



мнение, что русский народ найдет в себе силы для того, чтобы выйти собственными силами из состояния развала... Мне значительно помог в этом смысле ряд собраний самого различного состава и характера, в которых в различных постановках, но всегда с очень широкой и возвышенной философско-религиозной точки зрения рассматривались вопросы о будущем человечества вообще и в частности о будущем России. Большое влияние на меня оказало общение с некоторыми выдающимися мыслителями, как, например, Н. Бердяев и И. А. Ильин, которые всегда стремились вынести свои суждения за рамки современности и даже вообще политики и высказываться с точки зрения конечных проблем человеческой мысли и человеческой культуры. Расходясь в очень многом с этими философами и вообще с современными русскими мыслителями, я тем не менее многое у них почерпнул, и оно помогло мне выработать более или менее определенное мирозерцание...»

Тюремное заточение Бердяева оборвалось так же внезапно, как и началось. Однажды в полночь его повели на допрос — по бесконечному лабиринту мрачных коридоров и лестниц. Вдруг — ковровая дорожка, распахнулась дверь — в залитый ярким светом огромный кабинет со шкурой белого медведя, распластанной на полу. У письменного стола стоял высокий военный с красной звездой на груди. Острая борода, серые печальные глаза. Вежливо пригласил сесть, представился:

— Дзержинский.

Бердяеву, единственному из всех арестованных по этому делу, выпала честь быть допрошенным самим создателем ЧК, грозой контрреволюции. Больше того, на допрос соизволил приехать из Кремля еще один вождь большевиков — Лев Каменев; тут же был и Менжинский, отправивший Бердяева за решетку (философ знал немного этого человека, когда-то, до революции, тот мелькал в литературных кругах Петербурга как начинающий беллетрист).

Словом, встреча была опасная и торжественная, достойная того, чтобы войти в историю. Много лет спустя Бердяев опишет ее в своей философской автобиографии «Самопознание».

«Дзержинский произвел на меня впечатление человека вполне убежденного и искреннего, — вспомнит он. — Это был фанатик... В нем было что-то жуткое... В прошлом он хотел стать католическим монахом, и свою фанатическую веру он перенес на коммунизм».

Философ был настроен по-боевому и решил атаковать:

— Имейте в виду, я считаю соответствующим моему достоинству мыслителя и писателя прямо высказать то, что я думаю.

— Мы этого и ждем от вас, — заметил Дзержинский.

И Бердяев начал говорить. Речь его длилась, как лекция, — академический час. Подробно объяснил, по каким основаниям, религиозным, философским и моральным, он — противник коммунизма, хотя и не политический человек.

Слушали внимательно. Лишь изредка Дзержинский вставлял свои замечания. Такую, например, многозначительную фразу:

— Можно быть материалистом в теории и идеалистом в жизни и, наоборот, идеалистом в теории и материалистом в жизни...

Уж не себя ли он имел в виду в противовес своему собеседнику?

На вопросы о конкретных людях Бердяев говорить отказался.

— Я вас сейчас освобожу, — вдруг сказал Дзержинский. — Но вам нельзя уезжать из Москвы без разрешения.

И повернулся к Менжинскому:

— Уже поздно, а у нас процветает бандитизм. Нельзя ли отправить гражданина Бердяева на автомобиле?

Автомобиля не было, нашлась мотоциклетка. Под ее оглушительный рев философ и был благополучно доставлен домой с куда большим комфортом, чем изъят оттуда.

Что спасло Бердяева? Решительность и прямота? Или Дзержинский убедился, что за его узником никаких особых грехов нет и он попал в ЧК по ошибке? И так высоко витает, что безвреден на земле? А может быть, фанатику революции импонировал такой же бескорыстный фанатизм — но в другой вере?

Жаль, что этот допрос не был оформлен и не вошел в дело, мы бы получили сейчас важный документ. Но для самого философа, может, и к счастью, что не были запротokolированы его откровения. К суду он привлечен не был, хотя и присутствовал на нем в качестве наблюдателя и определил его как «инсценировку». Этот театр, впрочем, грозил отнюдь не театральной казнью многим его хорошим знакомым, и только в последнюю минуту смертный приговор был смягчен: четверо из подсудимых получили по десять лет тюрьмы, девять заключены в концлагерь, остальные выпущены на волю. И судьи, и прокурор, кажется, хорошо понимали, что за «опаснейшие преступления» перед ними. И когда адвокаты, перебивая друг друга, устремились к судейскому столу с кипами трудов своих подзащитных: «Мой написал одиннадцать томов!» — «А мой — восемнадцать!» — зал оглашался невольным смехом, и вместе со всеми хохотал прокурор Крыленко. Это ничуть не мешало ему, однако, клокотать гневом в своей обвинительной речи:

— И даже если бы обвиняемые здесь, в Москве, не ударили бы пальцем о палец — все равно в такой момент даже разговоры за чашкой чая, какой строй должен сменить падающую якобы советскую власть, являются контрреволюционным актом. Во время гражданской войны преступно не только действие — преступно само бездействие...

Прошло два года. Стояло чудесное лето. Бердяев в первый раз после революции выехал с семьей на дачу и теперь наслаждался деревенской природой. Деревянный, пахнувший смолой дом. Серьезные занятия перемежаются походами за ягодами и грибами. По вечерам — самовар на балкончике, чай с вареньем, наплывающий с реки туман, безмятежные, долгие закаты. Ничто не предвещало новой беды.

Однажды — 16 августа — он единственный раз за все лето отправился на свою московскую квартиру, и именно в эту ночь к нему снова нагрянули нежданные гости с винтовками.

Другой чекист, на сей раз некий М. Соколов, другой номер ордера, другая подпись на нем — заместитель председателя ГПУ Уншлихт... А в остальном знакомо: затяжной обыск («операция начата в 1 час ночи... окончена в 5 ч. 10 мин. утра»), изъятие бумаг («переписка на 26 л. и переписка в уничтоженном виде») (видимо, разорванная. — *В. Ш.*) и проторенная дорога из арбатского переулочка на Лубянку. Правда, теперь гепэушники уже располагали автомобилем для транспортировки арестанта.

В комендатуре прощупали одежду — и в камеру. Швырнули в дверь выдавший виды матрас с сеном — устраивайте ложе сами! Переполнено, то и дело вводят новых арестантов. Знакомые все лица — профессора, литераторы. Как, и вы? И вы тоже? Недоумевают: за что?.. Могли вспомнить анекдот, гулявший тогда по Москве, об анкете, которую якобы все должны были заполнить, с вопросом: «Были ли вы арестованы, и если нет, то почему?»...

18-м августа датируется протокол допроса, учиненного помощником начальника 4-го отделения Секретного отдела Бахваловым.

Сперва, как положено, — обязательная анкета; ответы написаны рукой Бердяева. К сожалению, почерк философа столь трудно разборчив, что некоторые слова не прочитываются — эти места отмечаем многоточиями в угловых скобках.

«Бердяев Николай Александрович, 48 л., бывший дворянин г. Киева.

Местожительство — г. Москва, Бол. Власьевский, д. 14, кв. 3.

Род занятий — писатель и ученый.

Семейное положение — женат.

Имущественное положение — собственности не имею.

Партийность — беспартийный.

Политические убеждения — являюсь сторонником христианской общечеловечности, основанной на христианской свободе, христианском братстве и христианских верованиях, которые не угнетаются ни одной партией, т. е. одинаково неслиянны ни с буржуазным обществом, ни с коммунизмом.

Образование: общее — университетское высшее, специальное — философия.

Чем занимался и где служил:

а) до войны 1914 г. — нигде не служил и занимался литературным трудом;  
б) до февральской революции 1917 г. — тоже нигде не служил и занимался литературной деятельностью;

в) до октябрьской революции 1917 г. — тоже нигде не служил;

г) с октябрьской революции до ареста — служил в Главном Архивном Управлении, в 1920 г. был избран преподавателем Московского Государственного Университета, читал лекции в Государственном Институте Слова, состоял действительным членом Российской Академии Художественных наук.

Сведения о прежней судимости — в 1915 г. проходил по литературно-политическому делу, за статью против Синода, обвинялся по статье богохульство. В 1920 г. был привлечен к следствию ВЧК, но от суда отстранен <...> С 1900 по 1903 г. был в ссылке в Вологде по политическому делу».

Дальше в протоколе идут показания по существу дела. Вопросы записаны следователем, ответы — собственноручно Бердяевым.

«В о п р о с. Скажите, гр-н Бердяев, ваши взгляды на структуру Советской власти и на систему пролетарского государства.

О т в е т. По убеждениям своим не могу стать на классовую точку зрения и одинаково считаю узкой, ограниченной и своекорыстной и идеологию дворянскую, и идеологию крестьянскую, и идеологию пролетариата, и идеологию буржуазии. Стою на точке зрения человека и человечества, которым должны подчиняться все иные классовые организации и партии. Свою собственную идеологию считаю аристократичной, но не в сословном смысле, а в смысле господства лучшего, наиболее умного, талантливого, образованного, благородного. Демократию считаю ошибочной потому, что она стоит на точке зрения господства большинства... Впрочем, возрождение общества и <...> правды может быть основано на духовном возрождении человека и народа. Не верю в <...> военные и материальные пути возрождения. Думаю, что в России нет пролетарского государства, потому что большинство русского народа крестьяне.

В о п р о с. Скажите ваши взгляды на задачи интеллигенции и так называемой «общественности».

О т в е т. Думаю, что задачи интеллигенции во всех сферах культуры и общественной — отстаивать одухотворяющее начало, подчинив материальное начало идее духовной культуры, быть исключительно научным, нравственным, эстетическим судьей. Думаю, что должно быть взаимодействие и сотрудничество элементов общественной и элементов государства и власти, без <...> одного элемента другим.

В о п р о с. Скажите ваше отношение к таким методам борьбы с Советской властью, как забастовка профессоров.

О т в е т. Я недостаточно знаю этот факт и не могу окончательно судить в этом деле. Если профессора борются за интересы науки и знания, то это я считаю правоммерным как борьбу, если же стоят исключительно на экономической точке зрения, то считаю ошибочным.

В о п р о с. Скажите ваше отношение к сменовеховцам<sup>1</sup>, савинковцам и к процессу партии социалистов-революционеров.

<sup>1</sup> Сменовеховцы — по сборнику «Смена вех» — интеллигенты-эмигранты, сторонники сотрудничества с советской властью. Савинковцы — соратники Б. В. Савинкова, главы антисоветского Народного союза защиты родины и свободы.

Ответ. К сменовеховцам отношусь скорее отрицательно, читал только сборник, и потому, что в нем слишком много фраз и недостает знания русской жизни. Согласен с критичным отношением к эмиграции и заграничным попыткам изменить насильственно ход русской жизни. К попыткам савинковцев отношусь отрицательно. За процессом социалистов-революционеров не следил. Считаю ошибочным суровый приговор в отношении социалистов-революционеров...

Вопрос. Скажите ваши взгляды на политику Советской власти в области высшей школы и отношение к реформе ее.

Ответ. Не сочувствую политике Советской власти относительно высшей школы, поскольку она нарушает свободу науки и преподавания и стесняет свободу прежней философии.

Вопрос. Скажите ваши взгляды на перспективы русской эмиграции за границей.

Ответ. Положение белой части эмиграции считаю тяжелым, и ее точка зрения, насколько мне известно, основана на незнании и непонимании хода русской жизни».

В конце допроса Бердяев уточнил свое отношение к партийности:

«Отношусь отрицательно к партийности и никогда ни к каким партиям не принадлежал и принадлежать не буду. Ни одна из существующих и существовавших партий моего сочувствия не вызывает».

На следующий день Бахвалов снова вызвал своего подследственного и объявил ему ошеломляющую новость: решением ГПУ он за антисоветскую деятельность высылается за границу. «Когда мне сказали, что меня высылают, у меня сделалась тоска, — вспоминал Бердяев. — Я не хотел эмигрировать, и у меня было отталкивание от эмиграции, с которой я не хотел слиться. Но вместе с тем было чувство, что я попаду в более свободный мир и смогу дышать более свободным воздухом...»

История изгнания интеллигенции из большевистской России мало исследована и еще ждет своего летописца. Поэтому здесь важен каждый факт, любой новый документ.

Содержимое архивной папки позволяет теперь точно восстановить всю процедуру этой уникальной акции.

Сначала Бахвалов показал своему подопечному постановление о привлечении его в качестве обвиняемого и предъявлении обвинения, обязательное в каждом следственном производстве. Бердяев запротестовал и, верный своим принципам, зафиксировал протест на бумаге:

«...Постановление о привлечении меня в качестве обвиняемого... прочел и не признаю себя виновным в том, что занимался антисоветской деятельностью, и особенно не считаю себя виновным в том, что в момент военных затруднений для РСФСР занимался контрреволюционной деятельностью».

— Гражданин Бердяев, — объяснил ему следователь, — это ничего не меняет. Ваша судьба уже решена. Вам надо только написать заявление о выезде за границу. Об остальном позаботится ГПУ.

И Бердяев написал:

«В коллегию ГПУ

#### Заявление

Согласно предложению 4 отделения СО ГПУ о высылке меня за границу прошу Коллегию ГПУ разрешить мой выезд за границу на свой счет с семьей, состоящей из следующих лиц: 1) жены моей Лидии Юдифовны Рапп-Бердяевой, 48 лет, 2) сестры ее Евгении Юдифовны Рапп, всегда проживавшей с нами, 46 лет, и 3) матери жены Ирины Васильевны Трушевой, 67 лет».

В тот же день был отпечатан еще один, итоговый, документ, подводящий черту под всей жизнью Бердяева на родине:

## «Заключение»

1922 года, августа 19 дня. Я, сотрудник 4 отделения СО ГПУ Бахвалов, рассмотрел дело... о Бердяеве Николае Александровиче... нашел следующее:

С момента октябрьского переворота и до настоящего времени он не только не примирился с существующей в России в течение 5 лет Рабоче-крестьянской властью, но ни на один момент не прекращал своей антисоветской деятельности, причем в момент внешних затруднений для РСФСР Бердяев свою контрреволюционную деятельность усиливал. Все это подтверждается имеющимся в деле агентурным материалом (единственный материал в деле, который можно назвать «агентурным», — это все то же высосанное из пальца смехотворное показание Виноградского двухгодичной давности. — В. Ш.).

А посему, на основании п. 2 лит. Е положения о ГПУ от 6.2 с. г., в целях пресечения дальнейшей антисоветской деятельности Бердяева Николая Александровича полагаю: его выслать из пределов РСФСР за границу БЕССРОЧНО.

Принимая же во внимание заявление, поданное в Коллегию ГПУ гражданином Бердяевым с просьбой разрешить ему выезд за границу за свой счет, — освободить его для устройства личных и служебных дел на 7 дней с обязательством по истечении указанного срока явиться в ГПУ и немедленно после явки выехать за границу».

Внизу кроме подписи Бахвалова имена вышестоящих чекистов: Решетов, Самсонов, Уншлихт.

Но и на этом бумаготворчество не закончилось. Бердяев должен был дать две подписки.

## «Подписка

Дана сия мною, гражданином Бердяевым Н. А., СО ГПУ в том, что обязуюсь: 1) выехать за границу согласно решению Коллегии ГПУ за свой счет, 2) в течение семи дней после освобождения ликвидировать все свои личные и служебные дела и получить необходимые для выезда за границу документы, 3) по истечении семи дней обязуюсь явиться в СО ГПУ к начальнику 4 отделения т. Решетову. Мне объявлено, что неявка в указанный срок будет рассматриваться, как побег из-под стражи со всеми вытекающими последствиями, в чем и подписуюсь».

И еще:

## «Подписка

Дана сия мною, гражданином Бердяевым Н. А., Государственному Политическому Управлению в том, что обязуюсь не возвращаться на территорию РСФСР без разрешения органов Советской власти.

Статья 71-я Уголовного кодекса РСФСР, карающая за самовольное возвращение в пределы РСФСР высшей мерой наказания, мне объявлена, в чем и подписуюсь».

Убийственные документы! Вот вам семь дней, соберите манатки, найдите себе место на земле — и к нам, для последнего «прости». Да не вздумайте прятаться: все равно поймает и — по законам революционного времени — отправим уже не за границу, а куда Макар телят не гонял или на тот свет. Убейтесь, а сунетесь обратно — пуля в лоб...

Бердяева продержали в тюрьме еще два дня, до официального постановления Коллегии ГПУ о высылке, и отпустили домой — собираться в дальнюю дорогу.

Подобную процедуру проходили тогда на Лубянке десятки людей мысли и пера, всем им была уготована такая же участь. Из Москвы без суда и следствия, по административному решению ГПУ, высылались цвет русской интеллигенции: философы С. Н. Булгаков, И. А. Ильин, С. Л. Франк, Ф. А. Сте-

пун, Б. П. Вышеславцев; литераторы М. А. Осоргин, Ю. И. Айхенвальд, А. В. Пешехонов, В. Ф. Булгаков; историки А. А. Кизеветтер, А. В. Флоровский, В. А. Мякотин, С. П. Мельгунов; социолог П. А. Сорокин, биолог, ректор Московского университета М. М. Новиков, математик В. В. Стратонов, целая группа экономистов и кооператоров, агрономы, издатели...

К тому времени общественная кампания против них была в самом разгаре. Да чем же все-таки они так провинились? «Те элементы, которых мы высылаем и будем высылать, сами по себе политически ничтожны, — вторит Ленину мастер левацких формулировок Троцкий. — Но они потенциальное оружие в руках наших возможных врагов». Так он обосновал акцию в статье-интервью «Превентивное милосердие»: это-де неутоленная жалость к людям заставляет нас выдворить их из страны, чтобы не пришлось в случае кризиса расстреливать...

«Среди высылаемых почти нет крупных имен», — заявляет в расчете на невежд «Правда». И натравливает: «Принятые Советской властью меры будут, несомненно, с горячим сочувствием встречены со стороны русских рабочих и крестьян, которые с нетерпением ждут, когда наконец эти идеологические врангелевцы и колчаковцы будут выброшены с территории РСФСР...» Газета — рупор партии — предупреждает, что высылка — это только начало, первое предостережение, первый удар хлыстом, за которым неизбежно последуют новые.

С тех пор в стране стал падать престиж интеллигенции, внедрялась мысль о ее врожденной контрреволюционности, пришивался ярлык «врага народа»...

Предстояли еще хлопоты с визой. Немцы залепили советскому правительству дипломатическую оплеуху — отказались дать коллективную визу для всех. Германия — не Сибирь, чтобы в нее ссылат! Вот если русские писатели и ученые лично обратятся за визой, тогда пожалуйста, окажем гостеприимство. Нужно было раздобыть деньги на дорогу, отобрать необходимые вещи для всей семьи (дозволялся минимум, на человека — одно зимнее и одно летнее пальто, один костюм, две рубахи, одна простыня). Нельзя было брать с собой никаких драгоценностей, даже нательных крестов. И уж неизвестно, сумели ли они обмануть чекистскую бдительность, но, по свидетельству писателя Осоргина, им не разрешили взять с собой ни одной писаной бумажки, ни одной книги. Прощание с родными и близкими, разрушенный быт, потерянные библиотеки. Чувство изъятия из жизни...

Поезд Москва — Петроград. Там опять торопливые встречи-расставания, многочасовая погрузка на немецкий пароход «Oberbürgermeister Hacken» — с трапа выкликают имя, вводят по одному в контрольную будку, где суровый чекист чинит опрос и унижительный обыск, на ощупь, через платье... Наконец утром 28 сентября отчалили.

После бурных событий наступило затишье. И море было на редкость спокойным, стоял штиль. Спутники Бердяева запомнили, как он прогуливался по палубе в своей широкополой шляпе на черных кудрях, с толстой палкой в руке и в сверкающих галошах. Капитан показал на мачту — там все время пути сидела какая-то одинокая птица:

— Не помню такого. Это необыкновенный знак!

И еще один знак. Изгнанникам дали «Золотую книгу», которая хранилась на пароходе, — для памятных записей именитых пассажиров. Ее украшал рисунок Шалапина, покинувшего Россию чуть раньше: великий певец изобразил себя голым, со спины, переходящим море вброд. Надпись гласила, что весь мир ему — дом.

Вернуться в свое отечество Николаю Александровичу Бердяеву уже не будет суждено. Он умрет в Кламаре, под Парижем, в 1948 году — знаменитым ученым с мировым именем.

Незадолго до смерти ему приснился сон. Он сидит в экспрессе. Экспресс мчится на родину. Уже открылись глазам широкие русские поля. Вдруг он

почувствовал: рядом с ним кто-то есть. Оглянулся — и увидел: в двух шагах стоит Иисус Христос в белой одежде.

И он проснулся.

### Тайная эпитафия

В ту же роковую ночь с 16 на 17 августа 1922 года в Петрограде был арестован другой философ, доктор истории и доктор богословия, последний свободно избранный ректор университета, любимец студентов Лев Платонович Карсавин.

Сейчас учение Карсавина относят к вершинам русской мысли. Его труды начинают издавать, читают и почитают, они уже питают умы немалого числа людей. Чему же учил этот гонимый мыслитель в своих запретных до недавнего времени писаниях?

Начав как историк европейского средневековья, он, через философию истории, постепенно углубился в чистую метафизику и стал одним из создателей оригинального течения, возникшего в России, — так называемой метафизики всеединства. В основе учения Карсавина лежит философия личности. Цель и смысл человеческой жизни он видит в «лицетворении», то есть в приобщении к полноте божественного бытия, в сотворении себя по образу и подобию Божию. Стать личностью, явить, обрести собственное лицо — а не быть лишь общественным животным, пылинкой истории. «Я познаю весь мир — весь мир становится мною».

Любимое выражение Карсавина — «спирали мысли». Они, эти виртуозные «спирали», уводили его от сухой схоластики. Удивляя своими парадоксами, он писал помимо научных трудов и философских трактатов и лирические книги-медитации о любви и смерти, и стихи, мучился всеми проблемами современности. Особенно волновала его судьба России.

Как раз в год ареста в Петрограде вышла его работа «Восток, Запад и русская идея», в которой он, отмечая народный и творческий характер революции и споря с пессимистами, говорил: «Ожидает или не ожидает нас, русских, великое будущее? Я-то, в противность компетентному мнению русского писателя А. М. Пешкова, полагаю, что да и что надо его созидать». Но созидание это он видел по-своему, далеко не так, как правители страны — большевистские вожди. В сотворчестве с Богом, а не с Марксом. «Любезный читатель, — взывает он к современникам в другом своем сочинении той поры, — к тебе обращаюсь я в надежде, что ты веришь в Бога, чувствуешь Его веяние и слышишь Его голос, говорящий в душе твоей. И если не обманывается моя надежда, подумаем вместе над записанными мною мыслями...»

«Ученый мракобес!», «Средневековый фанатик!», «Сладкоречивая проповедь поповщины!», «Галиматья!» — обрушиваются на него марксистские критики. «Предвижу скорую для себя неизбежность замолкнуть в нашей печати», — иронически замечает Карсавин в одном из писем летом 1922 года, перед самым арестом.

Его еще видели то на каких-то собраниях, где он изумлял публику своей ученостью и едкими выпадами против властей предержавших, то гоняющим по широким университетским коридорам на дамском велосипеде, по слухам принадлежавшем некой его почитательнице и музе, а чекисты уже добирали досье на него и его коллег и готовили места в тюремных камерах.

И час пробил. Руководил операцией начальник 1-го спецотделения Секретного отдела Петроградского ГПУ Козловский, исполнял — комиссар Богданов.

После основательного обыска профессора препроводили на Гороховую, 2, в здание ГПУ. Там он «добровольно сдал» ключи от дома и с наивной предусмотрительностью захваченные предметы, которые, по тюремным правилам, представляли опасность: щипцы для колки сахара, десертный металлический нож, чайную серебряную ложку и крючок для застегивания сапог.

Общая камера, куда поместили Карсавина, всю ночь пополнялась новыми узниками и стала напоминать университетскую кафедру. Здесь он увидел своих коллег-философов, профессоров Лапшина и Лосского, директора Института истории искусств графа Зубова и прочих ученых мужей.

На другой день женщина-комиссар, помощник уполномоченного ГПУ Озолина допрашивала арестованного.

«Карсавин Лев Платонович, 39 л., гражданин г. Петрограда, сын актера.

Местожительство — Университетская наб., д. 11, кв. 2.

Род занятий — профессор Петроградского университета.

Семейное положение — женат, трое детей.

Имущественное положение — нет.

Партийность — беспартийный.

Политические убеждения, отношение к Советской власти — лояльное.

Образование: общее — высшее, специальное — профессор по средневековой истории.

Чем занимался и где служил:

а) до войны 1914 г., б) до февральской революции 1917 г., в) до октябрьской революции 1917 г. — профессор в Петербургском университете;

г) с октябрьской революции до ареста — профессор истории Петроградского университета.

Сведения о прежней судимости — не судился и под следствием не был».

В начале допроса Карсавин уточнил свое отношение к советской власти:

«Ни в каких партиях не состоял и не состою. Вполне лояльно отношусь к Советской власти, признавая ее единственною возможною и нужною для настоящего и будущего России, совершенно отрицательно — ко всяким попыткам подорвать ее изнутри или извне. Считаю своею гражданской обязанностью полное и активное сотрудничество с нею, но не разделяю ее программы, как коммунистической. Нахожу необходимым, как и высказывался неоднократно, открыто о разногласиях своих с нею заявлять и честно работать в отводимых ею мне и приемлемых моими убеждениями пределах».

Содержимое тоненькой желтой папки — дело Карсавина № 1618 — показывает: вся крупномасштабная акция по изъятию из общества высшего слоя интеллигенции была тщательно спланирована, отработана в деталях и проводилась в обеих столицах по единому шаблону.

Допрос состоял из тех же самых однотипных вопросов, которые были заданы московскому философу, как и всем остальным, подлежащим высылке: отношение к советской власти, взгляд на задачи интеллигенции, отношение к забастовке профессоров, к сменовеховцам, савинковцам и эсерам, к реформе высшей школы и к эмиграции. Женщина-комиссар даже не сочла нужным вписать эти вопросы в протокол, поскольку имела на руках спущенный сверху трафарет, так что ответы Карсавина записаны подряд, в результате чего получилась непрерывная речь, резюмирующая его политические взгляды:

«Структуру власти, как власть Советов, признаю в принципе правильной, в частностях сейчас несовершенной, но, несомненно, подлежащей нормальной эволюции изнутри (так у Карсавина. — В. Ш.) ее самой. „Пролетарскую“ (рабоче-крестьянскую) власть понимаю как власть, выражающую волю народа (огромного большинства населения) и потому, несмотря на все возможные ее ошибки, лучше эту волю выражающую, чем дореволюционная власть.

Задачею интеллигенции считаю активную и честную работу с Советской властью в пределах ее, интеллигенции, убеждений. В том, в чем интеллигенция расходится с идеологией власти, она должна воздерживаться от всякого рода контрреволюционной деятельности, но открыто о своих убеждениях заявлять и „сговариваться“.

К методам борьбы с Советской властью в форме забастовки отношусь отрицательно.



В сменовеховцах различаю три группы: 1) безусловно примкнувших ко всей программе власти — они рано или поздно должны слиться с Коммунистической партией; 2) намеревающихся взять коммунистическую власть сапой, какового метода не одобряю; 3) признавших власть в надежде ее перерождения — этих считаю ошибающимися в том, что не высказывают своей точки зрения с полною ясностью.

К савинковцам отношусь совершенно отрицательно.

К эсерам отношусь отрицательно. Осуждение эсеров рассматриваю как естественное следствие их поведения и позиции политической борьбы с Советской властью.

В реформе высшей школы признаю основные ее принципы в области изменения управления университетами... Вопрос о программах — вопрос технический, но признаю естественным, что власть ставит определенные задания государственной школе.

Эмиграция. Будущее России не в эмиграции. Часть эмиграции, по моему убеждению, вернется и сольется с Россией (как сменовеховцы), часть рассеется на Западе и станет западной, часть некоторое время будет продолжать все более слабеющую борьбу с Советской Россией».

В конце допроса следователь задала Карсавину еще один, дополнительный, вопрос — о конфискации у церкви ее имущества и о преследовании священников.

«Изъятие церковных ценностей считаю правом власти, никакое сопротивление которой в данном случае невозможно и недолжно. Если ценности идут на помощь голодающим, необходимо, кроме пассивной отдачи ценностей, еще всемерно активно содействовать той же цели.

О процессе церковников определенного мнения не имею за отсутствием точных данных».

Прочитав постановление о привлечении его в качестве обвиняемого и предъявлении обвинения в контрреволюции, Карсавин написал на обороте: «Настоящее обвинение считаю основанным на недоразумении и противоречащим всей моей общественной деятельности». Тут его реакция совпала с бердяевской: виновным себя не признаю!

В этот же день Карсавин узнал и о решении его участи — изгнании из страны. Но свое вынужденное согласие с этим выразил по-своему, весьма оригинально:

#### «Подписка

Даю обязательство ради удобства общественной работы Советской власти уехать на определенный ею мне срок за границу с семьей и выехать в положенный мне срок. Желательно не менее полутора-двух недель».

Он акцентирует горькую нелепость: покинуть отечество для «удобства... Советской власти»!

Надо отдать должное петроградским ученым — в отличие от москвичей, они проявили солидарность с арестованными коллегами. На Гороховую полетело ходатайство: Комиссия по улучшению быта ученых в лице заместителя ее председателя профессора А. Пинкевича просила срочно допросить профессора Карсавина и «в случае установления его невинности освободить из-под стражи».

Бумагу эту пришили к делу и оставили без внимания — тут не до наивных комиссий!

Арестованную профессуру собрали в кучу и, нагруженную узелками и котомками, бросили в трехкилометровый поход, под конвоем, в тюрьму на Шпалерной. И потекли тюремные будни...

Камера — когда-то одиночка, теперь уместившая несколько человек. Лязгающий проворот ключа в двери, днем — двойной, на ночь — тройной, для пущей крепости. Редкие посылки из дома, еще более редкие свидания с

женой Лидией (дома у ректора университета три дочери, одна другой меньше: одиннадцатилетняя Марианна, пятилетняя Ирина и Сусанна двух лет). Тюрьму Карсавин переносил тяжело. Особенно выводил его из себя то и дело вспыхивающий среди ночи яркий свет — так стражники контролировали состояние узников после самоубийства одного из них, — даже подал жалобу на эту «утонченную пытку»... Вообще в Петрограде отношение к высылаемым было много суровее, чем в Москве, — недаром северную столицу окрестили тогда «вотчиной Гришки Третьего»: Отрепьев — Распутин — теперь Григорий Зиновьев, председатель Петроградского Совета. В Москве еще соблюдался чекистский политес — стиль Дзержинского, там и в тюрьме меньше держали, и быстрее отправили.

Наконец 24 октября Карсавина освободили, а назавтра, в том же ГПУ, вручили заграничный паспорт и кипу немецких анкет. Заключение по делу слово в слово повторяло подобный документ в досье Бердяева — только имя «преступника» и дата другие.

А 16 ноября от пристани на Васильевском острове отчаливал немецкий пароход «Preussen». Накануне ночью выпал первый снег. В легком тумане, просвеченном солнцем, прощально проплыла панорама набережных: справа — университет, сфинксы, слева — Адмиралтейство, Сенат, Исаакий и Медный всадник — тиран на вздыбленном коне.

И тут, в плаванье, Карсавин, верный своей натуре, пытался прикрыть горькие чувства самоиронией: записал в альбом одной дамы, что изгнание — это Божья кара ему за нарушение седьмой заповеди («не прелюбодействуй»), которую ГПУ «по неопытности» смешало со статьей 57-й Уголовного кодекса...

К высланным москвичам прибавились еще несколько десятков именитых питерских «экспульсантов» с семьями (так они себя иронически называли, от французского слова «expulse» — изгнанник), представителей независимой мысли и независимой печати, профессоров и общественных деятелей, среди которых: философы Н. О. Лосский и И. И. Лапшин, писатели и журналисты Н. М. Волковский, А. С. Изгоев, А. Б. Петрищев, два проректора университета — юрист А. А. Боголепов и почвовед Б. Н. Одинцов, издатель А. С. Коган, экономист Д. А. Лутохин...

Всего из обеих российских столиц и других городов России и Украины, согласно ежедневным рапортам заместителя председателя ГПУ Уншлихта Ленину (с неизменным «коммунистическим приветом» и пожеланием «полного восстановления сил и здоровья»), обрекались на высылку 174 человека. Нескольким из них в результате ходатайств эту кару отменили или задержали. Так, писателю Евгению Замятину, арестованному в одну ночь с Карсавиным, высылка была «временно приостановлена... вследствие ходатайства т. Воронского об оставлении Замятина в России на предмет сотрудничества его в „Красной нови“»...

Для большинства из высланных насильственная эмиграция стала страшным ударом. Не радовался никто, утешались лишь тем, что советская власть протянет недолго и тогда можно будет вернуться домой. Людей изгоняли из собственного отечества противу их воли — такая кара, изумившая всех, неизвестная в царской России, применялась в первый, но, увы, не в последний раз: она повторится и в 60-е годы, уже на нашей памяти. Интеллект, талант — это, пожалуй, единственный товар, который советская власть даром, не скупясь поставляла миру.

У религиозных сектантов есть идея «корабля» — соборности, слияния всех братьев в единой вере. Жить «кораблем» — значит вместе, общим усилием плыть по реке бытия к соединению с Богом. Изгнанием интеллигенции Россия лишилась части разума — «корабль» мудрецов превратился в пароход отверженных. Философия была разгромлена, она кончилась, уступив место идеологической пародии на нее — марксизму-ленинизму.

Это была ампутация интеллекта, операция на мозге нации, от которой она до сих пор не может оправиться, прийти в себя.

В отличие от Бердяева, Карсавин еще вернется на родину. Но... в тюремном вагоне.

А до этого пройдет типичный для русского эмигранта тяжкий путь — неустроенности, одиночества, безденежья. Однажды пробовал даже наняться статистом на киностудию — способности были наследственные: как-никак сын актера, родной брат знаменитой балерины Тамары Карсавиной, — и режиссер, посмотрев на него, сразу же предложил роль... профессора философии, единственную роль, которую он мог играть в жизни.

Но несмотря на все лишения — непрерывный труд, книги одна за другой, в которых он разовьет свои взгляды, сведет их в стройную систему. И упорное нежелание смириться с изгнанием, постоянное внимание к тому, что творится на родине: «История России совершается там, а не здесь...»

После Берлина и Парижа Карсавин обоснуется в Каунасском университете, и Литва на двадцать лет станет его домом (его даже прозвали «литовским Платоном»). Переживет там войну, вступление немецких, а потом советских войск, и тут-то, в «братской семье народов», — новый арест, в 1949 году. На тарабарщине следственной папки: «за принадлежность к контрреволюционной белоэмигрантской организации и антисоветскую агитацию» (последняя заключалась в том, что он демонстративно отказался участвовать в «фарсе выборов без выбора»).

Он еще раз побывает в родном городе. Петербург сделал из него философа, Петроград вытолкнул из себя, изгнал в эмиграцию, а теперь Ленинград отправил этапом в концлагерь Абезь у Полярного круга.

И вот последний из парадоксов Карсавина — здесь, в лагерной больнице, умирая от туберкулеза, он пережил мощный взрыв творчества, написал еще десяток сочинений: венок сонетов и цикл терцин, несколько теологических трактатов и медитаций. Отрезанный от внешнего мира колючей проволокой, сторожевыми собаками и винтовками охраны, он нашел прямой вертикальный путь в небо — для разговора с Богом. И записывал, и говорил вслух, что только в непосредственном общении с Богом человек из раба становится свободным. Пошла молва о лагерном мудреце, многие незнакомые ему люди приходили для беседы — диковинное зрелище представляла собой эта Платонова академия во тьме полярной ночи! Хотя чему здесь удивляться: духовная опора отверженным нужнее, чем благополучным и сытым. Карсавин обрел среди зеков новых учеников, которые спасли его рукописи и донесли до нас свидетельство о его прощальных днях. Даже кончина его и погребение стали творческим актом, исполненным глубокого философского смысла.

Было это так. Врач-литовец Шимкунас, работавший в лагерной больнице патологоанатомом, пришел к молодому другу и ученику Карсавина Анатолию Ванееву и сказал:

— Здесь хоронят в безымянной могиле, ставят только колышек с номером. Пройдет время, и найти ее будет нельзя. А ведь когда-нибудь о таком человеке вспомнят, начнут его искать...

Врач предложил свой план, как донести до потомков весть о могиле Карсавина: оставить там тайную эпитафию. Ванеев и должен был ее написать.

План был исполнен. В момент вскрытия тела Карсавина врач вложил ему в грудь флакон из темного стекла с плотно завинченной крышкой. Внутри флакона лежал рулончик бумаги. На ней было написано:

«Лев Платонович Карсавин, историк и религиозный мыслитель. В 1882 г. родился в Петербурге. В 1952 г., находясь в заключении в режимном лагере, умер от миллиардного туберкулеза. Л. П. Карсавин говорил и писал о Тройственно-едином Боге, который в непостижимости Своей открывает нам Себя, дабы мы через Христа познали в Творце рождающего нас Отца. И о том, что Бог, любовью превозмогая Себя, с нами и в нас страдает нашими

страданиями, дабы и мы были в Нем и в единстве Сына Божия обладали полнотой любви и свободы. И о том, что само несовершенство наше и бремя нашей судьбы мы должны опознать как абсолютную цель. Постигая же это, мы уже имеем часть в победе над Смертью через смерть. Прощайте, дорогой учитель. Скорбь разлуки с вами не вмещается в слова. Но и мы ожидаем свой час в надежде быть там, где скорбь преображена в вечную радость».

На груди у Карсавина лежали два креста: один, свинцовый, — православной веры, данной с рождения, и другой — черный, с миниатюрным распятием, его подарил перед смертью католический священник. Это был символ: Восток и Запад в Карсавине соединились в единой вере. Исполнилось заветное желание Христа на Тайной вечере: «Да будет все едино».

Карсавин учил, что тело и дух неразрывны и даже после смерти связаны таинственной связью. Мы знаем чудовищную участь, которая постигла прах последнего русского царя и его семьи: они до сих пор не погребены. Знаем, что стало с телом главного цареубийцы — Ленина: мертвец и сегодня будоражит умы в своем мавзолее на Красной площади. «Могила Ленина — колыбель свободы всего человечества», — гласил похоронный плакат 1924 года. Правильней было бы: «Колыбель Ленина — могила свободы...» Многие видят в судьбе останков царя и цареубийцы страшный знак; только тогда придет мир в Россию, когда оба праха обретут покой, будут преданы земле по христианскому обычаю.

Могила Льва Карсавина — далеко в приполярной тундре, среди множества холмиков, на которых не написаны ничьи имена. «Больше всего здесь неба, — вспоминает Анатолий Ванеев. -- Ясная голубизна с прозрачно белеющими облачками охватывает вас со всех сторон, красотой небес восполняя скудость земли».

Пройдет тридцать семь лет после смерти Карсавина, и, как и предсказывал патологоанатом, сюда придут люди, для которых это имя небезразлично. Отыщут столбик с табличкой «П-11» (номер захоронения запомнил все тот же Ванеев), отслужат панихиду, установят мемориальную доску. И один из них — Владимир Шаронов — найдет для этого события удивительно точные слова:

«Эта могила среди миллионов и миллионов теперь будет духовно вращать во всю бескрайность боли и скорби, станет местом глубочайшего покаяния. Этого праха недоставало всему духовному строю Севера, где много-много „испытали поругания и побои... терпя недостатки, скорби, озлобления...” (Евр. 11: 36, 37)».

Возникнут проекты переноса праха Карсавина. Последнюю точку в этих сомнениях поставит его дочь Сусанна Львовна, которая напишет из Вильнюса: «Ваш проект об увековечивании памяти отца мне кажется преждевременным. Больше всего я против перенесения его останков в Литву. Он русский, всегда считал себя русским, хоть и любил Литву. Пусть же он лежит там, куда закинула его судьба...»

*(Окончание следует.)*



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

МИХАИЛ БУТОВ



## «ВСЕЛЕННАЯ ПОДТОЛКНУЛА МЕНЯ ЛОКТЕМ В БОК!»

**Р**екомендовать Лоренса Даррелла в России приходится следующим образом: вы знаете натуралиста Джеральда Даррелла, что пишет о животных? Помните, есть у него смешная книга «Моя семья и другие звери», где он рассказывает, как в детстве жил на эгейском острове? Был там такой персонаж, старший брат Джеральда, к нему еще наезжали всяческие странные гости. Так вот, этот брат, оказывается, не просто живописный чудак, а весьма заметный английский писатель. Собеседник разводит руками: слыхом не слыхивал.

Своеобразие ситуации Россия — Лоренс Даррелл в том, что ее просто не было. Худо-бедно, с огромным опозданием, сквозь всяческие тернии — не многие, пожалуй, даже большинство знаковых для западной культуры двадцатого века литературных произведений в позднее советское время переводились и печатались. Авторам из-за бугра дозволялось с определенными оговорками писать не по-советски, если тексты оставались девственны в плане антикоммунизма, включая сюда и любую полемику с марксистско-ленинским учением (это безусловно, ни малейшего намека), и эротики, — но тут уже не то чтобы совсем, а имелась некая мера, которую нельзя было переступить; вряд ли кто мог рационально определить ее и обосновать, но все чувствовали. Какие-то переводы, не преодолев идеологической цензуры, готовили в самиздате — как Беккет. Наконец, о самых скандальных фигурах вроде Генри Миллера (кстати, человек Дарреллу близкий, хотя писатели они совсем непохожие — их частная переписка издана в Америке) можно было узнать из книжек «Империализм без маски. Художник на службе капитала». Даррелла же будто не существовало. Вероятно, знали о нем узкие специалисты по современной англоязычной литературе. Но даже в смежных филологических кругах имя его никогда не звучало (практически не звучит и сейчас: с момента первой публикации русских переводов и по сей день я опрашиваю на этот предмет буквально всех своих сколько-нибудь интеллигентных знакомых — и положительный ответ дали единицы, причем, как правило, не имеющие к литературе прямого касательства). Небу известно, в чем состояла причина такого тотального замалчивания. Ладно бы какой-то маргинал, а тут человек очевидно хрестоматийного уровня. Правда, где-то на рубеже пятидесятых — шестидесятых, то есть вскорости после выхода «Александрийского

---

*От редакции.* В одном из этюдов солженицынской «Литературной коллекции» — в «Приемах эпоей» («Новый мир», 1998, № 1) — уясняется поэтика «следующей по крупности за романом прозаической формы» на примере книг Марка Алданова и Василия Гроссмана, созданных в традиционном литературном русле. Теперь мы приглашаем читателя к размышлениям над двумя современными образцами «сверхповествования», имеющими совсем иную, нежели в классической эпопее, архитектуру. Это «Александрийский квартал» англичанина Лоренса Даррелла и лагерная сага нашего соотечественника Евгения Федорова.

квартета», наши издатели или кто там этим занимался вроде бы обращались к Дарреллу с предложением о публикации в СССР. Но он отказал (хотя и не наотрез, до времени) в знак протеста против травли Пастернака. Обиделись, что ли?

В России публиковать Даррелла в переводах Вадима Михайлина начал в 1993 году журнал «Волга». Тексты объективно производили весьма яркое впечатление, однако внимание на них обратили очень и очень немногие — во всяком случае, никакого заметного отклика в критической и обзорной печати не появилось. Причем удивительно, что промолчали и деятели «пост-модернистского» крыла — им-то полагалось бы сделать стойку. Книгами (тот же перевод, по роману на том) выпустило тетралогию в 1996 — 1997 годах питерское издательство «ИНАПРЕСС» — в серии под вполне идиотским грифом «Цветы зла». Причем по неясным причинам в последовательности второй — третий — четвертый — первый романы, сбив читателя с толку, потому что читать «Квартет» (по крайней мере в первый раз) совершенно необходимо в заданной автором последовательности. Издание нестандартное — ибо содержит в качестве послесловий к каждому тому не обычные сведения об авторе (биографических сведений как раз не хватает), а попытку переводчика разъяснить архисложную структуру «Квартета» и его «истинный смысл», как ни странно звучит это словосочетание в устах комментатора, явно склонного к постструктуралистским «вскрытиям» текста. Поскольку, вне всякого сомнения, многолетняя работа над даррелловскими вещами позволила переводчику осмыслить их значительно глубже, чем кому-либо «со стороны» в русскоязычной ойкумене, не принимать во внимание эти объяснения, да по большинству пунктов и спорить с ними, было бы глупым снобизмом. Тем более, что абсолютно всю имеющуюся у меня информацию о Даррелле я почерпнул из тех же сопроводительных статей. Таким образом, мой обзор во многом обречен следовать по пятам за переводчиком-комментатором. Моя интенция: представить неординарное произведение неординарного автора с надеждой заинтересовать любопытного читателя. Есть, конечно, и внутреннее побуждение писать. Когда прямое эмоциональное впечатление, где-то схожее с чувствами зрителя телесериалов, от «роскошной лирики» (переводчик; в дальнейшем — П.) двух первых романов — как от весьма спиритуального рассказа о чем-то, чего с тобой не было и никогда не будет, — целенаправленно разрушается двумя последними, испытываешь потребность вернуться в начало и найти приемлемую точку самостояния относительно текста. «Я хотела бы воссоздать для тебя этот город так, чтобы ты вошел в картину, только под другим углом, и опять почувствовал, что ты дома, — говорит одна из даррелловских героинь протагонисту, — если это вообще в Александрии возможно».

«Александрийский квартет» — первое серьезное (была еще книга двадцатью годами ранее, но та носила юношеский характер) и, по авторитетному мнению переводчика, лучшее из произведений Даррелла — вышел в свет в 1957 — 1960 годах. Впоследствии Даррелл написал еще дилогию и «квинтет», причем эти циклы представляют собой некую цельность не только как таковые, но и взятые вместе. Уже на первом структурном уровне «Квартета» — в соотношении частей — заявлена программная для Даррелла незамкнутость, неоднозначность.

Четыре романа:

«Жюстин» — протагонист и рассказчик, по имени Дарли, поселившись на греческом острове, вспоминает о людях и событиях в покинутой им Александрии; сюжетная ось, организующая действие, — очень грубо: его любовная связь с замужней женщиной;

«Бальтазар» — протагонист получает от александрийского знакомого отклик на рукопись «Жюстин» с иной трактовкой сюжетного материала: так ситуация создания текста вводится в текст, что позволяет писателю Дарреллу полностью отделить от себя персонажа-повествователя Дарли;

«Маунтолив» — история английского дипломата, ирландского писателя и двух братьев из богатой коптской семьи, занятых политикой; Дарли становится персонажем третьего плана и упоминается всего пару раз;

«Клеа» — в период Второй мировой войны Дарли возвращается в Александрию, находит (воспользуемся терминологией женских иллюстрированных журналов) новую любовь, проходит своего рода инициацию и расстается с Городом окончательно.

К ним добавлены незначительные по объемам, но крайне важные по смыслу «рабочие заметки», «сопутствующие данные», авторские «уведомления», «примечания» и «замечания».

Романы могут быть со- и противопоставлены как минимум тройко. По модусу времени: первые три — четвертому. «Три пространственные оси и одна временная — вот кухарский рецепт континуума» (Даррелл; в дальнейшем — Д.). Три части не продолжают одна другую, но преподносят, с естественным тематическим и сюжетным расширением, различные версии одних и тех же событий. Линейное время в «Жюстин» почти полностью разрушается свободой вспоминающего рассказчика обращаться в произвольном порядке к любому моменту прошлого, а также введением большого числа «чужих» текстов: дневников, писем, отрывков «книги в книге» и т. п. В «Бальтазаре», как отклике памяти на память, данный принцип возводится в квадрат. «Поступательное движение повествования уравнивается отсылками в прошлое, книга не путешествует из пункта А в пункт Б, но зависла над временем и медленно вращается вокруг своей оси, постепенно охватывая всю панораму. Не каждая причина рождает следствие: некоторые вещи, наоборот, отсылают к событиям давно минувшим» (Д.). В таком контексте формальная линейность «Маунтолива» с его традиционным последовательным разворачиванием и безличным («от третьего лица») условно-всеведущим повествователем (вот и другая группировка, грамматическая: третий против всех остальных, написанных от «я», — контрапункт чисто формальный, поскольку через «чужие» тексты «я» постоянно расщепляется и тоже приближается к всеведению) выглядит «пустым» приемом — ибо время здесь не запускается все равно, и роман с огромного разбега сходится, как математический ряд, в тот же временной отрезок, что и предыдущие, добавляя очередное «пространственное» измерение, но никак не темпоральный вектор, способный из ситуации куда-нибудь вывести.

Выходу же целиком посвящена «Клеа». И снова даррелловские парадоксы: в единственной части «Квартета», где время существенно течет, практически отсутствует действие — более чем на две трети она состоит из рассуждений о творчестве, любви и многих других предметах. Еще одно деление — два на два. Лирическое нагнетание от страницы к странице в «Жюстин» и «Бальтазаре», обещавшее впереди кульминацию и катарсис, «Маунтолив» вроде бы сперва подхватывает, но неожиданно сворачивает совсем в другую сторону. Начинается движение к развенчанию, в результате которого одна, трагическая, любовная, линия окажется родом политического сотрудничества, другая — о-очень романтическая — обернется откровенной комедией с приклеиванием носов, брутальный развратник — трогательным, эдаким домашним, в тапочках, влюбленным, мудрец — профаном. Некоторые эпизоды «Клеа» — как сцена любви во время бомбового налета — подозрительно напоминают штампы американского кино, а весьма, так сказать, напряженных прежде персонажей вдруг потянет на признания вроде: «...я поняла тогда, что все те вещи, которые меня больней всего ранили как женщину, более всего обогатили меня как художницу», — или на «чеховские» выпренности: «Жизнь трудна, но хороша! Сколько удовольствия потеть над решением реальной задачи и работать руками!» — или вообще: «Он ушел, навсегда. А нет любви — нет смысла жить». «Даррелловский персонаж, доселе по возможности скрывавший свою иллюстративную и „функциональную” (в качестве

функции от текста) природу, вдруг обнаруживает ее с подкупающей непосредственностью. Движение смыслов, проходившее в предыдущих романах под тонкой поверхностью слегка замаскированного под жизненную достоверность взаимодействия персонажа, действия и пространства, вырывается наружу...» (П.).

С категоричностью этого утверждения можно не согласиться, поскольку такая трактовка авторского замысла, мне кажется, обедняет его понимание. Созданная памятью и воображением Дарли Александрия «Жюстин», Александрия «Бальгазара», сама себя описывающая (человек, приславший Дарли ответ на рукопись, играет в «Квартете» роль одного из главных олицетворений города, проводника его духа), населена прежде всего достаточно реальными, как раз вполне, без натяжек, «жизненными», характерами; вертикаль иных смыслов, о которых речь впереди, за каждым из них пока только намечена, еще не выработана позиция, с которой можно было бы увидеть ее ясно, и она не раскроется полностью, пока не будет дочитан до конца весь «Квартет».

Но именно чем ближе к концу, чем дальше идет Дарли по «восходящему пути», чем глубже он учится видеть сквозь оболочки вещей, тем отчетливее выходит на первый план условная природа персонажей как неких смысловых ступок — что-то наподобие шахматных фигур. Здесь Даррелл больше не считает нужным скрывать и собственное демиургическое начало: если в «Жюстин» один герой говорит о другом, что у того настолько некрасивые руки, что их следовало бы отпилить, то в «Клеа» обладатель некрасивых рук уже пытается это проделать. А за последней строкой последней книги, в «рабочих заметках», где Дарреллом набросаны возможные линии дальнейшего развития действующих лиц и событий, персонажи претерпевают новую инверсию и возвращаются к прежним качествам — но теперь на «приземленном», едва ли не пошлом уровне. Александрия, пряная, порочная, обещавшая великие постижения, заманчивая и загадочная, обольстившая пришельца и засосавшая было в свои круги, выведена на чистую воду — как морок, майя, «геральдическая вселенная» (Д.) миметических фигур, знаков, движущихся по раз и навсегда заданным траекториям, лишенных, по сути, самостного бытия (рабочее название «Квартета» — «Книга мертвых»), из которой теперь одна задача — вырваться: в новую страну, к новому видению, к творчеству. Александрия — *imago mundi*, произведенный непрерывным действием безличных, отчуждающих, непросветленных сил.

Персонажам в этой Александрии тесно, как анчоусам в консервной жестянке. Почти никогда (причем исключения тут жирно подчеркивают правило) их действия не обходятся без свидетелей. И уже не важно, кто именно смотрит: эта механическая обязательность присутствия наблюдателя прямо указывает, что смотрит прежде всего сам Город. «Люди в „Квартете“ — только форма проявления жизни города, тот трагически наделенный самосознанием и индивидуальной волей материал, на котором проигрываются его, а значит, и общекосмические архетипические сюжеты» (П.). Их число неизменно. Они по очереди попадают в одни и те же места, в одни и те же ловушки (обыкновенно расставленные для кого-то другого) или чужие роли, по очереди умирают на одной и той же больничной койке — однако и смерть не властна снять их с доски и расчистить площадку: все четыре романа кульминируют смертью, но героям «Квартета» свойственно так или иначе из нее возвращаться. Им не хватает даже ситуаций — те повторяются то и дело с новым составом исполнителей. Исчезнуть им просто некуда (единственный выход из Александрии лежит через духовное преображение, и способными на него окажутся лишь трое). Если же в ходе повествования появляются новые фигуры — это либо чьи-то структурные двойники (у Дарли, например, в качестве будущего писателя, их два, и они сопутствуют ему по всему тексту); либо совсем уже «пузыри земли», Городом выпущенные, дико-



винные хтонические образы, чаще всего без речей, зато с воем, гимнами, заклинаниями проплывающие в глубине сцены из тьмы во тьму; либо чисто фабульные единицы, «стрелочники» в узловых точках, которым Даррелл придает весомость, олицетворяя в них самую косную и изменную ипостась Александрии (представители египетской власти в «Маунтоливе»). Кроме сих последних никто в «Квартете» не действует по мотивациям ближайшего, непосредственного порядка — злобе, алчности, зависти и т. п. Характеры, поступки, мысли героев Даррелла присущи им не только по их «человечности» и «сюжетности». Каждый персонаж существует как бы на многих «этажах» одновременно — в разных структурных и смысловых системах.

Первый из таких уровней, самый близкий к сюжету, — уровень «к в и н т - э с с е н ц и й» (Д.). Автор изначально задает герою качество или набор качеств, которые тот сохраняет во всех сюжетных перипетиях. Сделано это нарочито, заметно схематичнее, нежели бывает в традиционной прозе. Персонаж не раскрывает по мере развития действия свои свойства, а, напротив, ими постепенно формируется. Даррелл иллюстрирует свой принцип, приводя в «рабочих заметках» образные характеристики некоторых действующих лиц: «пиратство», «повелительница скорбей», «тихие волны боли».

Гностический подтекст имеет конкретное конструктивное значение прежде всего в первом романе, где героиня уподоблена валентинианской Софии, отпавшей от духовной полноты Плеромы, уловленной в возникающей как результат этого отпадения низшем материальном мире и страстно взыскующей утраченных истины и света (поиски потерянного ребенка — прямая параллель гностическому мифу). Так обеспечивается — хотя прочие персонажи и не приведены однозначно к гностическим образам — общая для всех частей «Квартета» атмосфера бытийной потерянности.

Таротный уровень — соответствие героев символической системе магических карт Таро (не посвященным в иудейскую мистику и каббалу известных как гадательные). Роль этой структуры в организации текста весьма велика. Ее можно назвать одним из главных «скелетов» тетралогии. Данный вопрос более чем подробно разбирает переводчик в одном из послесловий.

Архетипический уровень. «Все наши мужчины — в каком-то смысле Антонии, все женщины — Клеопатры» (Д.). «Архетипичны здесь не столько характеры, сколько сама ситуация — отблеск чисто александрийской любовной драмы, происшедшей две тысячи лет назад, но продолжающей „бродить“ в сознании города и воплощаться согласно его воле в судьбах все новых и новых людей» (П.). На том же «этаже» — фиванский двупольный прорицатель Тиресий, подгружающий своими смыслами сразу несколько персонажей; мотивы двойничества и карнавала.

Особая тема, на добрую монографию: пласт литературных аллюзий, пародий, отсылок и противопоставлений у Даррелла. Это еще один важнейший «скелет» книги. Недаром переводчик считает едва ли не главной авторской задачей в «Маунтоливе» полемику с мировиденьем традиционного романа XIX века. Мне этот постулат кажется слишком сильным, но несомненно, что уже в замысел тетралогии было заложено авторское определение места «Квартета» в английской, а отчасти и мировой литературе, заявленное в тексте как достаточно открыто, так и через особенности стиля, структуры и формы. Текст пронизан литературными «излучениями» по всем направлениям и на всех масштабных градациях: от отдельных персонажей, поданных, помимо прочего, еще и как воплощения классических книжных образов, даже от реплик персонажей, до общего соответствия структуре и темам «Бесплодной земли» Т. Элиота (что также всесторонне и доказательно освещается переводчиком). Устами героев фактически вырабатывается в ходе действия новая концепция построения романа, которая и осуществлена в «Квартете». Два реальных литератора часто возвращаются в разговоры и размышления: Д.-Г. Лоренс и новогреческий поэт, «певец Александрии» К. Кавафис. В

значимом контексте упоминается Чосер. Сюжет и форма «Маунтолива» отсылают к романтикам и викторианцам, существенная даррелловская небарочность — к соответствующей эпохе, пестуемая текстом экзистенциалистская «чувственная бесчувственность» — к современным «Квартету» модным течениям. Среди иных более или менее явных коррелятов тетралогии переводчик отслеживает предромантизм конца XVIII века, байроновских «Гяура», «Корсара» и «Лару», «Ватека» Уильяма Бекфорда, «изыски рубежа веков» — думается, всякое новое исследование будет продолжать этот список. Не совсем понятными остались для меня попытки Даррелла затеять диалог с де Садом, чьи строки взяты эпиграфами к каждому роману, да и само название первой части, имя заглавной героини... Отмечу еще одно перекрестье, на мой взгляд любопытное, хотя «Квартету» внешнее и текстом никак не отрефлексированное. С одной стороны, Даррелл, по своим поискам новых типов выразительности и по ирландской крови, может быть поставлен в продолжение влиятельного новаторского ряда Джойс — Беккет. С другой — родившийся в Индии автор «Александрийского квартета», произведения с географической экзотикой, не выглядит абсолютным чужаком и среди представителей мощной «колониально-дипломатической» традиции в английской литературе, таких, как Киплинг или, скажем, Грэм Грин, как бы резко сам Даррелл ни отзывался о последнем.

Важно, что, во-первых, перечисленные подтексты выявляются не в процессе постструктуралистских процедур, где цель и состоит в стягивании друг к другу максимально далеких значений, и вопрос, какие из них подразумевались автором, а какие вычитываются помимо или вопреки его воле, попросту исключен из рассмотрения, объявлен некорректным, бессмысленным, — а с очевидностью представляют собой первичные координаты, Дарреллом глубоко продуманные и тщательно прописанные, в системе которых и создавался «Квартет»; и во-вторых, что Даррелл совершенно не стремится к какой-либо тайнописи, ничего не пытается замаскировать, напротив — заботливо расставляет в тексте все необходимые указатели. Позиция Даррелла благородна, он не делает из читателя дурака и пишет не для избранных каббалистов и герменевтиков, но классично добивается наибольшей ясности и коммуникации — хотя и предполагает в читателе знакомство с определенными культурными кодами.

На этом фоне некоторые комментаторские инициативы переводчика смотрятся по меньшей мере странно. Дело в том, что переводчик явно неравнодушен к эзотеризму и, весьма строгий и академичный в филологической части своих заметок, попадая на заветное поле, тут же начинает со страшной силой тянуть одеяло на себя. Это имеет место уже в разборах «гностического» и «таротного» слоев — но там особенно не разгуляешься, смысловые связи и соответствия четко обозначены автором. Не беда, всегда наготове грабли для многоразового наступания — христианство; и пошлѳ — полутора страниц довольно нашему комментатору, чтобы разделаться с мировой религией, лягнув, как водится, церковь, новозаветный канон, апостолов и приписав иронию — во! — Нагорной проповеди. Спору нет, Даррелл, конечно, не христианин (а я, в свою очередь, не из тех, кто считает, что вне христианства в европейской культуре не может возникнуть ничего ценного), и его нелюбовь к ортодоксии порой отражается в тексте. Более того: насколько можно судить из подмонтированного к изданию интервью, в жизни он адепт йогической медитации и мистицизма. Но не стоит забывать, что прежде нежели йог и мистик, Даррелл еще и тонкий, изощренный писатель. И он прекрасно понимает, что в сочинение такого жанра и настолько сложно организованное не перенести непосредственно ничего «со стороны», ничего «своего». Что каббала и гностицизм «Квартета» не могут быть каббалой и гностицизмом Лоренса Даррелла, им следует взойти, как и персонажам, на почву и в воздухе Александрии — и есть ли для этого почва более подходящая? Что вздумай он

всерьез затеять полемику с совершенно для тетралогии посторонним христианством — и роман задохнется в идеологической дидактике. Архитектурой «Квартета» не предусмотрена проповедническая кафедра, на которую взобрался комментатор. И нити, какими он пытается привязаться здесь к исходному тексту, призрачны, что особенно заметно по контрасту с им же протянутыми действительно содержательными. Право же, трактовать об «основной цели» и «главном смысле» учения Христа с гностически-романтической колокольни — на исходе двадцатого века к лицу домохозяйкам, начитавшимся Блаватской.

Должно быть, искушенного читателя насторожила приведенная мной схема «Квартета». А еще есть «персонажи» — вещи (зеркала), стихии (вода) и даже эстрадные песенки; есть система сюжетных параллелей, есть шахматный подтекст... Трудно поверить, что такая громоздкая в описании умозрительная конструкция способна сколько-нибудь удовлетворительно работать на протяжении девятисот страниц. Однако — работает, и почти не «пахнет лампой». В первую очередь благодаря тому, что Даррелл не позволяет своим героям превратиться в аллегории, не подменяет принципа «вместе» уловкой «вместо». Персонаж не может выступать только как элемент «таротной» или «литературной» структуры. Как минимум еще один пласт обязательно «подстрахует» всякое действие и положение собственной логикой. Именно тем и достигается общая цельность, что сюжетный каркас все свои обоснования уже содержит внутри себя, а внешние — лишь обогащают его; так что «Маунтолив», к примеру, насыщенный самыми разнообразными коннотациями, тем не менее может быть прочитан и просто как добротный повествовательный роман или политический детектив. Картина меняется только в «Клеа», в конце «Квартета», — но происходящее здесь стирание межуровневых границ подготавливалось всем предшествующим текстом.

Таким образом, мы читаем в «Квартете» как бы несколько книг одновременно, каждая из которых художественно самостоятельна (это доставляет удовольствие особого рода от движения по тексту и производит впечатление на ценителя формы даже совершенно чуждого направлению мыслей и пафосу Даррелла). Если разделить их в мысленном эксперименте, допустив сугубую одномерность восприятия, получим целую библиотеку:

Роман (подразумевая всю тетралогия как единство), о чем уже было сказано, повествовательный, сюжетный, с действием детективного характера.

И вместе с тем:

Роман-головоломка, роман-лабиринт. «В „Квартете“ обсуждается несколько версий „дешифровки“ [событий], ни одна из которых не опровергается окончательно, но и не подтверждается как единственно верная. Возникает ситуация, достаточно обычная у Даррелла, — все предполагаемые объяснения факта идеально подходят для того, чтобы быть истинными, но противоречат друг другу» (П.) (и квазиобъективность «Маунтолива» — тоже не более чем ход в авторской игре).

Роман эротический. Подобно басам в высококлассной звуковоспроизводящей аппаратуре high-end, эротическая тема выстраивает звучание «Квартета», не зря его подзаголовок (не единственный) — «исследование современной любви». Однако даррелловская эротика не имеет ничего общего с тем, что сегодня определяют этим словом в диапазоне от хард-порно до сентиментального дамского чтива. Для героев Даррелла секс, «суровое, лишенное проблеска мысли, животное лицо Афродиты» (Д.), прежде всего что-то з н а ч и т, и этого значения они отчаянно ищут. Сексуальный акт — «от века трагичная и унизибельная поза», «тот самый для всех одинаковый безличный акт, коим мы <...> привязаны были к миру и уравнины с ним» (Д.), — есть момент не сближения и наслаждения, но абсолютного одиночества, узел в плетении мировой ткани, сквозь которую следует прорываться. «Я разбудил беспокойно дремавшую Жюстин и с мучительным удивлением, бывшим для меня всегда большей и лучшей частью чувственности, взгляделся напоследок

в ее рот, в ее глаза, в ее тонкие волосы», — говорит Дарли, и, мне кажется, это многое объясняет.

Роман психологический. Очередной большой парадокс. С одной стороны, Даррелл целенаправленно девальвирует мнимопсихологические мотивировки, и сквозь них всегда проглядывают связи других уровней; утверждает: «Для писателя человек как психологический феномен более не существует. Подобно мыльному пузырю, лопнула современная душа под пристальными взглядами мистагогов. Вот ты писатель — и что тебе осталось?» С другой — персонажи буквально одержимы самоанализом и стремлением проникнуть во внутренние миры друг друга (из чего и состоит в значительной степени «плоть» тетралогии). В какой-то мере выход протагониста из Александрии — выход к иному (будущему, чаемому) тексту, свободному от этой болезненной потребности.

Роман экзотический. Пустыня и дельта Нила; копты, мусульмане и бедуйны; суфии, факиры, пророки, безъязыкий праведник; туземные праздники и живописная ночная рыбалка; отрубленная голова в сумке, ручная кобра, детский бордель (кстати, структурно важное место: испытание, через которое проходят персонажи — каждый по-своему), затонувший корабль... — перечень неполный.

Роман мистический, даже оккультный.

Роман насквозь коннотативный, метатекст, если охота — постмодернистский.

Наконец, великолепный, благодатный материал для «декодирования» всеми возможными методами.

А теперь попробуем возвратиться к началу этих заметок: Даррелл — Россия. Рискну предположить, что «Александрийский квартет» вызовет довольно резкое отталкивание у немодернистски ориентированных литераторов и мыслителей «русского» толка. Действительно, для человека, укорененного в русской культурной традиции (причем даже взятой широко, подключая сюда модернизм), звучат, мягко говоря, нелепо откровения типа: «...культура означает секс, знание корней и знание корнями, там же, где способность эта разрушается или уродуется, ее производные, вроде религии, восходят в карликовых либо искривленных формах — и вместо мистической розы мы получаем приевреенную цветную капусту, как мормоны или вегетарианцы, вместо художников — скулящих сосунков, вместо философии — семантику!» — или профетизмы: «Востанут великие школы любви, знание чувственное и знание интеллектуальное протянут друг другу руки. Человека, прекрасное животное, выпустят из клетки и вычистят за ним культуру — грязную солому — и утопанный навоз неверия. И человеческий дух, излучая свет и смех, попробует ногой зеленую траву, как танцор — покрытие сцены, он научится жить в мире и согласии с разными формами времени и детей отдаст на воспитание миру стихий — ундин и саламандр, сильвестров и сильфов, вулканов и кобольдов, ангелов и гномов». В подзаборно-интеллектуальной среде, где я мужал, выражались так: все твои фени я давно уже схавал. Хотя при особом желании текст позволяет счесть, что Даррелл и здесь ускользает, предлагая, как прежде, вместо любовного альянса альянс политический, на месте фундаментальных экзистенциальных и мировоззренческих постижений — пошловатую болтовню. Во всяком случае, все такого рода периоды расположены раньше последней инициации героев через смерть, за которой им предстоит «выход к новой, высшей истине искусства» (П.).

Далее: «Квартет» очевидно, от кля до клотика, сконструирован (и конструкция не спрятана, фактически оголена, демонстративно вынесена наружу — напрашивается сравнение с парижским Центром Помпиду). А данное слово в бытующей ныне системе литературных оценок — едва ли не ругательство: таков, например, частый упрек в адрес одиозного сегодня и талантливого Пелевина. Однако уверенность, что в ближайшие годы, а то и деся-

тилетия в России не явится ничего подобного даррелловской тетралогии — не по мировоззрению, Бог с ним, но именно по конструкции, — представляется мне плохим поводом для гордости. Следуя некоторым образом за Бродским, я нахожу только одну опору, чтобы перекинуть мостик между искусством и довольно-таки расплывчатой в определениях «сферой духовного», куда, по распространенному и в целом близкому мне суждению, традиционно должна стремиться русская литература: величина, масштабность замысла, — и тяжелейшая работа по собиранию себя, чтобы были силы этот замысел осуществить. Не идеализируя Даррелла, пускай и вовсе не соглашаясь с ним, глупо не признать, что здесь у него есть чему поучиться — почти как у классических произведений. Напряжению демиургической мысли. Щедрости, с какой предоставляется персонажам иметь независимые от авторской, полноценные (хотя бы в структурном смысле) судьбы и личности. Конечно же — блистательной, тонкой лирике. Можно в грош не ставить жизненный опыт Даррелла как таковой, но методы его претворения и сам подход к организации текста вокруг авторских философских, этических, культурных и т. д. установок должны, на мой взгляд, всякого чуткого писателя моей генерации побудить оглянуться на себя.

Две важнейших темы нашей литературы второй половины века — война и тюрьма — требовали изложения максимально прямого, честной фиксации реальных событий. Но первое поколение не знавших ни того, ни другого уже смотрит в старость. Второе вошло в акмэ. Третье заявилося, и новое глядит из-за спицы. Однако чем дальше, тем менее ясно, что же существенно своего каждое из них приносит с собой. Бывают исключения, но в основной массе, не имея ни пафоса и нравственной задачи, присущих, при всех оговорках, стоящей литературе шестидесятых — семидесятых, ни настоящей нонконформистской смелости (ибо чем мы нынче рискуем?), ни вкуса к сложным формальным экспериментам, мы, прикрываясь теориями, идеологиями, определениями вроде «литературы существования», лениво толчемся в одном и том же жизненном материале, одних и тех же переживаниях, якобы общих для всех и потому значимых, а на поверку — как раз совершенно литературных в худшем смысле, отработанных, скучных, «ничьих». Гипостазируем пустое несамостоятельное «я», даже когда отпадаем в третье лицо. Пытаемся фантазировать — и вязнем в натужной сатире, которую выдаем за иронию, в «приколах», в ненатуральных ужасах, опять-таки в «идеях». Но ведь есть у нас свой, «эксклюзивный» опыт, не может не быть. Почему же год за годом он не находит — да как будто и не стремится найти — себе выражения, словно занятие это заведомо безнадежное? Не пора ли понять: пришел срок сменить «формат», как говорят на радио, — хотя бы попробовать писать о другом и по-другому. Мир, вообще-то, здорово и быстро преобразуется. Может быть, сущности, по-настоящему основополагающие сегодня для человека, то, что им действительно движет сейчас, моделирует его среду, чему сознательно или нет он подвластен и чему противостоит, уже не схватываются ни плоским линейным повествованием, ни авторским расстегиванием нараспашку (тут для меня очень доказательный пример — роман Малецкого «Любью», удача в неудаче; а сентенция к месту — из бл. Августина: все прикрывается, чтобы не обесцениться), ни абсурдизмом «по-русски», в духе Салтыкова-Щедрина? Тогда выбор у нас невелик. Либо погружаться в провинциальность, оправдывать интеллектуальный инфантилизм ссылками на культурную традицию — по-моему, последнее дело — и, глотая бессильную злость, наблюдать, как художественная словесность становится все менее востребованной, вытесняется из актуальной культуры текстами нон-фикшн, визуальными и акустическими искусствами. Либо в поте лица (или, пожалуйста, если кому удастся, в легкой творческой эйфории) работать над созданием каких-то иных форм, в которых все-таки смогут проявиться новые сущности и новый опыт. Начинать с нуля, поскольку даже среди ярких на-

ших вещей не заметно пока в этом плане ни единого плодотворного намека, — стилистических упражнений, почему-то названных в России постмодернистскими, тут определенно недостаточно. И «большое» структурное конструирование вполне может стать пусть не результатом, но этапом поиска. И пускай сперва движение будет в том же направлении, что и Запад, даже в хвосте у Запада, — не так уж это и страшно, если позволит в конце концов нащупать дорогу, свернув на которую мы сумеем оставить в литературе собственный след, и писатель-первооткрыватель однажды почувствует себя вправе повторить слова, завершающие «Александрийский квартет»:

«...в один прекрасный день я с удивлением обнаружил, что пишу дрожащими пальцами первые четыре слова <...> коими с тех пор, как возник мир, всякий рассказчик делал свою скудную ставку на внимание собратьев по роду людскому. Слова, что предвещают, только и всего, старую как мир историю о том, как художник входит в возраст. Я написал: „Давным-давно жил-был...”

И тут будто вся вселенная подтолкнула меня локтем в бок!»

---

---

---

ДМИТРИЙ БАК

\*

## ОБРЕТЕННОЕ ВРЕМЯ ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВА, ИЛИ А ЛАГЕРЬ *SOMME* А ЛАГЕРЬ

**В**нимательно прочесть прозу Е. Федорова мне довелось лишь в 1994 году, а значит, целых четыре года спустя после довольно-таки громкого явления в «Неве» дебютной его вещи, «Жареного петуха». Помог случай — в очередном номере «Нового мира» бросилось в глаза знаменательное соседство: повесть под завлекательным названием «Одиссея» предварялась вступительным словом Е. Мелетинского, чью «Поэтику мифа» я (подобно многим моим сверстникам) тщательно конспектировал в конце семидесятых, лет за десять до окончания эры научного атеизма. Однако из предисловия выяснилось неожиданное: проза Федорова, оказывается, о сталинских лагерях, а Мелетинский пишет о ней не в качестве признанного специалиста по мифологиям, а просто потому, что на рубеже сороковых роковых и пятидесятых годов вместе с автором «Одиссеи» влачил суровые труды и дни на нарах Каргопольлага в Архангельской области.

Еще узнал я, что пишет Федоров свою книгу лет сорок с лишним, что объем ее для журнальных публикаций непомерен, а посему и в «Неве», и в «Новом мире», и в «Знамени» были напечатаны отдельные фрагменты, закрпленные в самостоятельные повествования<sup>1</sup>.

Немало событий случилось за стремительно промелькнувшие три с половиною года: успел Федоров и в финал букеровской гонки попасть (1995), и опубликовать в «Континенте» еще две части лагерной своей саги. Однако загадка, занимавшая меня при чтении предисловия Мелетинского, не разгадана и поныне. Почему Федоров (как говорят спринтеры) «засиделся на старте», пропустил два благоприятнейших момента для начала писательской карьеры? Если высочайше санкционированный энтузиазм вокруг «Одного дня Ивана Денисовича» был тут же и пресечен (возможно, и пытался тогда Федоров приблизиться к печатному станку, да не вышло), то раннеперестроечный бум «лаг-арта» (в прозе, публицистике, графике, кино) вроде бы благоприятствовал дебюту («хотя бы» за рубежом) — так, однако, и не случившемуся.

Посиживал, значит, человек за столом, писал, думал да сил набирался — что твой Илья Муромец, тридцать лет и три года сиднем сидевший, пока час

---

<sup>1</sup> Контуры обширного цикла повестей Федорова, причудливо сливающихся на глазах читателей в текучее, зыбкое целое лагерного эпоса, ныне почти неопределимы: слишком часты сюжетные повторы, появление одних и тех же историй под разными названиями. О причинах всех этих странностей разговор впереди, а пока попробуем просто перечислить в незатейливом порядке появления в печати основные тексты Федорова, о которых будет идти речь: Федоров Е. Жареный петух. — «Нева», 1990, № 9 (в 1992 году в издательстве «Carte Blanche» вышла книга под тем же названием, в которую вошли также повести «Былое и думы» и «Тайна семейного альбома»); Федоров Е. Илиада Жени Васяева. — «Звезда», 1994, № 4; Федоров Е. Одиссея. — «Новый мир», 1994, № 5; Федоров Е. Умерла насыкаямая. — «Континент», 1996, № 3(89); Федоров Е. Бунт. — «Континент», 1997, № 1(91).

не пробил за калитку выйти... Первые публикации писателя случились в пору, когда беспрецедентная популярность «лагерных» книг явно пошла на убыль. Впрочем, Федоров как будто бы на нее и не рассчитывает: не завлекает читателя леденящими душу сценами, не предлагает ему рецепты физического и духовного выживания в экстремальных условиях «кааторги и ссылки». Писатель, на первый взгляд, просто пописывает, не более; разбирается в самом себе, не очень-то нуждаясь в посторонних свидетелях медленных кабинетных трудов.

На протяжении многих лет Федоров осознавал себя не литератором, но летописцем эпохи; не рассчитывал на писательское признание, но надеялся сохранить в создаваемых текстах неуловимые приметы времени. В летописном повествовании нейтральная, «свидетельская» интонация (простое перечисление того, что довелось повидать) весьма часто неприметно переходит в глубоко личностную, напряженно-исповедальную речевую тональность, сухой регистрационный стиль внезапно (но тоже вполне органично) сменяется высокой патетикой. Рискну сопоставить «литературное поведение» автора «Жареного петуха», «Одиссеи», «Бунта» с образцом более чем известным:

Борис, Борис! все пред тобой трепещет,  
Никто тебе не смеет и напомнить  
О жребии несчастного младенца, —  
А между тем отшельник в темной келье  
Здесь на тебя донос ужасный пишет:  
И не уйдешь ты от суда мирского,  
Как не уйдешь от Божьего суда.

Надеется ли пушкинский Пимен, «отшельник в темной келье», непосредственно, действием взорвать равнинное течение событий, вразумить царя-грешника Годунова? Как будто бы нет: Пимен давно покинул мирское поприще и теперь «просто» описывает пережитое — не мудрствуя лукаво, в стороне от государственных бурь. И, однако, именно это укромное, сугубо словесное деяние летописца провоцирует в пушкинской трагедии начало общероссийского очистительного катаклизма.

Не важно, какие именно слова составят «последнее сказанье» Пимена, — главное, что посреди всеобщего неведенья и лжи живет человек, знающий правду, бережно соблюдающий ее спокойную незыблемость в собственных писаниях. Сам по себе жест записывания событий, поза и роль летописца оказываются важнее его личного участия в жизни. Летописное слово поистине способно изменить мир — одним только своим наличием. Будущий Лжедмитрий с самого начала воспринимает свою одиссею не только как неслыханную «замашку» на московский престол, но и главным образом как шаг навстречу неотвратимому воздаянию, которое должно пасть на голову Годунова. Слово неотлично от «реальной» жизни: Григорий Отрепьев словно бы действует и живет внутри еще не написанного «сказанья», не столько надеясь на успех своего безумного предприятия, сколько восполняя важнейший смысловой изъян, разрушивший вековую преемственность династии московских правителей Рюриковичей.

Летописец Каргопольлага Евгений Федоров не участвовал ни в бурных перипетиях публичного развенчания культа личности шестидесятниками, ни в последовавших затем атаках на энтузиазм самих шестидесятников. Не очень-то заботясь о связности и последовательности сюжета, он снова и снова переносил на бумагу запавшие в память детали лагерных будней. Об одних и тех же событиях в этой странной книге рассказывалось по нескольку раз, действующие лица нередко могли менять имена и судьбы<sup>2</sup>, автор снова

<sup>2</sup> Параллель с циклом «йокнапатофских» романов, повестей и рассказов У. Фолкнера, по всей вероятности, здесь вполне уместна.



и снова обводил каждый контур, варьировал, модифицировал не только собственные оценки происшедшего, но и сами по себе «объективные» события.

Лагерь — не цель описания, но точка отсчета, фон, на котором с необыкновенной ясностью различимы перипетии позднейшего развития человека, лучшие годы проведенного в бараках Каргопольлага. Вот и проговаривается то и дело рассказчик: «Я стараюсь, из кожи лезу вон, чтобы растолковать тебе, читатель, вскрыть тайну мутации, когда и как меняется у человека мировоззрение».

Для публикации в журналах Федоров извлек из обширного своего текста-мира не отдельные главы, которые можно было бы мысленно расположить в линейной сюжетной последовательности, но скорее некоторые темы и подходы к изображению жизни ГУЛАГа, повествовательные и стилистические варианты рассказывания лагерных историй. Всякое живое впечатление, подвергнутое лабораторному рассечению, неизбежно утрачивает цельность. Поэтому так понятны сомнения и колебания автора, многократно меняющего названия отдельных частей своей вещи, предлагающего читать уже напечатанные повести то в одном, то в другом порядке.

Перед изданием под одной книжной обложкой написанных за несколько десятилетий историй Федоров невольно пытается сконструировать некое единое произведение, которое не противоречило бы общепринятым условностям, стало бы цельной и неделимой книгой. Однако при подобном (довольно-таки насильственном) выстраивании странное создание Федорова неизбежно утратит немалую толику обаяния и свежести. Привнесение единой сюжетной логики, подгонка и увязка отдельных частей неминуемо ослабит позиции текста-летописи. Вот и получается, что самый благоприятный момент для отклика на парадоксальное творение Федорова наступил именно сейчас, не после выхода в свет, как это бывает обычно, а накануне его окончательного оформления в книгу.

С первых же страниц каждому сколько-нибудь внимательному читателю становится ясно: Федоров демонстративно не желает соблюдать каноны лагерной прозы, то есть рассыпать мелким бисером стершиеся уже слова («тоталитарный», «вольняшка» или «вертухай»), изрыгать разрешенные проклятия в адрес поверженного врага. Автобиографически сближенный с автором рассказчик федоровской лагерной эпопеи еще в шестидесятые — семидесятые годы, когда «все вдруг мгновенно прозрели <...> запели Окуджаву, Высоцкого, Галича», недоумевал: «А мне как быть? Подпевать?» Подпевать — не заладилось, вот и потянулись годы многозначительного молчания-ожидания.

В девяностые годы проза Федорова оказалась в радикально изменившемся поле читательских предпочтений и запросов. Жгучий интерес к прежде запрещенным пластам советской реальности, как уже говорилось, ощутимо пошел на убыль, на первом плане оказался так называемый «новый документализм». В последнее время критики не раз отмечали, что на первые позиции в рейтингах (и в неписанных, и во вполне официальных — букеровских, например) выходят книги небеллетристические, выражаясь на иноземный лад, проза «non-fiction». Определить жанровую принадлежность этих вещей порою весьма затруднительно: мемуары? эссе? документалистика? Однако общие стилистические особенности налицо во всех подобных книгах — от «Трепанации черепа» С. Гандлевского и «Альбома для марок» А. Сергеева до дневниковых повествований ученого-востоковеда И. Дьяконова или прозаика Ю. Нагибина.

Главное в произведениях «non-fiction» — обилие подлинных лиц и узнаваемых деталей, видимая приближенность повествования к простой регистрации происходящего (что, разумеется, не исключает исповедального тона). Снова летописи? В значительной мере — да, несомненно; а значит, понятна

одна из причин успеха федоровской прозы, дождавшейся своего часа, вдруг оказавшейся в фарватере литературного движения.

Вот уж чего-чего, а подлинных, в разной степени узнаваемых имен в текстах Федорова хоть отбавляй: Померанц, Окуневская, Мелетинский... Речь идет о последнем лагерном поколении сталинской эры, о тех, кто попал в зону в конце сороковых годов. В центре событий — юные студенты разных факультетов Московского университета, в течение нескольких лет каждую субботу собиравшиеся у своего любимца Кузьмы (лицо подлинное), чтобы горячо поспорить о жизни, литературе, любви...

Документальность, присутствие лично пережитых эмоций и впечатлений в повествовании о лагерях — вещь достаточно привычная, сочинять о лагерной жизни целиком вымышленные истории при отсутствии соответствующего опыта можно будет еще очень не скоро. Однако нельзя не заметить, что федоровский автобиографизм особого свойства. Запоздалый свой писательский дебют, неучастие в перестроечном литлагерном ажиотаже Федоров неожиданно оборачивает себе на пользу, превращает обстоятельства собственной литературной биографии в довольно-таки незаурядный художественный прием.

Повести о Каргопольяге ныне неизбежно воспринимаются на фоне уже широко известных попыток описать будни и трагедии сталинской неволи. Рассказчик (в большинстве случаев — бывший студент Витька Щеглов) не просто повествует о тайном, наболевшем, мучившем долгие годы; он тщательно анализирует и иные (отличные от избранного им самим!) пути воссоздания ушедших событий, иногда учитывая опыт предшественников, а порою иронически отмежевываясь от них.

Одна из возможных позиций свидетеля репрессий сводима к нравственному императиву: сохранить в слове и «передать дальше»<sup>3</sup> правду о бесчинствах сталинских палачей (ответ героини ахматовского «Реквиема» на вопрос соседки по скорбной «тюремной очереди»: «А это вы можете описать?» — «Могу»). Щеглов же вместо нравственной задачи решает задачу сугубо литературную, и к этому необычному положению вещей читателю нужно приспособиться, привыкнуть. Витька не столько говорит о своем и всеобщем лагерном прошлом, почти исчезнувшем из ближайших пластов памяти, сколько о самом процессе воспоминания, о путях «включения» дел давно минувших дней в сегодняшнее сравнительно спокойное течение жизни.

Вспоминает он, например, как спустя годы и годы после освобождения беседовал с... Варламом Шаламовым: эпизод представлен как подлинный, легко допустить, что именно так все и было. Автор «Колымских рассказов» словно бы испытывает собеседника, проверяет, что сохранилось в закоулках его гулаговской памяти, просит рассказать «о самом страшном, что пришлось вкусить в лагере». Выслушав сбивчивый рассказ Витьки о том, что он, дескать, «в конторе, в тепле хранил гордое терпенье, а говоря попросту: жил припеваючи», что самое жуткое испытание ждало его не в лагере даже, а на этапе, где едва не задохнулся незадачливый ниспровергатель устоев в тесном «воронке», — выслушав все это, Шаламов возмущенно восклицает: «Где ж крутой маршрут? <...> Гефсимании не вижу! <...> где ужасы? Где Голгофа?»

Упоминание о книге Евгении Гинзбург далеко не случайно. У Федорова постоянно сопоставляются взгляды на лагерную реальность Шаламова, Солженицына, Гинзбург и других классиков жанра, подчеркивается их (взглядов) разительное несовпадение. Тот же Шаламов (разумеется, в качестве персонажа «Жареного петуха») весьма резко высказывается о солженицынском «Иване Денисовиче»: «...лакировка действительности <...> Флер. Глянец. Конфетти. Полуправда, выдаваемая за всю правду, рассчитанная на дурной примитивный вкус Твардовского». И все же главное здесь — не противостояние «классических» версий гулаговского бытия. Федоров не выбирает из за-

<sup>3</sup> Название незаслуженно забытой повести А. Никольской о зековском лагерном театре.

ранее данных возможностей, но предлагает нечто совершенно новое, почти (с точки зрения традиционной диссидентской этики) немислимое и непозволительное.

Для Женьки Васяева, Витьки Щеглова, Саши Краснова и многих других «просвещенных» зеков между послевоенной московской жизнью и следственным застенком, между волей и каргопольским ОЛПом нет абсолютно никакой границы. Из окна следовательского кабинета Женька созерцает вечно спешащую людскую толпу и впервые понимает, что узники лубянских, лефортовских, бутырских камер живут по тем же законам, что и оставшиеся за воротами тюрем «вольняшки» — широко улыбающиеся и запуганные, строящие коммунизм и утратившие сон в вечном ожидании резкого ночного звонка. Следователь Кононов подтверждает Женькины догадки: по улицам Москвы бродят не свободные люди, а те, кого ненасытная Лубянка просто не успела покамест запутать в свои сети. Под следствием находятся абсолютно все, а значит, арест есть некоторое облегчение, прояснение участи, конец вечного ужаса перед неопределенностью.

Это означает, что лубянский судебный «процесс необратим. Следователя истина вообще не интересует». Сходство с романом Кафки «Процесс» разительное! После оглашения постановления об аресте образ жизни банковского клерка Иозефа К. остается прежним: ему (якобы находящемуся под арестом!) позволено ходить на службу, посещать женщин, ужинать в кафе... Кафкианский алгоритм отчуждения отдельного человека от осмысленного существования многократно описан: никаких «общих» смыслов (идей, обычаев, верований, устоев) не существует; за стенами заветных замков, в сердцевине политических, судебных, религиозных учреждений, гнездится абсурдный вакуум. Потому и невозможно никому из добропорядочных сограждан предъявить конкретное обвинение в пренебрежении какой-либо статьей уголовного кодекса. Судебному преследованию люди в романе Кафки подвергаются вовсе не за единичные проступки, осуждению и казни подлежит бессмыслица их отчужденного существования как таковая — а значит, под следствием находятся абсолютно все.

Размышления Женьки Васяева и его тюремных собеседников выходят далеко за пределы классических построений Кафки. Именно в мрачных тюремных «интерьерах» узников посещают прозренья ранее неведомые: в жизни страны все происходит по ясным как день правилам и строгим законам. Человек не отчужден от окружающих, от единого общинного организма, но — напротив — тысячью нитей связан с универсальными смыслами, помогающими решить любую проблему: от «куда пойти сегодня вечером после работы» до «зачем живет человек». Во время первомайской демонстрации из установленного неподалеку мощного громкоговорителя в лубянские камеры доносятся победительные звуки праздничных песен, отдаленный шум голосов. Непреодолимая, казалось бы, стена между тюрьмой и волей исчезает, заключенные чувствуют себя неотделимыми от многоголосого людского моря, бушующего за окнами. Зона оказывается точной копией воли: тотальное преобладание Идеи над Я, отсутствие личной ответственности за поступки, совершенные под гипнозом Идеи.

Ясно, что принудительную прикованность каждого ко всем, ежесекундное ощущение предрешенности любого замысла и поступка на языке современных ученых трудов вполне можно назвать тоталитарным принуждением, террором. Но для героев Федорова все выглядит совершенно иначе. Даже через много лет рассказчик тюремных и лагерных историй Витька Щеглов не в силах перечеркнуть чувства, которые он вместе с товарищами по университетским кружкам впервые испытал в заключении. Как это ни странно, в застенке им легче было постигнуть смысл происходящих в стране событий: после ареста все самое страшное с ними уже случилось, значит, долой страх, можно играть в открытую, — так рассуждают тюремные спорщики, упиваясь особой подневольной «гласностью». Особенно разительно повлияло тюремное

общение на Женьку Васяева, впервые узнавшего от сокамерников о Фултонской речи Черчилля и еще о тысяче вещей, открывающих тайные пружины мистерии, незримо разыгрывающейся в мире как таковом и на одной шестой его части.

Пронзительные свинцовые строки «Реквиема» —

И ненужным привеском болтался  
Возле тюрем своих Ленинград, —

недаром считаются одним из наиболее лаконичных и точных описаний бессмысленной жестокости и абсурдной беспощадности красного террора. В повестях Федорова формула Ахматовой одновременно и подтверждена, и — опровергнута. В конце сороковых годов сталинские застенки снова, как и в тридцатые, грозили подмять под себя, попросту подменить собою пространство так называемой воли. Однако именно в тюрьмах царила порою невиданная свобода мнений: пир во время чумы рождал удивительную раскованность дискуссий. Вот почему, с точки зрения юных интеллектуалов из окружения Кузьмы, то, что еще недавно казалось нормальной жизнью, на деле является лишь «ненужным привеском» к тюремной напряженной и искренней свободе слова.

Самое важное состоит в том, что вовсе не глухая оппозиция советскому режиму определяет тональность большинства тюремных бесед. В камерах продолжают те же, что и на воле, горячие дискуссии о социализме, Гегеле, Марксе — только без оглядки на возможный донос. То же нередко происходило и в лагере, недаром же Федоров говорит «о благословенном ОЛПе-2» как об «Афинах мира, где к началу пятидесятих годов сгрудилось больше выдающихся умов, чем в солнечной Греции в век Перикла».

Если на воле подчинение человека мифу происходило неосознанно, исподволь, то на просторах ГУЛАГа теория вполне органично становилась жизнью. Витька Щеглов однажды произносит примечательную фразу: «А знаешь ли, читатель <...> что все великие философские концепции создавались как результат внутреннего озарения, а не под влиянием повседневного опыта и жалкого житейского быта». Безытное существование, отсутствие жизненных перспектив, постоянная угроза бессмысленной гибели — все это обрекало узников-интеллектуалов на непрерывные отвлеченные раздумья и споры. Лагерь у Федорова — своеобразная новая философская Академия, сильно напоминающая туберкулезный санаторий Берггоф — обиталище героев «Волшебной горы» Томаса Манна. Совсем как у немецкого классика, в лагерной эпопее Федорова конструированием самых фантазмагорических гипотез и теорий занимаются даже те пленники замкнутого мирка на грани жизни и смерти, кто на воле и не помышлял о столь напряженной мыслительной работе.

Что же тогда говорить о юных интеллектуалах из московского университета! Один из них, пылкий Саша Краснов, и в бараке не расстается с объемистым томом «Науки логики» («Гегель мне требуется как кислород»). Именно Краснову приходит в голову, что лагерь — не отклонение от нормы человеческого существования, а наоборот — приближение к ней, поскольку он «рентабелен, самоокупаем, экономически прибылен». Чуть позже Сашу осеняет идея еще более радикальная: сама планировка ОЛПа точь-в-точь заимствована из Томаса Мора, лагерь — не что иное, как воплощение в жизнь моровской Утопии. «Коммунизм, — восклицает Краснов, — это не реки с кисельными берегами, текущими млеком и медом, а жестокое, насильственное, принудительное равенство. <...> Нигде и никогда так полно и глобально не проступали обетованные, истинные черты социализма, как в ИТЛ». Не в силах остановиться, захваченный собственными прозрениями Саша выводит умопомрачительные законы бытия: «триединство социализма» слагают

«равенство, справедливость, насилие», человечество же ждет в будущем «тысячелетнее царство лагеря».

Должно быть, о подобных казусах сказал Бродский: «Тут *конец перспективы*». Многообразие бытия утрачено, упразднена способность отличать правое от неправого. Ведь утопии Мора, Кампанеллы и проч. действительно воплотились в практике нацистских и коммунистических режимов, лагерь — на самом деле безукоризненная модель социалистического «способа производства». Категорический императив добра уравновешен если не злом, то равнодушием к напряженному различению добра и зла. Многие подследственные у Федорова (в отличие, скажем, от героев Ю. Домбровского) вовсе не склонны вступать в борьбу со следствием, искать уловки и зацепки, чтобы соблюсти честь, сохранить достоинство. Какой смысл бороться, если приговор неизбежен? Да и обвиняют-то вроде бы только в том, что имело место. «Провокационные разговоры» с товарищами вел? Вел (думает Женька Васяев); в руководящей роли партии сомневался? Так к чему жалить и запираться?

Круг замкнулся. Отсутствие резкой границы между волей и лагерем для Федорова не абстрактный постулат, но реальный алгоритм поведения героев. Воля — тоталитарный хаос, тюрьма — тоталитарность осознанная, осмысленная и добровольно принятая узниками. Не насильник ломает волю жертвы пытками и угрозами, но каждый из арестованных сам подписывает себе приговор, говоря набоковским языком, добровольно приглашает палача на собственную казнь.

Уникальность федоровской лагерной прозы обусловлена не одними лишь смысловыми и стилистическими парадоксами. Повторим еще раз: писатель — первым из тех, кто писал о ГУЛАГе, — представляет свои книги в эпоху, когда «великие географические открытия» позади; все острова потаенно-необъятного сталинского архипелага смерти нанесены на карты, началось их культурное освоение, кропотливые «геологические» работы.

Заблудившиеся в лабиринтах схоластических споров о «реализме» и «постмодернизме» читатели и критики как-то позабыли скучную истину: любая литература — от Стейнбека до Борхеса, от Шолохова до Пелевина — одновременно и отражает реальность, и создает новые ее изводы. Чтение «привлекательной» книги непременно предполагает как узнавание знакомого, известного до приобщения к конкретному тексту, так и острое ощущение открытия. Первые лагерные вещи явились на свет в разреженной атмосфере неведения о жизни Архипелага. Информация о тюрьмах и зонах была заблокирована не только в закрытых отделах архивов и библиотек, но и в кухонном спецхране торопливых бесед — вполголоса и с оглядкой.

В прошлом столетии, несмотря на тяжкий цензурный гнет, все это показалось дурной шуткой. Скажем, явились в шестидесятые годы прошлого века «новые люди», апостолы практической пользы, — и вот тебе, проницательный читатель, целая радуга историй и суждений (от романа Чернышевского «Что делать?» до тургеневских «Отцов и детей»). Еще пример, более близкий по времени. Пережитый многими читателями в пору «перестройки и гласности» по-мандельштамовски «скрипучий, неуклюжий» крутой поворот от «Поднятой целины» к «Чевенгуру» вовсе не поставил под сомнение простой медицинский факт: коллективизация в нашей многострадальной державе действительно имела место.

Повествование же об Иване Денисовиче читали с поистине колумбовым замиранием сердца. Затем планка узнавания была снова опущена ниже нулевой отметки, в семидесятые и восьмидесятые годы «советского человека» вместо будничной жизни со всех сторон обступила пугающая своей неизвестностью магическая пустота, недосказанность, тайна. О прошлом можно было узнать нечто сколько-нибудь достоверное только из неясных, носившихся в воздухе отрывочных сведений о сталинском терроре; правда о настоящем

была ведома лишь тщательно изолированным от советского народа «отщепенцам», исподволь выдавливаемым из страны в эмиграцию.

Точно таким же образом был занижен порог непосредственного восприятия искусства, важнейшие стилистические открытия двадцатого века оставались под спудом. Насаждавшийся соцреализм не только исключал доступ широкого читателя к книгам Музиля или Вирджинии Вулф, но и заставлял писать в стол либо в сам- и тамиздат многих ярких прозаиков и поэтов. И здесь тоже требовались колумбовы усилия, восполнение нулевого уровня узнавания стилистических манер. Колумбы пришли: среди них оказались и адепты «другой литературы», шеголявшие шокирующими добропорядочных налогоплательщиков новейшими стилистическими изысками, и литераторы, мемуаристы, критики, воскресившие наследие литературы советского «бронзового века» (лианозовская школа, СМОГ, группа «Московское время» и т. д.).

Настойчивые попытки сделать окончательный выбор между «реализмом» и «постмодернизмом», отстоять право на жизнь лишь для одного из слабеющих литературной ситуации девяностых были наивной, но неизбежной приметой переходной эпохи. Главной ее задачей стало восполнение нейтрального (повторюсь — «нулевого») уровня узнаваемости жизни и стилистических приемов ее воспроизведения. Освоение до поры запретных пластов быта (прежде всего лагерного) было так же насущно необходимо, как и воспроизведение уже ставших вне железного занавеса привычными «нестандартных» приемов повествования и композиции. Стилистические открытия были эквивалентны открытиям фактическим, «постмодернисты» и «реалисты» решали одну и ту же фундаментальную задачу, способствовали всеобщему возвращению в настоящее, преодолению советского мифа о «гармоничном развитии общества» и культа соцреалистической «теории отражения» жизни в литературе.

Только что отшумевшие споры ушли в прошлое навсегда. Попытки их реанимировать сегодня скрывают под собою либо непростительную наивность и нечуткость, неизлечимую культурную глухоту, либо унылое поддержание имиджа, нажитого многими литераторами в пору перестроечных баталий. В последние годы (месяцы?) все явственнее вырисовываются контуры новой литературной ситуации, в которой больше нет места для стычек «архаистов» и «новаторов». Судя по последним публикациям, это понимают ныне многие — от В. Астафьева и И. Виноградова до В. Сорокина и В. Курицына. Невозможно стало ни напоминать на каждом шагу о собственной приверженности «традиционным ценностям русской классики», ни бравировать уже успешными изрядно набить оскомину хиленькими одноразовыми новациями<sup>4</sup>.

Евгению Федорову в гораздо меньшей по сравнению со многими современниками мере пришлось расставаться с иллюзиями, менять литературные пристрастия. И здесь сказались выгоды позднего писательского дебюта: имя автора лагерной эпопеи никак не ассоциируется с литературным хаосом послебрежневского десятилетия, когда стремительно сотворялись и падали многочисленные калифы на час (напомним хотя бы о феномене рыбаковских «Детей Арбата»). Долгие годы пребывая в литературной безвестности, Федоров переждал эпоху великих гулаговских открытий, когда «лагерная» проза неизбежно воспринималась как средство документального воссоздания

<sup>4</sup> Не могу не отметить сходство такого взгляда на новейшее литературное движение с основными положениями статьи М. Бутова, публикуемой в настоящем номере журнала. Для меня очень важно, что прозаик нового поколения живо ощущает исчерпанность традиционных повествовательных форм, необходимость искать нестандартные, совершенно неизведанные способы авторской самореализации для адекватного ответа на вызов новейшей литературной ситуации, несводимой ни к «революционному» кипенью, ни к консервативному, «реалистическому» застою.

запретных областей жизни. С самого начала Федоров создавал именно литературу. Но сколько же нужно было предварительно прочесть «колумбовых» произведений о ГУЛАГе, чтобы сосредоточенно и спокойно отнестись к историям, в которых тюрьма и лагерь упоминаются в буднично-перечислительном тоне, в одном ряду с рассказом о студенческих вечеринках, флиртах и семейных раздорах (история женитьбы Витьки Щеглова)!

К стилистическим парадоксам Федоров относится столь же непринужденно, как и к «жареной» лагерной тематике. Его рассказ пересыпан необозримым множеством зековских острот вперемешку с цитатами из Плотина и Лейбница. В этой фантазмагорической смеси философских понятий и воровского арго присутствуют многочисленные почти навязчивые повторы тем и мотивов, нагромождения синонимов, явные плеоназмы: «Как назло, где-то совсем рядом, поблизости динамик сооружен для праздника, во всю мощь зудит, рыгает, каркает, хрипит, как Высоккий (читатель уловил анахронизм, но пишу я уже многие годы спустя и не вижу лучшего образа), нагнетая тяжелый, спертый, непроветриваемый дух камеры № 12 знакомым с раннего, лучезарного, безоблачного, счастливого детства ликующим, душещипательным, болезненным, взвинченным, бесстыдно-демагогическим, экзальтированным, бурным, бравурным оптимизмом».

Эстетическая доминанта федоровских повестей — диссонанс, дисгармония. Рассказчик говорит словно бы сразу на нескольких языках, использует все мыслимые стилиевые нюансы; причем часто тон рассказа напрочь отрешен от его предмета<sup>5</sup>: «Читатель, случилось ли вам сидеть на Лубянке, будь она трижды неладна и проклята? <...> Нет, читатель, вы не нюхали Лубянки». Если и изведал кто-нибудь из прочитавших «Жареного петуха» сразу и Лубянку, и украинскую ночь, то все же наверняка они существуют в его сознании по отдельности, а значит, причины соположения столь разных материй могут показаться загадочными.

Федоровское повествование живет словно бы само по себе, вне связи с избираемыми событиями. Рассказчик то и дело прерывает себя, подробно рассуждает о собственной литературной технике, порою допуская рискованные сравнения с мировыми классиками: «„Илиада“: единоборства Менелая с Парисом и Ахилла с Гектором — обрамляют и фланкируют остальные события. Но поверьте мне, читатель, что у меня вовсе не прием, как у Гомера, а тоскливое и немеркнувшее в памяти событие жизни, о котором я в свое время... рассказал Шаламову».

Сразу после дебюта Федорова некоторые критики поспешили зачислить его по ведомству российского постмодерна. Ведь и взаправду сплошные цитаты, нет «серьезных» оценок происходящего, так, ирония одна! Витька-то Щеглов только рад, что Лубянка его в спасительные сети свои втащила. Не то бы — прощай тихое семейное счастье! — так и пришлось ему жить от парада до парада, караулить любую возможность разглядеть силуэт Сталина на трибуне Мавзолея, снова и снова переживать приступ мистического сладо-

<sup>5</sup> Повествовательная глоссология повестей Федорова производит впечатление весьма сильное, почти несопоставимое с реальными ситуациями повседневного общения, в котором семантика произносимых слов обычно не бывает столь резко отделена от непосредственного предмета разговора. Быть может, лишь беседа людей, говорящих на разных языках, но, однако же, понимающих друг друга с полуслова, способна прояснить странное обаяние федоровской стилистики.

Совсем недавно мне довелось услышать, как юный житель Восточного Берлина, отчаянно пытаясь воскресить в памяти позабытые со школьных лет русские слова, провозгласил в пивной на Александерплац загадочный и вместе с тем абсолютно понятный присутствующим тост за здоровье московских гостей: «Выпьем за гражданские, туристические, неопределенные чувства!» Вот она, истинная дружба-фройндшафт, выплеснувшаяся из припева старой советско-гэдэзэровской песни о главном; вот он, жареный петух, всегда клюющий в урочное время и в неминуемое место! — так думал я, от души осушая бокал темного пива и постепенно проникаясь искренними дружескими чувствами — одновременно туристическими, гражданскими и, разумеется, неопределенными.

страстия при виде вождя. Впервые это с Витькой случилось седьмого ноября сорок седьмого года, незадолго до спасительного ареста, положившего конец магическому инцестуозному сожителству с отцом народов.

И все же — нет, негоже увенчивать Федорова постмодернистскими лаврами! Он ведь, как говорилось уже, обращается с самыми разнообразными литературными приемами подчеркнуто свободно, не настаивает на их единственности и неповторимости. Избыточность и причудливость его повествовательной манеры на поверку оказываются тщательно мотивированными. Все дело в том, что гулаговские будни у Федорова описывает напряженно рефлектирующий аналитик, представитель славной послевоенной когорты юных университетских любомудров. И неудивительно, что лагерную драку он уподобляет мирозидущей битве легендарных древних героев, описывает смертельную схватку Саши Краснова и Каштанова «научно», в эпически-замедленном темпе: «Неведомая сила подхватила его (Сашу. — Д. Б.), подняла стремительно на ноги, руки словно выросли, налились силою, в правой руке сам собою очутился топор — схвачен поперек топорщика. Саша надвигается на Каштанова, воззрился на него, неотрывно, остро, бдительно следит за каждым движением. Глаза их впились друг в друга, жгли. Не жить одному из них. Курилка затихла. Время замедлило равномерно-монотонный ньютоновский бег, сменило свою природу, стало бергсоновским. Саша вскинул топор».

Не только в горячечных, утопических грезах экзальтированного теоретика Саши Краснова, но и в глазах других персонажей лагерь оказывается сакральным местом, предельно осмысленным по сравнению с профанным хаосом, царящим на воле. Мир ГУЛАГа представлен в виде модели мира как такового, он, по сути своей, лишен ясных пространственных границ: «Где точно расположен наш лагерь — вразумительно не представляю. Против неба на земле». И время лагерное — тоже абсолютное, вечное время, навеки застывшее. Как поется в известной лагерной песне, «эх, по волнам, волнам, волнам, нынче здесь и завтра здесь».

Итак, любое, даже самое заурядное, лагерное происшествие имеет универсальный мифологический подтекст — не без причины же две повести Федорова соименны гомеровским поэмам! Массовое соитие зеков с лагерной королевой красоты Зойкой описано не как отвратительная «групповуха», а как суровый ритуал инициации, посвящения насельников барака в статус настоящих мужчин, истинных граждан ГУЛАГа. Разделение женских и мужских зон означает, что «закруглен один зон жизни лагерей, начался новый». Несмотря на кардинальные различия, массовая идеология воли вплотную примыкает к идеологии лагеря, обе половинки советского бытия в равной степени мифологизированы, предполагают наличие универсальной схемы мирового развития. На воле переход от века титанов к веку богов-олимпийцев описывался как преодоление все новых препятствий на пути к победе социализма (военный коммунизм, нэп, индустриализация и коллективизация, далее везде). В лагере то же движение описывалось несколько иначе, однако суть дела остается без изменений: красный террор, показательные процессы, эра Ягоды и Ежова, эпоха Берии — и так вплоть до будущей победы справедливости, полной и окончательной амнистии либо очистительной новой мировой войны, которой «политические» зеки ждут как манны небесной.

Евгений Федоров на страх свой и риск решается не только дистанцироваться от солженицынских и шаламовских способов изображения сталинских лагерей, но перечеркнуть и основополагающие принципы изображения русской «каторги и ссылки», выведенные еще Достоевским в его потрясающих «Записках из Мертвого дома» — первой вещи, специально посвященной этой теме. У Достоевского острог — одновременно и обиталище невыносимого отчаяния, лютой, почти нечеловеческой скорби, и в то же время место, где в



наиболее чистом виде присутствуют людская непосредственность и вера, никак не зависящие от окружающей каторжников страшной реальности. «Земной» суд, юридическое «наказание» нимало не влияют на душевные муки преступника. Раскаяние или, наоборот, еще большее озлобление и тяга к жестокости следуют за преступлением вне всякой связи с судебной процедурой. Достоевский (не только в «Записках из Мертвого дома», но и в «Преступлении и наказании», «Братьях Карамазовых») с последней прямою и ясностью воскрешает в сознании читателя надежду, память о том, что «есть и Божий суд» (сравни толстовское «Воскресение» и т. п.).

В повестях Федорова лагерь нейтрален, он не является ни вместилищем зла, ни местом нравственного преобразования преступников и героического сопротивления невинных жертв. Жизнь в зоне не воспринимается под знаком нарушения естественных норм свободного существования.

Потому-то и чувствует Витька Щеглов странное облегчение после ареста. Угодив в тенета Лубянки, он ускользает от чудовищной фигуры Сталина, стоящего на Мавзолее во время демонстрации и властно зовущего очередную жертву в свои людоедские объятия. Требовалось совершить почти невозможное усилие, чтобы избавиться от магии усатого вождя, не уподобиться миллионам тех, кто обрел в нем «объект горького, болезненного, истерического поклонения», кому «Сталин заменил <...> отцов, погибших героями на войне». С облегчением глубоким понимает угодивший в Каргопольлаг Витька, что «Сталин померк... трансформировался в банального Бармалея». Свою лагерную Одиссею Щеглов воспринимает как неизбежный этап жизненного пути: «Чья-то пекущаяся, опекающая старательная, распорядительная воля определяет и задает мою судьбу». «Почему? Не спрашивайте. Живем же мы не в реальном мире, а в мифе, во сне».

Лагерь поистине становится для Краснова, Щеглова, Васяева судьбою, мифом, здесь больше не нужно ежесекундно совершать нравственный выбор, необходимо просто пытаться выжить, не думая всерьез об освобождении и о том, что оставил на воле. Зона врачует, а не только ставит человека в непосильные ситуации, в которых выжить почти невозможно.

Работая со вполне традиционным для классической и современной русской словесности материалом, Федоров приходит к выводам совершенно необычным, его герои вплотную приближаются к бездне, к абсолютной неразличимости добра и зла, когда стремление к свободе раз за разом оказывается тождественно рабской покорности. Страшные откровения Подпольного человека, который, несмотря на возведенную в квадрат и куб абстрактную озлобленность против всех и вся, скорбит о том, что ему «не дают быть добрым», меркнут рядом с незатейливыми словами рассказчика федоровских лагерных историй: «У меня вообще никакого мировоззрения, взглядов нет. Так, винегрет, крошка, что-то болтается в урыльнике, цветок в проруби, а что — сам не пойму и не хочу понимать».

Можно видеть в нем прагматика и циника, свято блюдущего псевдоничшеанские «заповеди» гулаговской жизни («Третья лагерная заповедь: падающего подтолкни»; «Уми сегодня, а я умру завтра — четвертая лагерная заповедь»). Можно счесть Витьку Щеглова человеком скрытным и сдержанным, у которого годы, проведенные в неволе, раз и навсегда отбили интерес к патетике и нравственной проповеди, научили прятать сильные чувства за прикрасной бравадой. Речь, впрочем, должна идти вовсе не о том, «плохой» или «хороший» человек возведен Федоровым в ранг протагониста. Главное — понять заданные писателем условия игры, набор возможных для героев лагерного эпоса вариантов самореализации.

Два поэта замечательно очертили предельные возможности нравственной ориентации в сегодняшнем мире. Либо: «Времена не выбирают, в них живут и умирают» (А. Кушнер); либо: «Каждый выбирает для себя / Женщину, религию, дорогу» (Ю. Левитанский). Герои Федорова избегают напряженных

попыток самостоятельно избрать свою судьбу, однако не склонны также впадать в безысходный фатализм, покоряться внешним обстоятельствам. Можно счесть жизненную позицию Витьки Щеглова нравственно уязвимой, однако можно рассматривать его склонность к компромиссам со сталинской дьявольщиной лишь как обычную для героев типа докторов Фауста либо Фаустуса расплату за доступ к вершинным тайнам творчества. Я исхожу именно из последней возможности.

Федоровский рассказчик поступается принципами не ради житейских выгод, но во имя обретения особой, прежде в лагерной литературе не представленной точки зрения на события рубежа сороковых — пятидесятых годов. «Пименовская» отстраненность оказывается сопряженной со страстным «мудрствованием», летопись соседствует с проповедью. Рассказчик лагерной саги заносит в анналы не факты, не происшествия и даты, но собственные ощущения, эмоции, воспоминания. Именно эта стратегия субъективнейшего повествования от первого лица приводит ко вполне «летописному» конечному итогу: слово преобразует жизнь, читатель обретает новое зрение, новое видение эпохи. Изображение лагеря и зоны под пером Федорова едва ли не впервые достигает той степени непосредственности, которая характерна для восприятия «просто жизни», существовавшей наряду со всякой другой.

Последнее сказанье лагерной саги Федорова — интереснейшая повесть «Бунт», в которой изображены в основном события «холодного лета 1953 года». Смерть Сталина и крушение Берии ознаменовали для ГУЛАГа не шаг навстречу свободе, но сползание к хаосу. Раз навсегда установленные твердые основания лагерной жизни утрачены: зеки играют в волейбол, амнистия и беспорядочные смягчения лагерного режима приводят к возрождению власти воров в законе. В Каргопольлаге зреет бунт, как две капли воды похожий на революцию семнадцатого года, также рожденную в недрах общероссийского хаоса и безвластия. Во главе восстания становятся восемнадцатилетний вор в законе, мальчишка, любитель шахмат и щегольских костюмов.

Даже кратковременный успех лагерного «путча» оборачивается тем, к чему всегда приводят революции: ледящими душу казнями, звериной жестокостью захвативших власть борцов против «произвола». Внутри несвободы может родиться только несвобода. Мифологический цикл советской эпохи замыкается: совершенный во имя свободы Октябрьский переворот вызвал к жизни беспрецедентную машину террора, а попытки ее разрушить приводят ко все новым виткам насилия. Конец лагерной эры у Федорова наступает и... не наступает, в орбиту тотальной несвободы оказываются втянутыми события гораздо более поздние, в том числе и многолетние наивные попытки освободиться от наследия прошлого без покаяния, что-то там волевым усилием перестроить на основании рекомендаций старых и молодых реформаторов и членов президентской комиссии по придумыванию новой государственной идеологии.

Прошлое советского мифа равно вечности, и с учетом этого знания перестроечные кампании выглядят совершенно так же наивно, как и новейшие лозунги вроде возвращения к «нормальной жизни», вхождения в «мировое сообщество», построения «правового государства»... «Где, скажите на милость, это чертово обретенное время?» — вопрошает в сердцах федоровский рассказчик, в очередной раз с деланной французско-нижегородской иронией цитируя Пруста. И, как повелось, — нет ответа, только несется вдаль таинственная птица-тройка: «Москва — Воронеж, х... догонишь...»

Горькая в своей безысходной узнаваемости цитата завершает последнюю опубликованную повесть Федорова: «...она, она, Русь моя, жена моя, во всей невозможной, невообразимой красе, без абзацев, запятых, точек, эдаким мутным, несуразным, чрезмерным, угрожающим, сбивающим с толку сплошным, аморфным, русское безумие, Ванька в рыло, я в карман, дыхание жиз-

ни, весело было нам, все делили пополам! Здесь русский дух, здесь Русью пахнет».

Описание жизни в гулаговской империи перерастает под пером Федорова в эпическое повествование о русской несвободе вообще, о «большом времени» (Бахтин) российской трагедии. Рядом, на соседних страницах, оказываются не только цитаты из разнообразнейших книг, но и ценности, устои, выработанные и отвергнутые в разные эпохи российской истории.

Несмотря на неразрешенность и очевидную тягостную неразрешимость краеугольных «русских вопросов», читатель повестей Федорова обретает легкое дыханье, получает возможность взглянуть на два века русской истории с птичьего полета. (Это удалось Давиду Самойлову в одном из его замечательных верлибров, где говорилось о «позднем Предхиросимье» — эпохе, когда Пушкин ездит на автомобиле «с крепостным шофером Савельичем»...)

Евгений Федоров взвалил на себя тяжкую ношу летописца нового российского Смутного времени. И пусть в его книгах больше вопросов, чем ответов, в рамках поставленной задачи (как можно больше о нашей эпохе «разузнуть, распознать, выверить») успех впечатляющего эпического начинания писателя очевиден, и это вселяет надежду.

---

НИКИТА ЕЛИСЕЕВ



## МОСКОВСКИЙ ПЛЕННИК И ДРУГИЕ

...Он думает, что так вот приехал да сейчас тебе Владимира в петлицу и дадут. Нет, я бы послал его самого потолкаться в канцелярию.

*Н. В. Гоголь, «Ревизор».*

**И**счаянные страницы. В журнале «Октябрь» новая рубрика под названием «Исчаянные страницы» (1997, № 9, 12). Что-то в этом названии дамски кокетливое, альбомно-ханжеское. Но бог с ним, с названием.

Редакционная врезка написана манифестационно. Декларативно. «Крах литературной гордыни» — вот как грозно начинается редакционная врезка. Дескать, есть у нас литературные гордецы, а мы печатаем литературных смиренников. Опубликованы же здесь воспоминания Павла Басинского, Алексея Варламова, Владислава Отрошенко, Владимира Березина.

«Смиренники».

«Я это понял, когда напечатал в «Литгазете» критический «роман» про Андрея Немзера, вызвавший шум в московской прессе и докатившийся до провинции. Звонили и писали из разных городов, а однажды раздался странный звонок из какой-то деревни под Цюрихом, где преподавательница русского языка (!) разбирала мою статью на занятиях со швейцарскими фермерами».

Это — Павел Басинский. Сам о себе. Сам — о своей статье.

«Я вышел в институтский сквер и возле памятника Герцену, что в этом доме когда-то родился, не спеша закурил... Герцен был настоящий барин, москвич. Ни одной дворовой девки не пропускал... Неожиданно я вскочил с лавочки, задавил бычок каким-то несвойственным мне „матросским“ движением ноги и, воровато осмотревшись, спросил: „Что, барин? Съел?“»

Тоже — Басинский.

Что съел барин, мечтавший о том, чтобы в России не было ни барства, ни холопства, — вопрос сложный, всемирно-российский, если так можно выразиться, вопрос. Меня другое интересует. «Крах литературной гордыни»... Преподаватель Литинститута в восторге кричит Герцену: «Съел!» Это у нас в России теперь такие «смиренники»...

«...ибо неделю спустя я запросто читал такое: „Господа, что вы делаете? Неужели вы так мелко цените отличие прозы Варламова от Владимира? Неужели вы и впрямь считаете, что два талантливых русских писателя не похожи один на другого, как ОДИН ДОЛЛАР НА ДВА“».

Это — Алексей Варламов о себе.

«Он так и начал однажды свое эссе обо мне, напечатанное в „Новом книжном обозрении“ в середине 90-х: „Владислав Отрошенко — настоя-

щий, природный русский казак...” — а закончил рассуждениями о моем „эстетстве”... Помню, как я досадовал, когда мне нужно было выдернуть какую-нибудь фразочку из этого эссе Павла Басинского для задней само-рекламной обложки моей книги „Персона вне достоверности”, выходявшей тогда в Италии».

А это — Отрошенко. О себе. Как замечательно его понял критик Басинский. Если все это называется «крахом литературной гордыни»...

*Конец литературы.* В редакционной врезке далее говорится:

«Недаром в современной русской прозе побеждают автобиографические и мемуаристические элементы. И наоборот — слабеет элемент сочинительский. Сочинительский элемент все больше отходит в область массовой литературной продукции...»

Хорошо здесь словечко «недаром». Оно означает вот что: литература — кончается. По крайней мере кончается то, что называлось литературным реализмом. Кончается, погибает то, чьим защитником считает себя Басинский.

Реализм — вовсе не добросовестный пересказ того, что на самом деле случилось в жизни.

Реализм — выдумка, подчиненная законам жизнеустройства.

Флобер не «вспоминал» Эмму Бовари. Он ее выдумывал.

Гоголь по фамилиям брался описать наружность, социальное и сословное положение постояльцев гостиницы.

Из собственного жизненного опыта, фантазии, знания человеческой души автор создавал мир, подобный окружающему его миру. Автор был демиургом, творцом.

Нынешние писатели лишены такой уверенности, такой само-уверенности. Они пасуют перед жизнью. Не решаются создать «параллельный мир» — отсюда обвальная потеря мемуаров. Дескать, я не смею ничего выдумывать. Я смиренно вспоминаю.

Еще в школе нас обучали, что основа реализма — «типизация». Но какая «типизация» в условиях «открытости», «взорванности»?

Писатель не может не чувствовать: литературные типы погибли. Их — нет. Есть причудливые, странные характеры, интересные не своей типичностью, но единичностью, непредсказуемостью. Нынешняя стихия литературы — наглая непредсказуемость.

Автор не решается утверждать: я-де точно знаю, как повернутся события. Автор — не знает.

Поэтому он или нахальный веселый выдумщик (вроде Милорада Павича), не скрывающий того, что просто играет. Или — воспоминатель, мемуарист, не скрывающий того, что материалом для художественного произведения служит его собственная жизнь...

*Воспоминания литераторов.* Так или иначе, но редакция журнала «Октябрь» будет вести постоянный

«раздел „малой” писательской прозы, которая возникает как бы на границах нескольких жанров: автобиографии, мемуаристики, „записок на манжетах”, путевых впечатлений, психологических зарисовок и проч. Единственное условие — несочиненность ее содержания... „Кому это интересно, кроме самих же писателей?” — возможно, спросят нас. Тому же, кому интересны „Петербургские зимы” и „Китайские тени” Георгия Иванова, „Воспоминания” Ивана Бунина, „Роман без вранья” Анатолия Мариенгофа, „Трава забвения” Валентина Катаева, „Бодался теленок с дубом” Александра Солженицына».

Список внушительный.

Стоит добавить еще «Уединенное» Василия Розанова, «Ни дня без строчки» Юрия Олеши, «Четвертую прозу» Мандельштама — и скептики умолкнут.

Не умолкают.

Зачем-то вспоминают они, что к своему тексту о «телёнке» Солженицын предпослал извиняющееся предисловие. Мол, сам знаю: «литература второго сорта», «вторичная литература».

Зачем-то вспоминают отчаяние Олеси, который хочет и не может, не умеет написать просто книжку — вот и приходится довольствоваться обрывками, отрывками, метафорами, зарисовками.

Скептики пытаются даже вывести некий закон, согласно которому «литература о литературе» только тогда и интересна, когда занятия литературой сопряжены со смертью. С изгнанием, с политикой, революцией — со всем тем, что не литература...

В противном случае — что такое воспоминания литераторов?

Горечь уязвленных самолюбий, самореклама, склока, пересказ старых и новых литературных скандалов...

*Провинциал и столичный житель.* Лучшее из того, что помещено в разделе «Нечаянные страницы», — воспоминания Басинского «Московский пленник». Они лучшие именно потому, что главная их тема — не литературная.

Скажу даже больше: Басинскому удалось создать некоего «лирического героя», который до сих пор был мало знаком русской литературе.

До сих пор этот герой появлялся на периферии.

Зато в западной литературе это был едва ли не главный герой.

Растиньяк, Сорель, Дюруа — молодые люди, обмахнувшие платком свои запыленные ботинки перед тем, как войти в бальную залу. Провинциалы, пришедшие завоевать столицу.

Кто им подобен в русской литературе?

«...Выл ветер и дождик мочил, / Когда из Полтавской губернии / Я в город столичный входил... / Ни денег, ни звания, ни племени — / Мал ростом и с виду смешон. / Да сорок лет минуло времени — / В кармане моем миллион!» — все же не главная некрашенная тема.

Ракитин, Смердяков, Молчалин, Глумов (даже обаятельный, умный Глумов) — не те герои, которые интересовали русскую «учительную» литературу.

(Тому есть и социологическое объяснение. Россия — страна опоздавшего буржуазного развития, и те люди, которые по своим «личностным» данным могли бы стать русскими «Растиньяками» — всевозможные «разночинцы» и «нигилисты», — именно в силу своей «особости» не становились в ряды бодрых карьеристов, делающих личную судьбу. У них замах был покрупнее.)

Подлинно «растиньяковские» черты проявились в полной мере у Розанова Василия Васильевича, но он был настолько «оксюморонный» Растиньяк, что никто (даже критики-марксисты) не обратил внимания на пришепетывающего и сюсюкающего, обремененного семьей «Растиньяка».

Что касается других, современных Розанову и поразительно близких ему «Растиньяков» — Горького и Маяковского, то общереволюционное как-то заслонило личностно-растиньячье.

Ныне — лакуна заполнена. Поскольку на всех утопиях и антиутопиях поставлен жирный крест, постольку вопрос личного преуспеяния, карьеры делается главным вопросом, вопросом вопросов.

Опоздавшее буржуазное развитие на этот раз опоздало в России ровно настолько, чтобы прийти впору.

Как там у Достоевского: «Ему царств земных не надобно. Ему бы вопрос разрешить». Истинно так. Царств — не надо. Надо решить вопрос московской прописки.

*Два чувства.* Два чувства «дивно близки» «Растиньяку»: ненависть к провинции и жажда вырваться в столицу, в Москву.

Ненависть к провинции? Нет, нет... Здесь надобны другие слова. Жажда вырваться из провинции, жажда побега. Рывка.

И — есть от чего бежать. Есть от чего рваться.

«Москва не желала меня. Я вонял гадко: вяленой рыбой, районной многотиражкой, дешевым вином с названием «Шафран», что пилоь студентами С-го университета на спор (пойло было настолько специфическим, что принять стакан глоточками... почиталось подвигом)».

Или — еще покруче, позабористей:

«Я был элитой, мальчиком — девочкам из районов до третьего курса предлагалось снимать за свои деньги комнаты в частном секторе, где по ночам на проселке не было света и выли собаки и облысевшие домовладелицы ругались матом и воровали нижнее белье поселянок на пропой. По утрам девочка пудрила носик и брела из своей избы по грязи и снегу на Десятую дачную, чтоб добраться до факультета и там клацать зубами от холода (здание филфака, бывший купеческий лабаз, часто не отапливалось), доводя свое произношение до лондонского блеска, которым она потом и блистала учителькой в своей тмутаракани».

Или — деталька недавнего быта:

«...мечтали отовариться колбасой без очереди (кто забыл: в свое время такой привилегией обладали только столичные жители и население некоторых союзных республик)».

Картина — убедительная. Это — ад. Из него стоит бежать.

Но вот что удивительно для моего мышления (наверное, слишком «столичного», слишком прямолинейного): откуда такая гордость за этот ад?

«Что это такое, провинциальная порода, какая невероятная энергия в ней томится, как непостижимы пути ее прорастания на тесном пятке возможностей, так обидно не совпадающих с широтой Великой России».

Страна, в которой так издеваются над людьми, может ли быть названа «Великой»?

В городе Лейдене (Голландия) на стенах некоторых домов масляной краской написаны стихи великих поэтов: Цветаевой, Рильке, Басё, Верлена.

Голландия, стало быть, — великая страна.

А страна, в которой домовладелицы воруют на пропой нижнее белье своих постоялиц и будущие учительницы бредут под вой собак и мат людей к университету, — страна не великая.

Тем не менее, поскольку все попытки превратить «не великую» страну в страну «великую» до сих пор торжественно завершались превращением «не великой» страны в страну «еще более не великую», то не лучше ли просто жить? Летом готовить варенье на зиму, а зимой это варенье есть — как и советовал сюсюкающий и пришепетывающий «Растиньяк» российский, Василий Васильевич Розанов?

Но если бегство от провинции соединяется, сцепляется у Павла Басинского с гордостью за «провинциальную породу», то «вторжение в Москву», рывок в столицу, в центр соединены с ненавистью к этим, к столичным. К тем, кто лаптем щей не хлебал. Ситуация пикантная: рваться от тех, кого любишь, но кто плохо живет, к тем, кого не уважаешь, но кто живет хорошо.

*Молчалин.* всю жизнь мечтал сыграть Молчалина. Или поставить спектакль, в котором Молчалин был бы равновелик Софье и Чацкому. В конце концов, в пьесе это — три умных человека. На них-то и обрушивается «горе». Горе от их ума. Я бы постарался сыграть Молчалина так, чтобы стало ясно: его корезит ненависть к Чацкому именно потому, что он лучше московского барчука знает цену той среде, куда ему надо, необходимо вписаться, — в противном случае: «Не быть тебе в Москве! Не жить тебе с людьми!»

Молчалина злит, что Чацкий плоть от плоти, кость от кости той среды, которую пламенно бичует. Бичеватель, флагеллант... Истерик, прости господи...

«Как-то в столовой Ленинской библиотеки молодой, но уже маститый столичный филолог рассказывал, что его родители, потомственные литераторы, советовали заняться творчеством Горького, но он не согласился, потому что „общаться с этой горьковедческой шатией-братией западло“... меня поразил даже не тот снобизм, с которым он говорил о дорогом мне человеке, а та степень свободы, с которой он в молодости сделал свой выбор. Я живо вообразил: детально, не торопясь, он проговаривал с родителями свое будущее. Потом они, возможно, поссорились... Потом они обнялись и роняли в своей четырехкомнатной квартирѣ... скупые мужские слезы. Потом папа сел писать роман о юности В. И. Ленина, а сын пошел заниматься Набоковым и Ходасевичем».

Молчалин лишен такой свободы выбора.

И хотя бы он и уверял всех и каждого, что никогда не жалел, что стал заниматься Горьким, червячок сомнения все-таки гложет некоторых...

Уж слишком горячие уверения.

Ненависть к столичным, к «московским», к этим, у которых — свобода выбора, которые не знают, что такое вой собак и мат пьяных лысых домовладельцев, застит глаза провинциалу, сбивает ориентиры.

«...гоголевская городничиха, над которой жестоко смеялись московские зрители и которая была мне до слез родной и понятной; и как я ненавидел того столичного проходимца, мерзавца в панталонах с грязными штрипками, что позволил себе надругаться над самым тайным, стыдливым и могущественным движением души бедной провинциалки!»

Но какая же городничиха — бедная провинциалка?!

Городничиха — провинциальная власть; не домо-, но городовладелица, которая ворует у бедных провинциалок не белье на пропой, а отопление, свет, уборку улиц — вообще делает все, чтобы превратить жизнь провинции в ад.

Ее нечего жалеть... И нечего жалеть ее — по-моему, в особенности — провинциалу.

Но это — по-моему.

*Комплекс провинциала.* Не называю этого политика, поскольку речь веду не о политике, а о литературе, но эпизодик, связанный с ним, расскажу, поскольку нет-нет да и вспоминался мне, покуда я читал воспоминания Басинского.

Мама политика рассказывала с телеэкрана: в их рабочий поселок завезли маргарин. Ее десятилетний сын пошел в шесть утра занимать очередь. Вернулся в девять вечера без маргарина. Не хватило. Львиную долю дефицитного продукта увезли к начальству. Будущий политик сжал кулачки и отчеканил: «Мама!.. Я буду начальником!»

И — только так. И — никаких сантиментов.

*Дядя Коля и удивление столичного пижона (демократа со «свинячьей фамилией»).*

Басинский презирает столичных демократов:

«Они демонстративно „страдали“ за Россию, которая не знает „настоящей цивилизованной жизни“; и тем хлеще доставалось разным „недобиткам“, которые толкали ее назад, в советское варварство...»

«Они» — это я...

Я совершенно искренно полагаю, что страна, в которой (см. выше) студентки филфака бредут по грязи и холоду, ну и т. д., «настоящей цивилизованной жизни» не знает. Я убежден в том, что страна, в которой существует институт прописки, — страна нецивилизованная. Я не знаю, как эту страну «цивиловать», поэтому я занимаюсь литературой, а не политикой.



Я задаю вопрос: за что меня — то есть питерца — так ненавидят «провинциалы»?

Басинский целый монолог записал провинциального жителя, дяди Коля, чтобы я понял, а я все равно не понимаю:

«Вы думаете, мы мечтаем о реванше (тьфу, гадское слово!)? Да мне ничего не надо! Я хочу ездить трамваем на три копейки и троллейбусом на пятак. Я хочу играть с соседом в домино и чтоб по телевизору была скучная программа — какой-нибудь «Сельский час». Чтoб в моем родном ерике... не плавали банки от пепси и тампоны с презервативами. Я хочу иметь достоинство с моей пенсией в шестьдесят рэ, потому что я ее честно заработал. А твой демократ со свинячьей фамилией говорит, что с этой моей „социальной психологией“ страна из помойной ямы не выберется!»

Ну да! Именно так! Свинячья или еще какая фамилия у демократа, но он же прав...

Из дяди Колиного рая с трамваем за три копейки, соседским домино, передачей «Сельский час» и (дядя Коля об этом, естественно, не вспоминает) очередями за колбасой Басинский рванул в Москву, потом метался и плакал, когда понял, что надо будет возвращаться к берегам родного ерика, в котором плавают не банки от пепси, а бутылки от пива; почему же он сейчас с пониманием и сочувствием слушает дядю Колю?

«Понимаешь, если б они честно сказали: „Дядя Коля! Мы хотим сладко жрать и спать, мотаться в свои Америки. А ты, родной дядя Коля, подыхай пораньше и не мешай нам жить...“ — я бы этих ребят очень даже понял... Я же сам фартовый парень был и немок в Берлине за полбуханки имел, сколько хотел. Но зачем они еще и благодарности от меня хотят! Чтoб я не просто сдох — от жизни своей отказался! Да для меня партия — это монастырь, понимаешь? Я из нее не вышел, потому что от грехов своих отказываться не могу... Понимаешь — эх ты!»

Не понимаю... Я не понимаю, каким образом сочетается «монастырь» и изнасилование немок в Берлине. Я не понимаю, что это за монастырь, из которого не выходят, потому что не отказываются от своих грехов.

Басинский объясняет еще раз:

«Есть некто, мерзкий и козлоподобный, кто ненавидит тебя, дядя Коля, как эстетический факт, кто содрогается в своем астральном тумане, смотря, с каким достоинством ты расплачиваешься своим пятакoм, с какой опрятностью собран твой старенький рюкзачок, с какой комфортностью расположились поплавки в коробке из-под монпансье... пока ты здесь, этот некто будет извиваться в корчах, которые повторяет за ним вся Россия...»

*Лирическое отступление.* *Вовсе нет... Меня ни капельки не возмущает дядя Коля как эстетический факт... Меня он пугает как факт социальный и политический...*

Мне ведь тоже не многого надо.

Пусть дядя Коля забивает «козла» и дремлет за «Сельским часом» — я ему не мешаю, мне бы книжечку почитать.

И чтобы за эту книжечку меня не тягали контрразведчики: кто, мол, вам эту гадость передал?

Я хочу, чтобы контрразведчики ловили террористов, а не очкариков с книжечками...

Я такую чепуху хочу: чтобы в любое время мог я выйти на стогны города и купить бутылочку пива 0,5 «Балтика», 5 тысяч (по новым ценам — 5 рублей).

И чтобы канцелярские крысы в учреждениях родного города не спрашивали грозно: «А прописка? Прописка у вас есть?»

И чтобы не бояться за сына, которому стукнет восемнадцать и придет ему пора идти служить... А я не хочу, чтобы его крыли матом и заставляли драить унитаза. Не-хо-чу...

Я многого чего не хочу и многого чего хочу, что в совокупности и составляет нормальную цивилизованную жизнь, а не помойку, в которой опрятно и с большим человеческим достоинством жил дядя Коля...

*Надежда.* Я очень надеюсь, что воспоминания Басинского со вниманием прочтет Борис Парамонов.

Потому что лирический герой Басинского — это как раз тот герой, тот человеческий тип, чей приход приветствует Парамонов. Деловой, ироничный, циничный, знающий правила игры — и не нарушающий эти правила.

Хотел заниматься Фетом — начальник сказал: зачем вам Фет? Займитесь Горьким... Ну что же — займемся Горьким. С любовью, с живым интересом, с азартом.

Другой начальник просматривает статью и замечает:

«Видишь ли, Паша... Этого дядю трогать не надо, потому что он еврей. А этого не надо трогать, потому что он нееврей. За евреев очень обидятся евреи, а за неевреев — неевреи. Понял, сынок?»

На его месте какой-нибудь тюлень москвич растерялся бы и запаниковал. Или продолжал бы тупо писать про тексты, не обращая внимания на национальность авторов.

Ну что же — без паники, с соблюдением правил игры будем писать не о людях, а о «темах».

Не тюлени москвичи, чай. Надеяться не на кого, кроме как на себя.

*Отчаяние.* Но это соблюдение правил игры (любых правил любой игры), эта умелая деловитость, хватка и самодовольство порой пугают, порой производят впечатление чего-то (придется произнести это слово) «мафиозного»...

«...отдел критики „ЛГ“ попал в сложное положение: нужна была рецензия (конечно, положительная) на книгу Вячеслава Костикова, тогдашнего пресс-секретаря Президента... Писать об этой книге (конечно, плохой) никто не хотел. Но вот Курицын тотчас вызвался и написал нечто туманное, но положительное... Слава, в сущности, выручил отдел, позволив не замараться в дерьме, вдобавок совершив благородный жест в отношении газеты, в штате которой даже не состоял. „Литературка“ барахталась в финансовом кризисе, и влиятельный Костиков мог быть ей чем-то полезен».

То есть Басинский совершенно искренно не понимает, что это — нехорошо: писать положительные рецензии на плохие книги влиятельных чиновников, — и никакие привходящие соображения это «нехорошо» на «хорошо» не исправят.

Басинский не понимает, что еще более «нехорошо» сообщать влиятельному чиновнику о том, что он написал плохую книгу, тогда, когда влиятельный чиновник стал частным человеком...

«Что-то проворчал о конформизме прямодушный Андрей Немзер. По сей день ворчит о сервиллизме Бенедикт Сарнов».

Кстати о Немзере. Об этом эпизоде литературной жизни 90-х годов вспоминают все мемуаристы «Нечаянных страниц».

С удовольствием вспоминают, поскольку все они любят Басинского и не любят Немзера. Один критик соблюдает правила игры, а другой — нет. Другой пытается играть вовсе без правил.

Вот как об этом рассказал сам Басинский:

«„Роман“ назывался „Человек с ружьем“. Он был о критике, который патронирует литературный процесс и позволяет себе „пушать“ и „не пушать“ кого-то в литературный мир. Не то чтобы этим критиком был

Немзер, который работал в газете „Сегодня“, не оставляя без внимания ни одной приметной публикации, и скоро занял Место Центрального Критика, *так как никто из его коллег не работал с такой же энергией.* И вот это место мне было неприятно. Вся моя провинциальная природа взбунтовалась против него и Человека С Ружьем, который на этом Месте мог бы стоять... *Немзер не был столичным высокомером.* Он носился с саратовскими Володиным и Слаповским едва ли не больше, чем с Владимовым и другими избранными именами. Но в отношении к тем, кто, по его понятиям, не входил в избранный круг, он оставался нем и глух (курсив мой. — Н. Е.).»

Кого же все-таки «застрелил» «человек с ружьем» — Андрей Немзер?..

Критик с елеем — конец литературы. Критик, который берет книжку и прежде текста начинает выznавать: а кто такой автор? из провинции? из столицы? из евреев? из неевреев? а если я обругаю этот текст, не рассыпят ли книжку одной моей знакомой? — он не критик, он — литературный чиновник.

Впрочем, все это — московские, столичные, «чацкие» «ворчания» и «бурчания»: деловой человек никогда не допустит себя до такого «чистоплюйства»...

Но и у него есть надрыз:

«...я-то знал, сколько страсти и подлинной любви к Литературе таится в этих тюлькиных! Как они сжигают себя на этом ледяном огне! Как они маются, не имея с детства стартовой площадки для творческого роста и взлета! Как несправедливо обошлась с ними жизнь! ...что я мог ответить этим людям? Если бы я был нормальный московский критик... я мог бы, скажем, снисходительно разобрать эти неловкие рифмы и сюжетные штампы. Но меня воротило от них! Это было слишком родное, „родненькое“, то, из чего я выламывался со слезами и соплями — я, не знавший Набокова до поступления в Литинститут...»

Отчаяние — вот что удивительным образом пробивается сквозь самоуверенный текст Басинского. Что-то в этом отчаянии есть наигранное, театральное, истеричное, нелогичное...

Эта нелогичность отчаяния порой ошарашивает:

«Когда мне говорят, что евреи сделали революцию, чтоб отомстить нам, русским, я вспоминаю этимологию слова „русский“ по Ключевскому (князь — варяг, начальник, владевший пестрой славянской территорией) и говорю про себя: „Так вам, русским, и надо!“ Потому что нет русских — есть Россия... Но пуще всего — *столичные и провинциалы!*»

Интересно, кому же стало лучше от того «перекувырка», который учинили «провинциалы» «столичным»? Кажется, они пострадали от этого в большей степени, чем «столичные».

«Это они затем возьмутся за Москву, насылая армады саранчи из Рязанщины и Тамбовщины с авоськами и фиктивными прописками...»

· Страшная месть. Представьте себе, какой радостью наполнятся сердца владельцев супермаркетов в Вашингтоне, если к ним хлынет армада с авоськами из Айовщины и Техасщины...

Но я об отчаянии.

С чего бы? Откуда ему взяться у Растиньяка, победившего Париж?

«Я сажусь за свой боевой „Pentium“, и пальцы мои легко танцуют по клавиатуре. Я настраиваю их, как Рихтер и Горовиц, хотя на самом деле работа критика — это работа сапера».

(Все-таки невероятное, не буржуазное, бюргерское, а купеческое какое-то самодовольство... Насколько же нужно любить самого себя, чтобы — в шутку! в шутку! — сравнивать свои пальцы, лежащие на клавиатуре компьютера, с пальцами гениальных пианистов... И тут же исправить ошибку... Какой там Рихтер и Горовиц! Сапер! — вот моя профессия. Одно неверное движение — и взлетел на воздух...)

И рядом с этим довольством собой такое же театральное — на публику — отчаяние:

«Вдруг случился конфуз. Стоял невзрачный мужичок — не пьяный, но „выпимший“. И вот он не вынес напряженного благолепия момента и сорвался в истошный вопль:

— Простите, православно-ы-ия! Простите скота, мерзавца! Простите, если можете! Гад я! Какой я гад!

И так это он искренне закричал, что кто-то даже засмеялся, и на лице священника я вдруг заметил выражение простого человеческого понимания, какого-то бытового в своей основе. Вроде того: „Да ладно тебе, Вася! Будет шуметь-то... Шел бы домой спать!“

Я посмотрел на мужичка и вздрогнул! Небритый, низкорослый, коротконогий... Но не бомж, а скорее „челнок“ или командировочный. Из-под синей болоньевой куртки виден неопределенного цвета клетчатый пиджак. Воротник желтой рубашки нелепо торчит одним углом, из-под него выгибается горделивой дугой широченный цветной галстук. Кроссовочки „Adidas“. И белый круглый значок на лацкане: „ХОЧЕШЬ ПОХУДЕТЬ? СПРОСИ МЕНЯ КАК!“

Да что это со мной?

И вдруг я понял.

Это ведь совсем не мужичонка плачет. Это плачет, исходя последней дурной кровью и непрошеными обидами, моя глупая провинциальная душа».

Не правда ли, какое отличие от писателей-реалистов? И Флобер, и Гоголь, и Горький попытались бы понять, отчего так сорвался, так запричитал мужичонка — не то «челнок», не то командировочный.

Павлу Басинскому не до того. Душа страдает. Е го душа исходит обидами. Какой тут «мужичонка»...

---

### ПО ХОДУ ТЕКСТА НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА

#### СЕРГЕЙ КОСТЫРКО

Быть правильно понятым Басинскому, на мой взгляд, мешает выбранный им материал и ряд, в который он себя поставил. Березин, Отрошенко, Варламов писали мемуары, у Басинского — повесть. Хотя по всей своей внешней атрибутике это — мемуар. В качестве какового, по сути, и рассматривает «Московского пленника» Елисеев.

Басинский-прозаик изображает процесс врастания провинциала в столичную жизнь; процесс, сопровождающийся, как правило, мучительным переживанием целого комплекса социально-психологических проблем. (Удивительно, но в нашей современной литературе тема эта как предмет художественного исследования почти не освоена: рассказы Шукшина да роман Солухина «Мать-мачеха» — вот, пожалуй, и все.) Басинскому хватило мужества назвать то, что доминирует в переживании этого процесса, — обиду. Обиду на перепады культурных уровней, перепады в укладах и стилях жизни столиц и провинции; это обида, от которой «человека ведет и корчит» (Лесков) и которая деформирует в нем естественную иерархию социально-нравственных и этических понятий.

Характер этих деформаций Елисеев увидел и оценил, на мой взгляд, абсолютно верно и справедливо. И напиши Басинский социально-нравственную публицистику, я подписался бы под каждым словом Елисеева.

Но Басинский написал, повторяю, повесть (не вдаюсь здесь в вопрос, насколько хорошую), а уже сам жанр ее предполагает отделение автора от героя, как бы близки они ни были. Не нужно объяснять Басинскому-прозаику, что

обиды его персонажа на столицу и столичных жителей, его почти мстительное самоутверждение на их фоне не только сомнительны в нравственном отношении, не только опасны, но и попросту глупы. Что для мыслящего и творческого человека попасть в среду сверстников, которым судьба позволила быстрее, легче и, главное, дальше пройти в своем культурном и профессиональном развитии, — великое благо, а не зло. Что это редкая удача — обрести среду, стимулирующую твой внутренний рост. Басинский-прозаик (если я правильно прочитал повесть) и сам это знает — сюжет «Московского пленника» во многом строится на преодолении его персонажем обиды, на постепенном восстановлении традиционно гуманистической иерархии нравственных понятий. Даже соглашаясь с тем, что и сам Басинский не до конца прошел продекларированный им для своего героя путь, мне все-таки кажется, что Елисеев спорит больше с героем повести, которого «ведет и корчит», нежели с ее автором.

### ИРИНА РОДНЯНСКАЯ

...Высказал-таки Никита Елисеев своему коллеге Павлу Басинскому суровую правду — прямо в глаза. Можно бы еще добавить (замечание новомирского библиографа), что в финале гоголевской комедии Хлестаков мчится не в Петербург (как оно выходит у Басинского), а в деревеньку Саратовской губернии, где его поджидает примерное отцовское наказание. Так что и Хлестаков — в некотором роде провинциал, из тех же краев, что сам Басинский. Круг замкнулся, и некуда «московскому пленнику» деться.

Суровую правду оспаривать не стоит; не в опровержение, а, так сказать, из любви к равновесию сделаю к ней два примечания.

*Первое.* В России столица всегда всасывала в себя провинциальные таланты и была средоточием их стремлений. Мне думалось, это признак слаборазвитости (как в латиноамериканских странах, не говоря уж об африканских, где только в столицах и кипит жизнь). Но мне возразили: а Париж? Франция — это Париж. И хоть в нашей литературе нет прямых Растиньяков, зато есть в ней чужие столичному бытию «завоеватели» — те самые «нигилисты» Раскольниковы, о которых упомянул Елисеев. А если вспоминать не героев, а их авторов, то тут и Гоголь, и Достоевский, отправленный в холодный Петербург на ученье, и таганрогский мешанин Чехов; в нашем же веке не счесть провинциалов, прославившихся в столицах. И чуть ли не все они вносили в свои писания толику антистоличного гонора, раздражения, грусти, порой — экзотики. Так что у Басинского с его «комплексом провинциала» очень и очень почтенная «референтная группа».

Притом ехали — не за колбасой. Это относится и к Басинскому, сколько бы он ни бравировал своей «матзаинтересованностью».

Как сказал один знакомый моей юности: «Я тоже имею право слушать „Страсти по Матфею“!» — и зацепился-таки в Москве, приехав с Украины (теперь он, правда, в Иерусалиме).

Нынче у нас вроде бы по-другому. Кроме двух столиц — и Екатеринбург, и Челябинск, и Пермь, и Саратов, и Иваново, и Ярославль: третья, четвертая, пятая и т. д. «культурные столицы». То есть приближаемся понемногу к американскому образцу, удаляясь от французского. А недавно такого не было. Да и сейчас, по совести говоря, мало что изменилось. Пока еще вся Россия — «московская пленница». И испытывает к своим узам двойственные чувства — те самые, коим дал волю препарируемый здесь провинциал.

*Второе.* Казалось мне, что спор западников и славянофилов уже выдохся (не среди политиканов, разумеется, а среди «думающих о России»). Казалось мне, что славянофилы (которые честные) убедились, что никакой «третий путь» России не светит, что у каждой страны — свой путь внутри общего пути современной цивилизации. Казалось также, что западники (опять-таки честные и сознательные из них), в свою очередь, стали понимать, что цивилизация эта прет не к вершинам, а в очевидную пропасть, от которой спасемся ли с Божьей помощью, Он один только знает...

Ан нет. Дискутируют по-прежнему. Как Елисеев с Басинским.

Так вот, я готова согласиться не только с Елисеевым, но даже с Анатолием Стреляным, объявившим национальной идеей России обзаведение чистыми сортирами; я не спорю, что в этой труднодостижимой задаче есть свое скромное величие и некий нравственный идеализм и что как символ приобщения к сегодняшнему цивилизованному миру она «работает». Но никогда я не склонюсь перед тем «голландским примером» благоустройства, которым не первый уже раз мне тычут в нос. Капитуляция перед наркотиками и численное вырождение аборигенов, замещаемых пришельцами из бывших колоний (только не шейте мне расизм!), — этого не искупают стихи, начертанные на стенах. Может быть, нам, какие мы есть сейчас, и следует придвинуться «к Голландии» — но не говорите, что это прекрасно в высшем смысле.

И еще. С «дядей Колей» можно (и должно) не солидаризироваться, и Басинский фальшивит, делая вид, что они заодно. Но понимать «дядю Колю» следует. Ведь, как нас не без основания уверяют, «дядя Коля» — это двадцать процентов российского электората. Его нужно понимать не одним политическим борцом, но также пишущим гуманитариям, каковые пусть и не «инженеры», но — по определению — исследователи человеческих душ.

А «дядю Колю» действительно унизили. Не злонамеренно, а «так получилось»? — это уже другой вопрос. И больше беда его, чем вина, что он отождествляет с владычеством треклятой «партии» те времена, когда в обществе — на телевидении, например, — еще соблюдались элементарные приличия. Он ведь не знает, что времена эти были, да прошли — для всего мира.

## АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ

Цитата: «...все они любят Басинского и не любят Немзера. Один критик соблюдает правила игры, а другой — нет. Другой пытается играть вовсе без правил».

Не рискуя углубляться в амурную сторону проблемы (кто кого любит и проч.), скажу только: конечно, Андрей Немзер совсем не такой беспредельщик, каким его невольно выставляет Елисеев.

«Правила» есть у всех. Или лучше так: невозможно профессионально заниматься литературной критикой, не имея своих «правил» (своих, а не чужих или чужих, но принимаемых как свои).

Профессионал — это и есть человек «с правилами». Немзер — профессионал.



---

---

# РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

## БОЛЕЕ СТРАННО, ЧЕМ РАЙ

Олег Ермаков. Транссибирская пастораль. — «Знамя», 1997, № 8.

**В** новом романе Олега Ермакова (первая часть книги «Свирель вселенной») очень много воды, воды живой и мертвой. Сама композиция напоминает круги, по этой воде расходящиеся: из центра, точки А, и — вплоть до самых до окраин. Озеро Байкал здесь занимает такое же монументальное место, как в жизни. Как на карте. Подобно Моне, влюбленному в стены Руанского собора, Ермаков рисует озеро-океан в самом разном освещении — при этом настроение главного героя значит не меньше времени года или суток. Байкал, конечно, оказывается олицетворением тайной, глубинной какой-то жизни, зашифрованной Создателем и при помощи естественных языков живой природы разговаривающей с нами. Даже скованный льдом, припорошенный снегом, Байкал тем не менее дышит. Ему противопоставлены интерактивные ручейки всяческих надуманных, выдуманых человеком жидкостей: мертвого чая, оглуляющего вина, огненной, выжигающей все внутренности воды (водки, спирта). «В черно штормящем море плавали трезвые рыбы и толстые нерпы. Зачем им пить? Они равны себе и миру».

В романе есть и другой вид воды — музыка. Но по первой части романа еще пока не ясно (а может быть, и самим автором не решено), каким знаком обладает это агрегатное состояние духовной материи. Хотя (если судить о значении музыки именно на основе основ «Транссибирской пасторали») выводы уже напрашиваются: музыка, как и все остальное, что создано или создается человеком, обречена...

Первая сцена романа происходит в поезде. «Идиот»? «Анна Каренина»? «Прибытие поезда»? Замах на большой стиль, на эпопею. Поезд идет на Восток. В купе едет юноша. Роман воспитания накладывается на road-movies, в основе которых, как правило, освоение пустынных земель, пространств, пустот. Дорожная история и есть развернутая метафора некой духовной, душевной инициации, причащения — переходом в естественное свое состояние. Пространства, тем более если оно ничем не заставлено, не загорожено, все равно будет больше, чем человека. Так, вольно или невольно, ощущаешь себя малой частью, частичкой «естественной среды обитания», и потому не захочешь, но сольешься. Дальнейшее повествование будет лишь подтверждать эту сразу же наметившуюся систему оппозиций — Запад/Восток; цивилизация/природа, естественность; вертикаль/горизонталь etc.

Кинематографичность романа заложена уже в самом начале. «Пиши: на земле еще есть дороги, и по ним странствуют». Первые фразы текста воспринимаются как титр или, еще точнее, голос за кадром, выводящий ажурные синтаксические колоратуры.

Повествование, начинающееся с описания, кинематографично всегда, ибо ставит целью своей «нарисовать» место действия. Визуальное напряжение вызывает, как это на первый взгляд ни странно, именно что ритмически изошренная проза: ритм, многочисленные излишества знаков препинания, повторы, чередования. Перетягивая одеяло читательского внимания с сюжета на структуру, такая проза заставляет принимать во внимание, учитывать параллельный, уже какой-то особый, не внутритекстуальный, но внутрисьменный хронотоп. Причуды синтаксиса оборачиваются сложной монтажно-операторской работой. А опыт работы органов чувств современного человека заставляет искать в специфике индивидуальной писательской манеры именно визуальные аналогии. (Так, «рваный» ритм «Кавказского пленного» Владимира Маканина явно сублимировал стилистику новостного репортажа, снятого на бегу, дрожащей в руках оператора такой как бы полупрофес-

сиональной камерой.) Ближе к концу первой части автор проговаривается: «Жаль, что Малдонис не режиссер, он обязательно снял бы алтайский вестерн».

Даниил Меньшиков едет в Сибирь, зачем — сам не знает. За окнами — постоянная смена пейзажей, в купе — разговоры за жизнь. Видоискатель писательской кинокамеры кружит по поезду и окрестностям, фиксируется на частностях и панорамных кадрах, крупные планы чередуются с общими. Особое ритмически оформленное вещество, выложенное в затейливый узор медленных размышлений молодого (еще в армии не служил) странника, невольно выполняет функцию «наезда», когда плавно, «без швов», съемочная камера точно приникает к самой сути путешествующего субъекта. Там, во внутреннем кинозале обратной стороны лобной кости, простекает-движется какое-то иное, иным образом устроенное кино: образы наслаиваются друг на дружку, точно сложенные слои, образуя символическое напряжение. Именно там, за словами и вне слов, отрабатывается весь набор заложенных в основание нового романа смыслов.

Один из важнейших проявляется уже на первых двух страницах: пристально внимательный к стилистической стороне дела писатель, тем более на вступительно-ударных страницах, не мог случайно повторить один, в общем-то, не самый обязательный образ «поврежденного, *ощерившегося неба*»<sup>1</sup>. На первой странице «Транссибирской пасторали» Даниил «вспоминал Москву, неотразимо тяжелую, серо-каменную, *вонзивишюся шипами в свинцовое небо*». Тут же, совсем по соседству, прорывается и во второй раз — когда попутчики включают магнитофон и возникает «музыка-Америка, скрежет тормозов в мозгах — на поворотах, грохот барабанов, крушение тарелок, реки машин, небоскребы, *царапающие небо*, дым над водой — дым ядовит, вода грязна, как ядовито и грязно все: деньги, любовь, хлеб...». Небоскребы потом всплывут еще, когда пьяные охотники начнут вспоминать столичный ландшафт, где даже живые деревья мирволят подозрениям в сделанности: «...елки кремлевские, тополя — американские небоскребы».

Москва здесь странно уравнивается с Америкой, потому что — на Западе. Обе они представляются Даниилу рассадниками цивилизации. От которой он теперь и бежит. На Восток. Где, кстати, будет восприниматься как парень с Запада: «Здесь на это делали упор: с Запада. Так в Средней России говорят о жителях Лондона или Берлина». Меньшикову важно стать здесь своим. Однако этого пока не произойдет. Почему и как? «Пастораль» как раз об этом и «снята».

Даниил бежит без особого плана, по наитию. Первая остановка, на берегу огромного озера, приносит символическое очищение. Он встречает двух не слишком трезвых людей, которые предлагают ему отведать чифиря. Гасан и Белесый выступают как все те же проводники цивилизованного начала. Ну, во-первых, потому, что природный человек не может быть пьяным. А во-вторых, потому что чифирь — сущность, не имеющая духовного праобраза, симулякр. Даниила, в соответствии со всеми правилами и канонами экзистенциальной теории, тошнит (для пушей уверенности аж два раза): да, «напиток смертельный. Больше он никогда не притронется к *абсурдному чаю*». Тем более, что пока Меньшиков приходил в себя, «и Байкал освобождался: за одну ночь взломал ледяную печать» — и стало возможным путешествовать теперь уже по воде.

На пароходе наш герой встречает дембеля, Витю Малыгина, с которым и сходит на берег: Витя приглашает Даниила пожить у них в деревне, среди охотников и рыбаков. Это ли не праздник, осуществление давнишней мечты одного отдельно взятого человека! «Да и почему бы и не пить, коли пьется, и подхватывает чарующая волна, кружит над столом, ломящимся от рыбин и тушеных ребер, выносит выше, дальше, — может, это ветер сарма, может, это переправа-на-быках... Куда? Какая разница...» Ан нет, разница здесь самая что ни на есть превеликая. Еще только вступив на корабль, Меньшиков замечает, что он «забрался в даль времен...

<sup>1</sup> Курсив в цитатах здесь и далее мой. — Д. Б.



Даниил точно был переселенец. Он оставил старый мир, он пустился в путь, чтобы увидеть новый свет».

Особое движение авторской интонации, демонстративно внимательной ко всякого рода деталям, наполняет минимальное колебание сюжета потенциально самым глубоким, символическим, едва ли не мистического порядка, светом. Ермаков делает все, дабы мы ни на мгновение не усомнились: самое обычное путешествие самого обычного человека важно не само по себе, но именно своим метафорическим потенциалом, притчеобразностью.

Что вполне в духе современной российской словесности, самым важным и здесь оказывается не сюжетный ряд, но то трудноуловимое ощущение, что должно остаться после всех этих столь сложно организованных пространств данности; данности, которая не объясняется, но — лишь — предъясняется: корни замотивированности, как причинно-следственной, так и социально-психологической, отрублены: кино, оно и есть кино — все только то, что вместились на пленку, на скромную площадочку экрана; все только то, что было подогнано для того, чтобы задуманная история, сюжетный иероглиф-пасьянс состоялся.

Лично для меня кино — предел условности, такой вот оживший комикс: раз-два-три — и в дамки. Если кино начинает баловаться замедлениями сюжета, красивыми планами и насыщенными кадрами, это, братцы, даже не литературина, но чистой воды литература — поле естественного (когда над тобой не тяготеет диктаторская воля съемочного коллектива), более свободного интерпретационного маневра. Авторское кино — самая что ни на есть «изысканная словесность», правда выполненная немного иными средствами, да-да, такой жанровый сплав, синкретический вид искусства.

«Свет солнца делался все плотней, ощутимей». Пересекая Байкал, Даниил Меньшиков действительно попадает в какое-то мифологизированное пространство всеобщей внеаходимости. И время здесь течет по-иному, и, насыщенное голодным кислородом, пространство организовано не без помощи медвежьих повадок. Москва отсюда кажется «преисподней», а дух тайги, Хозяин зимовья, — реальнее иного человека; медведей здесь больше, чем людей, которые живут жизнью странной, мало похожей на нормальную, человеческую. Будто и не живут вовсе.

Показательна одна невольная реминисценция. Витя Малыгин, пытающийся припомнить имя заезжего писателя («Тут один писатель был... Не помню, правда, как его... С Запада откуда-то...»), ведет себя совсем как булгаковский Мастер, выпавший со своим романом в иное измерение, где память отказывает в необходимом, но весьма горазда на излишества.

Но и этого (всеобщей внеаходимости) Даниилу оказывается мало, и он движется дальше в тайгу — туда, где в заповеднике воздух цивилизации оказывается еще более разрежен. Расставание с таежным поселком, по однажды опробованной схеме, проходит через опьянение и похмелье. Сначала — гибкое вино, затем — холодный Байкал, где, на волосок от гибели, так явно понимаешь, так точно осознаешь никчемность предыдущего опыта, всего того, что было: «Байкал чуть до смерти не напоил его. Винная легкость обернулась тяжестью, пластичность, все связующая, — где она?»

Двигаться дальше можно только до дна исчерпав нынешний период. Это как остановки в пути, как станции. Следующая — Заповедник. Совершенно понятно, что и здесь Меньшиков долго не продержится: степень отгороженности от мира никак не сказывается на степени духовного совершенства местных жителей. Несмотря на то что главный местный философ имеет знаковую фамилию визионера Ремизова, а дочка его — прекрасна и естественна, как сама природа. Но слишком уж по-человечески они слабы; пьют, куролесят. Да, слишком много пьют — а это для Даниила как тест на «ненастоящесть»... Заповедник всего лишь очередная отошедшая ступень в его путешествии к центру собственной вселенной. Здесь даже Байкал (потому как подпорка внешняя, вонне вынесенная) не поможет: только изнутри, собой, в себе.

Вот он, главный «транссибирский» маршрут: двигаться навстречу солнцу (с этим огненным светилом у главного героя какие-то особенные, странные отношения), как можно ближе подойти к источнику вечного сияния. Может быть, слиться с ним?

По духу все это напоминает дзэнский коан. В похожей ситуации оказывался персонаж фильма Джима Джармуша «Мертвец», робкий поначалу юноша с говорящим именем Уильям Блейк. Который тоже ведь ищет «не географически-климатический или философский „временный рай на Земле“, но обретает успокоение в мировом эфире среди архетипичных сущностей» («Отправиться на Запад и умереть», Сергей Кудрявцев)<sup>2</sup>. Меньшикову до подобного безветрия еще далеко, но его движение к этому «успокоению» едва ли не очевидно. Иначе зачем огород городить, издалека выстраивая историю такого символического человека, — да чтобы показать все постепенные этапы восхождения к выходу и спасению в современных условиях.

Неожиданная рифма связывает фильм и роман. Взаимопроникновение их друг в друга проявляет подспудные смыслы, провоцирует разнообразные интерпретации. «Фильм Джармуша хочется не только смотреть, но и читать» (Зара Абдуллаева). Например, совершенно очевидной становится дзэнская, психоделическая природа «Свирели вселенной».

В обоих случаях имеет место игра с жанровыми ожиданиями: «неумение» снять вестерн или, напротив, истовое стремление написать (и не только словесно) «пастораль», найти то, чего, на поверхности лежащего, до сих пор странно не замечали. Тому порукой — странный стиль (см. выше), точно повторяющий опыт киношного монтажа. В «Мертвце» таким ритмообразующим началом оказываются еще и гитарные переборы Нила Янга. Не в этой ли невозможности привлечь на страницы романа самое эфемерное из искусств залог неутешительного к музыке отношения в нем?

Конечно, тон в этой интерпретационной лихорадке, по причине первородства (1995), задает фильм Джармуша. В «Мертвце», если следовать мнению Сергея Кузнецова, одновременно просматривается сразу несколько композиционных версий. Согласно первой, клерк Блейк умер еще до начала фильма, и его путешествие по Дальнему Западу — одна из частей загробного пути, «как бы остров между двумя плаваниями в океане». Согласно второй версии, герою еще только предстоит родиться Блейком: «порядок инкарнаций не обязан совпадать с хронологическим». Согласно третьему прочтению, «совершенно не важно, когда Блейк умер: он считается мертвецом, поскольку на протяжении фильма проходит инициацию, а всякий участник инициации признается умирающим и воскресающим для новой жизни». Сергей Кузнецов считает, что большинство американских критиков придерживаются четвертой гипотезы: Блейк умирает в самом конце фильма, а все странности происходящего объясняются тем, что Джармуш не умеет снимать вестерны.

Роману Ермакова уготована схожая участь: давление традиции сворачивает прочтение «Транссибирской пасторали» с условно-метафизического на колею социально-реалистического. И вот уже Алла Латынина предполагает в «Литературной газете», что путешествие Даниила Меньшикова к Байкалу — только лишь служебно необходимая вводная часть к предстоящему военному, афганскому опыту: «Пока же нам предложен в качестве самостоятельного литературного произведения текст, оставляющий ощущение растянутости и неполноты, непроявленности и незавершенности». Трактовка Латыниной действительно имеет все шансы на осуществление: действие первой части «Свирели вселенной» происходит в 70-е годы, а Даниил имеет возраст самый что ни на есть опасный — призывной. К тому ж Ермаков своим последовательным вниманием к афганской теме делает подобные ожидания небеспочвенными<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Здесь и далее цитируются материалы обсуждения отечественными кинокритиками фильма Джима Джармуша («Искусство кино», 1997, № 1 — 2).

<sup>3</sup> Написано до выхода в свет второй части «Свирели вселенной» — романа «Единорог» («Знамя», 1998, № 2), где судьба героя повернулась несколько иначе. (Примеч. ред.)

Вспомним, однако, эволюцию другого писателя, близкого Ермакову как тематически, так и поколенчески, — Олега Павлова. В своих последних текстах (роман «Дело Матюшина», цикл «Соборных рассказов») он точно так же, хотя, может быть, и менее удачно, пытается преодолеть эмпирику повседневного опыта, выйти на какие-то иные, более широкие (глубокие) пределы. Еще И. Роднянская заметила, что «Ермаков так и пишет эту войну — несмотря на локальный колорит и точную съемку афганской фронтовой панорамы — как мировую, как обнаружение мировой порчи, извержение ее из людских глубин на поверхность событий». А пока — Апокалипсис, Апокалипсис как дело рук человеческих. Как вполне логический, о ж и д а е м ы й финал. Бытовая эмпирика фиксирует ситуацию перманентного, ползучего Конца Всего. Который тем не менее не означает окончания существования — да, нужно продолжать жить, даже если уже нельзя, даже если уже не можешь. Для того чтобы понять это, Глебу по прозвищу Черепаха из романа «Знак зверя» понадобился опыт убийства (как метафорического, так и вполне реального). Судьба Даниила оказывается более «легкой»: ощущение тупика, напрямую связанного с «достижениями» цивилизации, даровано ему изначально. Значит, куда больше места для маневров в поисках выхода.

Ермаков сам, между прочим, дает намеки на продолжение Даниловой одиссеи. Есть, есть в «Пасторали» не очень приметный абзац, в котором писатель «проговаривается», что судьба еще забросит Меньшикова в Китай. Даниил явно стремится на Восток, навстречу свету, солнцу. Что, впрочем, не отмечает и возможности Афганистана. Хотя явно сужает его «полномочия».

«Даниил изо всех сил слушал и старался не спать. И порою ему представлялось, что он сидит в глубине зрительного зала и видит яркие кадры: звезды и переправа через реку, черный лес, раннее утро, по суку сосны прыгает птица, в долине туман, мощный трубный рев самца-марала сбивает птицу с ветки...» Подобно Уильяму Блейку из фильма Джармуша, однажды и нашему Даниилу Меньшикову «вся предыдущая жизнь... вдруг почудилась сном. И как будто начиналась новая жизнь: ясная». Что с окружающей реальностью связано лишь опосредованно. «Путешествие с „Мертвецом“ — это путь любого отдельного человека, отделившегося от других, отдаленного от них, однако себя-в-себе-для-себя» (Зара Абдуллаева).

Близость к природе — дает ли она свободу? Пока — не дает, ибо лишь совпадение с природой, растворение в ней лишают *равнодушную природу* замкнутого, вещь-в-себе, ореола. Но все это, видимо, только предстоит. На пути в заповедник корабль, похожий «на железный гроб с прожектором» (на весьма ограниченном расстоянии Ермаков трижды употребляет это словосочетание), попадает в очистительный шторм. Пьяный капитан едва не доводит корабль до края гибели. Может быть, для того чтобы Даниил заглянул за этот край? Символично, что, сойдя на берег, Меньшиков валится как пьяный. Хотя не пил. Пьяный — как в последний раз (зачем ему, соразмеренному-то, теперь пить?!)..

Для Ермакова важно, что в заповедник Даниил приезжает первого сентября, в субботу. Именно поэтому в двух первых абзацах очередной главы он употребляет на разные лады вокабулу «первый» с десяток раз. «Все дело, наверное, в первом впечатлении: самое первое сентября, когда все неотразимо свежо, ярко и учитель, высшее существо, торжественно ведет в новый мир, снимая одну за другой печати с тайн цифр, звезд, вод, слов».

Созданию человека в Торе предшествует появление «скота и гадов и зверей земных по роду их». Прежде чем Ермаков обращается к пробуждающемуся от долгого (sic!) похмельного сна Даниилу, первым делом он выводит на сцену всяческую живность — сурка, вылезавшего из норки, и птиц, летящих вдоль хребта. Затем на территории этой переходной главки к ним добавятся комары и собаки, тараканы и клопы, белки и рябчики, лошади и — снова — лебеди. При создании человека было заповедано «владычествовать над рыбами морскими и птицами небесными и над всякими животными, пресмыкающимися по земле». Не потому ли Ермаков тут же, здесь помещает описание таежного пожара, в тушении которого принима-

ет участие и его главный герой, чтобы лишний раз подчеркнуть: стихия укрощена. Хотя и не побеждена окончательно.

«И увидел Всесильный все, что он создал, и вот, весьма хорошо. И был вечер, и было утро: День шестой», День Создания Человека. Не потому ли шестая глава «Пасторали» начинается ранним утром — когда герой еще спит, а заканчивается — когда «вечером к новой хлебопекarne потянулись жители»?

На второй день своего пребывания здесь Даниил поет песню индейцев племени оджибве: «...он пел ее по утрам как молитву, всякий раз видя в воображении краснокожего человека с перьями в черных волосах, который тоже пел эту песню...» Откуда у парня индейская грусть? Ниточка оборвалась: путешествие обрело объем и всеохватность — и вширь, и вглубь (в качестве разнорабочего Даниил роет колодец).

День его равен вечности. В начале третьего дня жизни Даниила в заповедной зоне Ермаков замечает, что «Даниил ни разу не видел Хобункова», как если бы это было чудным и необъяснимым. А тут, кажется, времени и не существует, одно лишь голодное до человеческого присутствия пространство, которое манит, которое нужно завоевать.

Поэтому в следующие дни (и в соседних главах), когда идет дождь, Меньшиков читает том Всемирной истории. И Ермаков пунктиром прочерчивает историю мира. Античность. Александр Великий и Великая Волчица. Эпохи и персоналии. Теории и планы. Схемы и карты. И прочее. Потом он попадает в собеседники к Ремизову, и тот вываливает на него всю философскую рать. Декарт, Гегель, Лейбниц, французы... Торо (снова Америка!), Кришна... И так вплоть до «третьего завета», то есть до «заповедника нового типа», идею которого Ремизов много лет лелеет: «...это — работники третьего тысячелетия, тысячелетия земли и вод, воздуха и птиц; зеленое тысячелетие, решающее тысячелетие... люди пространства и времени». Меньшиков проходит восхождение от идеи к идее, от человека к человеку, как горную гряду: каждый новый объект много выше, круче, важнее. Обаяние Ремизова блекнет перед историей лесника Малдониса. Тот уже, в свою очередь, так же готов уступить эстафету пути кому-нибудь другому. Не зря Даниилу казалось, что живет он в центре мира. Все оно именно так и было. Все оно так и есть. Сие означает, что путешествие, первая его часть, и в самом деле состоялось. Человек стал равен самому себе. Христианская основа родной культуры, впитанная им буквально на бессознательном уровне, как общее место, в котором должно начинаться любое путешествие к центру себя, служит здесь опорой для толчкового рывка. Каждый сам, каждый раз по себе, кроит мировоззренческую «базу», смешивая идеологические ингредиенты в нужных ему пропорциях. Ермаков, стремящийся здесь к полному соединению с природой, и не скрывает своих дзэн-буддистских интенций: он совершенно не согласен с тем, что человек — сын Божий, главное Его творение. Вовсе нет: человек — один из. Вот, скажем, озеро Байкал — точно такое же реально действующее лицо, и состояние его, и изменяющего Меньшикова, но и одновременно претерпевающего изменения, оказывается столь же существенным и важным, как и состояние вполне антропоморфного Даниила.

В этой соотнесенности всего со всем и проявляется главная возможность со-бытия путешествия. Выход за пределы доступного обозначается снятием бинарных оппозиций, которые являются всего лишь проявлением социального. То есть частного. То есть ограниченного. Все настоящее бесконечно, безбрежно. Как живая вода Байкала. Джармуш ставит эпиграфом к своему фильму слова Анри Мишо «не следует путешествовать с мертвецом». Постепенно Ермаков разрушает изначальную данность, показывая развитие — нет, не юноши, но окружающего его мира. Или, точнее, так: постепенно мир откликается на рост души, на изошренность зрения, раскрывается в своей пугающей глубине. Поэтому в тексте так много пейзажных зарисовок, которые его нисколько не утяжеляют. Ермаков погружает Даниила в подвижную и изменчивую стихию, подтягивает

его вслед за ней, точно пытается вытолкнуть куда-то наружу. Рождение состоялось, новый человек родился. На свет. Для света. Родился ли он мертвым — быть может, узнаем чуть позже. Текст Ермакова имеет действительно промежуточный характер, точно запечатленная в романе Сибирь, сама «Транссибирская пастораль», простирается между массивом уже отошедшего, написанного-напечатанного, и территорией ожидаемого, еще только планируемого, создаваемого.

Дмитрий БАВИЛЬСКИЙ.

Челябинск.

\*

### «НЕБО В СУБТИТРАХ»

Юлия Скородумова. Сочиняя себе лицо. М., «Арго-Риск», 1997, 46 стр.

Это третья книга стихов уже достаточно известной в московских литературных кулуарах поэтессы. Само название сборника, равно как и двух предыдущих («Откуда приходит мышь» и «Чтиво для пальцев»), дает некоторое представление о метафорическом своеобразии поэтики этого автора. А при чтении первых строк (цитирую: «Дюймовочка живет у меня на пальце, / в перстне-лилии, роялистка, / в королевстве чайного металла / пыльной самоварного злата питается. / А на груди моей, близко-близко / к сердцу, — еще один постоялец: / под крылышком знамени алого — / маленький эльф, златокудрый юноша Ленин...») становится ясно, что здесь мы имеем дело с совершенно оригинальным (несмотря на то что автор явно и сознательно работает в языковой традиции, созданной Иосифом Бродским, впрочем, ставшей уже классической в современной литературе) и дерзким дарованием. Здесь очевидна смелая словесная игра, разнообразие поэтического инструментария, свободные, раскованные отношения со звуком, метром, ритмом, рифмой, постоянно предлагаемые нашему вниманию смысловые и образные шарады, которые, замечу, не скудно разгадывать, уверенное владение интонационной стороной стихосложения, нарочитая и в то же время тонкая ироничность в отношении к себе и к другим, к сильному полу и к прекрасному полу, к предполагаемому читателю и окружающему социуму, а главное — к собственно слову, которое у Скородумовой — то самоцель (как, например, симпатичная «фенечка Феникса» или же неоспоримое «грешники мы, а не греки»), то средство (инструмент и одновременно материал) для создания чего-то гораздо большего, нежели «фенечка» авторская, ибо практически каждое ее стихотворение не только «сделано», выверено до мелочей на уровне словосочетаний, строк и строф, но и, как правило, является собою в целом некую мистерию, некое драматическое действие, некий экзистенциальный балаган — персонажей, предметов, явлений, ощущений, сентенций, цитат и т. п.

И в то же время эта гротесковая, каламбурная, игровая поэзия вполне реалистична: реалии узнаваемы, тематика — современна, ирония — оправданна, язык же, при всей его эклектичности и усложненности, — вполне литературен и, опять-таки, современен, даже там, где изобилие англоязычных и сленговых словечек перемежается архаизмами, а когда и целыми фразами, выстроенными в рамках древнерусской грамматики. Чтобы не быть голословной, приведу пару цитат:

Как говорил сокровенный Сократ, сибарит, сотрапезник, создатель,  
с ханкой, на кухне, при мне, при свечах, при часах, при своих оставаясь:  
Мир обоюден, объят облепихой, он липок и лапчат,  
все мужики дармоеды, все бабы тупы на языки...

Или так:

Змею-Горынычу Господь подарил  
три головы, как-то: веру, надежду, любовь и к ним —  
огромное небо одно на троих,  
взлетно-посадочные огни  
полночных светил и горних ангелов рой  
над каждой его фюзеляжной дырой.

И далее — из уст Змея-Горыныча:

— А в гареме моем на горе, — говорил, — три жены, три желны.  
 Три стукачки, три шапочки красных и трижды больных  
 волчьей пастью, при коей не зарастает  
 огромное небо одно на троих.  
 С небес они сводят с ума меня, натравив  
 летучих легавых с лаем столикую стаю.  
 И травят, и бьют по мозгам, как в нюрнбергской пивной,  
 где и одна голова хороша уже — совладать бы с одной,  
 когда все вокруг начинает троиться:  
 свастики лапок, имперские курицы-птицы,  
 средь нахлебавшихся тварей бармен, иже непотопляемый Ной.

Эта поэзия радует как своей стилистической отточенностью (за редкими исключениями), так и очевидной красочностью и многоликостью. Ежели в ней чего-то недостает, то, может быть, некоторой пристальности взглядывания в глубины бытия, некоего сообщения вечных истин (что, впрочем, в рифму делать значительно сложнее, нежели в прозе, и, должно быть, не так обязательно), равно как и привычной для читательского восприятия лиричности и уязвимости души, присущей любому из нас, а потому с радостью приветствуемой в ближнем, — то есть, собственно, душевности. Однако как разнятся психологические типы, так отличаются друг от друга и типы, если можно так выразиться, «поэтические», и судить за отсутствие чувствительности (или же за нежелание эту чувствительность обнаружить) поэта не следует. Юлия Скородумова — поэт рациональный. Да, она отдает предпочтение формальной, игровой стороне стихосложения. Да, она, вслед за Маяковским и футуристами, конструирует образ (ибо почти любая метафора — в сущности, формальная конструкция, и метафорическая поэзия, в отличие от более описательной и эмоциональной лирической, всегда несколько искусственна). Это уже в полном смысле «искусство для искусства», где версификация самбценна, где образ существует только ради образа, звук существует только ради звука, а то, что принято называть «содержанием» поэзии, возникает уже в результате этой словесной игры и тем самым оказывается вторично. Да, Скородумова — не лирик, не философ и уж тем более — не дидактик. Она художник, и только, причем художник концептуальный. Она сочиняет, выдумывает собственную реальность, вместо того чтобы «отражать» существующую. Ее гораздо больше волнует внешняя сторона бытия, даваемая в ощущениях, нежели сфера чувств. И душевные перипетии у нее почти всегда остаются сокрытыми от читательского взора как нечто слишком интимное, чтобы быть вынесенным на всеобщее обозрение. Да, это так. Но это, я повторяю, вполне объяснимо, более того, это — позиция, отстаиваемая ею сознательно, ибо

...разгулы реальных стихий  
 не оставляют места душевным.

И еще цитата:

Море волнуется — черная чаша партера.  
 Сердце в ушах марширует Шопена.  
 Цыц, барабанные, цыц, перепонки и жабры!  
 Ниц — седовласые зрители:  
 влажные взоры, на устах пена —  
 ценители...  
 Зубки то тут, то там обнажая,  
 облизываются, ждут,  
 когда мои руки, и плечи, и шея  
 в их небеса упадут.

И далее:

Очень важно упасть красиво:  
 пружинной рвануть вперед,  
 выпрямить слабость в коленках.  
 Но пирс подо мной — что костыль калеки.  
 О, сустав мой, кузнечик, конечный детеныш Гэфеста,  
 стойко снеси метаморфозы веса

вследствие стресса  
впадания в чужую среду!

Разверзся занавес. Я иду...

И еще:

Вещи в себе стеснительны. Ежли вещать, как есть,  
равно как пить или спать, — даже духовно близким  
покажешься недалеким, сиречь однобоким, склизким  
одногогорбым верблюдом, норвящим без мыла влезть  
в игольное их ушко...

И еще:

...где емкость литер давно исчисляется в литрах,  
любое писание подобно небу в субтитрах...

И потому вполне резонна и эта сдержанность эмоций, и этот рациональный камуфляж (чисто женская, прошу заметить, уловка, ибо в поэзии сильного пола лиричность — достоинство, и никто не осудит поэта за излишнюю сентиментальность, что сплошь и рядом можно наблюдать в отношении поэзии «женской», так что некоторая надменность лирической героини ей вовсе не вредит, а даже, напротив, сопутствует успеху у читателя и слушателя).

И то, что у этой хрупкой молодой женщины такой уверенный поэтический почерк, такая плотная стиховая ткань, такая густота колера и тембра, такая убедительная интонация и тому подобное, приятно изумляет, а вовсе не наоборот. И ей даже идет играть в эти словесные игры, оттачивать слог, эпатировать публику неожиданностью образа, иронизировать, экспериментировать, изыскивая новые способы самообнаружения, именно — «сочиняя себе лицо».

Ольга ИВАНОВА.

\*

## ЗАРЕСНИЧНАЯ СТРАНА

В. О. Кальпиди. Ресницы. Книга стихов. Челябинск, «Автограф», 1997, 80 стр.

**Е**сли припомните, в 80-е «метаметафоризм», он же «метареализм», был предметом громких разговоров — казалось, за ним будущее. Однако ожидаемого продолжения фактически не последовало. Творческая пауза лидеров явно затянулась. Симптоматично и то, что лидеры берутся за «мемуары»: в «Событийной канве» Алексея Парщикова «новая волна» уходит за грань давно прошедших лет.

В приснопамятные 80-е уралец Виталий Кальпиди начинал вместе с Парщиковым и Ждановым, осознавая себя в общем русле движения. Однако его судьба складывается по-иному. Именно 90-е годы стали для него порой творческой активности и литературного признания. Одна за другой вышли пять книг стихов: «Пласты» (Свердловск, 1990), «Аутсайдеры-2» (Пермь, 1990), «Стихотворения» (Пермь, 1993), «Мерцание» (Пермь, 1995) и, наконец, «Ресницы». И — никаких повторений. Каждая отмечена обновлением тематики и стилистики, в каждой — элемент неожиданности.

Виталий Кальпиди сегодня один из очень немногих, кто выпускает книги стихов в собственном жанровом смысле этого слова. Компактная, всего 23 стихотворения, его новая книга отличается как раз той соразмерностью темы, интонации и лирического лица, той особенно плотной вязью индивидуальных мотивов, когда каждое отдельное стихотворение становится звеном сквозного лирического сюжета, когда оно прорастает в общий контекст, им питается и его заряжает, когда от текста к тексту сгущается некий странный, самозаконный, но художественно реальный смысловой мир. (Этому впечатлению целокупности книги отвечает,

кстати, на редкость продуманное и стильное полиграфическое исполнение — издание образцовое.)

И вот что еще: книжка, как и предыдущие, задевает, читать ее интересно, что, согласитесь, для лирических стихов качество достаточно редкое и как бы внеположное. Наверное, это чтение будет многих раздражать, но вряд ли его захочется прервать и книгу отбросить. Чтение оказывается питательным и в высокой степени проблемным. Сквозь «Ресницы» возможен взгляд на поэтическую ситуацию в целом.

Книга завершается «Приложением» — «Одой во славу российской поэзии». На ней следует остановиться подробнее, поскольку «Ода» отчетливо определяет историческую перспективу, в которой проявляются координаты творчества и самосознания Виталия Кальпиди. Судя по прозаическому конспекту (что угадывался в комментариях к «Мерцанию») и пространно развернувшейся зачину, «Ода» замышлялась широко. Предполагалось нечто вроде генерального выяснения отношений с русской поэзией — от Тредиаковского до Бродского. Однако неспешного и важного строительного упорства не хватило, это, видимо, случай, когда «автор устал». В результате появляется сакраментальный подзаголовок: «Отрывок». Однако и «отрывки» хороши. И вкраплениями злого остроумия («...поэзия по-прежнему — вокруг... повсюду *рейн*»), и россыпью метафор, и парадом парадоксов. Генерального смотра русской поэзии не получилось, но походя досталось Ахматовой («...ее / дешифровал один печальный бонза: / монашенка с блудницею — вдвоем / в ней уживались»), Цветаевой («истерика и стыд / под небеса взлетевшей институтки») и — более подробно — Мандельштаму.

Что касается «разговора» с Мандельштамом, стоит внимательней взглянуться в подоплеку антимандельштамовской эскапады Кальпиди. По существу, это новая реплика в старинном споре, не умолкающем в русской поэзии со времен Ломоносова и Сумарокова вплоть до акмеистской критики символизма. Мандельштам, как известно, диагностировал у символистов «водянку больших тем», приводящую к злоупотреблению отвлеченными понятиями, плохо запечатленными в слове. Но за спорами о словаре и стиле в конечном счете стоял блоковский вопрос о назначении поэзии. Более чем кто-либо Мандельштам способствовал тому, чтобы привить поэзии новый вкус к «виноградному мясу» стиха, вернуть ее от теургической утопии к земле, к искусству и мастерству. Такая воля к поэзии, и только к поэзии, и провоцирует выпад Кальпиди:

...прости меня, великий метранпаж,  
что в «Разговоре с Дантом» ни бельмеса  
не понял ты, направив свой кураж  
к поэзии, которая довесок,  
допустим, невесомости любви,  
чей профиль то и дело, то и дело  
ловили амфибрахии твои,  
но не смогли из чернозема тело  
ему слепить... о неслепой Гомер,  
о не Гомер, а муж своей Ксангиппы,  
теперь в краю недесятичных мер  
перемежаешь пение и хрипы;  
там спорит *жирна мгла* с большой водой,  
и ты, латынщик, с голосом бумажным,  
само собой, скажу, само собой,  
большой воде содействуешь отважно...

Мандельштам ответить не может. Хотя... после Тютчева (которого так любит Кальпиди) именно он — крупнейший в русской поэзии специалист по «ресницам»; «твердые ласточки круглых бровей», прилетающие из гроба, и «мертвые ресницы» Мандельштама куда ближе Кальпиди, чем ресничный шелк Тютчева. По многозначительной иронии интертекста, названиями своих ключевых книг («Мерцание» и «Ресницы») Кальпиди поневоле процитировал мандельштамовских «мерцающих ресничек говорок», подтвердив тем самым, что «щербатого Осипа» в современной поэзии не миновать.

В главных своих течениях современная поэзия определена акмеистической в широком смысле и обэриутской традициями. Именно эти варианты постсимво-



листкаго движения оказались самыми влиятельными и продуктивными до сего дня. Кальпиди растет из других корней — отсюда, возможно, его столь живая, лишённая временной дистанции враждебность к Мандельштаму. И запальчивое одиночество Кальпиди в сегодняшней лирике объясняется той же инородностью его творческой природы.

Только полным непониманием сути дела можно объяснить причисление его к постмодернизму (у Д. Быкова, например). Широко используя стилистические средства, которые обычно связывают с постмодернистской поэтикой, в главном Кальпиди совсем чужд коренным принципам постмодерна. В опыте Кальпиди есть парадокс: в большой историко-литературной перспективе его поэзия выглядит как непредвиденное воскрешение духа русского символизма. Интуиции и интенция Кальпиди вполне естественно опознаются в ряду таких ключевых символистских текстов, как «Священная жертва» В. Я. Брюсова, «Апокалипсис в русской поэзии» А. Белого, «О назначении поэта» А. Блока. Его пафос узнается в строках Владимира Соловьёва о «третьем подвиге» — Орфея:

Не склоняйся пред судьбой,  
Беззащитный, безоружный,  
Смерть зови на смертный бой!

(*«Три подвига»*)

Да, Кальпиди именно об этом, именно оттуда. Своими последними книгами он обнаруживает, что судьба символизма у нас еще не избыта, не договорена. Дело, конечно, не в стилистике. «Неожиданное» возвращение Кальпиди «назад, к Орфею», во многом объяснимо сугубо провинциальным характером его творческого развития.

Если использовать это определение вне его уничижительных коннотаций, то провинция — это прежде всего иная структура культурного времени. Здесь ослаблено ощущение актуальных иерархических связей, актуальной динамики приоритетов. Извечный анахронизм провинции для большинства губителен, но порой он приводит к совершенно новым сплавам, воскрешает исчерпанные, казалось бы, тенденции.

Глубинная связь с духом символизма многое объясняет в поэзии Кальпиди. Одна из ее коренных особенностей — острая персонифицированность лирического «я». В «Ресницах» это не так явно, но эта книга — лишь очередная глава продолжающегося лирического романа, ее герой уже узнаваем — интонационно, жестово. Да, лирическое «я» Кальпиди героично в своих манифестациях. Всерьез, без иронии. И это когда «от модернистской (и вообще романтической) установки на социально-культурный профетизм получена такая сильная прививка, что в обозримом будущем все подобные рецидивы в искусстве явно не окажутся актуальными» (Владислав Кулаков). Вопреки такому прогнозу лирика Кальпиди дает художественно убедительный пример того зрелищного понимания биографии, о котором писал Пастернак как о родовой романтической отметине символизма.

В стихах Кальпиди возрождается мистическое чувство как основа художественной воли. В «Ресницах», как и в «Мерцании», визионерское начало решительно доминирует, перемещая читателя в заресничную «страну непостоянства», зыбкий мир смещенных перспектив, где «летали брови без лица, / порхали мокрые ресницы / умерших женщин...», «...стоят голоса, как столбы из песка или твердого дыма», и «Дьявол возле забора играет с цыплятами и воробьями». Это мир, апокалиптически сдвигающийся со своих осей.

Будут хлопать, взрываясь, комки пролетающих птиц,  
отменив перспективу, себя горизонт поломают,  
и границами станет отсутствие всяких границ...

Кстати, эсхатологическое мироощущение тоже выделяет Кальпиди. Его стихи лишены ностальгической дымки, возобновляющихся возвратов к бывшему, которые так подкупают у Алексея Цветкова или Сергея Гандлевского. Нет у него и набоковской пронзительной жалости к вечной бренности мира. Кальпиди заряжен

безжалостной волей к будущему, он почти заморожен созерцанием конца. По Мандельштаму, его легко упрекнуть в «водянке больших тем». «Ресницы» — это книга о смерти и бессмертии, о прохождении человека сквозь смерть и его преображении, о таинственной связи мужского и женского, об их андрогинном единстве, о жутком переплетении корней рождения и смерти в глубинах пола, о преодолении пола... Это темы Якова Бёме, В. Соловьева, Н. Бердяева.

Странно замыкаются круги. Русский поэтический XX век начинался интуицией Вечноженственного. Ее вибрации, в каких-то новых обертонах, насыщают стихи Кальпиди. Он вновь погружается в водную стихию женского, бессознательного. Что это — провинциальный анахронизм или предвосхищаемый культурный сдвиг?

Эти «большие темы» у Кальпиди не плавают как масло поверх лирической влаги, они питают поток естественной, персонифицированной и напряженной речи. Книга убедительна интонационно. Самые абстрактные созерцания приобретают вещественную осязаемость сиюминутного события, отвлеченное становится интимным.

Допустим, ты только что умер в прихожей,  
и пыль от падения тела границ  
луча, что проник из-за шторы, не может  
достичь, но достигнет. Красиво, без птиц,

за окнами воздух стоит удивленный,  
захваченный взглядом твоим, что назад  
вернуться к тебе, отраженным от клена  
в окне, не успеет, и все-таки сжат

им воздух, но это недолго продлится:  
твое кареглазое зренье дрожать  
без тонкой почти золотой роговицы  
сумеет четыре мгновения — ждать

осталось немного. Большая природа  
глядит на добычу свою. Говорю:  
не медли у входа, не медли у входа,  
не бойся — ты будешь сегодня в раю.

И всем, кто остался, оттуда помочь ты  
сумеешь, допустим, не голосом, не  
рукой, и не знаком, и даже не почтой,  
которая ночью приходит во сне,

но чем-нибудь сможешь — я знаю наверно...  
Ты все-таки умер. И тайна твоя  
молчит над землею, да так откровенно,  
что жить начинает от страха земля:

и звезды шумят, как небесные травы,  
и вброд переходят свое молоко  
кормящие матери слева — направо,  
и детям за ними плывется легко.

В поэзии тема — это проблема стиля. Существует некое ощущение чистоты стиля, оно отвечает центростремительному равновесию всех элементов стиха, их согласованной стройности. Это воспитанное акмеизмом представление укоренилось как господствующая норма эстетического вкуса. Между тем поэтика Кальпиди эксцентрична. Стих его всегда склонен к тому, чтобы расползтись в стороны, уйти в отступления, подхватить в своем движении все, что сиюминутно приходит в голову. Читая Кальпиди, постоянно ловишь себя на досадливом желании что-то поправить. И если бы дело заключалось только в принципиальных особенностях поэтики! Огрехи стиха, безответственность метафоры, выбор первого подвернувшегося слова скорее случаются, когда изменяет чувство меры. Порой ослабленность дисциплинирующей акмеистической «воли к поэзии» превращает стихи Кальпиди в гремучую смесь, где невероятные видения в головокружительном полете по стране снов смешиваются с лихими провалами вкуса: чистейшая лирическая нота вдруг фальшивит ужасным словом «кушать» в его странной «Девушке в

лесу» — «желая кушать завтрак». Примеры умножить, к сожалению, нетрудно. «Ресницы» — неровная книга. И все же — живая, дышащая, заставляющая ждать продолжения.

...По правде говоря, давно хотелось чего-нибудь в этом роде. Да-да, хотелось. После долгого перерыва со стихами Кальпиди в современную поэзию как ни в чем не бывало вернулся давно похороненный масштабный «лирический герой» как персонификация индивидуальной и поколенческой судьбы. Опыт Кальпиди отвечает определившейся тяге к прямому лирическому слову, к давно забытому пафосу, к безусловности лирического жеста — как попытка Большой Лирики в ситуации постмодерна.

И эта попытка не выглядит провинциальным казусом.

Владимир АБАШЕВ.

Пермь.

\*

### «ЛЮДИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ»

Юрий Арабов. Механика судеб. Опыт драматургии «действительной жизни». М., Издательский дом «Парад», 1997, 239 стр.

Эта книга не претендует на то, чтобы дать ответы на конечные вопросы бытия.

*Подпись под фотографией автора  
рецензируемой книги.*

**Н**е претендует. Претендует она на создание теории «выстраивания Богом человеческой судьбы по внятным и познаваемым законам». Тоже ничего себе. Замысел книги, по признанию автора, «родился только из одного-единственного вопроса: работает ли Господь Бог как драматург, соответствует ли понятие „судьбы“ тем законам, которые мы знаем из теории драматургии?». Причем, «когда этот вопрос был задан, к автору будущей книги пришел законный ужас — как человек начитанный, он сразу понял, что речь идет об исповедимости путей Господних, о том, в сущности, каковы механизмы Воздаяния, или Кармы».

«Ух, погодите, дайте дух перевести», — как восклицал герой Достоевского, ей-богу, с меньшими основаниями. О приходе к автору «законного ужаса» опускаю — понятно, не до стилия, когда речь зашла об исповедимости путей Господних. Но почему открытие механизмов воздаяния, или кармы (что не совсем одно и то же), ведет к познанию путей Господа? Еще греческая трагедия (кстати, положившая в основу своей драматургии законы «судьбы» — так что замысел автора в некотором смысле «обречен» на успех в силу замыкания круга), — так вот, еще греческая трагедия, создавая на основании механизмов воздаяния (или рока) область необходимости (почти сплошную), все же оставляла некоторую область свободы — и это была область действия высших богов. Самый очевидный пример — «Эвмениды» Эсхила. Христианство же разорвало цепи необходимости и рока, воссоединив человека с Богом и предоставив ему возможность безграничной свободы, в том числе, конечно, и свободы, отвернувшись от Бога, ввергнуть себя вновь в вязкую топь необходимости. Но необходимость, «механизмы судьбы» — и Бог — вещи несовместные. Господь не ходит путями необходимости и избавляет от них человека.

Не то чтобы автор совсем об этом не помнит. Но память сия никак не влияет ни на его послышки, ни на выводы. Говоря о том, что кармическое «механическое» воздаяние преодолевается христианским «Таинством покаяния и причастия», он, похоже, своих «героев» — христиан все ж таки по рождению, а отчасти и по воспитанию (а в конце концов — и по свободному выбору) — считает к этому как бы и непричастными.

И вот механика воздаяния в жизни Пушкина становится прямолинейной до смешного. В юности замужних дам соблазнял? Получи. В дуэлях участвовал? По-

лучи. И сам Александр Сергеевич из «умнейшего мужа России» превращается в заводного болванчика, мечущегося без смысла и без толку в зависимости от указаний «суеверных примет».

Юрий Арабов жалуется на неадекватное восприятие его работы первыми публикаторами, и эти жалобы, пожалуй, кое-что проясняют. «Книга появлялась на свет кусками, и уже с первой главой, попавшей в руки издателей одного московского журнала, произошел казус — автор был обвинен в принижении роли Пушкина и в „тенденциозном подборе фактов“». Хочу объяснить заранее — ни жизнь Пушкина как таковая, ни „тенденциозный подбор“ автора не интересуют ни в малейшей степени. К жизни Пушкина интерес у автора был отбит еще со времен средней советской школы, изображавшей мальчика с пышными бакенбардами у ног ветхой старушки, которая рифмовалась со словом „кружка“, — от этой картины никто из нашего поколения так просто не оправился, и следует признать чудом, что само слово „Пушкин“ не вызывает у нас почему-то спазмов и конвульсий. Жизнь Пушкина используется здесь только в качестве некоего „наглядного материала“ (заранее приношу извинения за неудачную формулировку), не более. То же самое и с „тенденциозными фактами“. Если бы автор был озабочен подобной проблемой, то обязательно включил бы в материал книги всякого рода скабрёзности по отношению к своим героям, скабрёзности, кстати, вполне утвердившиеся в нашем массовом сознании».

Пафос этого отрывка весьма способствовал «приходу ко мне законного ужаса», а непонимание автором обращенных к нему претензий удивило. Он, кажется, считает «тенденциозными фактами» исключительно расхожие пошлости. Но тенденциозным делает факт сама его выборка из ряда других, отбрасываемых за ненужностью, чтобы не «замутняли» или не «искажали» картину с точки зрения исследователя, одержимого теоретической мыслью. Правы были «издатели одного московского журнала»: от того или иного подбора фактов «механика судьбы» способна предстать в очень даже разных видах.

Не нужно никаких скабрёзностей: сама попытка представить Пушкина и Гоголя исключительно в плоскости их земной жизни (и земной смерти), вне христианской связи с Богом, и исключительно в векторе причинно-следственных связей, вне вектора телеологического, есть не просто принижение роли того и другого, она — принижение их самих. Автор действительно изображает «героев», или «людей человеческих», по выражению А. Сокурова, предпославшего книге коротенькое предисловие, и это определение отрывает их от Бога, замыкая в круге механизмов воздаяния, законов кармы, в круге Вечного Возвращения. Автор лишает «героев» свободы и ответственности, ибо какая свобода, если действует «механизм», и какая ответственность у призванных к ответу. Это ли не принижение?

Самым достойным среди «персонажей» Арабова оказался Наполеон. Названный автором «господин А.» (то есть — антихрист), он все же удостоивается возможности выбирать, и в следствиях его выбора (поистине «роковых» для Наполеона) автору удается разглядеть торжество человечности, в бедах, обрушившихся на героя, — увидеть победу могучего духа, отрекшегося от зла (Зла таких масштабов, что оно способно хранить того, кто примет его сторону, от всех напастей, включая пули и железо, заговоры и измены, ненависть королей и непостоянство подданных). То есть — увидеть наконец в невзгодах человеческих нечто, во-первых, являющееся следствием свободного выбора, во-вторых, выбора, достойного уважения. Здесь, однако, покорило автора именно торжество человеческой природы, отказавшейся во имя себя самой от могущественного покровительства и дарованного всемогущества. И здесь тоже присутствует лишь «человек человеческий». Арабов восхищенно приветствует сумевшего подняться из бездны, но с пренебрежением относится к усилиям и стремлению тех, кто уже находится на этой ступени, подняться выше.

И слог, слог. Боже, какой слог... Иногда иначе и не назовешь, кроме как — «подлый». Не часто, но вот, например: «Движение славного воинства в сторону Индии по дороге, которую „знал“ Платов, продолжалось, по-видимому, до 11 марта 1801 года, когда инициатор похода государь Павел Петрович был благополучно

пришиблен в своем дворце теми, кому идея завоевания Индии показалась преждевременной».

И поначалу хочется отделаться от книги, сказав, что «она не стоит слов, взгляни — и мимо». Но нет, стоит.

Стоит по двум причинам. Во-первых, она весьма симптоматична. К сожалению, достаточное количество начитанных людей, интересующихся подобными вопросами, не видит принципиальной разницы между путями Господними, между Господней волей, без которой волос не упадет с головы человека, и «механизмами» кармы. Попробую объяснить на простом примере. Для описания «механизма» кармы в предельно простом случае годится схема из кинофильма «Джентльмены удачи»: «Украл, выпил — в тюрьму». Здесь все завязано причинно-следственными связями, и неадекватное по отношению к «миру» поведение индивида (в нашем случае — «украл») через ряд опосредующих ступеней (здесь редуцированных до одной — «выпил») приводит к неизбежному воздаянию («в тюрьму»), в сущности запрограммированному первым членом ряда.

(Тут же как раз можно показать разницу между «роком» и «кармой». Описанный процесс — процесс воздаяния в пределах одной жизни — это скорее механизм действия рока. В случае «кармы», то есть воздаяния при «новом воплощении души», получается, по видимости, так, что украл и выпил не ты, а сидеть тебе. Впрочем, механизм действия рока продолжается в роде «до седьмого колена» — и тогда «сидеть» приходится за папу или за бабушку.)

Для описания, простите, действия Господней воли эта схема не годится. Вернее, должна быть чуть-чуть видоизменена. Если мы оказываемся в мире свободы, то, что было в первом варианте последним членом ряда, здесь оказывается первым членом следующего ряда. Иными словами, «в тюрьму» человек попадает не по чему-то (причинно-следственная связь), а для чего-то (связь телеологическая, целеполагающая). То есть то, что являлось наказанием, завершением, не имеющим отношения к последующему, а потому вполне допускающим буквальное повторение (новый этап: «Вышел, украл, выпил — в тюрьму»), здесь есть Господень оклик, требующий от человека свободного и адекватного ответа. Достоевский, скажем, идет на каторгу не потому, что публично читал письмо Белинского к Гоголю, а для того, чтобы начался тот процесс, который потом будет им назван «перерождением убеждений». Кстати, сам Достоевский это прекрасно понимал. Вот что он говорил, например, Всеволоду Соловьеву, сраженному тяжелой депрессией:

«Голубчик, послушайте меня, сделайте с собою что-нибудь, иначе может плохо кончиться... Ведь я вам рассказывал — мне тогда судьба помогла, меня спасла каторга... совсем новым человеком сделался... И только что было решено, так сейчас все мои муки и кончились, еще во время следствия. Когда я очутился в крепости, я думал, что тут мне и конец, думал, что трех дней не выдержу, и — вдруг совсем успокоился. Ведь я там что делаю?.. я писал „Маленького героя“ — прочтите, разве в нем видно озлобление, муки? Мне снились тихие, хорошие, добрые сны, а потом чем дальше, тем было лучше. О! это большое было для меня счастье: Сибирь и каторга! Говорят: ужас, озлобление, о законности какого-то озлобления говорят! ужаснейший вздор! Я только там и жил здоровой, счастливой жизнью, я там себя понял, голубчик... Христа понял... русского человека понял и почувствовал, что я и сам русский, что я один из русского народа. Все мои самые лучшие мысли приходили тогда в голову, теперь они только возвращаются, да и то не так ясно. Ах, если бы вас на каторгу!

Это было сказано до такой степени горячо и серьезно, что я не мог не засмеяться и не обнять его.

— Федор Михайлович, за что же меня на каторгу?! или вы мне будете советовать, чтобы я пошел да убил кого-нибудь?!

Он сам улыбнулся.

— Да, конечно... ну придумайте что-нибудь другое. Но знаете, ведь это было бы для вас самым лучшим...»

В этом отрывке «каторга» настолько очевидно начало для Достоевского, что он совершенно упускает из виду необходимость какой-либо причины для

попадания туда. Причем из приведенного отрывка ясно, что оклик Господень — не только возможность ответа, но и — даже если выглядит как суровейшее наказание — именно то, что потребно душе в эту минуту, лучшее для нее. Милость Господня.

Вот эта-то милость и исчезает из сценариев жизни «людей человеческих» вместе со свободой и ответственностью. Эта милость исчезает из жизни людей, заламывающих руки с воплем: «За что?» — вместо того, чтобы спросить: «Зачем?»

Словом, как пишет Владимир Соловьев в знаменитой работе «Судьба Пушкина» (имеющей довольно-таки непосредственное отношение к предмету, но, кажется, оставленной автором без внимания): «В состав той *необходимости*, к которой управляются наши жизненные происшествя, *необходимо* заключается и наше собственное личное отношение к этой необходимости; а это отношение, в свою очередь, необходимо связано с тем, *как* мы понимаем господствующую в нашей жизни силу, так что *понятие наше* о судьбе есть также одно из условий *ее действия* через нас. Вот почему иметь *верное* понятие о судьбе важнее для нас, нежели знать химический состав воды или физические законы тепла и света».

Есть и вторая причина, по которой об этой книге стоит говорить. Дело в том, что интуиция автора сильнее и богаче его анализа. Будучи сценаристом-профессионалом, Юрий Арабов формирует и направляет (хочется сказать — «лепит») взгляд читателя, выстраивая достаточно известные факты жизни своих «героев» так, что энергия, разгон взгляда выносят за рамки авторских теоретических толкований материала. Иначе говоря, написанные Арабовым «сценарии жизни» Пушкина, Гоголя и Наполеона обладают достаточным уровнем суггестивности, чтобы вызывать к читательской интерпретации, минуя интерпретацию авторскую.

И вот здесь, не проговоренные впрямую (и неизвестно, до какой степени отрафлексированные автором), возникают «гипотезы» достаточно красивые, чтобы от них просто отмахнуться (ибо красота — это, безусловно, аргумент, и, на мой взгляд, аргумент серьезный).

Одной из таких «гипотез» является постоянное «зеркальное» совпадение Дантеса с молодым Пушкиным. Как будто Пушкин зрелый столкнулся с самим собой, но с собой, лишенным гениальности — и, значит, с почти карикатурно увеличенными чертами «светского повесы», «гуляки праздного». Свято место пусто не бывает, а с упразднением гениальности в личности освободилось много места. Как будто «молодой повеса» посягнул на самого себя — зрелого, как будто рука, научившаяся в юности для забавы бить без промаха пулю в пулю, не промахнулась и теперь — вопреки сознательному желанию Дантеса. И как будто зрелый Пушкин опознал и возненавидел в Дантесе себя в юности. И тогда дуэль — которая почиталась многими попыткой самоубийства со стороны поэта — становится невозможной без пушкинского выстрела, ибо это выстрел — в себя, в свою безумную и распутную юность, лицемерие которой и доводит поэта до слепой ярости и безумной ненависти к тому, кто ее в тот момент воплощает.

Частично автор прописывает то, что «показывает» его текст: «Все, что Пушкин совершал в юности сам, вдруг обратилось против него в зрелости в увеличенном, безобразно гротескном образе». (Впрочем, и эта фраза звучит скорее моралистически, чем мистически.) Но чего-то явно не замечает, иначе невозможно было бы такое, почти финальное, рассуждение: «Мы поняли, что ни „горячая кровь“, ни нужда, ни обида на властей не объясняют причин черного дня на Черной речке. „Черт“, „судьба“ или самоубийство более удовлетворительны как объяснения. Только в последнем случае — небольшая закавыка: отчего человек, решивший прощаться с жизнью, обязательно хочет утащить на тот свет своего противника? Помните, как говорил уже смертельно раненный Александр Сергеевич: „Как поправимся, так снова начнем“. Отчего? Оттого, чтобы не скучно было умирать одному? Нет. И в версии самоубийства психологические „концы с концами“ не сходятся».

Пожалуй, самое поразительное в этой книге — сочетание иногда невыносимой красоты «сценарных» построений, дающих основания для ряда красивых интерпретаций, с беспомощностью выводов, которые делает автор (выводы попадают и очень интересные, но всегда на несколько порядков уступающие скрытым в тексте возможностям).

А беспомощность эта, как мне кажется, является следствием постмодернистской неструктурированности (то есть — не иерархичности) тех знаний, которыми обладает часто весьма начитанный и заинтересованный человек, уверенный, судя по всему, что к нему-то постмодернизм не имеет никакого отношения. Только смутностью и смазанностью в сознании реалий, стоящих за словами, можно объяснить следующий текст: «Взятие псевдонима, новое имя способствует как входу в карьерный мир, мир „житейского попечения“, так и выходу из него в мир религиозного служения и подвижничества. Псевдоним как вход был рассмотрен нами выше — это судьбы и революционеров, и артистов, получивших вдруг популярность, и многих других. Псевдоним как выход — это то, что происходит с человеком, когда он принимает монашество. Важнейшая часть этого принятия — смена имени, „забывание“ имени прошлого, мирского. Через это происходит как бы отрешение от судьбы в миру, от прошлой причинно-следственной связи. Новое имя, которое дают монаху, завязывает для него и новую карму, новые узлы, которые через некоторое время дадут новые следствия и развязки» (Приложение 1. Подложное имя). Комментировать с точки зрения различных несоответствий это в основе своей весьма небесмысленное размышление можно бесконечно. Укажу лишь на то, что онтологически невообразимо: употребление при разговоре о «человеке, принимающем монашество», слов «псевдоним» и «карма».

Впрочем, здесь круг замкнулся, мы вернулись к началу нашего разговора. «Эта книга не претендует...»

Татьяна КАСАТКИНА.



### ПИЛИГРИМ В МОРЕ

Пер Лагерквист. Сочинения. В 2-х томах. Харьков, «Фолио», 1997. Т. 1. Повести и рассказы. Эссе. Пьесы. 1915 — 1939. 685 стр. Т. 2. Повести и романы. 1940 — 1967. 541 стр.

**Л**учше всего начинать чтение Лагерквиста с его старой повести «В мире гость». Не оттого лишь, что она откровенно автобиографична, хотя важно и это. Шведский писатель известен прежде всего как мастер иносказания и притчи — жанров, для которых конкретика описания, первома́терия жизни далеко не самое существенное. А меж тем, даже если действие перенесено на двадцать веков назад и разворачивается в Дельфах или в Иерусалиме, какой-нибудь поворот сюжета в конце концов непременно напомнит, до чего глубоко впитал Лагерквист впечатления ранней поры своей жизни.

Повесть, вышедшая в 1925 году и положившая начало писательской известности Лагерквиста, воссоздает атмосферу, в которой он вырос, с ностальгией, иронией и неприязнью. Тонкая градация этих оттенков стала самым запоминающимся эффектом повествования. Впоследствии такие сочетания противоположностей, или, пользуясь специальным термином, оксюмороны, сделались у Лагерквиста привычными. Но для его первых читателей они были новшеством. И производили особенно сильное впечатление из-за того, что герой повести был явным двойником ее автора. До чего странная гамма чувств для человека, вспоминающего свои юные годы.

В том, что Андерс — тот же Лагерквист, не могло возникнуть и тени сомнения. Все совпадало: закопченный вокзал маленького северного городка, квартира над станционным буфетом, косность житейских установлений, непоколебимая прочность верований. Отец Лагерквиста прослужил на железной дороге в Вэкшё десятки лет. Был он из тех, кто «словно знают, что ничем их не возьмешь, что они задуманы навсегда и никакой пагубе недоступны». Для таких людей жизнь менее всего выглядит беспорядочной и бессвязной. Им дико представить, что в чьих-то глазах жизнь — «планомерная бессмыслица», и только.

А именно так ее воспринимает подросток Андерс. Ему уже знакома душевная неприкаянность, типичная для уходящего (а тогда только начинавшегося) века.

Лагерквист до конца жизни стремился преодолеть состояние «разброда, смятенности, запутанности», переданное на страницах его повести, и, оглядываясь на истоки, ощущал себя блудным сыном. Но все равно не мог довериться патриархальным понятиям, повелевающим безропотно принять все сущее, ибо «не в воле человека путь его» и «не во власти идущего давать направление стопам своим».

Это смирение он, подобно Андерсу, отождествлял с робостью и пассивностью духа. Покорство судьбе было слишком чужеродно его натуре искателя правдивых, а не компромиссных ответов на самые трудные вопросы о смысле человеческого пребывания на земле. В повести описано, как умирает бабушка — спокойно, с ясным сознанием, что просто пришло время исполнить последнюю обязанность здесь, на земле, — и как на поминках крестьяне, разгорячившись от выпивки, спорят о пользе суперфосфатов. Андерс смотрит на них с недоумением — он другой. Ему непонятно душевное устройство людей, с рождения усвоивших, что жизнь лишь краткий миг перед вечностью, которая ожидает их за гробом. Слишком он ему дорог, этот краткий миг. Они верят. Он же умеет «только брать жизнь, как она есть».

Впрочем, эта его настроенность не имеет ничего общего с распаленной жадной земных наслаждений. Как раз напротив: для Лагерквиста высшим стимулом всегда были не радости гедониста, а «преодоление жизни», как сказано в заголовке его эссе, появившегося через два года после автобиографической повести. О жизни в этом эссе говорится, что «она самодостаточна, у нее нет никаких целей, никаких намерений, ей не важно, что происходит». Понятия жизни и бытия предстают как антагонистичные: жить означает лишь нести бремя собственного несуществования, постоянно чувствуя свою несвободу, какие бы безудержные страсти и пламенные восторги нами ни овладевали. «Все наши веры и неверья... суть тюрьма, сомкнувшая вокруг нас свои стены... Такова жизнь земная. Жизнь земляного крота».

Сегодняшнему читателю эссе постоянно приходится напоминать себе о запальчивости молодого пера. Однако выраженные в нем мысли оставались важны Лагерквисту и годы спустя, только формулировки стали точнее и глубже. Поэтические формулировки — как та метафора пилигрима в море, которая часто возникает у Лагерквиста в произведениях последних лет. Она даже дала название одному из них, завершающему «библейскую трилогию», главное его литературное свершение.

В молодости жизнь виделась ему как лабиринт, где «со всех сторон стены, стены да решетки, сквозь которые почти не пробивается света». А героя трилогии, совершающего паломничество в Святую Землю, искушает уподобление жизни морю, которое учит «ни о чем не радеть — о справедливом и ложном, покаянии и грехе, правде и кривде, добре и зле, искуплении и вечных муках». И оба они — Товий в трилогии, Лагерквист, пишущий эссе-манифест, — отвергают цинизм, который «принято называть знанием жизни». Оба думают «про самое высокое, самое святое», веря, что «есть оно, есть. И любовь высокая есть, и Святая Земля — только нам ее не достигнуть». Мы всего лишь пилигримы в море, безразличном ко всем нашим устремлениям и надеждам.

Повестью «В мире гость» четверть века назад началось наше знакомство с Лагерквистом, все более основательное. И все-таки истинный масштаб этого литературного явления становится понятен лишь теперь, с выходом двухтомника, продуманно составленного и прокомментированного А. Мацевичем (жаль только, что не нашлось места для фрагментов, в которых Лагерквист сформулировал свои мысли о творчестве, порой очень глубокие). Тексты, вошедшие в двухтомник, писались на протяжении более пятидесяти лет, и, конечно, эти годы в них отзываются то приглушенно, то явственно. Но Лагерквист интересен не в качестве хроникера эпохи.

Он интересен своей приверженностью нескольким мотивам, далеким от злобы дня, как бы она ни менялась. Чем-то его захватывали предания, относящиеся к седой старине. В апокрифах, героями которых выступают то Варавва, то Агасфер, то царь Ирод и его возлюбленная (этот сюжет избран для его последней повести «Мариамна», настоящей поэмы в прозе, каких не появлялось со времен Уайльда), Лагерквист обнаруживал что-то существенное как раз для нашего времени. Ведь он никогда не был писателем-археологом, любующимся точностью ре-



ставрации, словно она самоценна. Хотя прямые уподобления и с нажимом проведенные параллели, когда исторические декорации лишь выигрышно оттеняют узнаваемый современный конфликт, тоже его не привлекали.

По-настоящему Лагерквиста могли захватить только коллизии, которые повторяются век от века, потому что они соотносятся с областью высших ценностей и смыслов человеческого существования. Преследующее его героев чувство, что в мире они всего лишь гости или пилигримы, которым не достичь обетованной земли, было для Лагерквиста одной из таких констант. Как и знакомые всем его персонажам минуты неверия в то, что «жизнь есть добро».

О неизбежности таких состояний он пишет во фрагментах, не попавших в двухтомник, но и читатель двухтомника, конечно, почувствует, какое смущение каждый раз испытывал Лагерквист, сталкиваясь с убежденностью на грани фанатизма, с безграничной верой в непреложности и аксиомы. Есть очень характерные для него строки в том же «Преодолении жизни»: рассуждая о людях, укрывшихся за аксиомами как за броней, Лагерквист спрашивает, «что бы они сказали, если бы выпали на их долю те сомнения, которые переживал тот, кого мы называем Сыном Человеческим». Сомнение — слово, наиболее точно выражающее позицию Лагерквиста, по существу не меняющуюся с публикацией, относящихся еще к годам Первой мировой войны, и до «Мариамны», напечатанной в 1967-м. У него обо всем сказано со знаком вопроса: о природе человека, которую Лагерквист очень бы хотел считать прекрасной («Мир принадлежит тем, кто добр. Во все дни и во все времена так было»), о вере и верующих («именно они сохраняют нам сокровища человеческой души»), о европейской культуре (она «больше всех остальных боролась за человечность»).

Каждое такое высказывание сразу, порой буквально на той же странице, приходит в конфликт с суждениями прямо противоположного толка, с мыслями о «беспредельном уничтожении», которому подвергается человек на своем земном пути, или с признанием: «Мне некому молиться». Легко заключить, что Лагерквист отличался непоследовательностью, но этот вывод ложен или по крайней мере неточен. Иногда писатель и правда противоречит собственной мысли, выраженной абзацем выше, и все же это, как правило, не оплошность, а только желание уловить и выразить «трудности сложной человеческой жизни». Потому что для Лагерквиста — и здесь он последователен, как мало кто еще, — «нет никаких кратчайших путей, на которые можно было бы свернуть».

Вот отчего, много раз вступая в спор с искушенными скептиками и говоря, что необходимо лишить зло его мнимой значительности, Лагерквист написал и «Палача», и «Карлика» — повести, которым особенно бы подошло заглавие его раннего сборника «Злые сказки». При желании в обеих повестях можно отыскать прозрачные ассоциации с современностью, «Палач» был написан в 1933 году, когда, возвращаясь из поездки по Иудее, куда его тянуло всю жизнь, Лагерквист провел несколько дней в Берлине. Трудно сомневаться, что тогдашние гнетущие впечатления непосредственно отозвались и сценами казней без суда, и картинами осквернения могил тех, кого задним числом объявляют предателями, и речами анонимных персонажей, славящих разрушение, которое, дескать, «значительнее примитивного созидания», и их заискиванием перед «мужественной, несентиментальной молодежью», и их клятвами, что «никакое иное мировоззрение, кроме нашего, никогда не будет существовать!».

В «Карлике» контекст, придающий теме актуальность, тоже распознается без усилий. Повесть датирована 1944 годом, и на фоне происходившего тогда в мире зловещим смыслом наполнялась история, отнесенная ко временам Ренессанса. Эти оргии бесчинств и пиры беззакония, этот голод и мор, принсенный затяжными войнами, — кто бы не почувствовал, как время, когда создавался «Карлик», сказывается и на выборе материала, и на характере изображения?

И все-таки Лагерквист обходится без иллюстративности, которая, кажется, напрашивалась. Он не переодевал антигероев своей эпохи в костюмы другого времени. Он вообще постарался избежать чрезмерно явного сходства с притчей, которую тогда понимали только как один из способов высказывания о «текущем».

Для него «текущее» могло стать творческим стимулом лишь при условии, что за обстоятельствами, принадлежащими времени, обнаруживаются нравственные категории из числа вечных. И, принимаясь за «Палача», он был озабочен главным образом не тем, чтобы его повествование заставляло думать о расправах над евреями и о лозунгах, выкрикиваемых штурмовиками. Все-таки важнее было понять, отчего неискореним сам этот человеческий тип. Отчего Палач, в одиночестве пьющий за дальним столом полутемного трактира, должен появиться столетия спустя в роскошном дансинге, точно идол, без которого толпа не мыслит своего существования.

Десятки лет Лагерквист бился над ужасавшим его парадоксом, пытаясь объяснить, отчего людьми раз за разом оказывается востребован казнящий и отвергнуты пророки, сожженные палачом на костре. Трагический немецкий опыт был, на его взгляд, не вывихом истории нашего века, а катастрофой, к которой не могло не привести нравственное омертвление, начавшееся в тот незапамятно далекий момент, когда впервые было возглашено, что дух бессилён. А для Лагерквиста он бессильным не был, как ни пыталась его в этом разуверить действительность. Никто не назовет его религиозным писателем в точном смысле слова, однако во все времена он помнил, что ведущий к Голгофе маршрут, который в Иерусалиме носит название *Via Dolorosa*, — это не только дорога скорби, но и дорога славы — *Via Triumphalis*.

Кто-нибудь, возможно, в очередной раз поймает его на противоречии, утверждая, что эти взгляды слишком убедительно опровергает им же описанный карлик, «человекообразное существо с обезьяньей мордой», лилипут, озлобленный против всего мира и, не приходится спорить, знающий ему настоящую цену. Им забавляются, точно живой игрушкой, а он мстит тем, что заставляет смеющихся с ужасом удостовериться: карлик — это они сами, часть естества, притаившаяся в «какой-нибудь грязной яме их души».

Поэма Ивана Карамазова, все время вспоминающаяся русскому читателю «Палача», потеснена теперь в ассоциативном ряду «Записками из подполья». Разумеется, и речи нет о подражании — только близость проблематики и схожесть ее осмысления. Карлик, подобно парадоксалисту Достоевского, доказывает, что гуманность — сущая фикция, а человек, если присмотреться, уж никак не вызовет возвышенных мыслей, что нет никакого душевного величия и пустой самообман все разговоры о благородстве и альтруизме. А Лагерквист не просто дает герою выговориться, но предоставляет аргументы, от которых не отмахнуться. Понятно — зачем, ведь это им сказано: «Заглянуть в глубину — не значит ли это заглянуть во мрак?»

Но он не соглашался с тем, что мысль: «А вдруг наоборот... вдруг глубина светла?» — наивна и старомодна. С представлениями о человеке, напоминающими приговор, он спорил ожесточенно, не устранившись и полемике с экзистенциализмом, исключительно влиятельным в те годы. В его притче рядом с Палачом должна появиться женщина, готовая к жертве, которой требует от нее долг сострадания, — ситуация, много лет спустя повторенная в «Мариамне». А философия карлика рассыпается в прах, когда нужно — но невозможно — объяснить, как пришла к покаянию былая грешница и отчего этот ее порыв оказался искренним до самозабвения. Однажды Лагерквист сказал, что человек видится ему узником, постоянно подвергаемым насилию, что он похож на обрубок. «Но обрубок цветет».

Этот образ, не возникая напрямую, тем не менее становится ключевым в цикле повестей, основанных на апокрифах и на библейских сюжетах. Лагерквист был поглощен им безраздельно начиная с 1950 года, когда вышел «Варавва».

То была история преступника, ожидавшего казни вместе с Иисусом, но помилованного, как того требовал пасхальный обычай. Меж тем его вина доказана, тогда как синедрион, вынесший смертный приговор Христу, не смог убедить в обоснованности такого приговора даже Понтия Пилата. Есть несколько литературных обработок этого сюжета, но сколько-то достоверные источники, особенно касающиеся судьбы Вараввы после Голгофы, крайне скудны. Предложенная Лагерквистом версия носит гипотетический характер. Однако ее художественная убедительность неоспорима.

Она достигнута не за счет безупречной фактологической точности, когда лакуны заполняются с оглядкой на проверенный документ. Лагерквист следовал ло-

гике конфликта, вокруг которого строится действие. Конфликт этот трактовали прямолинейно и соответственно злобе дня: некто взирает, как вместо него казнят другого, и не испытывает даже стыда, — не такова ли и Швеция с ее нейтралитетом, когда бедствие войны коснулось всех остальных? Словно предвидя подобные толкования, автор с первых же страниц создал для них непреодолимые трудности. Он был убежден, что и в притче герой должен быть «сложен по-человечески, а не аллегорически». Ему нужны характеры, а не олицетворения, похожие на муляжи.

Разбойник, который избег распятия по счастливому для него стечению обстоятельств, не сразу постигает, как все переменилось для него в мире со дня той невероятной удачи, а осознав, проникается непримиримой, исступленной ненавистью к Распятому. Безумец из Иерусалима, принявший позорную смерть раба и сделавшийся богом рабов, незримо сопровождает Варавву всю оставшуюся ему жизнь: на медных рудниках, потом в столице империи, где, по иронии судьбы, ему суждено погибнуть вместе с христианами. И, убеждаясь, что эта таинственная связь никогда не оборвется, Варавва постигает и другое: он проклят. Не оттого, что остался глух к проповеди, зажигавшей сердца. Он проклят за безучастие.

Однажды Лагерквист заметил, что «и для человека неверующего существует таинство высших ценностей, на существовании которых основывается человеческая жизнь». Относился ли и он к числу неверующих, в конце концов, не самое главное, важнее, что этот этический критерий всегда оставался для Лагерквиста внедискуссионным. Этим объясняется выбор сюжетов для его библейских притч, как и выбор героев: Вараввы, а затем Агасфера.

Занимая центральное положение в трилогии, которую вместе со «Смертью Агасфера» составляют «Сивилла» и «Пилигрим в море», его Агасфер совсем не напоминает вечного скитальца, который изображался (особенно романтиками) как воплощение обреченности, мировой скорби или неустанным противоборства своей роковой участи. Лагерквист описал нигилиста, бесконечно уставшего от собственного неверия и пытающегося доказать, хотя бы одному себе, что Бог «бессердечен и злобен... мстителен... жесток и чужд милосердия» — в точности таков, как он сам. Но ничего не выходит из этих попыток, и вызов небу оказывается всего лишь жестом отчаяния, и не может быть искуплено проклятье, которому он обречен за то, что не ведает человечности.

Посторонний, который не способен ни во что уверовать и ничем дорожить, — у Лагерквиста эта фигура вызвала столь же острый писательский интерес, что и «пилигрим», терзаемый душевной мукой из-за того, что его преследует мысль о недостижимом величии, скрывающемся «за всяческой ложью и искажениями, за всеми извращенными образами божества». Два эти облика персонажа, постоянно присутствующего в его притчах, где-то на глубине сливаются, становясь почти неразличимыми. Ведь Агасфер, каким он предстает у Лагерквиста, — в определенном смысле тоже пилигрим, выбирающий правду без иллюзий. Хотя постигнутая им правда положит конец стараниям оправдаться перед другими или хотя бы перед собой.

Скиталец тщетно пробует утешиться мыслью, что на Голгофе распинали многих, что еще долго потом для этого использовали тот самый крест, который Он нес в день, когда Агасфер остался равнодушен как изваяние, что никому тогда не дано было узнать в страдающем Мессию. Желанный покой будет ему дарован лишь после того, как он признает очевидность, отвергаемую им сотни лет: «Те страдали точь-в-точь как Он, но в их страданиях не было смысла, и потому они забыты. Лишь в Его страданиях имелся смысл... Смысл на все времена, для всех людей...»

Пилигриму, куда бы он ни взглянул с палубы корабля, открывается пустой простор, равнодушная ко всему пучина. «Но море — не все на свете, ведь не может так быть. Что-то должно же быть кроме него, за ним, должна же быть и земля за морем... которой нам не достигнуть и куда мы стремимся — всему вопреки».

Наверное, никто не скажет о магистральном сюжете творчества Лагерквиста точнее, чем сказал он сам, заканчивая свою главную книгу.

**Алексей ЗВЕРЕВ.**

**ИВАН ГРОМОВ.** На перекрестке времени. Повесть. Предисловие и публикация Василия Голованова. — «Новая Юность», № 24 (1997, № 3).

Это немного похоже на мистификацию, что в контексте «Новой Юности» уже не новость.

Василию Голованову достался архив Ивана Ивановича Громова (родился, кажется, в 1894-м, умер в 1954 году) с некими черновиками, отрывками, разрозненными перебеленными главами романа, открытками, географическими картами, вырезками из газет и дневниками. Почему возникло чувство мистифицированности, несмотря на очень подробную биографию писателя и даже фотографию «Иван Иванович Громов в действующей армии (в резерве у ст. Заславль) 4 мая 1917 года»? Хотя бы потому, что в публикаторском предисловии мельком упоминается дочь писателя (где она? кто такая?), которая поведала о том, что И. И. Громов незадолго до смерти сжег переписанные рукой жены главы романа. А вот большая часть биографии то ли рассказана была дочерью, то ли восстановлена по дневникам и бумагам, то ли придумана с использованием документов. Вся жизнь сочиняемый роман был, по мнению публикатора, автобиографическим, но как узнал об этом Василий Голованов, если роман в большей части сожжен: почему не уничтожены все бумаги, в особенности — дневники? И как уже после сожжения большого человека, с «клешней смерти в желудке» (видимо, рак?), все-таки написал отличную — очерковую, правда, — повесть?

Биография в пересказе публикатора получилась чрезвычайно плотной: «...Андрей Одинцов (герой романа, по мнению Голованова, автобиографический. — В. С.), как я полагаю, должен был бы четырнадцатилетним подростком из села Поповы Пруды Тверской губернии бежать в Петербург, оказаться продавцом в магазине готового платья П. А. Голубина, выучиться, получить диплом сельского учителя, вернуться на родину со страстным желанием учить детей, но вместо этого почти тотчас же уйти на войну, попасть в школу прапорщиков, в Москву, здесь безумно влюбиться, с образом возлюбленной в сердце отправиться на фронт, угодить в самое пекло летнего наступления

1916 года, пройти молотилку Гражданской войны, то ли плен, то ли службу у Махно, командование эскадром красной кавалерии, чтобы осенью 1922-го, нищим студентом правового отделения факультета общественных наук МГУ, встретить возлюбленную на Тверском бульваре и убедиться, что минувшие годы делают их любовь роковым образом невозможной, хотя оба жили ожиданием этой встречи. Ужас неузнавания запечатлевается в его сердце... (выделено публикатором. — В. С.)».

Биография и впрямь написана так, как будто это конспект романа, но Василию Голованову, талантливому очеркисту, автору книги о Махно, хорошо знающему ту эпоху, тут и карты в руки.

Да, из трудовой биографии мы узнаем также, что Ив. Ив. Громов побывал еще на Отечественной войне и в Новосибирске на строительстве оборонного комбината 179, потом вернулся в Москву, а вот, скажем, о его журнально-редакционной работе ничего не известно, хотя в повести со знанием дела описывается внутренняя жизнь редакции детского журнала «Карандаш», а один ее сотрудник ведет в конце 30-х дневник, где размышляет о «толпе» и «колеснице триумфатора», о том, что слишком много и бессмысленно пролито крови ради сомнительных целей. Кстати, размышления Ивана Ивановича Горелова, почти полного омонима писателя, могли принадлежать персонажу чеховской «Чайки» или, напротив, человеку из гораздо более поздних и мягких времен, а для предвоенного жесткого периода они весьма «нетипичны», хотя именно поэтому их могли и «должны были» скрывать и герой и автор (но держать такой дневник в редакции?).

Главное же, как пишет публикатор, «Громов ни разу не соврал, не сфальшивил, не искуссился радостями и почетом „писательской жизни“ в богатой кислородом пене литературного официоза. Он умер совершенно безвестным, неуклонно и сурово доделав до конца посильный ему труд. Свой надрыв он унес с собой, а нам оставил только странное повествование о превратностях жизни и судьбы, которое позволило ему наконец смиренно отдаться потоку времени и уйти „скромно и незаметно“, как уходили отцы и деды».

На такого писателя и на такую личность очень похож главный персонаж и

рассказчик повести «На перекрестке времени», каковым рассказчиком оказывается дом адвоката Александра Александровича. Приобретенный, обставленный, обжитый для уюта, для долгой и счастливой семейной жизни, московский двухэтажный особняк стал жертвой исторических потрясений: революций, Гражданской, продразверстки, разрухи, Отечественной. Ветшать и разрушаться он начал давно, а в конце концов и вовсе был брошен на произвол судьбы. В нем перебывало много людей и учреждений: после сгинувшего со всей семьей адвоката здесь разместился комиссариат Бриллианта, ведавшего продовольствием, потом — студенческое общежитие, потом — редакция упомянутого детского журнала. Между прочим, обитало там и привидение, на кухне под половицей был спрятан клад (часто используемый ныне для «оживления» повествования!), из-за которого дворник Николаев убил-таки явившегося однажды за золотом адвоката. Золото, надо сказать, было «не простое»: оно явно предназначалось для дела и было оставлено на сохранение другом дома Ефремовым до лучших времен. Но лучшие времена не вернулись, как и прежняя уютная жизнь, осталось только чувство вины: невольное у адвоката Александра Александровича («Прости меня, Ефремов...» — шептал он, добиваемый дворником Николаевым) и вполне «законное» — у дворника, который в полубезумной старости все у какого-то Ефремова прощения просил. «Люди чувствовали, что этим голосом говорит чужая совесть, и боязливо сторонились его».

Но дом, смиренно отдавшийся «потоку времени», в конечном счете и оказался самым совестливым, потому что каждого, кто попадал в его стены, «он старался согреть... и укрыть от стужи». В этом и было его предназначение. А также в том, чтобы «созерцать и помнить. Принимать любую долю, впускать каждого без страха и сожаления и так же легко расставаться с ним и помнить, помнить — вот на что обречены мы людьми».

Не такой ли оказалась судьба русского писателя, откликающегося «на всякий звук», способного «в ревушем пламени и дыме» молиться «за тех и за других»: созерцать, сострадать, помнить, вмещать «любую долю»?

Вполне своевременная публикация получилась; ведь по контрасту с нынешним кризисом вымысла сильным остранением выглядит восприятие реальности «глазами», «ушами» дома и повествование о мире его «устами» («Минула зима. Закрылись канцелярии, потому что люди умерли, а бумага кончилась»), а на фоне бесконечного «автобиографизма» и «эссеизма», исчезновения объективированного героя нам можно утешиться тем, что одушевленные воображением вещи тоже бывают полноценными персонажами. Притом автору достало такта не слишком прикидываться стилистически, не придумывать этакой диковинной маски «дома»...

Смушают, правда, некоторые внешние моменты: после повести Громова напечатано эссе Василия Голованова «Великолепная ошибочность», как бы закольцовывающее повесть, вмонтированную между двумя головановскими текстами, — оно о фотографиях Екатерины Голицыной («странные» и красивые фотографии с «ирреальным», «фантастическим» обликом), а также о московских улицах и домах, в частности об одном не узанном им на снимке доме с улицы Верхней Радищевской:

«Там непонятный дом  
Угрюмится с торца...

Что ж, дело обычное в нашем городе; почему-то дом не пожелал открыться мне. Придется, пожалуй, еще раз выяснить с ним отношения».

Эта концовка «рикошетом» намекает на то, что не все просто и с повестью о доме. К тому же ощущение игры поддерживает изобразительный ряд в этом «триптихе», колеблющийся на грани журнального оформления и документального воспроизведения.

Вот какой «ужас неузнавания» получается.

Но если бы такого писателя с такой повестью и не было, то их определенно стоило бы придумать.

Владимир СЛАВЕЦКИЙ.

\*

ПАВЕЛ МЕЙЛАХС. Беглец. — «Зеркало», 1997, № 5-6.

По жанру, по стилистике, по поставленным и разрешаемым автором худо-

жественным задачам повесть эта ближе всего к традиционному роману воспитания.

Канва проста. Герой повести, двадцатисемилетний петербургский программист Саша, с женой и сыном эмигрирует в Израиль. Легко находит там работу, постепенно привыкает к новому пейзажу, новым сотрудникам — и вдруг испытывает ощущение пустоты, удушья, нелепости происходящего с ним, начинает перебирать варианты переезда в какую-нибудь из англоязычных стран и как раз в этот момент получает сказочно выгодное предложение: быть представителем своей фирмы в — на выбор — Италии, Англии, Сингапуре или США. Но в решающий момент он произносит: «Russia». Повесть кончается словом «вздых» — герой смотрит из иллюминатора самолета на отлетающий назад Израиль.

Так же просто, линейно выстраивает автор внутренний сюжет: от нервной дрожи, которая была героя в момент отъезда, через все этапы его привыкания-непривыкания к себе в Израиле до вздоха в финале. В повести абсолютный минимум персонажей (Саша), минимум деталей — автор игнорирует страноведческую экзотику. Нет ничего, что отвлекло бы от изображения того психологического процесса, который и стал сюжетом повести. И который я бы назвал процессом инициации: ведомый доселе по жизни (судьбой, обстоятельствами или просто слепой энергией молодости), делает душевное усилие и научается идти сам. Берет на себя такую ответственность.

...Внутренний кризис, который переживает герой и который подтолкнул его к решению эмигрировать, многократно описывался в литературе. Это когда вдруг начинает иссякать «бессмысленный» напор жизни изнутри, когда человек с неприятным холодком обнаруживает, как стремительно выцветают в его глазах друзья, любимая некогда работа, увлечения. Когда у человека появляется ощущение, что его время остановилось. «Ему двадцать семь лет. А вчера было двадцать два. Завтра ему будет тридцать два, послезавтра сорок четыре и так далее...»; «Каждый день он ходил на работу. Дни тянулись как один день. Толкотня в метро. Слякоть под ногами,

нет дня, а только утренние сумерки, вечерние сумерки. Вечный февраль. И ничего не менялось».

Но то, что обычно переживают во времени, Саша переживает в пространстве. Решив, что причины его маеты находятся снаружи, Саша решает изменить то, что вовне. Меняет страну.

Израиль дарит ему на несколько недель ощущение покоя и полноты жизни: он сделал это! Правда, первые впечатления от кварталов Тель-Авива обескуражили: серый, линиялый, «удручающе однообразный... с печатью провинциальности, второсортности» город. Средиземное море оказалось «легкомысленно светленьким, голубеньким», с абсолютно плоским берегом и волновало Сашу только своим именем. Но он упивается собой — космополитом, собой — свободным человеком. Он гуляет по тель-авивским улицам, выстраивая их для себя. Есть несколько пальм, есть вид на город и на море, которые дарят ощущение сбывшейся мечты. Остальное нужно миновать как бы прищурившись. Замечательная дорога на работу: «Когда он несся в автобусе по шоссе Йерушалаим, мимо лимонных деревьев, а может быть, мандариновых или апельсиновых, и смотрел на дальние новостройки, из-за которых нет-нет да и мелькнет синее сырое море, и если особенно у водителя играло что-нибудь... трагически-спиритичуэлообразное, он вдруг видел себя со стороны, и ему нравилось, что вот он летит сейчас в автобусе, черт-те где, бросивший, гордо отринувший все, потерянный в жутком, но прекрасном космосе».

Но прошли эти недели — и Саша обнаружил себя сидящим в курилке роскошного здания IBM, места его работы, и задающим себе вопрос: а что я здесь делаю? Время опять остановилось — вся его новая жизнь состоит только из того, что видит глаз. Не более.

Вкус этой жизни для него был, оказывается, вкусом его русской мечты об Израиле. Все, что было хорошо для него здесь, было хорошо только в сравнении с оставленным дома. Сам по себе Израиль его не привлекает фактически ничем. Он не собирается становиться новым израильтянином. И получается, что живет он как бы в своем

русском Израиле. По сути — в России. И с течением времени он чувствует, что жить так все труднее — подпитка Россией начинает истощаться.

Даже его законная гордость — прекрасный английский, который для него не просто язык, а некий эквивалент его, Саши, гражданина мира, — даже язык этот ненастоящий. Для любого американца или англичанина его английский — это язык, на котором он, русский, может говорить с англичанином. Это именно второй язык, а не тот, в котором Саша родился и прожил жизнь.

И еще одно открытие, сделанное Сашей: его попытка стать западным человеком в лучшем случае может привести к превращению в некую болванку западного человека. То есть он сможет перетерпеть умирание себя-русского со всей прежней полнотой жизни. И даже испытывать потом некоторое удовлетворение приобретенным. И когда Саша с тяжелым чувством обнаружил, что, кажется, он сможет жить в усеченном варианте, — вот тогда он принял окончательное решение: никаких америк и сингапуров, только — домой.

Весь этот процесс герой претерпел без отвлекающих обстоятельств, что называется, в чистом виде. Во-первых, он принадлежал к тому потоку отъезжающих, к тому поколению, для которого «самое трудное было не уехать, а научиться жить в Израиле», — Саша уезжал уже из Петербурга, а не из Ленинграда, он не тратил сил на борьбу за выезд, которая могла бы придать определенный смысл его жизни репатрианта. А во-вторых, он сразу же нашел высокооплачиваемую работу по специальности — по приезде борьба за существование была исключена, и он сосредоточился на том главном, что происходило в нем.

Накануне отлета в Россию ему снится сон, в котором он видит себя счастливым и свободным, но отнюдь не в России, а в Сингапуре. Возвращение в Россию в повести не избавляет и никак не может избавить героя от всех его сложностей, всей его маеты. Маета, тяжесть жизни останутся, но искать убежище от них в Израиле или Америке бессмысленно. Справляться с ними нужно по-другому. И в России ему это

будет доступнее, чем где бы то ни было. В завершающей повесть «вздохе» и облегчение, и озабоченность.

Сергей КОСТЫРКО.

\*

**ЮЛИЯ КОКОШКО. В садах... Повесть. Рассказы. Екатеринбург, «Сфера», 1996, 160 стр.**

**ЮЛИЯ КОКОШКО. Чаша и вазы в свободном полете. Из цикла «Между ангелами». — «Комментарии», 1997, № 13.**

Екатеринбургская писательница Юлия Кокоско, чьи произведения, по мнению многих, читать почти невозможно, получила в конце 1997 года премию Андрея Белого в номинации прозы — за книжку «В садах...», более похожую — и видом, и сутью — на лабораторную тетрадь. Поскольку премия присуждается литераторам, в чьем творчестве приоритетен эксперимент, то событие выглядит столь радостным, столь и закономерным. Одновременно в журнале «Комментарии» (Москва — Санкт-Петербург) вышла повесть Юлии Кокоско «Чаша и вазы в свободном полете». Тот, кто с интересом, обновленным фактом премирования, взялся за эту новую вещь, обнаружил, конечно, что трудности чтения остались прежними.

Я бы сопоставила Юлию Кокоско, создавшую уже изрядное пространство вязких, в собственной густоте увязающих текстов, не с Андреем Белым прежде всего, а с Николаем Гоголем. Если на страницах «Мертвых душ» фрагменты на губернаторском балу, порхающие около дам, сравниваются с мухами, облепившими рафинад, — то в тексте немедленно возникает и сахар, и ключница, рубящая его на куски, и дети, наблюдающие за ключницей, и, конечно, сами мухи: избавиться от них возможно, только когда они насытятся и вдоволь накрутятся перед читательским взором. Слово текста становится, таким образом, вещью текста; у Юлии Кокоско, так же как и у великого классика, произнесенное слово, будто заклинание, порождает новые сущности. Метафора у Юлии Кокоско есть механизм превращения одного в другое; если, к примеру, кувшин сравнивается с журавлем, то он сразу начинает летать

по комнате — и этот полет не означает и не символизирует ничего, кроме разного соответствия, видного, так сказать, на просвет страницы. Разгадка текстов Юлии Кокошко, на мой взгляд, заключается в том, что их не надо расшифровывать. Несмотря на то что ее произведения насыщены отсылками, прямым цитированием (писательнице, погруженной в литературу как в родную среду, всегда особенно дорога вещь, «уже увиденная и Китсом, и Борхесом»), они не являются интеллектуальными упражнениями, проверкой читателя на начитанность. Не держать экзамен, а просто пить этот терпкий сок, что исходит из текста (и никогда не выжимается до конца), понимать трудности чтения как отражение трудностей написания — вот, по моему, единственно правильная форма общения с рассказами и повестями Юлии Кокошко.

Лабораторная тетрадь «В садах...» (изданная тиражом 500 экземпляров) показывает, как начинался и шел эксперимент. Ранние рассказы Юлии Кокошко («Ящики воспоминаний», «Сад старых стульев») еще вполне сюжетны в реалистическом смысле слова. Но уже по ним видно, что сильная сторона молодого автора — не психология, а язык: метафоры Кокошко настолько метки и образны, что впечатление от них гораздо ярче, нежели от взаимоотношений покамест внятно очерченных персонажей. Здесь когда автор пишет, что дождь петушился и клевал зонты, то этот водяной петух еще не воплощается въяве и не вмещивается в сюжет. Но чем дальше, тем больше живности порождается авторским словом, и уже непонятно, как писательнице удается справляться со всем этим хаотическим множеством, иногда почти нечаянно пробужденным ото сна одним упоминанием, — отчего задетый предмет, встряхнувшись, являет свою особенную повадку и уже ни за что не желает уходить со страниц. Увиденное не исчезает и захватывает пространство текста — зато персонажи постепенно сводятся к конечному числу типажей (юная красотка, Прекрасный Болтун, трагическая старуха, еще пара-тройка других), а потом и вовсе вымываются из собственных границ и тоже затевают бесконечные превращения. Они начинают выду-

мывать друг друга, буквально присваивая авторские права. Так, Прекрасный Болтун, он же Петрушкин (тип светского молодого человека времен совка), совмещается, методом наплыва красок, не с кем-нибудь, а с Наполеоном Бонапартом. Вообще Наполеон — одна из любимых тем Юлии Кокошко, и, может быть, как раз потому, что Император — уже не столько герой своих блистательных кампаний, сколько главный герой психбольницы, исчадие воображения, готовое пустое и великое место для превращения «меня» в «другого». Плоды садов (еще одна из важных для писательницы тем) превращаются в созревшие боеприпасы, в гранаты и бомбы, которые взрываются, если только слегка задета «паутинка небытия».

И вот перед нами новый текст, еще ни в какие книги не вошедший, — а может, ему и не суждено. Текст очень нервный, неровный, то и дело тормозящий на многоточиях, виляющий ломаным синтаксисом, взмахивающий сказуемым без подлежащего, — в общем, походка будто по присыпанному гололеду, неустойчивый танец, вариации знакомых тем. «Всякий новый день перебрасывает с холма на холм — войну...», маркитантка Старая Генриетта тащится за войском и тащит за собой целый костюмированный табор полупревращенный друг в дружку героев — а некто изначальный, все это многообразие породивший, смотрит из окна на площадь, которая одновременно является морем, и по ту сторону, на другом берегу, — спасение для всех. Перед нами гротескный мультфильм для взрослых: вещи в самой своей форме уже содержат возможность движения, круглая чашка кружится подбоднения и выставив локоток — и застекленный в мебели сервиз видится как бал под управлением голенастой вазы, которой еще предстоит воплощение в птицу. Что это — не очередной ли фокус, показывающий только авторское мастерство в оплетании словесами излюбленных тем? В том-то и дело, что нет: в превращении участвует не только зрение писательницы, но и глубоко открытое, иными способами не выводимое к читателю личное чувство — оно внезапно прорывается, например, в «порочности круга, отливающего — моей замкнутостью». Юлия Кокошко «наращивает собственное присутствие», главное ее стремле-



ние — «сказаться в мире!». Не фокус, но волшебство: из «тьмы словес», из самого вещества произведения как бы сам собою сгущается — ангел. Персонажи-маски, забывшие себя изначальных (то есть забывшие автора), вырезают ангела из его крыльев, будто картиночку из открытки, пропальывают ему спину от перьев. И все-таки все они, «действительные — по сю сторону площади», продолжают ждать его, уже употребленного: истрачено только изображение, ангел же витает в воздухе текста до самого конца.

Еще одно замечание касательно возможности чтения прозы Юлии Кокош-

ко. Отказываясь от предложения подхалтурить в газете, она, в ответ на напоминание, что раньше, мол, успешно строгала сценарии, сказала так: «Но ведь сценариев никто не читает!» Видимо, ее работа над прозой есть не что иное, как трудная подготовка к моменту чтения, предъявления перебеленного текста — читателю. Этот момент изначально присутствует в творчестве и, быть может, более важен для модернистки Кокошко, чем для многих вполне понятных реалистов.

Ольга СЛАВНИКОВА.

Екатеринбург.



# БИБЛИОГРАФИЯ

## КНИЖНАЯ ПОЛКА



**М. Ардов, Б. Ардов, А. Баталов.** Легендарная Ордынка. СПб., «ИНАПРЕСС», «Летний сад», «Журнал „Нева“», 1997, 382 стр., 6000 экз.

**Андрей Белый.** Собрание стихотворений. 1914. Издание подготовил А. В. Лавров. М., «Наука», 1997, 456 стр., 1000 экз.

**Александр Блок.** Полное собрание сочинений. В 20-ти томах. Том 3. Стихотворения. Книга 3. 1907 — 1916. М., «Наука», 1997, 990 стр., 2000 экз.

**Михаил Веллер.** А вот те шиш! Повести, рассказы. М., «ВАГРИУС», 1998, 384 стр., 5000 экз.

**Ветер в соснах.** Классическая поэзия танка эпохи Эдо. Перевод с японского, предисловие и комментарии Александра Долина. СПб., «Гиперион», 1997, 224 стр., 3000 экз.

**Евгений Евтушенко.** Мое самое-самое. М., «Сирин», 1997, 639 стр., 10 530 экз.

**Валерий Есенков.** Рыцарь, или Легенда о Михаиле Булгакове. Роман. М., «Классика плюс. Зодчий-К», 1997, 800 стр., 11 000 экз.

Объемистое (50 уч.-изд. листов), в прекрасном переплете сочинение мастера биографических романов (вышли: о Грибоедове, Гоголе, Гончарове, Достоевском и других); беспрестанно повторяя: «Боги, боги мои!», автор взволнованным стилем пересказывает хронику жизни Булгакова, обильно цитируя дневники писателя, воспоминания современников, а также сочным словом перекладывает газетные новости тех лет; содержание жизни Булгакова определяется как борьба «против черной судьбы», когда «несчастья шпарт уже косяком» и писатель «бросается с сумрачным видом за стол... и огромными буквами выводит заглавие „Под пятой“», когда в душе его «разгорается пламя нового замысла» и «прямо неутолимая жажда снedaет шиш показать своей черной судьбе»; однако автор находит и светлое в жизни своего героя: «Между ними возникают близкие, но тайные отношения, причем вновь любовь налетает как убийца из переулка и поражает как молния, как финский нож». Попутно дается образное определение творческой манеры классика: «...нити сплелись — и не о чем размышлять. Быт, персонажи, слова? Хватай все, что лежит под рукой... Как на крыльях лети. На всех парусах. Не согдится? Что ты, Бог с тобой, все согдится, решительно все, только не сомневайся, дерзай!»

**Джером К. Джером.** Джон Ингерфилд. М., ЗАО «ЛДМ Сервис», 1997, 32 стр., 5000 экз.

**Николай Заболоцкий.** Столбцы. М., «Сирин», 1997, 511 стр., 10 530 экз.

**Зиновий Зиник.** Встреча с оригиналом. Двойной роман. М., «Гендальф», 1998, 320 стр., 1000 экз.

Новый роман известного русского писателя-эмигранта, живущего в Англии.

**Юрий Малецкий.** Убежище. Роман. Повести и рассказы. М., «Книжный сад», 1997, 576 стр., 1000 экз.

Первая книга известного современного прозаика, чей роман «Любью» был определен букеровским жюри как один из шести лучших романов 1996 года (см.: «Новый мир», 1997, № 2). Кроме романа «Убежище» в книгу вошли повести «Ониксовая чаша», «Хорошего понемножку», «Неподдельная дружба народов», «Баллончик», рассказы «Привет из Калифорнии», «Огоньки на той стороне», «Юрий Гагарин» и «На очереди».

**Н. А. Тэффи.** Избранные произведения. Том 1. «И стало так...». Составление и подготовка текстов Д. Д. Николаева, Е. М. Трубиловой. М., «Лаком», 1997, 384 стр., 4000 экз.

Том составили юмористические рассказы Тэффи (Надежды Александровны Лохвицкой; 1872 — 1952) из сборников 1910, 1911 годов.

**Н. А. Тэффи.** Избранные произведения. Том 2. Неживой зверь. Составление и подготовка текстов Д. Д. Николаева, Е. М. Трубиловой. М., «Лаком», 1998, 384 стр., 4000 экз.

Малоизвестная широкому читателю сторона творчества знаменитой юмористки — грустные и «мистические» рассказы 1905 — 1947 годов. «Анекдоты смешны, когда их рассказывают. А когда их переживают, это трагедия. И моя жизнь — это сплошной анекдот, то есть трагедия» (Тэффи).

**Ю. Шадрин.** Тигры во сне и наяву. Лесная книга. Владивосток, 1997, 337 стр., 2000 экз.

**Томас Стернс Элиот.** Камень. Избранные стихотворения и поэмы. Перевод А. Сергеева. Примечания В. Муравьева. М., «Христианская Россия», «La Casa di Matrona», 1997, 254 стр., 5000 экз.

Элиот как «католический поэт». Предисловие Луиджи Джуссани называется «Церковь и современность в „Камне” Т.-С. Элиота».



**Аристотель.** Политика. Афинская полития. Предисловие Е. И. Темнова. М., «Мысль», 1997, 460 стр., 7000 экз.

**Ролан Барт.** Camera lucida. Комментарии к фотографиям. Перевод с французского, послесловие и комментарии Михаила Рыклина. М., «Ad Marginem», 1997, 223 стр.

«По отношению к фотографии я был охвачен „онтологическим” желанием: мне любой ценой хотелось узнать, чем она является „в себе”, благодаря какому существенному признаку выделяется из всей совокупности изображений. Это желание означало, что... в глубине души я не был уверен, что Фотография существовала, что у нее был собственный гений» (Р. Барт).

**Большой энциклопедический словарь.** Главный редактор А. М. Прохоров. 2-е издание, переработанное, дополненное. М., «Большая Российская энциклопедия», 1997, 1434 стр., 10 000 экз.

**П. П. Гайденко.** Прорыв к трансцендентному. Новая антология XX века. М., «Республика», 1997, 496 стр., 3000 экз.

Журнал намерен отрецензировать эту книгу.

**Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева.** 1867 — 1870. Составитель Н. Н. Мостовская. СПб., «Наука», 1997, 224 стр., 500 экз.

**Д. С. Лихачев.** Избранное. Великое наследие. Записки о русском. СПб., «Logos», 1997, 560 стр., 1500 экз.

**М. К. Мамардашвили.** Стрела познания. Набросок естественноисторической гносеологии. Под редакцией Ю. П. Сенокосова. М., «Языки русской культуры», 1997, 304 стр., 3000 экз.

**Путь к трону.** История дворцового переворота 28 июня 1762 года. Составление, предисловие, комментарий Г. А. Весёлой. М., «Слово/Slovo», 1997, 560 стр., 5000 экз.

Обширные выдержки из мемуаров Екатерины II, княгини Дашковой, Станислава-Августа Понятовского, воспоминаний Андрея Болотова, рассказывающих о воцарении Екатерины II.

**А. Тоффлер.** Футуршок. СПб., «Лань», 1997, 462 стр., 10 000 экз.

Нашумевшее в 70-е годы сочинение американского культуролога о «столкновении с будущим».

**Философский энциклопедический словарь.** Редактор-составитель Е. Ф. Губский и другие. М., «ИНФРА-М», 1997, 576 стр., 10 000 экз.

*Р. С.*

Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить магазин-салон «Летний сад», предоставивший редакции помощь в ведении рубрики «Книжная полка».

Магазин расположен по адресу: Москва, Большая Никитская, д. 46 (проезд: до станции метро «Баррикадная»). Работает с 11.00 до 19.00 без выходных и перерыва на обед. Здесь предлагается широкий выбор современной художественной некоммерческой литературы, книги по истории, философии, литературоведению, а также музыкальная литература, ноты, компакт-диски, аудио- и видеокассеты.

Составитель Сергей Костырко.

## ПЕРИОДИКА



*«Арион», «Вышгород», «День и ночь», «Дружба народов», «Ex libris НГ», «Знамя», «Известия», «Итоги», «Континент», «Кулиса НГ», «Литературная Россия», «Литературное обозрение», «Литературные вести», «Москва», «Московские новости», «Наш современник», «НГ-наука», «Нева», «Независимая газета», «Общая газета», «Октябрь», «Пушкин», «Разбитый компас», «Русский Телеграф», «Таллинн», «Труд», «Экспресс-Хроника», «Юность»*

**Анатолий Азольский.** Труба. Повесть. — «Континент», № 94 (1997, № 4).

Завод и вокруг. Страсти, криминал. Полемика с советским производственным романом (подобно тому, как роман «Клетка» был полемически ориентирован против советской прозы «об ученых»).

**Анна Андропова.** Ле-Гро-дю-Руа. Повесть. — «День и ночь». Литературный журнал для семейного чтения. Красноярск, 1997, № 5-6 (сентябрь — декабрь).

Наши дни. Ле-Гро-дю-Руа — название улицы у Хемингуэя, символ какой-то другой жизни и бессмысленности тутошней.

**Владислав Артемов.** Обнаженная натура. Роман. — «Наш современник», 1998, № 1, 2.

Современный роман тайн. Коммуналка. Смерть старухи Розенгольц. Незванные гости. Чекисты. Вообще страсти.

**Сергей Бабаян.** Мамаево побоище. Историческая повесть. — «Континент», № 92 (1997, № 2).

Исторические воззрения писателя своеобразны, см. в автокомментариях: «Что же касается нравственной оценки взгляда на Куликовскую битву как на „величайшую победу“, а не величайшее несчастье в жизни русского и „монголо-татарского“ народов, то пусть он остается на совести мучимых подспудными наполеоновскими комплексами историков» и т. д.

**Дмитрий Бакин.** Сын дерева. Рассказ. — «Знамя», 1998, № 1.

Новый рассказ таинственного, не появляющегося на публике, прозаика. О его книге «Страна происхождения» см. рецензию Татьяны Касаткиной «В поисках другой половины» («Новый мир», 1996, № 8).

**Юлия Бедерова.** Про Высоцкого большими буквами. 60-летний юбилей как смерть культурного героя. — «Русский Телеграф», 1998, № 10, 24 января.

Ряд жестких определений: «поэтизированная агрессия», «возведенное в романтическую степень хамство», «в его образе изумляет лишь степень бешенства». К тому же всякий миф «имеет срок хранения: употребить до даты, указанной на упаковке». Миф «Высоцкий» больше не работает.

В этом же номере «Русского Телеграфа» Александр Тимофеевский пишет о фигурах национального консенсуса, одинаковую любовь к которым и правые и левые выражают одинаковыми словами: после Пушкина с Гоголем сразу следует Высоцкий — пожалуй, один во всей русской советской культуре XX века. «Дарование Есенина... вроде бы схожей похмельной природы, однако никакого консенсуса по его поводу не наблюдается. Единственность Высоцкого, наверное, в том, что утренняя тоска, у всех традиционно обращенная назад, была неожиданно опрокинута им вперед, и одна эта инверсия открыла перед обществом невиданные просторы...»

Одновременно в газете «Коммерсант-daily» (1998, № 10, 24 января) Михаил Новиков в юбилейной статье «Романтик, мечтавший стать членом СП. Главный миф поколения 70-х» утверждает: «Не любить его — значит не любить себя».

**Михаил Берг.** Я — варвар, рожденный в тоскующем завтра. — «Русский Телеграф», 1998, № 9, 23 января.

О сборнике стихов Роальда Манделъштама (Томск, 1997), который, по сути дела, «и был первым поэтом андерграунда, еще в конце 40-х — начале 50-х выбравшим принципиальный путь подпольного существования». Астма. Костный туберкулез. Ходил на костылях, спасался морфием. «Культурная фигура для застойно-перламутрового Ленинграда». Умер в январе 1961 года, неполных 29 лет. «Представительная книга стихов Роальда Манделъштама тем и хороша, что позволяет отчетливее понять тот путь, по которому не пошла российская культура». Исторически не реализованная ленинградская культура 60 — 70-х годов, из которой оказался востребованным один Бродский.

**Лариса Ванеева.** Два рассказа. — «Октябрь», 1998, № 1.

«Песнь генокода» и «Господин Гру-Гру» — короткие рассказы о жизни.

См. также ее рассказы «Белая бездна снегов», «Праздник не по карману» и «Сели батарейки» в красноярском литературном журнале «День и ночь» (1997, № 5-6).

**Игорь Волгин.** Пропавший заговор. Достоевский и политический процесс 1849 года. — «Октябрь», 1998, № 1, 3, 5.

О кружке Петрашевского. Продолжение известных книг «Родиться в России. Достоевский и современники: жизнь в документах» («Октябрь», 1989, № 3, 4, 5) и «В виду безмолвного потомства... Достоевский и гибель русского императорского дома» («Октябрь», 1993, № 11, 12; 1994, № 6).

**Сергей Волков.** Трагедия русского офицерства. — «Разбитый компас». Журнал Дмитрия Галковского. Тираж 500 экз. 1997, № 3 (январь — сентябрь).

В своей предыдущей книге («Русский офицерский корпус», М., 1993) автор дал очерк истории русского офицерского корпуса со времени зарождения регулярной русской армии до катастрофы 1917 года. Настоящее исследование повествует о судьбе русского офицерства после 1917 года. Фотографии жертв красного террора. Книга публикуется с незначительными сокращениями. Продолжение следует.

**Дмитрий Галковский.** Каша из топора. Пьеса в трех действиях и восемнадцати сценах, с эпилогом. — «Разбитый компас». Журнал Дмитрия Галковского. 1997, № 3 (январь — сентябрь).

Пьеса. Главное действующее лицо — Дмитрий Евгеньевич Га... Нет, Гагарин.

**Маша Гессен о своей книге.** Записывал Александр Вознесенский. — «Пушкин». Учредитель — Русский институт (Москва) при поддержке журнала «Век XX и мир». Тираж 10 000 экз. 1997, № 3 (декабрь).

Masha Gessen представляет свою книгу «Dead Again. The Russian Intelligentsia After Communism» (London — New York, 1997). Когда советская власть перестала сплачивать интеллигенцию «в противостоянии», выяснилось, что «Шафаревич таки юдофоб, мракобес и вообще очень интересный человек». Среди персонажей книги — Александр Солженицын, о. Владимир Вигилянский, Галина Старовойтова, Евгений Сабуров, Елена Боннэр, Ярослав Могулин, Алина Витухновская и другие. Одна из глав книги — о Южной Осетии: «Цхинвал — это университетский город. Не знаю, какая ситуация там сейчас, — но на момент написания книги, после войны, к власти пришла вся интеллигентская верхушка. Ректор университета стал президентом Южной Осетии, проректор — министром юстиции и т. д. Вся инфраструктура университета просто переместилась в правительство и стала заправлять страной как университетом. Ничего хорошего из этого, конечно, не вышло. Там просто ничего не происходило!»

В этом третьем с момента основания номере тонкого литературного «глянцевого» журнала «Пушкин» (или точнее — «пушкин») также напечатаны эссе Зиновия Зиника о покойном английском алкоголике Джеффри Бернарде, подробно освещавшем свои похождения в колонке «Жизнь на дне» в журнале «Спектейтор»; беседа Елены Озобкиной с философом Валерием Подорогой; статья Алексея Михеева «„Booker” и Букер»; полемические заметки Льва Сигала «Разгневанный Пурист и рассудочный Лингвист, или Инвектива против живого русского языка» и другие материалы. Как всегда, интересны размышления художника и писателя Семена Файбисовича «Знакомость на пространстве одной шестой части суши» (см. его рассказы в № 2 «Нового мира» за 1998 год), но огорчает присутствие клише типа «вновь насаждаемое православие».

Журнал «Пушкин» является печатной версией «Русского Журнала», выходящего в сети Internet по адресу: <http://www.russ.ru>

**Юрий Глазов.** На чужой сторонке. Америка, 1973 — 1975. — «Нева», Санкт-Петербург, 1997, № 12.

Мемуары эмигранта. Главы из книги. Журнальный вариант. См. также другие мемуарные публикации Юрия Глазова в журналах «Звезда» (1997, № 8) и «Новый мир» (1998, № 3).

**Юлия Горячева.** Великий мистификатор Исаак Бабель. — «Кулиса НГ». Приложение к «Независимой газете». 1998, № 1, январь.

Большое интервью с Антониной Николаевной Пирожковой, вдовой Исаака Бабеля, живущей в настоящее время в Вашингтоне. Среди прочего — о сотрудничестве писателя с Петроградской ЧК: «...для меня однозначно ясно, что Бабель был нужен иностранному отделу ЧК именно как прекрасно владеющий несколькими языками, переводчик...» И далее: «Помню, как спустя много лет, обеспокоенный сгушающимися тучами над своей головой, Бабель отважился посоветоваться с Ягодой относительно того, как держаться, „если привлекут“. Тот предельно четко дал понять, что „надо все отрицать и на любой вопрос отвечать — нет“...»

**Ева Датнова.** «Анатолий Рыбаков, который „Дети Арбата“». — «Литературные вести». Газета Содружества союзов писателей, Союза писателей Москвы и Независимой Ассоциации писателей «Апрель». 1997, № 24 (октябрь — ноябрь).

В рецензии на «Роман-воспоминание» Анатолия Рыбакова («Дружба народов», 1997, № 7, 8; М., «ВАГРИУС», 1997) отмечаются «систематизация» автором своей жизни и творчества (что и как, где и когда создавалось, печаталось, тормозилось), дословные выдержки из более ранних текстов и отсутствие малейшего намека на юмор. «Критика власти, которая обижала не третье лицо, а первое, не Сашу Панкратова, а самого Анатолия Наумовича Рыбакова. Критика Сталина, который „предал дело Ленина“. И — даже не критика, а активное неприятие перестроечного десятилетия, возможно — полное отрицание всего, что произошло за эти годы». «Красная» книга Анатолия Рыбакова появилась в период, когда, по мнению Евы Датновой, солидарность с коммунистическими лозунгами еще не стала модой, но уже не выглядит эпатажем.

О мемуарах Анатолия Рыбакова см. также в статье Вл. Новикова «Ноблесс оближ» («Новый мир», 1998, № 1).

А также см. о них апологетическую статью Семена Липкина «Собственная жизнь — это клад» («Знамя», 1998, № 1). Просто находка для журнала «Знамя», кто понимает.

**Евгений Евтушенко.** Прощание с двадцатым веком. Книга с выдранными страницами. — «Общая газета», 1998, № 3, 22 января.

Из предисловия к будущей книге «Волчий паспорт». Образчик узнаваемого стиля: «Нельзя играть плохо на таком стадионе, как Россия».

**Евгений Ермолин.** Вчера, сегодня, всегда. Поход на истину в литературе девятидесятых годов: повод, ход и прогноз исхода. — «Континент», № 92 (1997, № 2).

Полемика, в частности с новомирскими статьями Владимира и Ольги Новиковых «Зависть» (1997, № 1) и Сергея Костырко «О критике вчерашней и „сегодняшней“» (1996, № 7). Реализм, серьезность, идейность.

**Борис Жутовский.** Профессионалы устраивают свои дела, не надеясь на Союз художников. — «Известия», 1998, № 12, 23 января.

О статусе художника-профессионала: «У меня украли членский билет, и я его не восстанавливаю пять лет. Не нужен он, как не нужна мне и многим коллективная форма существования — творческий союз». Об атмосфере хрущевских 60-х: «Мы с моим другом и писателем Даниилом Даниным сочинили два варианта выступления — в зависимости от развития ситуации...» Тут же: «А из Андрея Вознесенского делала удобрение. Он стоял на трибуне отчетливого зеленого цвета (зеленым, видимо, был поэт, а не трибуна. — А. В.) и говорил: „Я не представляю себе жизни без коммунизма“. Правильно говорил, это было условие игры. А когда я ему сегодня напоминаю об этом, он отмахивается. Ему стыдно».

**Алена Злобина.** Между кладбищем и капустником, или Конец еще одной великой утопии. — «Знамя», 1997, № 12.

О современном театре. См. также ее статью «Драма драматургии» («Новый мир», 1998, № 3).

**Михаил Золотоносов.** Роман *друга*. — «Московские новости», 1998, № 3, 25 января — 1 февраля.

Едкий отклик на роман Анатолия Наймана «Б. Б. и др.» («Новый мир», 1997, № 10). Задача этого романа-памфлета об «известном в филологических кругах» семей-

стве Мейлахов (так, по крайней мере, утверждает рецензент) есть «чистка рядов перед вхождением в Историю». Отрицательный Б. Б., отождествляемый критиком с Михаилом Мейлахом, играет роль представителя бездарных и бледных 70-х годов на фоне блестящих юношей поколения 60-х (среди них — сам Найман); к тому же Б. Б. представляет убогую науку о литературе, естественно, вещь второго сорта по сравнению с самой литературой. «Моральный космос построен, добро и зло персонифицированы. Все моральные, честные и прогрессивные по определению оказываются талантливыми, все аморальные — бездарными».

**Андрей Zubov.** Обращение к русскому национальному правопорядку как нравственная необходимость и политическая цель. — «Континент», № 92 (1997, № 2).

Тема и проблематика сформулированы в названии статьи. Среди прочего: «Революция имела место в сентябре — декабре 1993 года, началась указом № 1400 и как раз завершилась всенародным референдумом по конституции и выборами в Пятую Государственную думу. Эта осенняя революция 1993 года для событий 1917 года явилась контрреволюцией... Вслед за этим так естественно законным образом совершить восстановление правопорядка, попорченного революцией 1917 года». Возвращение к 3 марта 1917 года. Возвращение отобранной собственности всем владельцам:

**Сергей Иванов.** Магистр Игры. Интеллектуальная одиссея Сергея Аверинцева. — «Итоги». Еженедельный журнал. 1997, № 49, 16 декабря.

К 60-летию ученого. Цитата: «Если у текстов Михаила Гаспарова нечего отнять — то к текстам Сергея Аверинцева нечего прибавить». Еще цитата: «В других условиях такой человек, как Аверинцев, мог бы, наверно, возглавить какую-нибудь (! — А. В.) церковную реформу...»

**Илья Ильф, Евгений Петров.** Великий комбинатор. Роман. Публикация и вступительная статья М. П. Одесского и Д. М. Фельдмана. — «Литературное обозрение», 1997, № 6.

Первая часть (восемь глав) романа, из которого после переработки и чистки родился «Золотой теленок». Текст датирован 2 — 23 августа 1929 года. Печатается по автографу, хранящемуся в РГАЛИ. Вступительная статья публикаторов вводит читателя в политический контекст конца 20-х годов, объясняющий как появление, так и переработку романа.

**Фазиль Искандер.** Три рассказа. — «Континент», № 92 (1997, № 2).

«Олады тридцать седьмого года», «Сон», «В парижском магазине» — короткие рассказы известного прозаика.

**Александр Казанцев.** Любимая. Повесть-миф. — «День и ночь». Литературный журнал для семейного чтения. Красноярск, 1997, № 5-6 (сентябрь — декабрь).

Сократ и Аспасия.

**Лазарь Карелин.** Риск. Современная повесть. — «Москва», 1998, № 1.

О «новом русском», бывшем «альфовце».

**Валерий Кичин.** Как армия пыталась кино образумить. — «Известия», № 10, 21 января.

Современный российский кинематограф, «по тошнотворности и нравственной неопрятности не имеющий в мире равных», — от него тошнит даже издавших виды военных. «Кризис нашего кино — совсем не кризис его финансов. Это прежде всего кризис многих, очень многих его творческих персонажей, измельчавших и выродившихся до полного безобразия... Фрейд здесь собрал бы обильный урожай ценных для науки экспонатов».

**Григорий Кружков.** Владимир Бенедиктов на фоне волн и холмов. — «Арион». Журнал поэзии. 1997, № 3.

Эстетическая реабилитация. Бенедиктов и Эндру Марвелл (1621 — 1678). Бенедиктов и Роберт Геррик (1597 — 1674). Бенедиктов и барокко. Каталоги сравнений. Поэт знал, что делает.

**Ольга Кузнецова.** Поминки по гей-литературе. — «Русский Телеграф», 1998, № 10, 24 января.

В московском «Крымском клубе» состоялся «круглый стол» на тему «Литература и гомосексуальность». В частности, Дмитрий Кузьмин, редактор гей-культурного журнала «РИСК», высказался таким образом (в пересказе О. Кузнецовой): «Геи произвели у нас ту ревизию гендерных стереотипов, которую на Западе осуществили феминистки... Времена, когда гей-литературу приходилось вычленять как некую субкультуру, прошли. Больше не нужно освобождать гомосексуализм от репрессий, нужно освобождаться от

самого этого понятия. Шаталов (поэт Александр Шаталов, выступавший в прениях. — А. В.) прав: настоящая литература не может называться „гей-литература”, мы называем ее так по старой дурной привычке».

**Андрей Лазарчук, Михаил Успенский.** Желтая подводная лодка «Комсомолец Мордовии». — «День и ночь». Литературный журнал для семейного чтения. Красноярск, 1997, № 5-6 (сентябрь — декабрь).

Рассказ известных фантастов, авторов романа «Посмотри в глаза чудовищ» (см. о романе в статье А. Василевского «Он нашелся» — «Новый мир», 1997, № 11).

Одновременно рассказ напечатан в газете «Книжное обозрение» (1998, № 6, 10 февраля).

**Валерий Левятов.** Белая проза. — «Континент», № 92 (1997, № 2).

Подзаголовок: «О чем думает сторож, когда ему не спится». Сторож верующий. Думает кратко, православно. Остроумен, «розанов».

**Флора Литвинова.** Записки об Анатолии Марченко. — «Знамя», 1998, № 1.

Воспоминания об известном правозащитнике, погибшем в чистопольской тюрьме в 1986 году. Главы из книги Анатолия Марченко «Мои показания» печатались в «Новом мире» (1989, № 12).

**А. Ф. Лосев.** Мне было 19 лет... Рассказ. Вступление Елены Тахо-Годи. Публикация А. А. Тахо-Годи. — «Октябрь», 1998, № 1.

Эротический рассказ известного русского философа. Написан в 1932 году, на Беломоро-Балтийском канале. «Сюжет рассказа — встреча склонного к философствованию героя с женщиной-артисткой — один из излюбленных сюжетов лосевской прозы» (Елена Тахо-Годи).

**Самуил Лурье.** Люди разных лотков. Беседу вела Маруся Климова. — «Независимая газета», 1998, № 7, 21 января.

Интервью с питерским писателем и литературоведом, недавно удостоенным литературной премии имени Вячеслава Кибальникова, которую составляют... *пять сигар*. Среди прочего — о том, что у толстых журналов есть будущее, они необходимы: «Выписывая и читая толстый журнал, человек, живущий в провинции, — а мы таких людей не очень хорошо даже себе представляем, — как бы входит в некое поле, узнает, что сегодня читают в прозе и в поэзии, из отдела критики он узнает, что пишут в других журналах, какие выходят книжки и так далее. В противном случае мы останемся среди чистого поля, где расставлены миллионы лотков, на каждом лотке лежат пятьдесят книг: некоторые обложки похожи друг на друга, некоторые не похожи — и все. Миллион лотков не обойдешь, и все мы окажемся людьми разных лотков, и нам не о чем будет разговаривать за праздничным столом. А в нашей стране разговоры... это одно из главных наслаждений жизнью, одно из главных проявлений свободы и человечности».

**Владимир Маканин.** Андеграунд, или Герой нашего времени. Роман. — «Знамя», 1998, № 1, 2, 3, 4.

«Новый мир» предполагает подробно отрецензировать новый роман известного прозаика.

**Давид Маркиш.** Быть как все. Роман. — «Знамя», 1997, № 12.

Смерть советского диссидента в автокатастрофе в Пиренеях. КГБ. Подпольные «цеховики». Эмиграция в Израиль.

**Валерий Могильницкий.** Человек под номером. — «Труд», 1998, № 5, 13 января.

О том, что в архиве Информационного центра при прокуратуре Карагандинской области обнаружена карточка политического заключенного Александра Солженицына. В Экибастузском лагере Солженицын работал каменщиком, строил тюрьму, заключенные выбрали его своим бригадиром. Без сенсаций.

**Мы — ортодоксы.** Материал подготовила Марина Абашева. — «Литературная Россия», 1997, № 52, 26 декабря.

Ортодоксы, они же — реалисты, Павел Басинский, Алексей Варламов и Олег Павлов (на фото — в обнимку) посетили в минувшем году Пермь по приглашению фонда «Юртин». Не надо бояться слова «цензура», говорил критик Басинский, она нужна хотя бы для того, чтобы запретить Владимира Сорокина. Ну, ты, брат, слишком строг, оторопел осторожный Варламов, эдак можно далеко зайти. «И зайдем!» — задорно блеснули очки Басинского.

**Ксения Мяло.** Завещание адмирала Корнилова. — «Наш современник», 1998, № 1.

Статья о Севастополе.



**Андрей Немзер.** Взгляд на русскую литературу в 1997 году. — «Дружба народов», 1998, № 1.

Обзор литературного года. Очень много имен и названий. Немзер — труженик (это похвала).

**Олег Павлов.** Метафизика русской прозы. — «Октябрь», 1998, № 1.

«Литературищина резво бесится и корчится в судорогах беллетристики...» Так ей и надо.

См. также в журнале «Москва» (1998, № 1) статью Олега Павлова «Комментарии к прочитанному. Лагерная проза», в основном — о книге В. Зубчанинова «Повесть о прожитом» («Октябрь», 1997, № 7, 8).

**Памяти Манука Жажояна (1963 — 1997).** — «Литературное обозрение», 1997, № 6.

В мемориальную подборку поэта и эссеиста, постоянного автора парижской «Русской мысли» Манука Жажояна вошли его стихотворения, главы из эссеистической книги «Последняя семиотика», статья «Пьяные корабли. Бодлер, Рембо, Гумилев, Бродский»; воспоминания и отклики на безвременную смерть М. Жажояна, а также библиография, составленная В. Куллэ.

**Памяти Юрия Левитанского (1922 — 1996).** — «Литературное обозрение», 1997, № 6.

В мемориальную подборку вошли «Монологи» Юрия Левитанского 90-х годов, записанные Леонидом Гомбергом; отрывки неоконченных стихотворений (публикация И. Машковской, комментарии В. Куллэ); путевые заметки поэта «Моя вторая Европа»; беседа главного редактора журнала Виктора Куллэ с вдовой поэта Ириной Машковской-Левитанской; несколько мемуарных очерков о поэте; а также краткая библиография Юрия Левитанского, подготовленная Л. Гомбергом.

**Борис Парамонов.** Генерал Солженицын и ефрейтор Довлатов. — «Таллинн». Литературный журнал. Главный редактор Нелли Абашина-Мельц. Таллинн, 1997, № 7.

В связи с появлением в «Новом мире» солженицынских двучастных рассказов (1995, № 5; 1996, № 7). Писатель — человек играющий: «...такова природа писательства, и Солженицын просто-напросто остается писателем даже тогда, когда не пишет, в любом своем жесте». А поэт — по Мандельштаму — не играет. «О Довлатове можно сказать: писал прозу, а умер как поэт».

**Людмила Петрушевская.** Приключения утюга и сапога. Сказочная повесть. — «Октябрь», 1998, № 1.

Жил-был утюг. Разлука утюга и сапога. Ночь утюга. Встреча на дороге. Образчик знакомого стиля: «Гвоздь прыгнул со сцены, и пепельница, не оглядываясь, пошла следом за ним — и все видели, как они мелькнули за стеклянной дверью и сели в машину марки «фольксваген-зебра», которая тут же отвалила». Вы думаете, Гвоздь и Пепельница — это кликухи? Не-а, гвоздь и пепельница.

**Григорий Померанц.** Способы существования в дрейфе. — «Континент», № 92 (1997, № 2).

Эссе. См. другие его эссе: «Приобретения и потери» и «Возможна ли чистая совесть?» («Континент», № 94).

**Ольга Постникова.** Тристан и Изольда. Рассказ. — «Континент», № 94 (1997, № 4).

Онкология.

**Андрей Саломатов.** «Г». Повесть. — «День и ночь». Литературный журнал для семейного чтения. Красноярск, 1997, № 5-6 (сентябрь — декабрь).

Конец света.

**Феликс Светов.** Русские мальчики. Рассказ о любви. — «Знамя», 1997, № 12. Переделкино. Писатели. Два фундаментальных вопроса, которые (будто бы) задал Жигулин Карякину: «у тебя стоит?», «ну а в Бога ты веруешь?».

**Валерий Сердюченко.** Зона Ш. Опыт литературной фантазмагии. — «Континент», № 94 (1997, № 4).

Шолохов вообще не написал ни строчки, истинный автор «Донских рассказов», «Тихого Дона», «Поднятой целины», «Судьбы человека» сидел у Шолохова... в подвале. Не волнуйтесь, это памфлет.

**Дмитрий Сладков.** В контексте атомной бомбы. — «НГ-наука». Приложение к «Независимой газете». 1998, № 1, январь.

Особая символическая роль ядерного оружия в культуре XX века. Цитата: «Но если с ядерным оружием действительно связан самый настоящий („во плоти“) конец света, говорить о том, что это событие можно предотвратить с помощью тех или иных политических или технических ухищрений, ПРОСТО СМЕШНО (здесь и далее выделено мной. — А. В.). Для верующего человека, понимающего Писание не литературно-метафорически, а буквально, вопроса о том, будет ли конец света, не стоит. Конечно же, будет». Еще цитата: «Экологию в ее сегодняшнем состоянии можно было бы назвать дисциплиной о предотвращении конца света подручными средствами — своего рода прикладной инженерно-политической эсхатологией. Всерьез говорить об этом, конечно же, ПРОСТО СМЕШНО». Весельчак, однако. Автор — начальник бюро по информации и связям с общественностью Российского федерального ядерного центра ВНИИ экспериментальной физики.

**Илья Сургучев.** Ротонда. Роман. — «Юность», 1998, № 1, 2.

Текст романа эмигрантского писателя Ильи Дмитриевича Сургучева (1881 — 1956) печатается по парижскому изданию 1952 года.

**Аксель Тамм.** Не для печати. Сергей Довлатов эпохи Пяти углов. Интервью взяла Людмила Глушкова. — «Вышгород». Литературно-художественный общественно-политический журнал. Таллинн, 1997, № 6.

В 1973 — 1975 годах Довлатов жил и работал в Эстонии. Литературный критик Аксель Тамм в те годы был главным редактором издательства «Ээсти Раамат». В 1974 году прозаик заключил с издательством договор на сборник рассказов «Пять углов». Цензурные мытарства: все, что можно, цензура выкинула, никаких «острых» мест не осталось, и... книгу вообще не пропустили. А. Тамм: «...представление Довлатова об Эстонии как о стране свободной печати и вседозволенности не совсем совпадало с реальностью».

**Александр Тимофеевский.** Конец иронии. — «Русский Телеграф», 1997, № 72, 30 декабря.

Ирония — не самое выдающееся человеческое свойство. Гений простодушен. Оправдание иронии — в стоящем за нею уме. Но именно ума, как правило, и не хватает новейшим иронистам. Ирония сегодня лишилась опоры в здравом смысле, она — антиисторична и антикультурна. «Пафос выше иронии потому, что содержателен и уязвим сразу». Не надо бояться быть смешным. Не надо бояться быть ретроградом.

Поэт Дмитрий Пригов в оперативном полемическом отклике «Это усе!» («Московские новости», 1998, № 4, 1 — 8 февраля) попытался выявить «некие неоговоренные побудительные причины написания» статьи А. Тимофеевского. Напрасный труд. Бесильная злоба.

**Татьяна Толстая.** Небо в алмазах. — «Русский Телеграф», 1998, № 3, 15 января.

Документированная история гибели «Титаника» весной 1912 года. В связи с выходом фильма Джеймса Кэмерона «Титаник», самого дорогостоящего в истории кинематографа (200 млн. долларов).

В № 15 «Русского Телеграфа» от 31 января с. г. напечатан саркастический отклик Татьяны Толстой на первый номер «нового русского» журнала «Men's Health» («Мужское здоровье»). «Мужчиной в рамках этого издания считается средняя часть туловища в ее простой физиологической ипостаси». Хорошо сказано, можно и не продолжать.

**Майя Туровская.** Житье-бытье и террор. Дневники советских обывателей 37 года опубликованы в Америке. — «Русский Телеграф», 1998, № 12, 28 января.

В связи с выходом книги «Intimacy and Terror. Soviet Diaries of the 1930s». New York, 1997. В Университете Дюка (США) Майе Туровской удалось заглянуть в оригинальный русский текст частных дневников советских людей середины 30-х годов, изданных пока только по-английски. Поразительна политическая смелость многих записей — в разгар Большого террора. Открывается многослойность, разносоставность эпохи. Автор статьи сожалеет, что советское прошлое все более мифологизируется, «застывает в недостоверные симулякры, почерпнутые из советского же агитпропа», влияющего на исторические представления все новых и новых поколений.

**Дмитрий Хмельницкий.** Конец великой истории. — «Континент», № 92 (1997, № 2).

«Конец советской архитектуры странен». Да и кончилась ли? «В целом архитектурная жизнь новой России после 1990 года напоминает не о западной демократии, а, скорее, о муссолиниевской диктатуре, либерально-терпимой к чуждым художественным

течениям, но финансирующей и подкармливающей только один социально близкий государственный стиль».

**Сергей Цветков.** Суворов. Жизнеописание. — «Москва», 1998, № 1, 2, 3. Биография полководца, написанная «тридцатилетним» историком.

**Вера Чайковская.** Случай из практикума. Повесть. — «Дружба народов», 1998, № 1.

Век нынешний и век минувший. Игры с русской классикой. Чехов и другие. См. также повесть Веры Чайковской «Новое под солнцем» («Новый мир», 1995, № 7), построенную на обыгрывании тургеневских сюжетов и персонажей.

**Александра Чистякова.** Не много ли для одной? Быль. — «День и ночь». Литературный журнал для семейного чтения. Красноярск, 1997, № 5-6 (сентябрь — декабрь).

Исповедь несчастной русской женщины, которая, как известно, коня на скаку... А кони, как сказал поэт, все скачут и скачут.

**Т. Шиппи.** Толкин как послевоенный писатель. Сокращенный перевод с английского Н. Семенович и З. Метлицкой. — «Знание — сила», 1997, № 12.

Автор «Властелина Колец» рассматривается в одном ряду с Д. Оруэллом, У. Голдингом, К. Льюисом, Т. Уайтом, встретившими Вторую мировую войну зрелыми людьми, но выпустившими свои главные книги после нее. Все вместе они противопоставляются тем английским писателям (Детям Солнца, по выражению исследователя Мартина Грина), что заняли господствующие позиции в литературе после Первой мировой войны и расцвели, что после Второй мировой войны их «безразлично-циничное, нигилистическое мировоззрение» восторжествует полностью. Успех Толкина был мучителен для Детей Солнца и говорил им, что их время уходит.

Статья напечатана в постоянной рубрике «Миры профессора Толкина» (см.: «Знание — сила», 1997, № 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12).

**Николай Шмелев.** Не люблю громкого крика ни «за», ни «против». Беседу вел Юрий Буйда. — «Известия», 1998, № 18, 31 января.

Известный экономист и публицист — на разные темы. «Часть диссидентов вызывала у меня глубокое и стойкое недоверие. Из-за того же большевистского отношения к человеку, пренебрежения человеком». Об интеллигентах в советском руководстве: «Ну да Андропов же стихи писал. Знаете, когда я смог вполне оценить его вклад в афганскую авантюру, я перестал считать его интеллигентом». А до этого?

**Григорий Шурмак.** Поэты и власть. — «Экспресс-Хроника». Правозащитный еженедельник. Главный редактор Александр Подрабинек. 1998, № 2, 10 января.

В связи со статьей Бенедикта Сарнова «С кем протекли его боренья? Борис Пастернак и власть — без обиняков» («Литературная газета», 1997, № 39, 24 сентября). Цитируемое Сарновым стихотворение Н. Коржавина «16 октября», датированное 1945 годом, вопреки общему мнению, не заканчивалось тогда знаменитыми строчками о Сталине: «Суровый, жесткий человек, / не понимавший Пастернака». Оно заканчивалось так: «Суровый, жесткий человек, / апостол точного расчета». «Пастернак» появился в стихотворении гораздо позже. Важное признание: «В годы, предшествующие Второй Мировой, у нас, киевских мальчиков: Лазаря Шерешевского, Наума Коржавина и меня, — взгляды на личность Сталина проделали весьма непростую эволюцию: от яростного неприятия до понимания правоты генсека...» Полемика с Сарновым, считающим «Доктора Живаго» творческой неудачей, даже изменой искусству. Григорий Шурмак: «Неумелость целого ряда страниц романа, их „наивность“, проистекает, на мой взгляд, из того, что писатель в ходе работы только нащупывал будущие пути развития отечественной прозы, пути, которым, может быть, суждено раскрыться полностью в следующем столетии». Сарнов видит слабость и причину неудачи Пастернака в претензии на роль пророка, в христианской направленности романа. Шурмак видит в этом же достоинство и причину успеха романа. Спор, конечно, не об эстетике. Тут же — о «Красном Колесе» Солженицына.

«Я делал то, что хотел». Интервью с Булатом Окуджавой. — «Континент», № 92 (1997, № 2).

Обширное интервью взял у Окуджавы профессор Университета Дальхаузи (Галифакс, Канада) Юрий Глазов во время одного из своих приездов в Москву в 1994 году. Цитата: «Особенно Православная церковь мне не симпатична... Для меня это примитивный театр такой, балаган». И т. д. и т. п.

Лауреаты премий литературных журналов за 1997 год  
(Окончание. Начало в № 3, 4)

«ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ»

Премии, учрежденные фондом «Литературная мысль»:

**Юрий Н. Давыдов** — за статью «Трагедия культуры и ответственность индивида. (Г. Зиммель и М. Бахтин)» (№ 4);

**Владимир Кантор** — за статью «Артистическая эпоха и ее последствия. (По страницам Федора Степуна)» (№ 2);

**Александр Ливергант** — за публикацию отрывков из книги Джеймса Босуэлла «Жизнь Сэмюэля Джонсона» (№ 5, 6);

**Бенедикт Сарнов** — за статью «Опрокинутая купель» (№ 3).

«ЗВЕЗДА»

**Андрей Битов** — за произведения «ГУЛАГ как цивилизация» (№ 5) и «Азарт, или Неизбежность ненаписанного» (№ 7);

**Сергей Вольф** — за циклы стихотворений (№ 2, 10);

**Александр Генис** — за цикл статей «Беседы о новой словесности» (№ 2 — 10, 12);

**Даниил Данин** — за «Дневник одного года, или Монолог-67» (№ 4, 5, 6, 12);

**Александр Жолковский** — за статью «Книга книг Пастернака» (№ 12).

Поощрительные премии:

**Арлен Блум** — за исследования последних лет по истории советской цензуры;

**Екатерина Шарова** — за лучший дебют в «Звезде» (рассказ «Безмолвный шум реки жизни», № 9).

Ежегодная премия имени *Сергея Довлатова*, учрежденная «Довлатовским фондом» совместно с журналом «Звезда», присуждена по итогам минувшего года режиссеру **Алексею Герману** за цикл миниатюр, напечатанных в «Общей газете» под рубрикой «На злобу дня».

ДАТА: 4 (15) мая — 200 лет со дня рождения И. И. Пущина (1798 — 1859), декабриста, автора знаменитых воспоминаний.

Составитель **Андрей Василевский**.

ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Май

5 лет назад — в № 5 за 1993 год началась публикация романа **Михаила Кураева** «Зеркало Монтачки».

30 лет назад — в № 5 за 1968 год напечатана повесть **Василя Быкова** «Атака с ходу».

65 лет назад — в № 5 за 1933 год напечатана поэма **Павла Васильева** «Соляной бунт».

70 лет назад — в № 5 за 1928 год началась публикация второй части «Жизни **Клима Самгина**» **Максима Горького**.

# THE NEW REVIEW

## Новый Журнал

«Новый Журнал» был основан в Нью-Йорке в 1942 году как продолжение парижских «Современных Записок» и с тех пор выходит без перерыва четыре раза в год. Средний объем номера — 336 страниц. Журнал распространяется в 32 странах. Основатели журнала — писатель М. Алданов и поэт, критик, писатель и меценат М. Цетлин. В 1945 — 1959 годах редактором журнала был известный историк проф. М. Карпович, в 1959 — 1986 годах — писатель и общественный деятель Р. Гуль. До 1994 года журнал редактировал писатель Ю. Кашкаров. С 1995 года главный редактор — поэт, историк литературы и поэзии Серебряного века проф. В. Крейд.

В «Новом Журнале» были впервые напечатаны многие произведения И. Бунина, Б. Зайцева, В. Набокова, Г. Газданова, М. Осоргина, А. Ремизова, В. Яновского и других писателей первой эмиграции. Из представителей второй волны, а также диссидентского движения в СССР в «Новом Журнале» были опубликованы произведения Л. Ржевского, Н. Ульянова, А. Солженицына, А. Белинкова, Л. Чуковской, В. Шаламова.

В журнале печатались стихи Г. Иванова, З. Гиппиус, М. Цветаевой, И. Северянина, М. Волошина, Вл. Ходасевича, И. Чиннова, Ю. Иваска, Н. Моршенина, И. Елагина, О. Анстей, И. Бродского.

«Новый Журнал» уделяет много места публикации воспоминаний и документов. Среди них — воспоминания выдающегося актера М. Чехова, художника М. Добужинского (журнал выходит в обложке его исполнения), композитора А. Гречанинова, З. Гиппиус, Ф. Степуна, Ю. Анненкова, Н. Евреинова, П. Миллюкова, Е. Кусковой.

В недавних номерах журнала были опубликованы дневники писателя В. Яновского, письма П. Флоренского, Г. Иванова, Б. Пастернака, З. Гиппиус, Д. Кленовского, воспоминания В. Розанова, Э. Голлербаха, М. Волина, А. Даманской, В. Лурье.

Исторические материалы, опубликованные в «Новом Журнале», представляют большую ценность для всех интересующихся историей России, русской революции, сталинизма и послесталинского периода. Среди историков, писавших для журнала, можно назвать М. Карповича, Н. Тимашева, Б. Николаевского, А. Авторханова.

В критическом разделе журнала печатались статьи П. Миллюкова, П. Сорокина, А. Керенского, В. Чернова, Ю. Денике, Д. Чижевского, Н. Бердяева, Н. Лосского, Л. Шестова, Г. Федотова, В. Вейдле, В. Ильина.

«Новый Журнал» продолжает оставаться ценным источником информации для всех, кто изучает Россию или интересуется прошлым и настоящим русской культуры.

**Подписная цена в год на 4 книги — \$40.00**

(пересылка в США — \$7.00, за границу — \$14.00)

**В 1998 г. выйдут номера 210, 211, 212, 213**

Заказы адресовать в редакцию «Нового Журнала»:

**The New Review, 611 Broadway, Room 842, New York, NY 10012**

**Phone/Fax: (212) 353-1478;**

**e-mail: nreview@idt.net**

## **УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!**

**Наш индекс 70636 в каталоге издательства «Известия» (спрашивайте во всех отделениях связи).**

**Вы можете оформить льготную подписку на «Новый мир» непосредственно в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 до 17 часов. Здесь же можно приобрести отдельные номера журнала. (Справки по тел. 200-08-29.)**

---

**Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются:**

**германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);**

**акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в АО «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160);**

**американская фирма «Ист Вью Паббликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).**

---

***Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «Novy Mir»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.***

## SUMMARY



The poetry section of the issue presents poems by Vladimir Zakharov, Elmira Kotlyar and Yan Goltsman.

We are beginning to publish the narrative «The Merry Soldier» by Victor Astafyev (to be ended in No.6), as well as two short stories by Grigory Petrov and the narrative «Death Comes by Internet. Description of Nine Unpunished Crimes Secretly Committed in the Houses of New Russian Bankers» written by Vladimir Tuhkov.

The section «Essays of Nowadays» presents the essay «By the Old Graves» by Boris Yekimov.

In the section «Far Nearness» we are beginning to publish the memoirs notes of 1976 — 1980 by Igor Dedkov (to be ended in No.6).

The section «Publications and Reports» is presented by the beginning of the essay «Splinters of the Silver Century» by Vitaly Shentalinsky (to be ended in No.6).

In the section «Literary Criticism» we are publishing articles by Mikhail Butov and Dmitry Bak on the modern epic novel as a genre, as well as polemical reflections by Nikita Yeliseyev on a memoir narrative by Pavel Basinsky.

The issue also presents our traditional sections «Reviews» and «Bibliography».

---

**Рукописи не рецензируются и не возвращаются.**

**Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.**

**Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности многочисленных одноименных компаний в Москве и за ее пределами.**

---

**Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов,  
С. Г. Бочаров, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, А. А. Ким, Д. С. Лихачев,  
А. М. Марченко, П. А. Николаев, М. О. Чудакова**

**И. о. главного редактора А. В. Василевский**

**Редакционная коллегия: М. В. Бутов, Р. Т. Киреев (зам. главного редактора), С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин,  
О. И. Новикова, И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев, С. А. Яковлев (зам. главного редактора)**

---

Корректор **Н. Н. Замятина**

Компьютерная верстка **И. Н. Колесникова**

Редактор-библиограф **А. И. Фрумкина**

Компьютерный набор **Т. В. Дорофеева**

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88, отдел публицистики — 229-25-83, для справок — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: [nmir@deol.ru](mailto:nmir@deol.ru)

---

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.

Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“».

---

Сдано в набор 20.01.98 г. Подписано к печати 24.03.98 г. Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 17 п. л., 23,8 усл. печ. л., 28,7 уч.-изд. л.

---

Тираж 15 260 экз. Зак. 4180. Цена договорная.

---

Отпечатано в Полиграфическом производственном объединении «Известия»  
Управления делами Президента Российской Федерации.

103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

---

Доступ к Internet и Электронной почте предоставлен фирмой  
Data Express Corporation, тел. (095) 932-76-47, WWW: <http://www.deol.ru>

## Дорогие читатели!

В марте этого года академик Сергей Павлович Залыгин, возглавлявший «Новый мир» в течение двенадцати лет, оставил свой пост. Завершился целый этап в истории журнала, «залыгинский», по-своему не менее замечательный, чем время редакторства А. Т. Твардовского.

В 1986 году главным редактором журнала впервые стал беспартийный писатель. При нем «Новый мир» превратился в независимое издание, не связанное организационно ни с какими из творческих союзов или общественных организаций. Главный редактор поставил своей целью прочертить на страницах «Нового мира» новые контуры русской литературы, культуры и общественной мысли XX века, возвращая изъятые имена писателей, философов, публицистов и привлекая лучшие силы отечественной литературы и журналистики.

Многие памятные всем публикации становились прорывом от политики «гласности» к подлинной свободе слова. Успех журналу принесли публикации ранее запрещенных в СССР книг, таких, как «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «Котлован» Андрея Платонова, «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына.

Печатавшиеся в журнале повести, рассказы, статьи Сергея Залыгина вызвали живой читательский отклик, свидетельством чему являются ваши письма. В настоящее время Сергей Залыгин работает над своими новыми произведениями.

Может возникнуть вопрос: не случится ли так, что с избранием нового главного редактора читатели, продлившие подписку на вторую половину 1998 года, получат под прежней обложкой какое-то иное издание? Опасения эти напрасны. «Новый мир» будет и впредь следовать своему не сегодня избранному направлению, сохраняя традиционную структуру и круг авторов.

В то же время во многих письмах мы находим советы, как нам следует осуществлять разумные, подсказанные самой жизнью изменения. Спасибо всем, кто не пожалел времени, чтобы поделиться с нами своими впечатлениями, замечаниями, пожеланиями.

Редколлегия журнала «Новый мир».